Эрнест Хемингуэй

Ernest Hemingway

Победитель не получает ничего

Победитель не получает ничего

Эрнест Хемингуэй

Аннотация
Эрнест Хемингуэй. Победитель не получает ничего
Из сборника. Три рассказа и десять стихотворений. (1923)
  В мичиганской глубинке
  В наше время
В наше время. (1925 и 1930)
  В порту Смирны
  Глава первая. Индейский поселок
  Глава вторая. Доктор и его жена
  Глава третья. Что-то кончилось
  Глава четвертая. Трехдневная непогода
  Глава пятая. Боец
  Глава шестая. Очень короткая история
  Глава седьмая. Дома
  Глава восьмая. Революционер
  Глава девятая. Мистер и миссис Эллиот
  Глава десятая. Кошка под дождем
  Глава одиннадцатая. Не в сезон
  Глава двенадцатая. Кросс по снегу
  Глава тринадцатая. Мой старик

Глава четырнадцатая. На Биг-Ривер I
Глава пятнадцатая. На Биг-Ривер II
L’envoi
Мужчины без женщин. (1927)
Непобежденный
В другой стране
Холмы, что белые слоны
Киллеры
Che Ti Dice La Patria?
Завтрак в Специи
После дождя
Пятьдесят тысяч
Простой вопрос
Десять индейцев
Канарейку в подарок
Альпийская идиллия
Гонка преследования
Сегодня пятница
Банальная история
Бессонница
Победитель не получает ничего. (1933)
После шторма
Где чисто и светло
Свет мира
Счастливых праздников, джентльмены!
Перемены

Какими вы не будете
Мать красавчика
Пишет читательница
Швейцарии, с уважением
Часть первая. Портрет мистера Уилера в Монтрё
Часть вторая. Мистер Джонсон заигрывает в Веве
Часть третья. Сын члена географического общества в Территете
Ожидание
Трактат о мертвых. Из книги «Смерть после полудня»
Вино Вайоминга
Игрок, монахиня и радио
Отцы и дети
Пятая колонна и первые сорок девять рассказов. (1938)
Рог быка
Снега Килиманджаро
Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера
Старик у моста
Рассказы, ранее не издававшиеся на русском языке
Восторг погони
Три рассказа о Второй мировой войне

Комната окнами в сад
Индейская территория и белая бригада
Памятник
Благодарности

Аннотация

Широкое признание Хемингуэй получил не только благодаря своим романам, но и многочисленным рассказам, затрагивающим тему войны, любви, героизма, самопожертвования… В издание включены шедевры короткой прозы Хемингуэя из знаменитых сборников «В наше время», «Мужчины без женщин», «Победитель не получает ничего» и нескольких других, опубликованных еще при жизни писателя, а также ранее не издававшиеся на русском языке рассказы: «Восторг погони», «Индейская территория и Белая бригада», «Памятник» и «Комната окнами в сад».

Эрнест Хемингуэй
Победитель не получает ничего

© Hemingway Foreign Rights Trust, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1933, 1938, 2020
© Перевод. В.А. Вебер, 2019
© Перевод. Н.А. Волжина, наследники, 2019
© Перевод. Н.Л. Дарузес, наследники, 2021
© Перевод. И.Я. Доронина, 2021
© Перевод. К.С. Егорова, 2019
© Перевод. М.Ф. Лорие, наследники, 2015
© Перевод. Т.А. Озерская, наследники, 2021
© Перевод. Р. Я. Райт-Ковалева, наследники, 2021
© Перевод. А.В. Санин, 2019
© Перевод. С.Э. Таск, 2019
© Перевод. В.М. Топер, наследники, 2021
© Перевод. О.П. Холмская, наследники, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Из сборника
Три рассказа и десять стихотворений
(1923)

В мичиганской глубинке

Джим Гилмор приехал в Хортонс-Бей из Канады. Купил кузницу у старика Хортона. Невысокого роста, черноволосый, с большими руками и усами, он мастерски подковывал лошадей, но внешне не напоминал кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Поселился он в комнате над кузницей, а столовался у Эй-Джей Смита.

Лиз Коутс прислуживала у Смитов. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что не видела девушки опрятнее Лиз. Ноги красивые, передник в мелкую клетку всегда чистый, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, всегда такое радостное, но он никогда не думал о ней.

А Лиз очень приглянулся Джим Гилмор. Ей доставляло удовольствие смотреть, как он идет из кузницы, и она часто подходила к двери кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Нравилась его блестящая улыбка и то, что он не похож на кузнеца. Нравилось, что он так по душе Эй-Джей Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе,

она заметила, что руки у него в черных волосах, а выше линии загара — в белых. И смутилась, осознав, что это ей нравится.

Городок Хортонс-Бей, расположившийся на шоссе между Бойн-Сити и Шарльвуа, насчитывал всего пять домов, если не считать лавки и почты с высоким декоративным фасадом, перед которой обычно стоял чей-нибудь фургон: дом Смита, дом Страуда, Фокса, Хортона и Ван Хусена. Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим ее сторонам фермы чередовались с лесом. Сразу за городком у дороги находилась методистская церковь, а чуть не доезжая до него — городская школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы.

Песчаная лесная дорога через лес круто спускалась с холма к бухте. С заднего крыльца Смитов открывался отличный вид и на лес, который уходил к бухте и огибал ее, и на само озеро. Особенно красиво лес и озеро выглядели весной и летом, когда бухта ярко синела на солнце, а за мысом почти всегда белели барашки, вызванные ветром, дувшим со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов Лиз видела далеко от берега баржи с рудой, направляющиеся в Бойн-

Сити. Когда она смотрела на них, они вроде бы были неподвижны, но если уходила в кухню, вытирала несколько тарелок и возвращалась на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом.

Лиз все время думала о Джиме Гилморе. Он как будто и не замечал ее. Разговаривал с Эй-Джей Смитом о своей кузнице, и о республиканской партии, и о Джеймсе Г. Блейне[1]. По вечерам при свете лампы читал в гостиной толедскую «Блейд» и газету Грэнд-Рэпидса или с Эй-Джей Смитом в бухте бил рыбу острогой. Осенью они со Смитом и Чарли Уайменом взяли фургон, загрузили в него палатку, провизию, винтовки, топоры, двух собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит четыре дня собирали им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить для Джима что-нибудь повкусней, но так и не сделала этого, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки и боялась, что миссис Смит застанет ее за стряпней. Миссис Смит, вероятно, промолчала бы, но Лиз все равно боялась.

---

[1] Примечания: 1

Блейн, Джеймс Гиллеспи/Blaine, James Gillespie (1830–1993) — американский политик-республиканец, член Палаты представителей, спикер Палаты представителей, сенатор США от штата Мэн и дважды госсекретарь США. Был кандидатом в президенты в 1884 году, но потерпел поражение с небольшим отрывом от демократа Гровера Кливленда.

Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него стало просто невмоготу. Она почти не спала — так много думала о нем, но поняла, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала волю мыслям. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она не спала вовсе, то есть она думала, что не спала, поскольку все перепуталось: то ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Завидев на дороге фургон, она ощутила слабость, и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дождаться этой встречи, ей казалось, едва он вернется, все образуется. Фургон остановился под высоким вязом; миссис Смит и Лиз вышли из дома. Все мужчины отрастили бороды, а в задней части фургона лежали три оленя, и их тонкие ноги торчали над бортом, как палки. Миссис Смит поцеловала Алонсо, он обнял ее. Джим поздоровался: «Привет, Лиз» — и улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно произойти, когда приедет Джим, но чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой — вот и все. Джим стянул с оленей холщовые мешки, и Лиз подошла посмотреть на животных. Одним из них был крупный самец. Он совсем закостенел, и его с трудом вытащили из фургона.

— Это ты его застрелил, Джим? — спросила Лиз.

— Я. А верно, красавец? — Джим взвалил оленя на спину и понес в коптильню.

В тот вечер Чарли Уаймен остался у Смитов. Все решили, что возвращаться в Шарльвуа слишком поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина.

— Не осталось ли чего в том горшке, Джимми? — спросил Эй-Джей Смит. Джим пошел к фургону — его закатили в сарай — и достал глиняный горшок с виски, который они брали с собой на охоту. Горшок вмещал четыре галлона, и на дне еще плескалось порядочно. Джим отхлебнул виски, возвращаясь от сарая к дому. Пить из такого большого горшка не так-то просто. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Мужчины заулыбались, когда он показался в дверях с горшком. Смит потребовал стаканы, и Лиз принесла их. Эй-Джей наполнил все три.

— За твое здоровье, Эй-Джей, — поднял свой Чарли Уаймен.

— За твоего чертова большого оленя, Джимми, — откликнулся Эй-Джей.

— За всех оленей, которых нам не удалось подстрелить, — добавил Джим и выпил.

— Лучше для мужчины нет!

— В это время года — лекарство от всех болезней.

— Ну как, парни, еще по одной?

— Твое здоровье, Эй-Джей.

— За оленей.

— За следующую охоту.

Джим пребывал в превосходном настроении. Ему нравился и вкус виски, и ощущения, которые возникали после пары стаканчиков. Он радовался возвращению домой, где все было: удобная кровать, горячая еда, кузница. Он выпил еще виски. К столу мужчины явились навеселе, но держали себя достойно. Лиз подала ужин, а потом села за стол вместе с остальными. Ужин был хороший. Мужчины сосредоточенно ели. После ужина они опять перешли в гостиную, а Лиз и миссис Смит убрали со стола. После миссис Смит ушла к себе на второй этаж, и Смит скоро вышел на кухню и тоже поднялся наверх. Джим и Чарли еще оставались в гостиной. Лиз сидела в кухне у плиты, делая вид, что читает, и думала о Джиме. Ей не хотелось ложиться спать, ведь она знала, что Джим пройдет через кухню, и ждала, чтобы увидеть его снова.

Она непрерывно думала о Джиме, и тут он вы-

шел на кухню. Глаза у него сияли, волосы слегка взлохматились. Лиз уставилась в книгу. Джим подошел к ее стулу сзади и остановился. Она слышала его дыхание, а потом он обнял ее. Груди Лиз напряглись и набухли, и соски отвердели под его пальцами. Лиз очень испугалась, ведь до сих пор никто к ней не притрагивался, но подумала: «Все-таки он пришел ко мне. Все-таки пришел».

Сердце ее сжималось от страха, и она не знала, что делать, а потом Джим крепко прижал ее к спинке стула и поцеловал. Ощущения были такие острые, жгучие, болезненные, что казалось — она этого не выдержит. Ощущать Джима за спиной было невыносимо, но потом внутри что-то щелкнуло, по телу разлилось мягкое тепло. Джим крепко и больно прижимал ее к стулу, но теперь она сама хотела этого, и Джим шепнул: «Пойдем прогуляемся».

Лиз сняла с гвоздя пальто, и они вышли из дома. Они то и дело останавливались, и Джим целовал и обнимал ее. Луны не было видно, они шли лесом, увязая по щиколотку в песке, к пристани и складам на берегу. Вода плескалась о сваи, по ту сторону бухты темнел мыс. Ночь выдалась холодной, но Лиз вся пылала, потому что Джим был рядом. Они сели под стеной склада,

и Джим привлек ее к себе. Она боялась. Одной рукой Джим расстегнул платье и гладил грудь, другая лежала у нее на коленях. Страх нарастал от незнания того, что он собирается делать, но Лиз придвинулась к нему ближе. Потом рука, тяжело лежавшая у нее на коленях, соскользнула и стала продвигаться выше.

— Не надо, Джим, — прошептала Лиз.

Рука двинулась дальше.

— Нельзя, Джим, нельзя. — Но Джим не слушал ее.

Она почувствовала под собой жесткие доски. Джим задрал ей платье и пытался что-то с ней сделать. Она боялась, но в то же время хотела этого.

— Нельзя этого делать, Джим. Нельзя.

— Нет, можно. Я хочу. Ты сама знаешь.

— Нет, Джим, не надо. Нельзя. Это нехорошо. Ой, это больно. Не смей! Ой, Джим. Джим. Ох.

Они лежали на жестких, шершавых и холодных досках пристани. Все тело затекло. Лиз попыталась столкнуть с себя спящего Джима, но не смогла. Кое-как выбравшись из-под него, она оправила юбку и пальто и наспех причесалась. Джим спал с приоткрытым ртом. Лиз наклонилась и поцеловала его в щеку. Он не проснулся.

Она приподняла его голову и потрясла ее. Голова скатилась набок, он сглотнул слюну. Лиз заплакала. Подошла к краю пристани и посмотрела в воду. С поверхности поднимался туман. Лиз стало холодно и тоскливо, и она чувствовала, что все кончилось. Вернулась туда, где лежал Джим, и потрепала его за плечо. Она все плакала.

— Джим, — позвала она. — Джим. Ну, пожалуйста, Джим.

Джим пошевелился и свернулся поудобнее. Лиз сняла пальто и укрыла Джима, заботливо и аккуратно подоткнув со всех сторон. Потом пошла через пристань по крутой песчаной дороге домой, спать. Со стороны бухты между деревьями наползал холодный туман.

В наше время

Эта книга с благодарностью посвящается
РОБЕРТУ МАКЭЛМОНУ И УИЛЬЯМУ БЕРДУ,
парижским издателям,
и
капитануЭРИКУ ЭДВАРДУ ДОРМАНУ-СМИТУ,
кавалеру Военного креста,
Его Величества пятой стрелковой дивизии

Глава первая

Все напились. Пьяная батарея продвигалась по дороге в темноте. Мы направлялись в Шампань. Лейтенант то и дело гнал коня в поле и твердил ему: «Я пьян, говорю тебе, mon vieux[2]. Ох, как же я набрался». Всю ночь мы ехали по дороге в темноте, и адъютант, когда оказывался рядом с моей кухней, твердил: «Ты должен его погасить. Это

[2] Примечания: 2
Старина*(фр.).*

опасно. Нас могут заметить». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанта тревожил огонь в моей кухне. Забавным выдался тот марш-бросок. Случилось это, когда я был старшим по кухне.

Глава вторая

Первому матадору рог угодил в руку с мечом, и толпа, улюлюкая, прогнала его. Второй матадор поскользнулся, и бык рогом пропорол ему живот, и он схватился за рог одной рукой, а другой зажимал рану, и бык ударил его о стену, и рог вышел из раны, и он лежал на песке, а потом поднялся, шатаясь, словно пьяный, и сопротивлялся людям, уносившим его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел мальчишка, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагалось, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва мог поднять руку. Он пытался прицелиться пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший, и взять верх могли оба, и, наконец, он нанес удар. Потом сел на песок, и его вырвало, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

Глава третья

За топкой низиной виднелись сквозь дождь торчащие над Адрианополем минареты. Вереница телег растянулась на все тридцать миль дороги на Карагач. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Только телеги, груженные скарбом. Старики и женщины, промокшие насквозь, шли рядом, подгоняя скотину. Марица, пожелтевшая, поднялась чуть ли не вровень с мостом. Телеги сплошь забили его, и верблюды, покачиваясь, двигались вместе с ними. Греческая кавалерия направляла колонну. На телегах среди матрацев, зеркал, швейных машин и узлов сидели женщины с детьми. Какая-то женщина рожала, и молоденькая девушка держала над ней одеяло и плакала. От одного взгляда на них становилось страшно. Дождь лил все время, пока продолжалась эвакуация.

Глава четвертая

Мы находились в каком-то саду в Монсе. Юный Бакли вернулся со своим патрулем с другого берега реки. Первый немец, которого я увидел, залезал на стену, которой был обнесен сад. Мы

дождались, когда он перекинет ногу, а потом завалили его. Обвешанный амуницией, он выглядел очень удивленным и рухнул в сад. Еще трое перелезали через стену чуть дальше. Их мы тоже подстрелили. Они все свалились в сад.

Глава пятая

День выдался обжигающе жарким. Мы соорудили на мосту просто бесподобную баррикаду. Баррикада получилась что надо. Большая, старая кованая чугунная решетка, раньше стоявшая перед домом. Такая тяжелая, что с места не сдвинуть, и мы могли стрелять сквозь нее, и им пришлось бы на нее карабкаться. Потрясающая баррикада. Они попытались перебраться через нее, и мы расстреливали их с расстояния в сорок ярдов. Они бросались на нее, и потом офицеры пошли одни и попытались свалить. Мы построили идеальную, совершенную преграду. Их офицеры держались великолепно. Мы ужасно расстроились, когда стало известно, что они прорвали фланг и нам придется отступить.

Глава шестая

Шестерых министров правительства в поло-

вине седьмого утра расстреляли у стены больницы. Во дворе стояли лужи. Мокрые опавшие листья налипли на брусчатку двора. Лил дождь. Все ставни на окнах больницы были наглухо закрыты. Один министр болел тифом. Двое солдат снесли его вниз и под дождь. Они пытались поставить его у стены, но он сползал в лужу дождевой воды. Остальные пятеро спокойно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его на ноги — пустая затея. При первом залпе он сидел в луже, уронив голову на колени.

Глава седьмая

Ник сидел, привалившись к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. Пулей задело позвоночник. Грязное лицо блестело от пота. Солнце светило в глаза. День выдался очень жарким. Ринальди, выставив широкую спину, ничком лежал у стены среди разбросанной амуниции. Ник блестящими глазами смотрел прямо перед собой. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла искореженная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца. Другие убитые — дальше по

улице. Бой в городе продолжался. Все шло хорошо. Санитары могли появиться в любой момент. Ник осторожно повернул голову и посмотрел вниз, на Ринальди. «Senta[3], Ринальди, senta. Мы оба заключили сепаратный мир. — Ринальди неподвижно лежал под лучами солнца и тяжело дышал. — Мы с тобой не патриоты». Ник перевел взгляд на дом напротив, насилу улыбнувшись. Ринальди в собеседники не годился.

Глава восьмая

Пока артиллерийские снаряды рвали в клочья окоп в Фоссальте, он лежал, прижимаясь к земле, потея, и молясь Иисусу Христу: «Дорогой Иисус, пожалуйста, вытащи меня отсюда. Христос, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Христос. Если ты убережешь меня от того, что меня убьют, я сделаю все, как ты велишь. Я верю в тебя и скажу всем и каждому на этом свете, что ты единственный, в кого нужно верить. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой Иисус». Артподготовка сместилась в глубину. Мы начали восстанавливать окоп, и утром взошло солнце, и день выдался теплым, и светлым, и спокойным. Следующим

---

[3] Примечания: 3
Послушай*(иск. ит.).*

вечером, вернувшись в Местре, он ничего не сказал об Иисусе той девушке, с которой поднялся наверх в «Вилла Росса». И никогда никому не говорил.

Глава девятая

В два часа ночи двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Гранд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда в «форде» из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из проулка. Бойл застрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в грузовике. Древитс испугался, когда увидел, что они убиты наповал.

— Черт, Джимми, — вырвалось у него. — Что же ты наделал! Из-за них теперь такой шум поднимется!

— Они же воры, так? — спросил Бойл. — Они итальяшки, так? Кто будет поднимать из-за них шум?

— Ну, может, на этот раз сойдет, — согласился Древитс, — но откуда ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— Они итальяшки, — уверенно заявил Бойл. — Я итальяшек за милю чую.

Глава десятая

Одним жарким вечером в Милане они вынесли его на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх крыш городских домов. В небе летали печные иглохвосты. Скоро стемнело, и зажглись прожекторы. Остальные ушли вниз и несли с собой бутылки. Он и Эг слышали их голоса внизу, на балконе. Эг присела на кровать, свежую и прохладную в жаркой ночи.

Эг уже три месяца дежурила по ночам. В этом ей охотно шли навстречу. Она сама готовила его к операции; и они придумали веселую шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался максимально долго не потерять контроля над собой, чтобы не наговорить лишнего в бреду. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он принялся сам разносить термометры, чтобы Эг могла не вставать с его кровати. Раненых было мало, и они знали обо всех. И все любили Эг. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Эг лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт,

они пошли в Duomo[4] и помолились. В тишине и сумраке. Кроме них были и другие молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для публичного оглашения предстоящего бракосочетания было слишком мало, и потом, у них не было свидетельств о рождении. Они чувствовали себя мужем и женой, и им хотелось, чтобы все знали об этом, но утратить того крепко их связывающего чувства не хотели.

Эг писала ему много писем, но получил он их только после перемирия, на фронте. Все пятнадцать, разложил по числам и разом прочел. В них она рассказывала о госпитале и о том, как сильно она его любит, и жить без него не может, и как тоскует по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет домой и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Эг не собиралась возвращаться до тех пор, пока он не получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Это означало, что он не должен пить, не будет встречаться ни с кем из своих приятелей и вообще ни с кем в Штатах. Прежде всего — найти работу и пожениться.

В поезде из Падуи в Милан они поссорились

---

[4] Примечания: 4
Собор*(ит.).*

из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На Миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не забылась. Его огорчало, что они так нехорошо расстались.

В Америку он отплыл из Генуи. Эг поехала в Торре-ди-Моста, где открывался новый госпиталь. Там ее встретили дождь и одиночество, и в городе квартировал батальон arditi[5]. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Эг. Раньше у нее не было знакомых итальянцев, и, в конце концов, она написала в Штаты, что их любовь была всего лишь детским увлечением. Она была огорчена, что он, вероятно, не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она надеется, что его ждет отличная карьера, и абсолютно верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Из Чикаго Эг так и не получила ответа на

---

[5] Примечания: 5
Храбрецы*(ит.).*

свое письмо. А он вскоре заразился гонореей от продавщицы из «Фэр»[6], катаясь в такси по Линкольн-парку.

Глава одиннадцатая

В 1919 году он путешествовал по железным дорогам Италии с квадратным куском клеенки из штаб-квартиры партии, исписанным химическим карандашом. Там указывалось, что он — товарищ, сильно пострадавший от белых в Будапеште[7], и предлагалось всем товарищам оказывать ему всемерное содействие. Этот кусок клеенки он использовал вместо железнодорожного билета. Очень застенчивого, совсем юного, проводники передавали его из одной бригады в другую. Денег у него не было, поэтому кормили его из-под прилавка станционных буфетов.

В Италии ему нравилось. Прекрасная страна, говорил он. И люди такие добрые. Он побывал во многих городах, неустанно бродил везде, смотрел картины. Покупал репродукции Джотто, Мазаччо

---

[6] Примечания: 6

«Фэр/Fair Store» — известный в Чикаго универмаг-дискаунтер. Открылся в 1874 г.

[7] Примечания: 7

Венгерская советская республика просуществовала с 21 марта по 1 августа 1919 г.

и Пьеро делла Франчески и носил их завернутыми в номер «Аванти»[8]. Мантенью[9] не любил.

В Болонье он прибыл в местную организацию, и я взял его с собой в Романью, куда мне требовалось поехать, чтобы свидеться с одним человеком. Поездка удалась. Стоял сентябрь, погода, как обычно, радовала. Он был венгром, очень милым и очень застенчивым. Хортисты[10] обошлись с ним крайне жестоко. Говорил он об этом мало. Несмотря на случившееся в Венгрии, свято верил в мировую революцию.

— Как обстоят дела с движением в Италии? — спросил он.

— Очень плохо, — ответил я.

— Но все изменится к лучшему, — улыбнулся он. — У вас есть все для этого. Это единственная

---

[8] Примечания: 8

«Аванти / Avanti» — итальянская газета, издается с 25 декабря 1896 г. Изначально создавалась как центральный орган Итальянской объединенной социалистической партии. В 1912–1914 гг. главным редактором газеты являлся Бенито Муссолини.

[9] Примечания: 9

Мантенья, Андреа / Andrea Mantegna (ок.1431–1506) — художник, в отличие от большинства других классиков итальянского Ренессанса, писал в жесткой и резкой манере.

[10] Примечания: 10

Хорти, Миклош / Horthy, Miklós (1868–1957), — правитель (регент) Венгерского королевства в 1920–1944 гг., адмирал. Разгромил Венгерскую советскую республику.

страна, в которой можно быть уверенным. Здесь будет отправная точка.

На это я ничего не ответил.

В Болонье мы попрощались. Он поехал на поезде в Милан, а потом в Аосту, чтобы через перевал попасть в Швейцарию. Я рассказал ему о работах Мантеньи, которые можно посмотреть в Милане. «Нет», — ответил он смущенно, он не любил Мантенью. Я написал ему, где в Милане можно поесть, и дал адреса товарищей. Он тепло меня поблагодарил, но в мыслях уже шагал через перевал. Очень хотел миновать его, пока стояла хорошая погода. Последнее, что я слышал о нем, меня не обрадовало: швейцарцы посадили его в тюрьму под Сьоном.

Глава двенадцатая

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремена, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели синеватым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился вскачь, подгоняемый monos[11], которые били его сзади по ногам прутьями. Судорожным галопом он проскакал

[11] Примечания: 11
Помощники матадора*(исп.).*

вдоль стены. Потом резко остановился, и один из mono взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

Глава тринадцатая

Толпа все время кричала и бросала на арену корки хлеба, а потом подушки и кожаные фляжки, не переставая свистеть и улюлюкать. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, подогнул колени и лег на песок, и один из cuadrilla[12] склонился над ним и убил его ударом puntillo[13]. Толпа бросилась через ограду и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, а потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Потом я видел матадора в кафе. Маленького роста, смуглолицего и изрядно пьяного. Он говорил: «В конце концов, такое не раз случалось.

---

[12] Примечания: 12

В корриде команда матадора, члены которой помогают ему во время боя быков*(исп.).*

[13] Примечания: 13

Кинжал, которым приканчивают быка*(исп.).*

Если на то пошло, я не такой хороший тореро».

Глава четырнадцатая

Если это происходило близко от ограды и прямо напротив вас, вы хорошо видели, как Вильялта дразнит и клянет быка, и когда тот кидался, Вильялта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб при порыве ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету, и шпага пряталась за ней, повторяя ее движения. Потом он клял быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал ею дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для завершающего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Вильялты, не спускал с него глаз. Вильялта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, нацелив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Вильялта кидался, и на один миг они становились одним целым. Вильялта сливался с быком, и на том все заканчивалось. Вильялта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между плечами быка. Вильялта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык ревел, захлебываясь

кровью, глядя прямо на Вильялту, и ноги его подкашивались.

Глава пятнадцатая

Я услышал приближающийся бой барабанов, который доносился с улицы, а потом рожки и дудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали, запрудив всю улицу. Маэра увидел его, а потом и я. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, что пьяный.

Спустись ты к нему, предложил Маэра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках, дожидаясь, когда музыка зазвучит вновь, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луис. Побойся бога, тебе сегодня выходить на арену. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

Я настаивал: не валяй дурака, Луис. Идем в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пустился в пляс. Я схватил его за руку, а он вырвался и крикнул: да оставь

ты меня в покое. Нашелся папаша.

Я вернулся в отель, а Маэра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, согласился Маэра, а кто будет убивать его быков, после того как его поднимут на рога?

Мы, надо полагать, ответил я.

Да, мы, кивнул Маэра. Мы будем убивать быков за них, и за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем их убивать. Конечно, мы будем их убивать. Да. Да. Да.

Глава шестнадцатая

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. От крови под ним все стало теплым и липким. Он всякий раз чувствовал приближение рога. Иногда бык только толкал его головой. Однажды рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащом перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене к ограде, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку,

и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из кораля, где зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все вокруг увеличивается и увеличивается, а потом уменьшается и уменьшается. Потом опять увеличивается, увеличивается и увеличивается, и снова уменьшается и уменьшается. Вдруг все побежало мимо, быстрей и быстрей, — как при перемотке кинопленки. И он умер.

Глава семнадцатая

Сэма Кардинелью повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Высоком и узком, с камерами по обе стороны. И ни одна не пустовала. Осужденных привезли сюда, чтобы повесить. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Среди них — трое негров. Они очень боялись. Один белый сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову в одеяло.

К виселице они вышли через дверь в стене. Шестеро или семеро, считая обоих священников. Сэма Кординелью пришлось нести. В таком состоянии он пребывал с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника что-то шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой, — говорил один.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинельи началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Как насчет стула, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Лучше принести, — ответил какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, очень тяжелый, из дуба и стали, который откидывался, поворачиваясь на шарикоподшипниках, на нем остался Сэм Кардинелья, сидевший на стуле, крепко связанный: младший из священников стоял рядом с ним на коленях. Он отпрыгнул на помост в самую последнюю секунду перед тем, как откинули люк.

Глава восемнадцатая

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы прошлись по саду. Вот королева, указал он. Королева подрезала розовый куст. Добрый день, поздоровалась она. Мы сели за стол

под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. Хороший виски у нас пока еще есть, признался мне король. Сказал, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. Пластирас[14], по-видимому, порядочный человек, отметил король, но ладить с ним нелегко. Я думаю, он правильно сделал, расстреляв этих молодцов. Если бы Керенский расстрелял кое-кого, все могло пойти совсем по-другому. Конечно, в таких делах самое главное — чтобы тебя самого не расстреляли!

Мы очень весело провели время. Долго разговаривали. Как все греки, король хотел попасть в Америку.

[14] Примечания: 14

Пластирас, Николаос (1883–1953) — военный и политический деятель Греции, генерал. После поражения Греции в войне с Турцией вместе с другими офицерами устроил переворот против короля Греции Константина I и его правительства.

В наше время (1925 и 1930)

ПосвящаетсяХЭДЛИ РИЧАРДСОН ХЕМИНГУЭЙ
Девушка в Чикаго: «Расскажи нам о французских женщинах, Хэнк. Какие они?»
Билл Смит: «Сколько лет французским женщинам, Хэнк?»

В порту Смирны

Очень удивительно, сказал он, что кричат они всегда в полночь. Не знаю, почему они кричали именно в этот час. Мы были в гавани, а они все на молу, и в полночь они начинали кричать. Чтобы успокоить их, мы наводили на них прожектор. Это действовало без отказа. Мы раза два освещали мол из конца в конец, и они утихали.

Однажды, когда я был начальником команды, работавшей на молу, ко мне подошел турецкий офицер и, задыхаясь от ярости, заявил, что наш матрос нагло оскорбил его. Я заверил его, что матрос будет отправлен на борт и строго наказан. Я попросил указать мне виновного. Он указал на одного безобиднейшего парня из орудийного расчета. Повторил, что тот нагло оскорбил его, и не единожды, а много раз; говорил же он со мной через переводчика. Мне не верилось, что матрос мог так хорошо знать турецкий язык, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное. Я вызвал его и сказал:

— Это на случай, если ты разговаривал с кем-нибудь из турецких офицеров.

— Я ни с одним из них не разговаривал, сэр.

— Не сомневаюсь, — сказал я, — но ты все-таки ступай на корабль и до завтра не сходи на берег.

Потом я сообщил турку, что матрос отправлен на корабль, где его ждет суровое наказание. Можно сказать — жестокое. Он чрезвычайно обрадовался, и мы дружески разговорились. Хуже всего, сказал он, — это женщины с мертвыми детьми.

Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней. Ни за что не отдавали. Мы ничего не могли поделать. Приходилось в конце концов отнимать их. И еще я видел старуху — необыкновенно странный случай. Я говорил о нем одному врачу, и он сказал, что я это выдумал. Мы очищали мол, и нужно было убрать мертвых, а старуха лежала на каких-то самодельных носилках. Мне сказали: «Хотите посмотреть на нее, сэр?» Я посмотрел, и в ту же минуту она умерла и сразу окоченела. Ноги ее согнулись, туловище приподнялось, и так она и застыла. Как будто с вечера лежала мертвая. Она была совсем мертвая и негнущаяся. Когда я рассказал доктору про старуху, он заявил, что этого быть не может.

Все они теснились на молу, но не так, как бывает во время землетрясения или в подобных

случаях, потому что они не знали, что придумает старый турок. Они не знали, что он может сделать. Помню, как нам запретили входить в гавань для очистки мола от трупов. В то утро у входа в гавань мне было очень страшно. Орудий у него хватало, и ему ничего не стоило выкинуть нас вон. Мы решили войти, подтянуться вплотную к молу, бросить оба якоря и открыть огонь по турецкой части города. Они выкинули бы нас вон, но мы разнесли бы город. Когда мы вошли в гавань, они обстреляли нас холостыми зарядами. Кемаль прибыл в порт и сместил турецкого коменданта. За превышение власти или что-то в этом духе. Слишком много взял на себя. Могла бы выйти прескверная история.

Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах! Впервые в жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам.

Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Ко-

гда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей.

Глава первая
Индейский поселок

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: «Я пьян, топ vieux[15]*, я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я». Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. Нас заметят». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне.*

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в

---

[15] Примечания: 15
Старина*(фр.).*

тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А… — сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил их лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще несколько собак кинулись на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута набок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник, — сказал он, — у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю, — сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь, — сказал отец. — Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит,

когда она кричит.

— Понимаю, — сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа, — сказал Ник, — разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств, — ответил отец. — Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть, — сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас

увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж, — сказал он, — я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик, — сказал он. — Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего, — сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все, — сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

— Ну, — сказал отец, — теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и ин-

дейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж, — сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра, — сказал доктор. — Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж, — сказал он. — Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну еще бы, ты у нас знаменитый хирург, — сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях, — сказал отец Ника. — Хотя, должен сказать, он это перенес на ред-

кость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

— Уведи Ника, Джордж, — сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник, — сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло. — Надо ж было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них родятся дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный случай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?
— Нет, Ник. Не очень.
— А женщины?
— Еще реже.
— Никогда?
— Ну, иногда случается.
— Папа!
— Да?
— Куда пошел дядя Джордж?
— Он сейчас придет.
— Трудно умирать, папа?
— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке: Ник — на корме, отец — на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет.

Глава вторая
Доктор и его жена

За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карачаг была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась, желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь.

Дик Болтон явился из индейского лагеря, чтобы распилить бревна для отца Ника. Он привел с собой сына Эдди и еще одного индейца по имени Билли Тэбешо. Они пришли из леса, через заднюю

калитку. Эдди нес длинную поперечную пилу, и она с мелодичным звуком хлопала его по плечу. Билли Тэбешо тащил два больших багра. Дик нес под мышкой три топора.

Дик задержался, чтобы прикрыть калитку. Остальные сразу направились на берег озера, где лежали занесенные песком бревна.

Они отбились от больших бонов, которые буксировал на лесопильню пароход «Мэджик». Бревна вынесло на берег, и если оставить их лежать, рано или поздно команда «Мэджика» приплывет на гребной шлюпке, заметит бревна, загонит в каждое по железному костылю с кольцом и вытащит их на середину озера, чтобы собрать новый бон. Однако лесорубы могут и не появиться, ведь несколько бревен не стоят денег, которые нужно заплатить команде. И если никто не придет, бревна превратятся в топляк и сгниют на песке.

Отец Ника считал, что так и будет, а потому нанял индейцев, чтобы те распилили бревна поперечной пилой и накололи поленьев для камина. Дик Болтон миновал дом и спустился к озеру. На берегу лежали четыре больших буковых бревна, почти полностью занесенные песком. Эдди повесил пилу в развилку дерева.

Дик положил топоры на небольшую пристань. Он был полукровкой, и многие местные фермеры считали его белым. Он был очень ленив, но если брался за дело, трудился на совесть. Дик достал из кармана плитку табака, откусил кусок и заговорил на оджибве с Эдди и Билли Тэбешо.

Индейцы воткнули крючья багров в одно из бревен и раскачали его, чтобы высвободить из песка. Потом навалились на рукоятки. Бревно сдвинулось. Дик посмотрел на отца Ника и сказал:

— Отличную древесину ты своровал, док.

— Не надо так говорить, Дик, — возразил доктор. — Это плавник.

Эдди и Билли Тэбешо высвободили бревно из мокрого песка и откатили к воде.

— Толкайте в воду! — крикнул им Дик Болтон.

— Зачем это? — спросил доктор.

— Нужно его отмыть. Песок мешает пилить. И я хочу поглядеть, чье оно, — ответил Дик.

Бревно покачивалось на воде. Эдди и Билли Тэбешо стояли, опершись на багры, потея на солнце. Дик опустился на колени, изучил отпечаток молотка сортировщика на конце бревна.

— Оно принадлежит Уайту и МакНэлли, — объявил он, поднимаясь и отряхивая брюки.

Доктор явно чувствовал себя неловко.

— Значит, не стоит его пилить, Дик, — бросил он.

— Не сердись, док, — сказал Дик. — Не сердись. Мне плевать, у кого ты их украл. Это не мое дело.

— Если ты думаешь, что бревна краденые, оставь их в покое и убирайся обратно в лагерь, — рявкнул доктор. Его лицо покраснело.

— Не кипятись, док, — сказал Дик и сплюнул табачным соком на бревно. Слюна стекла в воду, расплылась. — Ты сам прекрасно знаешь, что они краденые. Мне все равно.

— Ну ладно. Раз ты думаешь, что бревна краденые, забирай свои вещи и проваливай.

— Послушай, док…

— Забирай вещи и проваливай.

— Док.

— Еще раз назовешь меня доком, и я вколочу твои зубы тебе в глотку.

— Это вряд ли, док.

Дик Болтон посмотрел на доктора. Дик был крупным парнем и знал это. Ему нравилось драться. Он наслаждался ссорой. Эдди и Билли Тэбешо стояли, опершись на багры, и глядели на доктора. Доктор пожевал бороду на нижней губе, посмотрел на Дика Болтона. Потом развернулся и

зашагал к дому на холме. Спина доктора буквально дрожала от ярости. Индейцы провожали его взглядом, пока он не скрылся в доме.

Дик сказал что-то на оджибве. Эдди рассмеялся, но Билли Тэбешо был очень серьезен. Он не понимал по-английски, однако потел все время, пока шла перепалка. Билли Тэбешо был толстым, с жиденькими, как у китайца, усиками. Он взял багры, Дик захватил топоры, а Эдди снял с дерева пилу. Они прошли мимо дома и вышли через заднюю калитку. Дик оставил калитку распахнутой. Билли Тэбешо вернулся и притворил ее. Индейцы скрылись в лесу.

Доктор сидел на постели в своей комнате и смотрел на стопку медицинских журналов, лежавших на полу возле конторки. Журналы были в упаковке. Это злило доктора.

— Ты не собираешься вернуться к работе, дорогой? — спросила жена доктора, которая лежала в комнате с закрытыми жалюзи.

— Нет!

— Что-то стряслось?

— Я поругался с Диком Болтоном.

— О. Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

— Нет, — ответил доктор.

— Помни, что владеющий собою лучше завоева-

теля города[16], — сказала его жена. Она изучала христианство. На столике возле ее кровати лежали Библия, книга «Наука и здоровье» и брошюра «Христианская наука».

Доктор промолчал. Он сидел на постели и чистил дробовик. Заполнил магазин тяжелыми желтыми патронами, потом разрядил оружие. Патроны рассыпались по одеялу.

— Генри, — позвала жена. Немного подождала. — Генри!

— Да, — откликнулся доктор.

— Ты ведь не сказал Болтону ничего обидного?

— Нет.

— А из-за чего вышла ссора?

— Из-за ерунды.

— Пожалуйста, скажи, Генри. Не пытайся ничего от меня скрыть. Из-за чего вышла ссора?

— Дик должен мне кучу денег, потому что я вылечил его скво от пневмонии. Думаю, он затеял ссору, чтобы не отрабатывать их.

Его жена молчала. Доктор тщательно вытер дробовик ветошью. Снова заполнил магазин патронами. И сидел, держа дробовик на коленях. Он очень любил его. Потом жена сказала из темной

---

[16] Примечания: 16
Притч. 16:32.

комнаты:

— Дорогой, я не верю, действительно не верю, что кто-то способен на такой поступок.

— Да? — спросил доктор.

— Да. Я не могу поверить, что кто-то может поступить так осознанно.

Доктор поднялся и поставил дробовик в угол за комодом.

— Ты уходишь, дорогой? — сказала жена.

— Пройдусь, пожалуй, — ответил доктор.

— Если встретишь Ника, передай, что его хотела видеть мама, — попросила она.

Доктор вышел на крыльцо, хлопнув сетчатой дверью. Услышал, как ахнула жена.

— Прости, — сказал он под ее окном с закрытыми жалюзи.

— Все в порядке, дорогой, — ответила она.

Под палящим солнцем он вышел за калитку и по тропинке углубился в тсуговый лес. Даже в жаркий день там было прохладно. Он нашел Ника, который сидел, прислонившись к дереву, и читал книгу.

— Мать хочет видеть тебя, — сказал доктор.

— Я хочу пойти с тобой, — ответил Ник.

Отец посмотрел на него.

— Ладно, пошли, — сказал он. — Дай мне книгу,

я положу ее в карман.

— Папа, я знаю, где живут черные белки, — сообщил Ник.

— Что ж, — ответил отец, — пойдем посмотрим.

Глава третья
Что-то кончилось

Мы попали в какой-то сад в Монсе. Бакли вернулся со своим патрулем с того берега реки. Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу по нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись.

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту пришли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был

забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей — городом.

Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты.

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели.

— А вот и наши развалины, Ник, — сказала Марджори.

Занося весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника.

— Да, они самые, — сказал он.

— Ты помнишь, когда тут был завод? — спросила Марджори.

— Смутно, — сказал Ник.

— Похоже скорее, будто тут стоял замок, — сказала Марджори.

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту.

— Не клюет, — сказал он.

— Да, — сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником.

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробинок. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель.

— Кормятся, — сказала Марджори.

— Да, но клёва-то нет, — сказал Ник.

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал

грести к мысу. Марджори начала наматывать леску на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега.

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. Окуни плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджори все еще шарила руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке.

— Брюшной плавник не надо срезать, — сказал он. — Для наживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше.

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилища на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка.

— Ну, кажется, так! — крикнул он.

— Бросать? — спросила Марджори, взяв леску в руку.

— Да, бросай.

Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду.

Она снова подъехала к берегу и проделала то же

самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, размотает за собой леску, предохранитель опустится, и катушка зазвенит.

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лески. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше на песок.

— Что с тобой, Ник? — спросила Марджори.

— Не знаю, — ответил Ник, собирая хворост для костра.

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между костром и озером.

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди — залив с устьем Хортонс-Крика. Стемнеть

еще не успело. Свет от костра доходил до воды. Им были видны два стальных удилища, поставленных под углом к темной воде. Свет от костра поблескивал на катушках.

Марджори достала из корзинки еду.

— Мне не хочется, — сказал Ник.

— Поешь чего-нибудь, Ник.

— Ну, давай.

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде.

— Сегодня будет луна, — сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна.

— Да, я знаю, — сказала Марджори счастливым голосом.

— Ты все знаешь, — сказал Ник.

— Перестань, Ник. Ну пожалуйста, не будь таким.

— А что я могу поделать? — сказал Ник. — Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь.

Марджори ничего не ответила.

— Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?

— Перестань! — сказала Марджори. — Вон луна

выходит.

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна.

— Зачем выдумывать глупости? — сказала Марджори. — Говори прямо, что с тобой?

— Не знаю.

— Нет, знаешь.

— Нет, не знаю.

— Ну скажи мне.

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов.

— Скучно.

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину.

— Скучно. Все стало скучно.

Она молчала. Он снова заговорил:

— У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.

Он все еще смотрел ей в спину.

— И любить скучно? — спросила Марджори.

— Да, — сказал Ник.

Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки.

— Я возьму лодку, — крикнула ему Марджори.

— Ты можешь пройти пешком вдоль мыса.

— Хорошо, — сказал Ник. — Я тебе помогу.

— Не надо, — сказала Марджори.

Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори работает веслами.

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из леса. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся до него.

— Ну что, ушла?

— Да, — сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло.

— Устроила сцену?

— Никаких сцен не было.

— Ну а ты как?

— Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь.

Билл выбрал себе сэндвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки.

Глава четвертая
Трехдневная непогода

Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка — с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а им пришлось бы перелезать. Шикарная баррикада. Они было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов. Они брали ее приступом, а потом офицеры одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто рассвирепели, когда узнали, что правый фланг отошел и нам придется отступать.

Когда Ник свернул на дорогу, проходившую через фруктовый сад, дождь кончился. Фрукты были уже собраны, и осенний ветер шумел в голых ветках. Ник остановился и подобрал яблоко, блестевшее от дождя в бурой траве у дороги. Он положил яблоко в карман куртки. Из сада дорога вела на вершину холма. Там стоял коттедж, на

крыльце было пусто, из трубы шел дым. За коттеджем виднелись гараж, курятник и молодая поросль, поднимавшаяся точно изгородь на фоне леса. Он взглянул в ту сторону — большие деревья раскачивались вдалеке на ветру. Это была первая осенняя буря.

Когда Ник пересек поле за садом, дверь отворилась, и из коттеджа вышел Билл. Он остановился на крыльце.

— А-а, Уимидж, — сказал он.

— Хэлло, Билл, — сказал Ник, поднимаясь по ступенькам.

Они постояли на крыльце, глядя на озеро, на сад, на поля за дорогой и поросший лесом мыс. Ветер дул прямо с озера. С крыльца им был виден прибой у мыса Тен-Майл.

— Здорово дует, — сказал Ник.

— Это теперь на три дня, — сказал Билл.

— Отец дома? — спросил Ник.

— Нет. Ушел на охоту. Пойдем в комнаты.

Ник вошел в коттедж. В камине ярко горели дрова. Пламя с ревом рвалось в трубу. Билл захлопнул дверь.

— Выпьем? — сказал он.

Он сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами и кувшином воды. Ник достал с полки над

камином бутылку виски.

— Ничего? — спросил он.

— Давай, давай, — сказал Билл.

Они сидели у камина и пили ирландское виски с водой.

— Приятно отдает дымком, — сказал Ник и посмотрел через стакан на огонь.

— Это от торфа, — сказал Билл.

— Торф не может попасть в виски, — сказал Ник.

— Это ничего не значит, — сказал Билл.

— А ты видел когда-нибудь торф? — спросил Ник.

— Нет, — сказал Билл.

— И я не видел, — сказал Ник.

Ник протянул ноги к самому огню, и от его башмаков пошел пар.

— Ты бы разулся, — сказал Билл.

— Я без носков.

— Сними башмаки и просуши, а я дам тебе какие-нибудь носки, — сказал Билл. Он поднялся на чердак, и Ник слышал, как он ходит там наверху. Чердак был под самой крышей, и Билл с отцом и сам Ник иногда спали там. К чердаку примыкал чулан. Они отодвигали койки от того места, где крыша протекала, и застилали их прорезинен-

ными одеялами.

Билл вернулся с парой толстых шерстяных носков.

— Теперь уже поздновато ходить на босу ногу, — сказал он.

— Терпеть не могу влезать в них после лета, — сказал Ник. Он натянул носки и, откинувшись на спинку стула, положил ноги на экран перед камином.

— Смотри продавишь, — сказал Билл.

Ник переложил ноги на выступ камина.

— Есть что-нибудь почитать? — спросил он.

— Только газета.

— Как дела у «Кардиналов»?

— Проиграли подряд две игры «Гигантам».

— Ну, теперь им крышка.

— Нет, на этот раз просто поддались, — сказал Билл. — До тех пор пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в лиге, им бояться нечего.

— Ну, всех-то не скупишь, — сказал Ник.

— Кого нужно, покупает, — сказал Билл, — или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и лига с радостью сплавляет их ему.

— Как было с Хайни Зимом, — подтвердил Ник.

— Много ему проку будет от этой дубины.

Билл встал.

— Он здорово бьет, — сказал Ник. Жар от огня припекал ему ноги.

— Хайни Зим неплох на защите, — сказал Билл. — А все-таки команда из-за него проигрывает.

— Может, поэтому Мак Гроу и держится за Хайни, — сказал Ник.

— Может быть, — согласился Билл.

— Нам с тобой ведь не все известно, — сказал Ник.

— Ну конечно. Хотя для нашей дыры мы не так уж плохо осведомлены.

— Все равно как на скачках: лучше ставить на лошадей, когда их в глаза не видел.

— Вот именно.

Билл взял бутылку виски. Его большая рука охватила всю бутылку. Он налил виски в протянутый Ником стакан.

— Сколько воды?

— Столько же.

Он сел на пол рядом со стулом Ника.

— А хорошо, когда начинается осенняя буря, — сказал Ник.

— Замечательно.

— Самое лучшее время года, — сказал Ник.

— Вот уж не согласился бы жить сейчас в городе, — сказал Билл.

— А я хотел бы посмотреть «Уорлд Сириз», — сказал Ник.

— Ну-у, они теперь играют только в Филадельфии да в Нью-Йорке, — сказал Билл. — Нам от этого ни тепло ни холодно.

— Все-таки интересно, возьмут когда-нибудь «Кардиналы» первенство или нет?

— Как же, дожидайся! — сказал Билл.

— Вот бы обрадовались ребята! — сказал Ник.

— Помнишь, как они разошлись тогда, перед тем как попали в крушение?

— Да-а! — сказал Ник.

Билл потянулся за книгой, которая лежала заглавием вниз на столе у окна, там, куда он положил ее, когда пошел к двери. Прислонившись спиной к стулу Ника, он держал в одной руке стакан, в другой — книгу.

— Что ты читаешь?

— «Ричарда Феверела».

— А я не одолел его.

— Хорошая книга, — сказал Билл. — Неплохая книга, Уимидж.

— А что у тебя есть, чего я еще не читал? — спросил Ник.

— «Любовь в лесу» читал?

— Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?

— Хорошая книга, Уимидж.

— Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча? Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не помешает.

— Это символ, — сказал Билл.

— Наверно, — сказал Ник. — Только здравого смысла в этом ни на грош.

— А «Отвагу» ты читал?

— Вот это интересно! — сказал Ник. — Настоящая книга. Это где его отец все время донимает. У тебя есть что-нибудь еще Хью Уолпола?

— «Темный лес», — сказал Билл. — Про Россию.

— А что он смыслит в России? — спросил Ник.

— Не знаю. Кто их разберет, этих писателей. Может, он жил там еще мальчишкой. Там много всего про Россию.

— Вот бы с ним познакомиться, — сказал Ник.

— А я бы хотел познакомиться с Честертоном, — сказал Билл.

— Если бы он был сейчас здесь, — сказал Ник, — мы бы взяли его завтра на рыбалку в Вуа.

— А может, он не захотел бы пойти на рыбалку? — сказал Билл.

— Еще как захотел бы, — сказал Ник. — Он же замечательный малый. Помнишь «Перелетный кабак»?

Если ангел нам предложит
Воду пить, а не вино, —
Мы поклонимся учтиво
И плеснем ее в окно.

— Правильно, — сказал Ник. — По-моему, он лучше Уолпола.

— Еще бы. Конечно, лучше, — сказал Билл.

— Но Уолпол пишет лучше.

— Не знаю, — сказал Ник. — Честертон классик.

— Уолпол тоже классик, — не сдавался Билл.

— Хорошо бы, они оба были здесь, — сказал Ник. — Мы бы взяли их завтра на рыбалку в Вуа.

— Давай напьемся, — сказал Билл.

— Давай, — согласился Ник.

— Мой старик ругаться не будет, — сказал Билл.

— Ты в этом уверен? — сказал Ник.

— Ну конечно, — сказал Билл.

— А я и так уже немного пьян, — сказал Ник.

— Ничего подобного, — сказал Билл.

Он встал с пола и взял бутылку. Ник подставил ему свой стакан. Он не сводил с него глаз, пока Билл наливал виски. Билл налил стакан до половины.

— Воды сам добавь, — сказал он. — Тут еще только на одну порцию.

— А больше нет? — спросил Ник.

— Есть сколько хочешь, только отец не любит, когда я починаю бутылку.

— Ну конечно, — сказал Ник.

— Он говорит: те, кто починает бутылки, в конце концов спиваются, — пояснил Билл.

— Правильно, — сказал Ник. Это произвело на него большое впечатление. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он всегда думал, что спиваются те, кто пьет в одиночку.

— А как поживает твой отец? — почтительно спросил он.

— Ничего, — сказал Билл. — Правда, иногда на него находит.

— Он у тебя молодчина, — сказал Ник. Он подлил себе в стакан воды из кувшина. Виски медленно смешивалось с водой. Виски было больше, чем воды.

— Что и говорить, — сказал Билл.

— Мой старик тоже неплохой, — сказал Ник.

— Ну еще бы, — сказал Билл.

— Он уверяет, что никогда в жизни не брал в рот спиртного, — сказал Ник торжественным тоном, точно сообщая о факте, имеющем непосредственное отношение к науке.

— Да, но ведь он доктор. А мой старик — художник. Это совсем другое дело.

— Мой много потерял в жизни, — с грустью сказал Ник.

— Кто его знает, — сказал Билл. — Неизвестно, где найдешь, где потеряешь.

— Он сам говорит, что много потерял, — признался Ник.

— Моему тоже нелегко приходилось, — сказал Билл.

— Значит, один черт, — сказал Ник.

Они смотрели на огонь и размышляли над этой глубокой истиной.

— Пойду принесу полено с заднего крыльца, — сказал Ник. Глядя в камин, он заметил, что огонь начинает гаснуть. Кроме того, ему хотелось доказать, что он умеет пить и не терять здравого смысла. Пусть отец никогда не брал спиртного в рот, Билл все равно не напоит его — Ника, пока сам не напьется.

— Выбери из буковых потолще, — сказал Билл. Он тоже был полон здравого смысла.

Ник возвращался с поленом через кухню и по пути сшиб с кухонного стола кастрюлю. Он положил полено на пол и поднял ее. В кастрюле были замочены сушеные абрикосы. Он старательно подобрал с пола все абрикосы — несколько штук закатилось под плиту — и положил их обратно в кастрюлю. Он подлил в абрикосы воды из стоящего рядом ведра. Он гордился собой. Здравый смысл ни на минуту не изменял ему. Он подошел с поленом к камину. Билл встал и помог ему положить полено в огонь.

— Полено первый сорт, — сказал Ник.

— Я берег его на случай плохой погоды, — сказал Билл. — Такое всю ночь будет гореть.

— И к утру горячие угли останутся на растопку, — сказал Ник.

— Верно, — согласился Билл. Разговор шел в самом возвышенном тоне.

— Выпьем еще, — сказал Ник.

— В буфете должна быть еще одна початая бутылка, — сказал Билл.

Он присел перед буфетом на корточки и достал оттуда квадратную бутылку.

— Шотландское, — сказал он.

— Пойду за водой, — сказал Ник. Он снова ушел на кухню. Он зачерпнул ковшиком холодной родниковой воды из ведра и налил ее в кувшин. На обратном пути он прошел в столовой мимо зеркала и посмотрелся в него. Узнать себя было трудно. Он улыбнулся лицу в зеркале, и оно ухмыльнулось в ответ. Он подмигнул ему и пошел дальше. Лицо было не его, но это не имело никакого значения.

Билл уже налил виски в стаканы.

— Не многовато ли? — сказал Ник.

— Это нам-то с тобой, Уимидж? — сказал Билл.

— За что будем пить? — спросил Ник, поднимая стакан.

— Давай выпьем за рыбную ловлю, — сказал Билл.

— Хорошо, — сказал Ник. — Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

— Везде и всюду, — сказал Билл. — Где бы ни ловили.

— Рыбная ловля, — сказал Ник. — Пьем за рыбную ловлю!

— А она лучше, чем бейсбол, — сказал Билл.

— Какое же может быть сравнение? — сказал Ник. — Как мы вообще могли говорить о бейсболе?

— Это была ошибка с нашей стороны, — сказал Билл. — Бейсбол — это игра для деревенщины.

Они допили стаканы до дна.

— Теперь выпьем за Честертона.

— И за Уолпола, — подхватил Ник.

Ник налил виски Биллу и себе. Билл подлил в виски воды. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали себя превосходно.

— Джентльмены! — сказал Билл. — Да здравствуют Честертон и Уолпол.

— Принято, джентльмены, — сказал Ник.

Они выпили. Билл снова налил стаканы. Они сидели в глубоких креслах перед камином.

— Это было очень умно с твоей стороны, Уимидж.

— О чем ты? — спросил Ник.

— О том, что ты порвал с Мардж, — сказал Билл.

— Да, пожалуй, — сказал Ник.

— Так и следовало сделать. Если бы ты не сделал этого, пришлось бы тебе уехать домой, работать и копить деньги на женитьбу.

Ник молчал.

— Раз уж человек женился, пропащее дело, — продолжал Билл. — Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел

женатых?

Ник молчал.

— Женатого сразу узнаешь, — сказал Билл. — У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка.

— Правильно, — сказал Ник.

— Может, это было нехорошо, порывать так сразу, — сказал Билл. — Но ведь всегда найдешь, в кого влюбиться, и все будет в порядке. Влюбляйся, только не позволяй им портить тебе жизнь.

— Да, — сказал Ник.

— Если бы ты женился на ней, тебе бы досталась в придачу вся их семья. Вспомни только ее мать и этого типа, за которого она вышла замуж.

Ник кивнул.

— Торчали бы они целыми днями у тебя в доме, а тебе пришлось бы ходить к ним по воскресеньям обедать и приглашать их к себе, а она все время учила бы Мардж, что надо делать и чего не надо.

Ник сидел молча.

— Ты еще легко отделался, — сказал Билл. — Теперь она может выйти замуж за кого-нибудь, кто ей под пару, обзаведется семьей и будет счастлива. Масла с водой не смешаешь, и в этих делах тоже ничего не следует мешать. Все равно как

если бы я женился на Айде, которая служит у Стрэттонов. Она, наверно, была бы не прочь.

Ник молчал. Опьянение прошло и оставило его наедине с самим собой. Не было здесь Билла. Сам он не сидел перед камином, не собирался идти завтра на рыбалку с Биллом и его отцом. Он не был пьян. Все прошло. Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Наверное, никогда не увидит. Все ушло, кончилось.

— Выпьем еще, — сказал Ник.

Билл налил виски. Ник подбавил в стаканы немного воды.

— Если бы ты не покончил со всем этим, мы бы не сидели сейчас здесь, — сказал Билл.

Это было верно. Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать.

— Мы бы, наверно, и на рыбную ловлю завтра не пошли, — сказал Билл. — Нет, ты правильно поступил.

— А что я мог с собой поделать? — сказал Ник.

— Знаю. Так всегда бывает, — сказал Билл.

— Вдруг все кончилось, — сказал Ник. — Почему так получилось, не знаю. Я ничего не мог с собой поделать. Все равно как этот ветер: налетит — и в три дня не оставит ни одного листка на деревьях.

— Кончилось и кончилось. Это самое главное, — сказал Билл.

— По моей вине, — сказал Ник.

— По чьей вине, это не важно, — сказал Билл.

— Да, верно, — сказал Ник.

Самое главное было то, что Марджори ушла и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, в которых они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял.

— Кончилось, и точка, а остальное пустяки, — сказал Билл. — Знаешь, Уимидж, я очень за тебя беспокоился, пока это тянулось. Ты правильно поступил. Ее мамаша на стену лезет от досады. Она всем говорила, что вы помолвлены.

— Мы не были помолвлены, — сказал Ник.

— А говорят, что были.

— Я тут ни при чем, — сказал Ник. — Мы не были помолвлены.

— Разве вы не собирались пожениться? — спро-

сил Билл.

— Собирались. Но мы не были помолвлены, — сказал Ник.

— Тогда какая разница? — скептически спросил Билл.

— Не знаю. Разница все-таки есть.

— Я ее не вижу, — сказал Билл.

— Ладно, — сказал Ник. — Давай напьемся.

— Ладно, — сказал Билл. — Напьемся по-настоящему.

— Напьемся, а потом пойдем купаться, — сказал Ник.

Он допил свой стакан.

— Мне ее очень жалко, но что я мог поделать? — сказал он. — Ты же знаешь, какая у нее мать.

— Ужасная! — сказал Билл.

— Вдруг все кончилось, — сказал Ник. — Только напрасно я с тобой заговорил об этом.

— Ты не заговаривал, — сказал Билл. — Это я начал. А теперь все. Больше никогда не будем говорить об этом. Ты только не задумывайся. А то опять примешься за старое.

Такая мысль не приходила Нику в голову. Казалось, все было решено бесповоротно. Над этим стоило подумать. Ему стало легче.

— Конечно, — сказал он. — Это всегда может

случиться.

Ему снова стало хорошо. Нет ничего непоправимого. Можно пойти в город в субботу вечером. Сегодня четверг.

— Это не исключено, — сказал он.

— Держи себя в руках, — сказал Билл.

— Постараюсь, — сказал он.

Ему было хорошо. Ничего не кончено. Ничего не потеряно. В субботу он пойдет в город. Он чувствовал ту же легкость на душе, что была в нем до того, как Билл начал этот разговор. Лазейку всегда можно найти.

— Давай возьмем ружья и пойдем на мыс, поищем твоего родителя, — сказал Ник.

— Давай.

Билл снял со стены два дробовика. Потом открыл ящик с патронами. Ник надел куртку и башмаки. Башмаки покоробились от огня. Ник все еще не протрезвился, но голова у него была свежая.

— Ну как ты? — спросил он.

— Прекрасно. В самый раз. — Билл застегивал свитер.

— А напиваться все-таки не стоит.

— Да, пожалуй. Надо было давно пойти погулять.

Они вышли на крыльцо. Ветер бушевал вовсю.

— От такого ветра все птицы в траву попадают, — сказал Билл.

Они пошли к саду.

— Я видел вальдшнепа сегодня утром, — сказал Билл.

— Может, нам удастся поднять его, — сказал Ник.

— При таком ветре нельзя стрелять, — сказал Билл.

На воздухе вся история с Мардж не казалась такой трагической. Это было вовсе не так уж важно. Ветер унес все это с собой.

— Прямо с большого озера дует, — сказал Ник.

До них донесся глухой звук выстрела.

— Это отец, — сказал Билл. — Он там, на болоте.

— Пойдем прямиком, — сказал Ник.

— Пойдем нижним лугом, может, поднимем какую-нибудь дичь, — сказал Билл.

— Ладно, — сказал Ник.

Теперь это было совершенно не важно. Ветер выдул все у него из головы. Тем не менее в субботу вечером можно сходить в город. Неплохо иметь это про запас.

Глава пятая
Боец

Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени.

Ник встал. Вроде бы ничего не сломано. Взглянул поверх рельсов на задние огни последнего вагона товарняка, исчезающего за поворотом дороги. По обе стороны железнодорожных путей поблескивала вода, дальше тянулось болото.

Ник ощупал колено. Штаны разорваны, кожа содрана. На руках ссадины, под ногти забились песок и зола. Он подошел к краю насыпи, спустился к воде и принялся мыть руки. Мыл их

тщательно в холодной воде, вычищая грязь из-под ногтей. Потом присел на корточки и промыл ссадину на колене.

Эта сволочь, тормозной кондуктор! Он до него еще доберется. Он с ним еще повстречается. И уж тогда тот свое получит.

«Поди сюда, паренек, я тебе кое-что покажу».

Он попался на уловку, как дитё малое. Но уж больше его не провести.

«Поди сюда, паренек, я тебе кое-что покажу». А потом — бац, и он на четвереньках у самых рельсов.

Ник потер глаз. Над ним вспухла большая шишка. Непременно синяк будет. Глаз уже болел. Этот чертов тормозной кондуктор.

Он прикоснулся кончиками пальцев к шишке над глазом. Да ладно, будет синяк, только и всего. Он еще легко отделался. Хотелось взглянуть, как его разукрасило. Но в воде не увидать. Уже стемнело, и жилья никакого нет поблизости. Ник вытер руки о штаны, встал и поднялся по насыпи к рельсам.

Пошел по путям. Шпалы утопали в засыпке, так что идти было легко. Нога твердо ступала по утрамбованному песку с гравием. Насыпь, ровная, как шоссе, пересекала болото. Ник шел и

шел, чтобы скорее добраться до людей.

На подножку товарного поезда Ник запрыгнул неподалеку от узловой станции Уолтон, когда поезд замедлил ход. Калкаску поезд — с безбилетным Ником — миновал, когда начало темнеть. Ник полагал, что находится теперь неподалеку от Манселоны: их разделяли три-четыре мили сплошного болота. Он шагал по полотну, стараясь ступать между шпалами. Болото терялось в поднимающемся тумане. Глаз болел, и хотелось есть. Он все шел, оставляя позади милю за милей. По обе стороны насыпи все время тянулось неизменное болото.

Показался мост. Ник прошел по нему. Металл рельсов гулко отзывался на каждый его шаг, а внизу, в щелях между шпалами, чернела вода. Ник столкнул ногой валявшийся на мосту костыль, и он ушел под воду. За мостом пошли холмы. Они высились в темноте по обе стороны железнодорожных путей. Впереди Ник увидел костер.

Осторожно ступая, он пошел на огонь. Костер горел чуть в стороне от насыпи. Нику был виден только его отсвет. Железную дорогу проложили между холмами, и там, где горел костер, холм отступил, и видна была поляна в лесу. Ник осто-

рожно спустился с насыпи и углубился в лес, чтобы сквозь заросли пробраться к костру. Лес был буковый, и, пробираясь между деревьями, он ощутил под ногами скорлупки буковых орешков. Наконец он ясно увидел костер на лесной опушке. Возле него сидел мужчина. Ник остановился за деревом и пригляделся. Мужчина был один, судя по всему. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел на костер. Ник шагнул вперед, войдя в круг света.

Человек сидел и смотрел на огонь. Не пошевелился, даже когда Ник остановился совсем рядом с ним.

— Привет! — поздоровался Ник.

Мужчина поднял на него глаза.

— Где фонарь заработал? — спросил он.

— Тормозной кондуктор двинул.

— Скинул с товарного?

— Да.

— Видел гада, — кивнул мужчина. — Проехал здесь часа полтора назад. Шел по крышам вагонов, похлопывал себя по бокам и распевал.

— Подонок!

— Он, наверно, рад, что спихнул тебя. — Голос мужчины звучал серьезно.

— Я еще отплачу ему.

— Подстереги его с камнем, когда он будет проезжать обратно, — посоветовал мужчина.

— Я еще доберусь до него.

— Ты парень упертый, да?

— Нет, — ответил Ник.

— Все вы, мальчишки, упертые.

— Приходится быть упертым, — насупился Ник.

— Вот и я говорю.

Мужчина посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо обезображено. Расплющенный нос, глаза-щелки, расплывшиеся губы. Ник рассмотрел все это не сразу; поначалу заметил только, что лицо странной формы и изуродованное. Оно больше походило на размалеванную маску. И в свете костра казалось мертвым.

— Что, не нравится моя сковородка? — спросил человек.

Ник смутился:

— Да ладно вам.

— Посмотри сюда.

Мужчина снял шапку.

Ухо у него осталось только одно. Раздутое и плотно прилегающее к голове. Вместо другого уха торчал обрубок.

— Видал когда-нибудь такое?

— Нет, — ответил Ник. Его чуть замутило.

— Я могу с этим жить, — продолжил мужчина. — Ты же видишь, парень, что могу?

— Будьте уверены!

— Они обломали об меня свои кулаки, — заявил этот невысокий мужчина. — А мне хоть бы что. — Он смотрел на Ника. — Садись. Есть хочешь?

— Не беспокойтесь, — ответил Ник. — Я иду в город.

— Знаешь, — мужчина его словно и не услышал, — зови меня Эд.

— Само собой!

— Знаешь, со мной не все в порядке.

— А что с вами?

— Я чокнутый.

Он надел шапку. Нику вдруг стало смешно.

— Да все с вами в порядке, — улыбнулся он.

— Нет, не все. Я чокнутый. Послушай, ты был когда-нибудь чокнутым?

— Нет, — покачал головой Ник. — Отчего это случается?

— Не знаю, — ответил Эд. — Происходит — и ты не замечаешь как. Ты ведь знаешь меня?

— Нет.

— Я Эд Фрэнсис.

— Быть не может!

— Не веришь?

— Верю.

Ник почувствовал, что это правда.

— Знаешь, чем я их брал?

— Нет, — ответил Ник.

— У меня медленное сердце. Бьется всего сорок раз в минуту. Пощупай.

Ник колебался.

— Давай. — Мужчина взял его за руку. — Пощупай мой пульс. Возьмись пальцами — вот так.

Запястье у маленького человечка было толстым, кости обросли крепкими мышцами. Под пальцами Ник почувствовал медленное биение.

— Часы есть?

— Нет.

— У меня тоже нет, — вздохнул Эд. — Ничего не выйдет, если часов нет.

Ник отпустил руку.

— Знаешь, возьмись снова, — предложил Эд Фрэнсис. — Ты считай удары, а я буду считать до шестидесяти.

Ощущая под пальцами медленные, резкие удары, Ник начал считать. Слышал, как мужчина медленно отсчитывает вслух: раз, два, три, четыре, пять…

— Шестьдесят, — закончил Эд. — Минута. А у тебя сколько?

— Сорок, — ответил Ник.

— Верно! — обрадовался Эд. — Никогда не учащается.

С насыпи спустился человек, пересек поляну, направляясь к костру.

— Привет, Багс! — поздоровался Эд.

— Привет! — ответил Багс.

По выговору чувствовалось, что это негр. Ник уже по шагам понял, что это негр. Он стоял к ним спиной, наклонившись к огню. Потом выпрямился.

— Это мой друг, Багс, — представил вновь прибывшего Эд. — Он тоже чокнутый.

— Рад познакомиться. — Багс смотрел на Ника. — Так вы откуда, говорите?

— Из Чикаго, — ответил Ник.

— Славный город, — кивнул негр. — Я не расслышал, как вас зовут?

— Адамс. Ник Адамс.

— Он говорит, что никогда не был чокнутым, Багс, — поделился Эд.

— У него еще все впереди, — ответил негр. Стоя у огня, он разворачивал принесенный с собой сверток.

— Скоро есть будем, Багс? — спросил боксер.

— Прямо сейчас.

— Ты голоден, Ник?

— Чертовски.

— Слышишь, Багс?

— Я обычно все слышу.

— Да я не о том спрашиваю.

— Да. Я слышал, что сказал этот господин.

Он выложил на сковородку куски ветчины.

Когда сковородка накалилась и жир зашкворчал, Багс, нагнувшись над костром на своих длинных, как у всех негров, ногах, перевернул ветчину на другую сторону, стал разбивать о борт сковородки яйца и выливать их на раскаленный жир.

— Вас не затруднит нарезать хлеб, мистер Адамс? — Багс повернулся к нему. — Он в том мешке.

— С удовольствием.

Ник подошел к мешку и достал большой круглый хлеб. Отрезал шесть ломтей.

Эд приподнялся и наклонился вперед, наблюдая за ним.

— Дай-ка мне нож, Ник, — попросил он.

— Нет, не давайте, — вмешался негр. — Держите нож крепче, мистер Адамс.

Боксер вновь сел.

— Будьте добры, дайте-ка мне этот хлеб, мистер Адамс, — попросил Багс.

Ник принес ему нарезанные ломти.

— Любите макать хлеб в растопленный свиной жир? — спросил негр.

— Еще бы!

— Этим лучше займемся потом, на закуску. Пожалуйста.

Негр взял кусок жирной ветчины, положил на ломоть и сверху прикрыл яйцом.

— Теперь накройте другим куском хлеба и передайте, пожалуйста, сэндвич мистеру Фрэнсису.

Эд взял сэндвич и принялся за еду.

— Смотрите, чтобы яйцо не потекло, — предупредил негр. — Это вам, мистер Адамс. Остальное мне.

Ник впился зубами в сэндвич. Негр сидел против него, рядом с Эдом. Горячая поджаренная ветчина с яичницей были изумительны.

— Мистер Адамс здорово проголодался, — отметил негр.

Мужчина небольшого росточка, имя которого Нику было известно, — как-никак чемпион по боксу, — сидел молча. Он не проронил ни слова после того, как негр не позволил Нику отдать

ему нож.

— Могу я предложить вам обмакнуть хлеб в растопленный жир? — спросил Багс.

— Большое спасибо.

Белый коротышка посмотрел на Ника.

— А вам, мистер Адольф Фрэнсис? — Багс протянул и ему сковородку.

Эд не отвечал и смотрел на Ника.

— Я обращаюсь к вам, мистер Фрэнсис! — вновь послышался мягкий голос негра.

Эд не отвечал. Смотрел на Ника.

— Я вас спрашиваю, мистер Фрэнсис, — мягко повторил негр.

Эд продолжал смотреть на Ника. Шапку он надвинул на глаза. Нику стало не по себе.

— Какой черт тебя сюда принес? — раздался резкий вопрос из-под шапки. — Кого ты из себя корчишь? Говнюк сопливый! Приходишь сюда, хотя никто тебя не звал, жрешь чужую еду, а попросишь у тебя нож, так корчишь из себя хрен знает кого.

Он не сводил взгляда с Ника, лицо у него побледнело, шапка совсем съехала, так что глаз почти не было видно.

— Недоносок! Кто, к черту, тебя сюда звал?

— Никто.

— Правильно, черт побери, никто. И оставаться никто не просил. Пришел, наговорил гадостей о моем лице, курит мои сигары, хлещет мою выпивку да еще рассуждает, сопляк! Ты думаешь, тебе это так сойдет?

Ник ничего не ответил. Эд встал.

— Погоди, желторотая чикагская свинья! Я тебе голову проломлю! Понял?

Ник отступил на шаг. Маленький человечек медленно двинулся на него, тяжело ступая, выставляя вперед левую ногу и подтягивая следом правую.

— Ударь меня! — качнул он головой. — Возьми и ударь!

— Я не хочу бить вас.

— Тебе это так не сойдет. Я тебя отделаю, слышишь? Так что подойди и ударь первым.

— Бросьте вы, — ответил Ник.

— Ах, ты так, подонок!

Маленький человечек посмотрел на ноги Ника. А когда собрался перевести взгляд на негра, тот, шедший следом от самого костра, нацелился и нанес ему удар в затылок. Эд упал на живот, и Багс отбросил дубинку, обмотанную тряпкой. Эд лежал, уткнувшись лицом в траву. Негр поднял маленького человечка и отнес к костру. Лицо Эда

выглядело ужасно, глаза открылись. Багс бережно положил его на землю.

— Принесите, пожалуйста, воду в ведре, мистер Адамс, — попросил он. — Боюсь, что ударил его чересчур сильно.

Негр брызнул ему в лицо водой и осторожно потянул за оставшееся ухо. Глаза закрылись.

Негр выпрямился.

— Все в порядке. — В голосе слышалось облегчение. — Беспокоиться нечего. Простите, мистер Адамс.

— Ничего, ничего.

Ник смотрел вниз, на лежащего мужчину. Затем увидел на траве дубинку и поднял ее. Ручка гнулась и подавалась под пальцами. Черная кожа на ней истерлась, а тяжелый конец Багс обмотал носовым платком.

— Ручка из китового уса, — улыбнулся негр. — Таких теперь не делают. Я не знал, сумеете ли вы с ним справиться, и потом не хотел, чтобы вы причинили ему боль или изуродовали еще больше.

Негр опять улыбнулся.

— Но вы сами его ударили.

— Я знаю, как ударить. Он даже не вспомнит. Мне приходится это делать, чтобы успокоить его

в таких ситуациях.

Ник все еще смотрел на маленького человечка, лежавшего с закрытыми глазами в свете костра. Багс подбросил дров в огонь.

— Не бойтесь за него, мистер Адамс. Я вижу его таким не первый раз.

— Отчего он свихнулся? — спросил Ник.

— От многого, — ответил негр, стоя у костра. — Не хотите ли чашку кофе, мистер Адамс?

Он протянул Нику чашку и поправил куртку, которую подложил под голову лежащего без сознания мужчины.

— Во-первых, его слишком много били, — сказал негр, потягивая кофе. — От этого он только поглупел. Затем его сестра была его импресарио, и тогда в газетах всякое писали про братьев и сестер, о том, как она любила брата, а он любил сестру, и как они поженились в Нью-Йорке, из-за чего вышло много неприятностей.

— Я это помню.

— Естественно. Хотя скажу вам, они такие же брат с сестрой, как братец Кролик и Лис, но очень многим это не понравилось, и между ними начались ссоры, пока однажды она просто не уехала и больше не вернулась.

Он допил свой кофе и вытер губы розовой ла-

донью.

— Он сразу и сошел с ума. Хотите еще кофе, мистер Адамс?

— Спасибо.

— Я видел ее пару раз, — продолжал негр. — Очень красивая женщина. Очень похожа на брата. Он-то был совсем недурен, пока ему не изуродовали лицо.

Он замолк. Казалось, рассказ на этом кончен.

— А где вы с ним познакомились? — спросил Ник.

— В тюрьме, — ответил негр. — Он начал бросаться на людей, после того как она ушла, и его посадили в тюрьму. А меня — за то, что человека зарезал. — Он улыбнулся и продолжал все тем же мягким голосом: — Он мне сразу понравился, и, выйдя из тюрьмы, я его разыскал. Ему нравится считать меня чокнутым, а я не возражаю. Меня его компания устраивает, я люблю путешествовать — и даже воровать для этого не приходится. Мне нравится жить, не нарушая закона.

— Что же вы с ним делаете?

— Да ничего. Просто ездим с места на место. У него есть деньги.

— Он, наверное, здорово зарабатывал?

— Еще бы! Хотя он уже все растратил. А мо-

жет быть, его обворовали. Она присылает ему деньги.

Длинной веткой он поворошил угли.

— Она замечательная женщина, — повторил Багс. — И похожа на него как две капли воды.

Негр оглянулся на маленького человечка, который тяжело дышал. Его светлые волосы свисали на лоб. Изуродованное лицо было по-детски безмятежно.

— Пора приводить его в чувство, мистер Адамс. Не сердитесь, но, я думаю, вам лучше уйти. Не хочу показаться невежливым, но, увидев вас, он может опять выйти из себя. Терпеть не могу бить его, хотя это единственный способ его успокоить, когда он разойдется. Приходится держать его подальше от людей. Вы не сердитесь, мистер Адамс? Нет, не благодарите меня, мистер Адамс. Мне следовало предупредить вас, но вы ему вроде бы очень понравились, и я понадеялся, что все обойдется хорошо. До города по железной дороге примерно две мили. Он называется Манселона. Прощайте! Я бы с удовольствием пригласил вас переночевать с нами, но об этом теперь и говорить не приходится. Может, возьмете с собой хлеба с салом? Нет? Возьмите все-таки сэндвич.

Все это произносилось спокойным, низким и

мягким голосом, как говорят пожилые негры.

— Ну вот и хорошо. Прощайте, мистер Адамс. Прощайте, и удачи вам!

Ник направился через поляну к железнодорожной насыпи. Оказавшись в темноте, он прислушался. Негр говорил все тем же низким, мягким голосом. Слов было не разобрать. Потом послышался голос маленького человечка:

— У меня ужасно болит голова, Багс.

— Ничего, пройдет, мистер Фрэнсис, — утешал голос негра. — Выпейте чашку горячего кофе.

Ник поднялся на насыпь и пошел по шпалам. Заметив, что держит в руке сэндвич с окороком, сунул его в карман. Пока рельсы не повернули за холм, он, оглядываясь назад, видел отсветы костра на лесной опушке.

Глава шестая
Очень короткая история

Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца... Дальше по улице были еще убитые. Бой в городе приближался к концу. Все шло хорошо. Теперь с минуты на минуту можно было ожидать санитаров. Ник осторожно повернул голову и посмотрел на Ринальди. «Senta[17]*, Ринальдо, senta. Оба мы с тобой заключили сепаратный мир». Ринальди неподвижно лежал на солнце и тяжело дышал. «Мы с тобой*

---

[17] Примечания: 17
Слушай*(ит.).*

плохие патриоты». Ник осторожно отвернулся, силясь улыбнуться. Ринальди был безнадежным собеседником.

Однажды жарким вечером в Падуе его вынесли на крышу, и он мог смотреть на город поверх домов. В небе резвились стрижи. Вскоре стемнело, и по нему зашарили прожекторы. Остальные отправились вниз, прихватив с собой бутылки. Им с Луз были слышны их голоса с нижнего балкона. Луз присела на край его кровати. Посреди ночной духоты она была свежа и прохладна.

Уже три месяца Луз дежурила по ночам. Ей это охотно позволяли. Когда его собрались оперировать, она сама готовила его к операции, и они придумали шутку про клизму — кружку-подружку. Впадая в забытье под наркозом, он изо всех сил старался не потерять контроля над собой, чтобы не наболтать лишнего в бессознательном состоянии. Научившись передвигаться на костылях, он, бывало, сам разносил градусники, чтобы Луз не вставала с постели. Раненых было немного, и все всё о них знали. Луз все любили. Возвращаясь по коридору в палату, он думал о том, что Луз лежит сейчас в его постели.

Перед тем как настало время ему снова от-

правляться на фронт, они пошли в Duomo[18] и помолились. Рядом молились другие люди, в соборе было сумеречно и тихо. Они хотели пожениться, но не хватало времени для оглашения, да и метрик ни у одного из них не имелось. Тем не менее они чувствовали себя так, словно обвенчались, но им было нужно, чтобы все об этом знали и чтобы они никогда не могли это потерять.

Луз часто писала ему письма, которых он не получал вплоть до наступления перемирия. Тогда пятнадцать штук разом пришли ему на фронт, и он рассортировал их по датам и прочел подряд. Во всех говорилось о госпитале, о том, как сильно она его любит, и как не может жить без него, и как безумно не хватает ей его по ночам.

После перемирия они договорились, что он вернется домой и найдет работу, чтобы они могли пожениться. Луз не должна была приезжать до тех пор, пока он не получит хорошую работу и не сможет приехать в Нью-Йорк, чтобы встретить ее. Подразумевалось, что он не будет пить и не будет встречаться со старыми друзьями и вообще с кем бы то ни было в Штатах. Задача одна — получить работу и жениться. В поезде, по пути из

---

[18] Примечания: 18
Собор (*ит.*).

Падуи в Милан, они поссорились из-за того, что она не хотела ехать с ним сразу. Когда пришло время прощаться на Миланском вокзале, они поцеловались, но окончательно не помирились. Его мучило, что они так расстались.

Он отплыл в Америку на корабле из Генуи. Луз отправилась обратно в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там шли дожди, и ей было одиноко в городе, где квартировал целый батальон бойцов «Ардити». Коротая зиму в промозглом грязном городишке, майор — командир батальона соблазнил Луз, у которой никогда прежде не было любовника-итальянца, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была всего лишь юношеским увлечением. Ей очень жаль, и она знает, что едва ли он поймет ее, но, быть может, когда-нибудь простит и будет ей благодарен, а она — совершенно неожиданно — выходит замуж весной. Она по-прежнему любит его, но теперь отдает себе отчет в том, что их любовь была лишь детским увлечением. Она надеется, что его ждет большое будущее, и безоговорочно верит в него. И она знает, что все это на благо им обоим.

Майор не женился на ней ни весной, ни в другое время года. Луз так и не получила ответа на свое

письмо в Чикаго. А он вскоре подхватил гонорею от продавщицы универмага, расположенного в Лупе[19], когда развлекался с ней, катаясь в такси по Линкольн-парку.

[19] Примечания: 19
Луп — деловой район Чикаго.

Глава седьмая
Дома

Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе». Огонь передвинулся дальше по линии. Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх в «Вилла Росса». И никому никогда не говорил.

Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и высоты.

В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия

была отозвана с Рейна летом 1919 года.

Есть фотография, на которой он и еще один капрал сняты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятеле кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна на фотографии не видно.

К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне, устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.

Сначала Кребсу, побывавшему под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто

испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.

Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха. Его знакомые, которые слышали обстоятельные рассказы о немецких женщинах, прикованных к пулеметам в Аргоннском лесу, как патриоты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.

Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: что на фронте он все время чувствовал только одно — непрестанный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.

Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.

По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.

До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его был агентом по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы везти клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны, машина была все та же.

В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся

дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых девушек! Почти все они были стриженые. Когда он уезжал, стрижеными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички, выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Ему нравились стриженые волосы, нравилась их походка.

Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того

не стоило.

Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины.

Все это было вранье. И то и другое было вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время, женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.

Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтоб она пришла к нему сама и чтоб не нужно было разговаривать. Но здесь все это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается. Дело того не

стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.

Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они нравились ему гораздо больше, чем француженки и немки, но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он. Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить время на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае — не теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.

Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в книге мало карт, и предвкушал то удовольствие,

с которым прочтет все действительно хорошие книги о войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.

Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:

— Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.

— Да? — сказал Кребс, еще не совсем проснувшись. — Брать машину?

— Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об этом уговорились.

— Верно, это ты его заставила, — сказал Кребс.

— Нет. Отец сам об этом заговорил.

— Да? Как же! Верно, это ты его заставила.

Кребс сел в постели.

— Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? — спросила мать.

— Как только оденусь, — ответил Кребс.

Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и одевался, готовясь сойти в столовую.

Пока он завтракал, сестра принесла почту.

— Здравствуй, Гарри! — сказала она. — Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.

Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.

— Газета есть? — спросил он.

Она протянула ему «Канзас-Сити стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды.

— Гарольд, — мать стояла в дверях кухни, — Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет читать измятую.

— Я не изомну, — сказал Кребс.

Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

— Сегодня в школе мы играем в бейсбол, — сказала она. — Я буду подавать.

— Это хорошо, — сказал Кребс. — Ну, как там у вас в команде?

— Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют неважно.

— Да? — сказал Кребс.

— Я всем говорю, что ты — мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?

— Ну еще бы.

— Разве брат не может ухаживать за сестрой только потому, что он брат?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?

— Ну да. Я и теперь твой поклонник.

— Правда, Гарри?

— Ну да.

— Ты меня любишь?

— Угу.

— И всегда будешь любить?

— Ну да.

— Ты пойдешь смотреть, как я играю?

— Может быть.

— Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.

Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.

— Поди к себе, Эллен, — сказала она. — Мне нужно поговорить с Гарольдом.

Она поставила перед Гарольдом яичницу с

салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.

— Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? — сказала она.

Кребс положил газету на стол и разгладил ее.

— Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? — спросила мать, снимая очки.

— Нет еще, — сказал Кребс.

— Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

— Я еще не думал, — сказал Кребс.

— Бог всем велит работать, — сказала мать. — В царстве Божием не должно быть лентяев.

— Я пока не в царстве Божием, — ответил Кребс.

— Все мы в царстве Божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

— Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд, — продолжала мать. — Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.

Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.

— Отец тоже беспокоится, — продолжала она. — Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как Чарли Симмонс, уже вышли на дорогу и общество может гордиться ими.

Кребс молчал.

— Не гляди так, Гарольд, — сказала мать. — Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы. Он разрешает тебе брать машину. Если тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся. Всякий труд почтенен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему в контору?

— Это все? — спросил Кребс.

— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

— Нет, не люблю, — сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

— Я никого не люблю, — сказал Кребс.

Это было безнадежно. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен, — сказал Кребс. — Я не хотел сказать, что я не люблю тебя…

Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.

— Ты не веришь мне, мама?

Мать покачала головой.

— Ну, прошу тебя, мама. Прошу тебя, поверь мне.

— Хорошо, — сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него. — Я верю тебе, Гарольд.

Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.

— Я тебе мать, — сказала она. — Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.

Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.

— Я знаю, мамочка, — сказал он. — Я постара-

юсь быть тебе хорошим сыном.

— Может быть, ты станешь на колени и помолишься вместе со мной, Гарольд? — спросила мать.

Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.

— А теперь помолись ты, Гарольд, — сказала она.

— Не могу, — ответил Кребс.

— Постарайся, Гарольд.

— Не могу.

— Хочешь, я помолюсь за тебя?

— Хорошо.

Мать помолилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это нисколько его не тронуло. Ему стало жаль мать, и поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае, теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.

Глава восьмая
Революционер

В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Гранд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда в «Форде» из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл подстрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в грузовике. Древитс испугался, когда увидел, что оба они убиты наповал.

— Стой, Джимми, — сказал он. — Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

— Ворьё они или не ворьё? — сказал Бойл. — Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

— Ну, может, на этот раз сойдет, — сказал Древитс, — но почем ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— В итальяшек-то? — сказал Бойл. — Да я итальяшек за квартал вижу.

В 1919-м он путешествовал по железным до-

рогам Италии, возя с собой кусок промасленной ткани, который получил в штаб-квартире партии. Надпись несмываемым карандашом гласила, что этот товарищ сильно пострадал от белых в Будапеште, и призывала других товарищей помогать ему всеми доступными способами. Он использовал эту тряпку вместо билета. Он был очень застенчив и молод, и бригады проводников передавали его друг другу. У него не было денег, и проводники кормили его позади стойки в станционных закусочных.

Он был в восторге от Италии. Прекрасная страна, говорил он. Люди такие добрые. Он побывал во многих городах, много гулял, повидал много картин. Купил репродукции Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франческа и носил их завернутыми в выпуск «Аванти». Мантенья ему не понравился.

Он явился в партийное отделение в Болонье, и я взял его с собой в Романью, где должен был встретиться с одним человеком. Поездка оказалась приятной. Стояло начало сентября, и в сельской местности царила благодать. Он был мадьяр, очень милый и очень застенчивый юноша. Люди Хорти ужасно с ним обращались. Он немного рассказал об этом. Несмотря на Венгрию, он верил в мировую революцию.

— А как дела у движения в Италии? — спросил он.

— Очень скверно, — ответил я.

— Но скоро станет лучше, — сказал он. — У вас здесь есть все. Это единственная страна, в которую все верят. С нее все и начнется.

Я промолчал.

В Болонье он попрощался с нами, прежде чем сесть на поезд до Милана. Из Милана он отправился в Аосту, откуда собирался через перевал добраться до Швейцарии. Я поговорил с ним о работах Мантеньи в Милане.

— Нет, — очень застенчиво ответил он. Мантенья ему не нравится.

Я дал ему список мест, где можно поесть в Милане, и адреса товарищей. Он поблагодарил меня, но мыслями уже был на перевале. Он очень хотел поспеть туда, пока держится хорошая погода. Он любил горы осенью. В Сьоне швейцарцы отправили его за решетку, и больше я о нем ничего не слышал.

Глава девятая
Мистер и миссис Эллиот

Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка. Они старались, насколько у миссис

Эллиот хватало сил. Старались в Бостоне, когда поженились, и на пароходе, во время переезда в Европу. На пароходе они старались не очень часто, потому что миссис Эллиот совсем разболелась. Ее мутило от качки, а когда ее мутило, то мутило так, как мутит всех южанок, то есть уроженок южной части Соединенных Штатов. Как все южанки, миссис Эллиот очень быстро расклеивалась от морской болезни, от того, что приходилось путешествовать ночью и слишком рано вставать по утрам. Многие пассажиры на пароходе были уверены, что она мать Эллиота. Другие, знавшие, что это муж и жена, думали, что она беременна. На самом деле ей просто было сорок лет. Ее возраст сразу дал себя знать, когда она начала путешествовать.

Она казалась много моложе, вернее — казалась женщиной без возраста, когда Эллиот женился на ней, после того как несколько недель за ней ухаживал, после того как долгое время ходил в ее кафе, до того как однажды вечером поцеловал ее.

Перед женитьбой Хьюберт Эллиот прошел курс юридических наук в Гарвардском университете и был оставлен при кафедре. Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он

писал очень длинные стихотворения, и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться. Его поражало и прямо-таки приводило в ужас, как это девушки решались на помолвку и даже на брак с мужчинами, зная, какому разврату они предавались до женитьбы. Однажды он попробовал отговорить знакомую девушку от брака с человеком, который, как он знал почти наверняка, вел распутный образ жизни в студенческие годы, и это привело к очень неприятному инциденту.

Миссис Эллиот звали Корнелия. Она захотела, чтобы он называл ее Калютина, как ее прозвали на Юге, в семье. Его мать расплакалась, когда он после свадьбы привез Корнелию к ней в гости, но, узнав, что они будут жить за границей, сразу повеселела.

Когда он сообщил Корнелии, что оставался невинным в ожидании ее, она сказала: «Мой милый, дорогой мальчик» — и обняла его крепче обычного. Корнелия тоже была невинна. «Поцелуй меня так еще раз», — сказала она.

Хьюберт объяснил ей, что об этом способе целоваться ему рассказал один приятель. Он был в восторге от своего открытия, и они совершенствовали его, насколько было возможно. Иногда, после того как они долго целовались, Корнелия просила его еще раз повторить ей, что он действительно оставался невинным в ожидании ее. Это признание неизменно придавало ей сил.

Сначала Хьюберту не приходило в голову жениться на Корнелии. Он никогда не думал о ней как о женщине. Они были просто друзьями; а потом как-то вечером они танцевали под граммофон в маленькой комнате позади кафе, пока за кассой сидела ее подруга, и она посмотрела ему в глаза, и он поцеловал ее. Он так и не мог потом припомнить, когда именно было решено, что они поженятся. Но они поженились.

Ночь после свадьбы они провели в Бостоне, в отеле. Оба ожидали большего, но в конце концов Корнелия уснула. Хьюберт не мог уснуть и несколько раз вставал и ходил взад и вперед по

коридору отеля в новом егеровском халате, который он купил для свадебного путешествия. Он смотрел на бесконечные пары ботинок — маленьких туфель и больших штиблет, — выставленных за двери номеров. От этого сердце у него забилось, и он поспешил к себе в номер, но Корнелия спала. Ему не захотелось будить ее, и скоро все снова пришло в порядок, и он мирно заснул.

На следующий день они были с визитом у его матери, а еще через день отплыли в Европу. Теперь они имели возможность подумать о ребенке, но Корнелия не особенно часто была расположена к этому, хотя они желали ребенка больше всего на свете. Они высадились в Шербуре и приехали в Париж. В Париже они тоже старались иметь ребенка. Потом они решили поехать в Дижон, где открылся летний университет и куда поехали многие из тех, кто был с ними на пароходе. В Дижоне, как выяснилось, нечего было делать. Впрочем, Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка. Она часто плакала, и до отъезда из Дижона они несколько раз старались иметь ребенка.

Они вернулись в Париж, и многие из их знакомых по пароходу тоже вернулись туда. Дижон им надоел, к тому же они теперь получили возможность рассказывать, что, окончив курс в Гарвардском, или в Колумбийском, или в Уобашском университете, они слушали лекции в Дижоне, департамент Кот-д'Ор. Многие из них предпочли бы поехать в Лангедок, Монпелье или Перпиньян, если только там есть университеты. Но все это слишком далеко. Дижон всего в четырех с половиной часах езды от Парижа, и в поезде есть вагон-ресторан.

Так и случилось, что все они несколько дней ходили в кафе «Дю Дом», избегая показываться в «Ротонде» напротив, потому что там всегда полно иностранцев, а потом Эллиоты, по объявлению в «Нью-Йорк геральд», сняли château[20] в Турени. Эллиот успел приобрести много друзей, восхищавшихся его стихами, а миссис Эллиот уговорила его выписать из Бостона ее подругу, которая работала с нею в кафе. С приездом подруги миссис Эллиот заметно повеселела, и они не раз всплакнули вдвоем. Подруга была на несколько лет старше Корнелии и называла ее «крошка».

---

[20] Примечания: 20
Замок*(фр.)*

Она тоже была южанка родом, из очень старинной семьи.

Они трое и еще несколько друзей Эллиота, называвших его Хьюби, поехали вместе в туреньский château. Турень оказалась плоской, жаркой равниной, очень напоминавшей Канзас. У Эллиота к этому времени накопилось стихов почти на целый томик. Он собирался выпустить его в Бостоне и уже послал издателю чек и заключил с ним договор.

Скоро друзья один за другим потянулись в Париж. Турень не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Через некоторое время все друзья уехали в приморский курорт близ Трувиля с одним молодым поэтом, богатым и холостым. Там все они были очень счастливы.

Эллиот остался в туреньском château, потому что он снял его на все лето. Они с миссис Эллиот очень старались иметь ребенка, когда спали в большой жаркой спальне на большой жесткой кровати. Миссис Эллиот училась писать на машинке по слепой системе, и оказалось, что хотя писать так быстрее, но опечаток получается больше. Почти все рукописи теперь переписывала подруга. Она работала очень аккуратно и быстро, и это занятие, видимо, доставляло ей

удовольствие.

Эллиот стал пить много белого вина и перебрался в отдельную спальню. По ночам он писал стихи, и утром вид у него бывал утомленный. Миссис Эллиот и ее подруга теперь спали вместе на большой средневековой кровати. Они всласть поплакали вдвоем. Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы.

Глава десятая
Кошка под дождем

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремена, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно, которые хлестали его сзади прутьями по ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

В отеле было только двое американцев. Никого из тех, с кем встречались на лестнице, покидая номер или возвращаясь в него, они не знали. Их комната располагалась на третьем этаже и выходила окнами на море. Из окон был виден также городской парк и памятник воинам. В парке росли большие пальмы и стояли зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда можно было

увидеть какого-нибудь художника с мольбертом. Художникам нравилось, как росли пальмы, и нравились яркие фасады отелей, обращенные к парку и морю. Итальянцы приезжали издалека посмотреть на военный монумент. Он был сделан из бронзы и блестел под дождем. Как раз шел дождь. Дождевые капли стекали с пальмовых листьев. На гравиевых дорожках вода стояла в лужицах. В пелене дождя длинная кромка моря преломлялась, то отступая от берега, то возвращаясь. Все машины разъехались с площади перед монументом. На противоположной стороне в дверях кафе скучал официант, глядя на пустую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела на улицу. Прямо внизу, под одним из зеленых столиков, с которых струилась вода, свернувшись, пряталась кошка. Кошка старалась сжаться как можно плотнее, чтобы уберечься от капель.

— Спущусь заберу киску, — сказала американка.

— Давай я спущусь, — отозвался с кровати муж.

— Не надо, я сама. Бедная кошечка, как она старается не намокнуть.

Муж не отрывался от книги, полулежа головой

к окну на высоко подоткнутых подушках.

— Смотри сама не промокни, — сказал он.

Женщина спустилась по лестнице, хозяин гостиницы встал и поклонился ей, когда она проходила через вестибюль. Его конторка находилась в дальнем конце вестибюля. Хозяин был старым и очень высоким.

— Il piove[21], — сказала американка. Ей был симпатичен хозяин отеля.

— Si, si, signora, brutto tempo[22]. Очень плохая погода.

Он стоял за своей конторкой в дальнем конце тускло освещенного вестибюля. Американке он нравился. Ей нравилась искренняя серьезность, с какой он выслушивал любые жалобы. Ей нравилось его чувство собственного достоинства. Ей нравилась его несуетная услужливость. Ей нравилось, как он осознает себя хозяином в гостинице. Ей нравились массивное лицо старика и его крупные руки.

Размышляя об этом, она открыла дверь и высунулась наружу. Дождь усилился. Мужчина в

---

[21] Примечания: 21
Дождь идет (*ит.*).

[22] Примечания: 22
Да, да, синьора, ужасная погода*(ит.).*

прорезиненном плаще направлялся в кафе через безлюдную площадь. Кошка должна была быть где-то поблизости справа. Вероятно, до нее можно дойти, прячась под карнизом. Пока американка стояла в дверях, над ее головой раскрылся зонтик. Это была горничная, убиравшая их номер.

— Чтобы вы не промокли, — с улыбкой сказала она по-итальянски. Несомненно, ее послал хозяин.

Под зонтом, который держала над ней горничная, американка пошла по гравиевой дорожке, пока не очутилась под окном своего номера. Стол стоял на месте, вымытый дождем, ярко-зеленый, но кошка исчезла. Американка вдруг очень расстроилась. Горничная взглянула на нее.

— Ha perduto qualque cosa, signora?[23]

— Здесь была кошка, — сказала молодая американка.

— Кошка?

— Si, il gatto[24].

— Кошка? — Горничная рассмеялась. — Кошка под дождем?

— Да, — сказала американка, — вот под этим

---

[23] Примечания: 23
Синьора, вы что-то потеряли?*(ит.)*

[24] Примечания: 24
Да, кошка*(ит.)*.

столом. — И добавила: — О, я так хотела ее взять. Мне хотелось киску.

Поскольку она говорила по-английски, лицо горничной напряглось.

— Пойдемте, синьора, — сказала она. — Лучше вернуться в дом. Вы промокнете.

— Да, пожалуй, — сказала американка.

Они прошли обратно по гравиевой дорожке и вошли в дом. Горничная задержалась на пороге, чтобы сложить зонтик. Когда американка проходила по вестибюлю, padrone[25] поклонился ей из-за конторки. Какой-то маленький плотный комок сжался у нее внутри. Под взглядом хозяина она почувствовала себя совсем маленькой, но в то же время по-настоящему значительной. На миг она испытала ощущение собственной величайшей значимости. Она прошла вверх по лестнице и открыла дверь своего номера. Джордж по-прежнему читал, лежа на кровати.

— Принесла кошку? — спросил он, откладывая книгу.

— Она ушла.

— Интересно, куда? — сказал он, давая глазам отдых от чтения.

---

[25] Примечания: 25
Хозяин*(ит.).*

Она села на край кровати.

— Я так хотела ее взять, — сказала она. — Не знаю, почему мне так этого хотелось. Хотелось эту бедную киску. Невесело несчастной кошке под дождем.

Джордж уже снова был погружен в чтение.

Она прошла к туалетному столику и села перед зеркалом, разглядывая себя в нем с помощью другого, ручного зеркальца. Она изучила себя в профиль, сначала слева, потом справа. Потом стала внимательно рассматривать затылок и шею.

— Тебе не кажется, что мне бы пошли длинные волосы, может, отпустить? — спросила она, снова вглядываясь в свой профиль.

Джордж поднял голову и посмотрел на ее затылок, остриженный коротко, как у мальчика.

— Мне нравится так, как сейчас.

— А мне надоело, — сказала она. — Мне так надоело выглядеть, как мальчишка.

Джордж, не вставая с кровати, переменил позу. Он не сводил с нее взгляда с тех пор, как она начала говорить.

— Ты сегодня чертовски мило выглядишь, — сказал он.

Она положила зеркальце на столик, прошла к окну и посмотрела наружу. Темнело.

— Хочу гладко стянуть волосы на затылке и собрать в узел, чтобы чувствовать их тяжесть, — сказала она. — Хочу, чтобы на коленях у меня сидела кошечка и мурлыкала, когда я ее глажу.

— Гм, — отозвался с кровати Джордж.

— И хочу есть за столом, сервированным моим собственным серебром, и чтобы горели свечи. И хочу, чтобы была весна и чтобы я сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные распущенные волосы, и хочу кошечку, и хочу новое платье.

— Слушай, помолчи, возьми лучше что-нибудь почитай, — сказал Джордж. Он снова углубился в чтение.

Его жена смотрела в окно. Было уже почти темно, и в пальмах по-прежнему шелестел дождь.

— Во всяком случае, я хочу кошку, — сказала она. — Хочу кошку. Хочу кошку прямо сейчас. Если уж нельзя иметь длинные волосы и нельзя, чтобы стало весело, то уж кошку-то по крайней мере можно?

Джордж ее не слушал. Он читал книгу. Его жена смотрела на площадь, где начали зажигаться фонари.

Кто-то постучал в дверь.

— Avanti[26], — сказал Джордж, оторвавшись от книги.

На пороге стояла горничная. Она прижимала к себе огромную пеструю кошку, которая покорно свисала с ее рук.

— Простите, — сказала она. — Хозяин велел отнести это синьоре.

[26] Примечания: 26
Войдите*(ит.).*

Глава одиннадцатая
Не в сезон

Толпа кричала не переставая и со свистом и гиканьем бросала на арену корки хлеба, фляги, подушки. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, согнул колени и лег на песок, и один из куадрильи наклонился над ним и убил его ударом пунтильо. Толпа бросилась через барьер и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, а потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Вечером я видел матадора в кафе. Он был маленького роста, с темным лицом, и он был совершенно пьян. Он говорил: «В конце концов, со всяким может случиться. Ведь я не какая-нибудь знаменитость».

За четыре лиры, что заработал, вскопав землю в гостиничном саду, Педуцци напился. Увидев молодого человека, идущего по тропинке, он посекретничал с ним. Молодой человек сказал, что еще не ел, но охотно пойдет с ним, как только позавтракает. Минут через сорок — час.

В погребке у моста Педуцци налили в долг еще

три стаканчика граппы, уж очень уверенно и загадочно он говорил о предстоящей ему сегодня работе. День был ветреный, солнце то выглядывало из-за облаков, то пряталось снова, и начинал накрапывать дождь. Прекрасный день для ловли форели.

Молодой человек вышел из отеля и спросил насчет удочек. Надо ли, чтобы его жена с удочками держалась позади?

— Да, — сказал Педуцци, — пусть следует в отдалении.

Молодой человек вернулся в отель и поговорил с женой. Потом они с Педуцци двинулись по дороге. На плече у молодого человека висела холщовая сумка. Педуцци видел, как женщина в горных ботинках и синем берете, такая же молодая на вид, как ее муж, направилась за ними, неся в каждой руке по разобранной удочке. Педуцци не понравилось, что она идет так далеко позади.

— Синьорина, — позвал он, подмигнув молодому человеку, — идите сюда, пойдем вместе. Синьора, ближе, пойдемте рядом.

Педуцци хотелось, чтобы они втроем прошли по главной улице Кортины.

Женщина с весьма угрюмым видом продолжала держаться поодаль.

— Синьорина, — ласково позвал Педуцци, — идите к нам.

Молодой человек оглянулся и что-то крикнул жене. Та ускорила шаг и нагнала их.

Всех, кто встречался на пути, пока они шли по главной улице, Педуцци церемонно приветствовал.

— Buon' di, Arturo! — Он слегка касался шляпы пальцами.

Банковский служащий уставился на него из дверей кафе, где собирались фашисты. Точно так же глазели на троицу люди, по трое-четверо стоявшие перед дверями магазинов. Рабочие в покрытых строительной пылью спецовках, трудившиеся на закладке нового отеля, проводили их взглядами. Никто с ними не заговорил, не подал никакого знака, кроме городского попрошайки, тощего старика со слипшейся от слюны бородой, который приподнял шляпу, когда они проходили мимо.

Педуцци остановился у витрины винного магазина и достал из внутреннего кармана затрепанной шинели пустую бутылку из-под граппы.

— Немного винца, глоток марсалы для синьоры, самую малость чего-нибудь выпить. — Он размахивал пустой бутылкой. Замечательный

выдался день. — Марсалы… Вы любите марсалу, синьорина? Чуточку марсалы, а?

Женщина продолжала хмуриться.

— Ты еще пожалеешь, что с ним связался, — сказала она. — Я ни слова не понимаю из того, что он лопочет. Он же пьян, ты что, не видишь?

Молодой человек делал вид, что не слышит Педуцци. Черт, далась ему эта марсала, думал он. Кажется, это то, что обожает Макс Бирбом.

— Geld[27]. — Педуцци от нетерпения дернул молодого человека за рукав. — Лиры.

Он улыбался, чтобы не показаться излишне назойливым, но был твердо намерен заставить молодого человека действовать.

Молодой человек достал бумажник и выдал ему банкноту в десять лир. Педуцци взбежал на крыльцо «Фирменного магазина отечественных и импортных вин». Дверь оказалась заперта.

— Они открываются в два, — презрительно бросил какой-то прохожий. Педуцци спустился обратно по ступенькам. Он чувствовал себя обиженным. Ладно, сказал он, достанем в «Конкордии».

Шествуя рядом, плечом к плечу, они отправи-

---

[27] Примечания: 27
Деньги*(нем.).*

лись в «Конкордию». На крыльце «Конкордии», где штабелем были сложены ржавые полозья, молодой человек спросил:

— Was wollen sie?[28]

Педуцци вернул ему многажды сложенную десятилировую банкноту.

— Ничего, — сказал он. — Вернее, чего угодно. — Он был растерян. — Может, марсалы? Не знаю даже. Марсалы, наверно…

Дверь «Конкордии» закрылась за молодым человеком и его женой.

— Три марсалы, — сказал молодой человек стоявшей за прилавком девушке.

— Вы хотите сказать — две? — уточнила та.

— Нет, — сказал он, — три, одну — для vecchio[29].

— Ах, для vecchio, — рассмеялась она, доставая бутылку. Она налила в три стаканчика мутную на вид жидкость. Жена молодого человека сидела за столиком у стены, вдоль которой на рейках были развешаны газеты. Молодой человек поставил перед ней один стаканчик.

— Выпей-ка ты тоже, — сказал он. — Может,

---

[28] Примечания: 28
Чего вы хотите?*(нем.)*

[29] Примечания: 29
Старик*(ит.)*.

повеселеешь.

Женщина продолжала сидеть, уставившись теперь на стакан. Молодой человек вынес третий стакан Педуцци, но не увидел его.

— Не знаю, куда он делся, — сказал он, вернувшись в кондитерскую с полным стаканом.

— Ему нужно кварту этого пойла, — сказала жена.

— Сколько стоит четверть литра? — спросил продавщицу молодой человек.

— Белого? Одна лира.

— Нет, марсалы. И это туда же влейте, — сказал он, передавая ей свой стаканчик и тот, что предназначался Педуцци. Девушка отмерила через воронку четверть литра. — И бутылку, мы возьмем это с собой, — сказал молодой человек.

Девушка пошла искать бутылку. Все это ее забавляло.

— Мне очень жаль, что у тебя такое поганое настроение, Тайни, — сказал он. — Прости, что завел за завтраком тот разговор. Просто мы по-разному смотрим на одни и те же вещи.

— Не важно, — сказала она. — Мне это безразлично.

— Тебе не холодно? — спросил он. — Надо было надеть еще один свитер.

— На мне и так уже три.

Девушка вернулась с очень узкой коричневой бутылкой и перелила в нее марсалу. Молодой человек дал ей еще пять лир, и они вышли. Продавщица была приятно удивлена. Педуцци с удочками в руках прогуливался взад-вперед в дальнем конце улицы, где было не так ветрено.

— Пошли, — сказал он. — Я понесу удочки. Не беда, если кто увидит. Нас никто не тронет. Тут, в Кортине, меня никто не тронет. Я всех знаю в municipio[30]. Я ведь был солдатом. Здесь, в городе, меня все любят. Я торгую лягушками. Что с того, что рыбная ловля запрещена? Ерунда. Наплевать. Никаких проблем. Говорю же вам, форель здесь крупная и ее полно.

Они спускались к реке по склону холма. Город остался у них за спиной. Солнце снова скрылось, моросил дождь.

— Вон, — сказал Педуцци, указывая на девушку, стоявшую в дверях дома, мимо которого они проходили, — это meine Tochter[31].

— Его доктор? — переспросила жена молодого человека. — Он что, собирается познакомить нас

---

[30] Примечания: 30
Муниципалитет*(ит.).*

[31] Примечания: 31
Моя дочка*(нем.).*

со своим доктором?

— Он сказал: дочь, — пояснил муж.

Девушка, как только Педуцци показал на нее пальцем, вошла в дом.

Спустившись с холма, они пересекли поле и пошли вдоль берега. Педуцци тараторил без умолку, то и дело многозначительно подмигивая. Пока они шли так, рядом, ветер доносил до женщины запах перегара изо рта Педуцци. Однажды он даже ткнул ее локтем в бок. Он говорил то на диалекте д'Ампеццо, то переходил на тирольский немецкий, поскольку не мог сообразить, который из них молодой человек и его жена понимают лучше. Но после того, как молодой человек сказал: «Ja, Ja»[32], решил остановиться на тирольском. Молодой человек и его жена ничего не понимали.

— Каждая собака в городе видела нас с этими удочками. Возможно, за нами уже следует рыбоохранная полиция. Зря мы в это впутались. К тому же старый дурак в стельку пьян.

— А вернуться назад у тебя, конечно, духу не хватает, — сказала жена. — Ты уж пойдешь теперь до конца.

---

[32] Примечания: 32

Да, да*(нем.).*

— Почему бы тебе не вернуться одной? Возвращайся, Тайни.

— Нет уж, я останусь с тобой. По крайней мере, если тебя посадят, будем сидеть вместе.

Они круто свернули к воде, и Педуцци остановился, его шинель развевалась на ветру, он указывал рукой на воду. Вода была бурой и мутной. Справа на берегу лежала куча мусора.

— Повторите по-итальянски, — сказал молодой человек.

— Un' mezz' ora. Piu d'un' mezz' ora[33].

— Он говорит, что идти еще полчаса, не меньше. Возвращайся, Тайни. Ты и так уже замерзла на этом ветру. Все равно день испорчен, удовольствия в любом случае не предвидится.

— Ладно, — сказала она и начала карабкаться вверх по заросшему травой крутому берегу.

Педуцци был уже внизу, у самой воды, и заметил женщину лишь тогда, когда она переваливала за гребень холма.

— Фрау! — закричал он. — Фрау! Фройляйн! Не уходите.

Женщина скрылась за холмом.

— Ушла! — сказал Педуцци. Он был огорчен.

---

[33] Примечания: 33
Полчаса. Больше получаса*(ит.).*

Сняв резинки, стягивавшие детали, он начал собирать одну из удочек.

— Вы же сказали, что идти еще полчаса.

— Ну да. Там, в получасе ходьбы, хорошо. Но и здесь неплохо.

— В самом деле?

— Разумеется. И тут хорошо, и там хорошо.

Молодой человек уселся на землю, собрал другую удочку, приладил катушку и протянул леску через петли. Он чувствовал себя не в своей тарелке, опасаясь, что в любую минуту может появиться егерь или из города нагрянет отряд местных жителей. Поверх холма он видел городские строения и колокольню. Он открыл ящичек со снастями. Педуцци перегнулся, засунул в него свои расплющенные загрубелые пальцы — большой и указательный — и стал рыться ими во влажных поводках для снасти.

— А грузило есть?

— Нет.

— Ну как же так? — взволнованно сказал Педуцци. — Надо иметь грузило. Piombo[34]. Маленький кусочек piombo. Вот тут, как раз над крючком, иначе наживка будет плавать на поверхности.

---

[34] Примечания: 34
Свинец*(ит.).*

Вы должны иметь его. Просто маленький кусочек piombo.

— А у вас есть?

— Нет. — Он лихорадочно шарил по карманам шинели, ощупывая мусор, застрявший в подкладке. — Нету, ни кусочка. А без piombo никак.

— Значит, удить нельзя, — сказал молодой человек и принялся разбирать удочку, наматывая леску обратно на катушку. — Что ж, достанем piombo и порыбачим завтра.

— Но послушайте, caro, у вас должен быть piombo, без него никак нельзя, леска будет плавать на поверхности. — Столь многообещающе для Педуцци начавшийся день меркнул прямо на его глазах. — У вас должен быть piombo. Хватит и крохотного кусочка. Снасти у вас чистенькие, новенькие, а грузила нет. Знал бы — я бы принес. Так вы же сказали, что у вас все есть.

Молодой человек смотрел на реку, обесцвеченную талой водой.

— Ничего, — повторил он, — раздобудем piombo и порыбачим завтра.

— Утром? Скажите, во сколько?

— В семь.

Проглянуло солнце. Было тепло и приятно. Молодой человек почувствовал облегчение. Он

больше не нарушал закон. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку марсалы и протянул ее Педуцци. Педуцци отпил и вернул бутылку. Молодой человек сделал глоток и снова отдал бутылку Педуцци. Педуцци — ему.

— Пейте, — сказал он. — Это ваша марсала.

Сделав еще глоток, молодой человек отдал бутылку Педуцци. Тот все время пристально наблюдал за ней. Быстро схватив бутылку, он запрокинул голову и стал пить не отрываясь. Седые волосики в складках шеи при каждом глотке двигались взад-вперед, глаза были устремлены на донышко узкой коричневой бутылки. Он выпил все. Пока он пил, светило солнце. Все было прекрасно. В конце концов день таки удался. Чудесный день.

— Senta, caro![35] Значит, завтра в семь утра? — Он несколько раз назвал молодого человека «caro» — и ничего, сошло. Отличная была марсала. Глаза у Педуцци блестели. Впереди было еще много таких дней. А начнется все завтра, в семь утра.

Они стали подниматься по склону, направляясь обратно в город. Молодой человек шагал первым.

---

[35] Примечания: 35
Слушай, дорогой!*(ит.)*

Он ушел уже далеко вперед и был почти на вершине холма. Педуцци окликнул его:

— Послушайте, caro, не пожалуете ли пять лир за услуги?

— Сегодняшние? — хмуро спросил молодой человек.

— Нет, не за сегодняшние. Дайте сегодня — за завтра. Я обеспечу на завтра все, что нужно. Pane, salami, formaggio[36] — хорошую еду для всех нас. Для вас, для меня, для синьоры. И наживку — мальков, не только червей. Может, и марсалы немного раздобуду. И все за пять лир. Всего пять лир, синьор, а? Пожалуйста.

Молодой человек порылся в бумажнике и достал банкноту в две лиры и две — по одной.

— Благодарю вас, caro. Благодарю вас, — сказал Педуцци тем тоном, каким один член Карлтон-клуба благодарит другого за переданную «Morning Post». Вот это жизнь! Хватит ему ковырять вилами мерзлый навоз в гостиничном саду.

— До утра, caro! Ровно в семь, — сказал он, похлопав молодого человека по спине. — Без опозданий.

— Возможно, я не приду, — сказал молодой

---

[36] Примечания: 36
Хлеб, колбаса, сыр*(ит.).*

человек, засовывая бумажник обратно в карман.

— Как? — сказал Педуцци. — У меня же будут мальки, синьор. Колбаса и все такое прочее. Вы, я и синьора. Втроем.

— Возможно, я не приду, — повторил молодой человек. — Скорее всего — нет. Загляните в контору отеля, я предупрежу padrone[37].

[37] Примечания: 37
Хозяин*(ит.).*

Глава двенадцатая
Кросс по снегу

Если это происходило близко от барьера и против вашего места на трибуне, то хорошо было видно, как Виляльта дразнит быка и вызывает его, и когда бык кидался, Виляльта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб под ударом ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету и отводя шпагу за спину. Потом он кричал на быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал мулетой дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Виляльты, не спускал с него глаз. Виляльта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Виляльта кидался, и на один миг они сливались воедино. Виляльта сливался с быком, и все было кончено. Виляльта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками бы-

ка. Виляльта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались.

Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти дальше, путь был сплошь занесен снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность снега смерзлась в оледенелый наст. Ник в багажном вагоне натер свои лыжи, сунул носки башмаков в металлические скобы и застегнул крепление. Он боком прыгнул из вагона на твердый наст, выровнял лыжи и, согнувшись и волоча палки, понесся вниз по скату.

Впереди на белом просторе мелькал Джордж, то исчезая, то появляясь и снова исчезая из виду. Когда, внезапно попав на крутой изгиб склона, Ник стремительно полетел вниз, в его сознании не осталось ничего, кроме чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, и он понесся вниз, вниз, быстрей, быстрей, по последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал

на рыхлый снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри снега.

Джордж стоял немного ниже, ладонями сбивая снег со своей куртки.

— Высокий класс, Ник! — крикнул он. — Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела.

— А как там, дальше? — Ник, лежа на спине, выровнял лыжи и встал.

— Нужно все время забирать влево. Спуск хороший, крутой. Внизу сделаешь христианию — там изгородь.

— Подожди минутку, съедем вместе.

— Нет, ты ступай вперед. Я люблю смотреть, как ты съезжаешь.

Ник Адамс проехал мимо Джорджа, — на его широких плечах и светлых волосах осталось немного снегу, — потом лыжи Ника заскользили, и он ухнул вниз, окутанный свистящей снежной пылью, взлетая и падая, вверх, вниз по волнистому склону. Он все время забирал влево, и к концу, когда он летел прямо на изгородь, плотно сжав колени и изогнув туловище, он, в туче снега, сделал крутой поворот вправо и, сбавляя

ход, проехал между склоном горы и проволочной изгородью.

Он взглянул вверх. Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого, и, задевая снег, взбивали комочки снежного пуха; и наконец, почти скрытый тучами снега, скорчившись, выбросив одну ногу вперед, вытянув другую назад, отклонив туловище влево, он описал четкую красивую кривую, подчеркивая ее блестящими остриями палок.

— Я не решился на христианию, — сказал Джордж. — Слишком глубокий снег. А ты отлично съехал.

— С моей ногой нельзя делать телемарк, — сказал Ник.

Ник лыжей прижал верхнюю проволоку, и Джордж проехал через изгородь. Ник вслед за ним выехал на дорогу. Они шли, слегка согнув колени, по дороге, проложенной в сосновом бору. Здесь возили лес, и накатанный полозьями лед был в оранжевых и табачно-желтых пятнах от конской мочи. Лыжники держались полосы снега на обочине. Дорога круто спускалась к ручью и затем почти отвесно поднималась в гору. Сквозь

деревья им виден был длинный облезлый дом с широкими стрехами. Издали он выглядел сплошь блекло-желтым. Вблизи оконные рамы оказались зелеными. Краска лупилась. Ник палкой расстегнул зажим и сбросил лыжи.

— Лучше понесем их, — сказал он.

Он стал карабкаться по крутой дорожке с лыжами на плече, пробивая ледяную кору шипами каблука. Он слышал за спиной дыхание Джорджа и треск льда под его каблуками. Они прислонили лыжи к стене гостиницы, обмахнули друг другу штаны, потоптались, стряхивая с башмаков снег, и вошли в дом.

Внутри было почти темно. В углу комнаты поблескивала большая изразцовая печь. Потолок был низкий. Вдоль стен стояли гладкие деревянные скамьи и темные, в винных пятнах, столы. У самой печки, покуривая трубку, потягивая мутное молодое вино, сидели два швейцарца. Лыжники сняли куртки и сели у стены по другую сторону печки. Голос, певший в соседней комнате, умолк, и в комнату вошла служанка в синем переднике и спросила, что им подать.

— Бутылку сионского, — сказал Ник. — Согласен, Джорджи?

— Можно, — сказал Джордж. — В этом ты боль-

ше понимаешь. Я всякое вино люблю.

Служанка вышла.

— Нет ничего лучше лыж, правда? — сказал Ник. — Знаешь это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

— Да! — сказал Джордж. — Так хорошо, что и сказать нельзя.

Служанка принесла вино, и они никак не могли откупорить бутылку. Наконец Ник вытащил пробку. Служанка вышла, и они услышали, как она в соседней комнате запела по-немецки.

— Кусочки пробки попали. Ну, не беда, — сказал Ник.

— Как ты думаешь, есть у них какое-нибудь печенье?

— Сейчас спросим.

Служанка вошла, и Ник заметил, что у нее под передником обрисовывается круглый живот. «Странно, — подумал он, — как это я сразу не обратил внимания, когда она вошла».

— Что это вы поете? — спросил он.

— Это из оперы, из немецкой оперы. — Она явно не желала продолжать разговор. — У нас есть яблочная слойка, если хотите.

— Не очень-то она любезна, — сказал Джордж.

— Что ж ты хочешь? Она нас не знает и, навер-

но, подумала, что мы хотим посмеяться над ее пением. Она, должно быть, оттуда, где говорят по-немецки, и она стесняется, что она здесь. Да тут еще беременность, а она не замужем, вот и стесняется.

— Откуда ты знаешь, что она не замужем?

— Кольца нет. Да здесь ни одна девушка не выходит замуж, пока не пройдет через это.

Дверь отворилась, и в клубах пара, топая облепленными снегом сапогами, вошла партия лесорубов. Служанка принесла им три бутылки молодого вина, и они, сняв шляпы, заняли оба стола и молча покуривали трубки, кто прислонясь к стене, кто облокотившись на стол. Время от времени, когда лошади, запряженные в деревянные сани, встряхивали головой, снаружи доносилось резкое звяканье колокольчиков.

Джордж и Ник чувствовали себя отлично. Они очень любили друг друга. Они знали, что впереди еще весь долгий обратный путь.

— Когда тебе нужно возвращаться в университет? — спросил Ник.

— Сегодня вечером, — ответил Джордж. — Мне надо поспеть на поезд десять сорок из Монтре.

— Хорошо бы ты остался, мы бы завтра махнули на Дан-дю-Лис.

— Я должен закончить свое образование, — сказал Джордж. — А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят, останавливаться в гостиницах, пройти насквозь Оберланд, и Вале, и Энгадин, а с собой взять только сумку с инструментами да положить в рюкзак запасной свитер и пижаму, и к черту ученье и все на свете!

— И еще пройти через весь Шварцвальд. Ух, и места же!

— Это где ты рыбу ловил прошлым летом?

— Да.

Они съели слойку и допили вино.

Джордж прислонился к стене и закрыл глаза.

— Вино всегда так на меня действует, — сказал он.

— Тебе плохо? — спросил Ник.

— Нет, мне хорошо, только чудно как-то.

— Понимаю, — сказал Ник.

— Ну да, — сказал Джордж.

— Закажем еще бутылочку? — спросил Ник.

— Нет, довольно, — сказал Джордж.

Они еще посидели. Ник — облокотившись на стол. Джордж — прислонясь к стене.

— Что, Эллен ждет ребенка? — спросил Джордж,

отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.

— Да.

— Скоро?

— В конце лета.

— Ты рад?

— Да. Теперь рад.

— Вы вернетесь в Штаты?

— Очевидно.

— Тебе хочется?

— Нет.

— А Эллен?

— Тоже нет.

Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.

— Скверно, да? — спросил он.

— Нет, ничего, — ответил Ник.

— Так как же?

— Не знаю, — сказал Ник.

— Ты с ней будешь ходить на лыжах в Штатах?

— Не знаю.

— Там горы неважные, — сказал Джордж.

— Неважные, — сказал Ник. — Слишком скалистые. И слишком много лесу. И потом, они очень далеко.

— Верно, — сказал Джордж, — во всяком случае,

в Калифорнии так.

— Да, — сказал Ник, — повсюду так, где мне приходилось бывать.

— Верно, — сказал Джордж, — повсюду так.

Швейцарцы встали из-за стола, расплатились и вышли.

— Жаль, что мы не швейцарцы, — сказал Джордж.

— У них у всех зоб, — сказал Ник.

— Не верю я этому.

— И я не верю.

Они засмеялись.

— А что, Ник, если нам с тобой никогда больше не придется вместе ходить на лыжах? — сказал Джордж.

— Этого быть не может, — сказал Ник. — Тогда не стоит жить на свете.

— Непременно пойдем, — сказал Джордж.

— Иначе быть не может, — подтвердил Ник.

— Хорошо бы дать друг другу слово, — сказал Джордж.

Ник встал. Он наглухо застегнул свою куртку. Потом потянулся через Джорджа и взял прислоненные к стене лыжные палки. Он крепко всадил острие палки в половицу.

— А что толку давать слово, — сказал он.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы, Джордж уже начал подниматься в гору с лыжами на плече. Обратный путь еще можно проделать вместе.

Глава тринадцатая
Мой старик

Я услышал бой барабанов на улице, а потом рожки и гудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали. Вся улица была запружена ими. Маэра увидел его, а потом и я его увидел. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, он был пьян.

Спуститесь вы к нему, сказал Маэра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках и дожидался музыки, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луи. Побойтесь бога, вам сегодня выступать. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

Я сказал: не валяйте дурака, Луи. Идемте в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пошел плясать. Я схватил его за руку, а он вырвался и сказал: да оставь ты

меня в покое. Тоже папаша нашелся.

Я вернулся в отель, а Маэра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз, взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, сказал Маэра, а кто будет убивать его быков, после того как он сядет на рог?

Мы, надо полагать, сказал я.

Да, мы, сказал Маэра. Мы будем убивать быков за них, за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем убивать их. Конечно, мы будем убивать их. Да. Да. Да.

Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду, но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаек, а сверху еще толстый свитер и утрами заставлял меня бегать вместе с ним по жаре. Бывало, он приедет из Турина часам к четырем утра и отправляется в кебе на ипподром, берет из

конюшни Раццо какого-нибудь одра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело.

— Двигайся, малыш, — скажет он, бывало, разминая ноги перед дверями жокейской. — Пошли.

И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, обежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину, а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо, к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» — оглянешься — а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан.

Повертываешься обратно и садишься рядом с ним, а он достает из кармана скакалку и начи-

нает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, а он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает, — хлоп, хлоп, хлоп, — а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге. Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, проходя мимо по дороге в город и шагая рядом с крупными белыми волами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали волов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь.

Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал — хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

— Чертова эта работа — сгонять жир, Джо, — скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет

глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов, — теперь не то, что в молодости. — Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку около одного кило, а мой старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки.

Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком; он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился и вышел с седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Реголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный, и я сказал:

— Ты что, папа? — Я было подумал, не толкнул ли его Реголи, а он только взглянул на Реголи и сказал:

— А да ну его к черту! — и пошел в раздевалку.

Что ж, может, ничего бы и не случилось, если б мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь

легкие скачки, так это именно там.

— Пианола, Джо, да и только, — говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни, после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом. — Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну а тут какая уж быстрота, да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия.

Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел, но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге.

Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в этом есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро — такой большой зеленый круг, и горы вдали, толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок

звонит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как это бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится.

А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды:

— Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню. — Это было в тот день, когда он взял Коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послав ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки.

Сразу после Коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в Galleria. Говорили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говори-

ли то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука.

— Поди купи мне «Спортсмена», Джо, — сказал мой старик и протянул мне два сольдо, не сводя глаз с Голбрука.

Я вышел из Galleria на площадь и перед «Ла Скала» купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать, а мой старик сидит, откинувшись на спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоят рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит:

— Хочешь мороженого, Джо?

Голбрук посмотрел на старика сверху вниз и сказал с расстановкой:

— Ах ты, сукин сын! — и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками.

Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный — видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно, я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул

«Спортсмена» и стал просматривать отчеты о скачках, потом сказал:

— Мало ли что приходится терпеть на этом свете, Джо.

А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж туринским поездом, распродав с аукциона (перед конюшней Тернера) все, что не поместилось в сундук и чемодан.

Мы приехали в Париж рано утром, поезд подошел к длинному грязному вокзалу — Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут, и трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы, а в Париже — какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь.

Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится, и в одном только можно быть уверенным: что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Мезон-Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми

нашими из Мезон сидел в «Cafe de la Paix»[38], с той стороны, что ближе к Опере, и, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно, что в таком большом городе, как Париж, нет своей Galleria, не правда ли?

Ну, мы поселились у некоей миссис Мейерс, которая держит пансион в Мезон-Лафит; там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мезон — замечательное место, я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика, мы положили его под дерево и уселись кругом, и Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось! Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски. Это не очень трудный язык.

Как только мы приехали в Мезон-Лафит, мой

---

[38] Примечания: 38
«Кафе Мира»*(фр.).*

старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мезон он всегда сидел в «Cafe de Paris»[39] со всей компанией; многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мезон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к девяти часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую — в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка, а если он не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он по большей части сидит в «Cafe de Paris» со всей компанией; возьмут стакан вермута с содовой и сидят часа два-три, разговаривают, рассказывают анекдоты, играют на бильярде, и это у них вроде клуба или миланской Galleria. Только это не совсем похоже на Galleria, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками.

Ну так вот, мой старик в конце концов полу-

---

[39] Примечания: 39
«Парижское кафе»*(фр.).*

чил свои права. Прислали по почте без всяких возражений, и он ездил раза два. В Амьене, в провинции, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и как ни придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга, вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-Луисе в девятьсот четвертом году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал.

Мы каждый день ездили на трамвае из Мезон-Лафит куда-нибудь на скачки, и это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Довилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгьен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день.

Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в двести тысяч франков с семью заездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лоша-

дей; таких лошадей вы, верно, не видывали. Этот Ксар был крупный соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону, неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпоят чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел — только ноги мелькали да что-то желтое, и мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился народ; но человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь; там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой, а снаружи толпа заглядывала в окна.

Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» — самым

обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать: Джордж сразу скажет, если знает.

— Он не возьмет, — говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу.

— А кто же? — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слыхал.

— Керкоббин, — говорит Джордж, — и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю.

Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу», — будто бы в шутку, и мы вышли и пробрались сквозь толпу к стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок, и там было сказано, что за Ксара дают только 5 на 10, за Сефизидота — 3 на 1, в пятом же списке стоял этот Керкоббин — 8 на 1. Мой старик поставил на Керкоббина пять тысяч в ординаре и тысячу в двойном, и мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны.

На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади

с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первым шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стати. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер, и все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал, словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой, на нем ехал Томми Арчибальд; а за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкоббин, и я стал разглядывать его, и он был ничего себе, славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.

Все захлопали Ксару, когда он проходил мимо, да и стоило того: замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне, за кругом, а потом обратно, к нашему концу ипподрома, и распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели

они подойти к старту, как зазвонил звонок, и вот они уже далеко по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучу, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и Ксар здорово отстал, а вела одна из гнедых. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкоббин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет. В конце концов они обогнули последний поворот и вышли на прямую, и этот Керкоббин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар», а лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар!», словно полоумные. Ксар несся с такой быстротой, какой я ни у одной лошади не видывал, и нагнал Керкоббина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изо всех сил, и около секунды оба они шли голова в

голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее, такие громадные он делал скачки и так вытянул шею, но столб они прошли голова в голову, и когда вывесили номера, то первая была двойка, а это значило, что взял Керкоббин.

Мне было как-то не по себе, я весь дрожал, а потом нас стиснули, когда толпа повалила вниз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдают на Керкоббина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкоббина. До того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли.

— Правда, скачки были замечательные, папа? — сказал я ему.

Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок.

— Джордж Гарднер замечательный наездник, это верно, — сказал он. — Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым.

Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все удовольствие для меня пропало, и даже когда вывесили номера на доске и мы увидели, что за Керкоббина выдают 67.50, я все равно не

почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили:

— Бедняга Ксар! Бедняга Ксар!

А я думал: «Хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына».

Как-то чудно было думать, что Джордж Гарднер — сукин сын, потому что он мне всегда нравился и, кроме того, он же нам назвал победителя, но все равно, по-моему, он и есть сукин сын.

После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. Если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон-Лафит, и мы с ним сидели перед «Cafe de la Paix» и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к вам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое, и я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон, они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски вроде как по-английски, и все эти люди его узнавали, — жокея всегда сразу видно, — и потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли

к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца — если пожмешь их, то выскочит петушок, — и был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа, и, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки, и там были сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали.

Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать, и заговаривали с моим стариком, а он отшучивался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Както вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой, обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку, она была такая хорошенькая, и я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась, но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел, хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить и отпустят ли ее со мной в Отейль или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней

так: «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгьене», — и она, верно, сочла бы меня за «жучка» и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу. Мы сидели, бывало, в «Cafe de Paris», и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило пять франков, и полагалось давать хорошие чаевые, после того как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил, зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет. Но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из Мезон-Лафит, и ему как будто нравилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной. Но он каждый день играл на скачках. Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится.

Он всегда читал «Пари-Спорт»; выглянет, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая, Джо?» — чтобы поддразнить меня, потому что я рассказал ему про девочку за соседним столиком. А я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо, — говорил он, — она еще вернется».

Он расспрашивал меня о том о сем и иной раз смеялся моим ответам. А потом сам начинал рассказывать. Про скачки в Египте и в Сент-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах, еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало:

— Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться.

— Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом? — спрашивал я.

— Это совсем другое дело, — говорил он и, подозвав официанта, платил за стопку блюдечек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мезон-Лафит.

Однажды в Отейле на аукционе мой старик купил победителя за тридцать тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов

лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрэйком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес, а конюхов было только двое — он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд, он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затраты окупятся. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд нисколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый.

Ну и любил же я нашего Гилфорда! В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим в скачке с препятствиями на две тысячи пятьсот метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий и весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому

что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам и, если выигрывал, нисколько не волновался, а теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело — скакать на своей лошади.

Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле, в скачках с препятствиями на четыре тысячи пятьсот метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтоб я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома, и у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер, но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями, и звонок звонил что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ох, я до того волновался, просто боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались; наш черный камзол шел третьим,

и все они перелетели через ров как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косогору, и шли ровно, легко и красиво, плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам, так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли на прямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо; он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось, и две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватился за повод, сел и отправился получать свои деньги

за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой, с повисшими поводьями, а жокей, пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто, а мой старик лежал как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде, тут полицейский схватил меня и не выпускал, и двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком, а далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие.

Мой старик был уже мертв, когда его принесли, и в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом со стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал, а он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый, и все-таки я не мог не думать, что, раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил мо-

его старика.

Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его; а другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в Мезон. А я все не мог перестать и плакал навзрыд, а тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал:

— Ну, будет, Джо, вставай, пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты.

Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот, и какие-то двое остановились рядом с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот, и один из них сказал, пересчитывая пачку билетов:

— Ну! Доигрался-таки Бэтлер в конце концов.

Другой сказал:

— Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать, сам напрашивался.

— Конечно, сам напрашивался, — сказал первый и разорвал пачку билетов пополам.

Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я

или нет; само собой, я все слышал, и он сказал:

— Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина.

Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.

Глава четырнадцатая
На Биг-Ривер I

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из кораля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрей и быстрей, — как в кино, когда ускоряют

фильм. Потом он умер.

Поезд исчез за поворотом, за холмом, покрытым обгорелым лесом. Ник сел на свой парусиновый мешок с припасами и постелью, который ему выбросили из багажного вагона. Города не было, ничего не было, кроме рельсов и обгорелой земли. От тринадцати салунов на единственной улице Сенея не осталось и следа. Торчал из земли голый фундамент «Гранд-отеля». Камень от огня потрескался и раскрошился. Вот и все, что осталось от города Сенея. Даже верхний слой земли обратился в пепел.

Ник оглядел обгорелый склон, по которому раньше были разбросаны дома, затем пошел вдоль путей к мосту через реку. Река была на месте. Она бурлила вокруг деревянных свай. Ник посмотрел вниз, в прозрачную воду, темную от коричневой гальки, устилавшей дно, и увидел форелей, которые, подрагивая плавниками, неподвижно висели в потоке. Пока он смотрел, они вдруг изменили положение, быстро вильнув под углом, и снова застыли в несущейся воде. Ник долго смотрел на них.

Он смотрел, как они держатся против течения, множество форелей в глубокой, быстро бегущей воде, слегка искаженных, если смотреть

на них сверху, сквозь стеклянную выпуклую поверхность бочага, в котором вода вздувалась от напора на сваи моста. Самые крупные форели держались на дне. Сперва Ник их не заметил. Потом он вдруг увидел их на дне бочага — крупных форелей, старавшихся удержаться против течения на песчаном дне в клубах песка и гравия, взметенных потоком.

Ник смотрел в бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

Ник пошел обратно по шпалам туда, где на золе около рельсов лежал его мешок. Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел. В руках Ник держал кожаный чехол с удочками, и, наклоняясь вперед, чтобы переместить тяжесть повыше на плечи, он пошел по дороге вдоль полотна, оставляя позади, под жарким солнцем, городское пожарище, потом свернул в сторону между двух высоких обгорелых холмов и выбрался на дорогу, которая вела прочь от полотна. Он шел по дороге, чувствуя боль в спине от тяжелого мешка. Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади.

За это время — с той минуты, как он сошел с поезда и ему выбросили мешок из багажного вагона, — Ник увидел, что многое изменилось. Сеней сгорел, и склоны кругом обгорели и стали совсем другими, но это ничего. Все не могло же

сгореть. Ник был в этом уверен. Он брел по дороге, весь в поту под жарким солнцем, поднимаясь в гору, чтобы пересечь цепь холмов, отделявшую полотно железной дороги от лесистой равнины.

Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все поднималась. Ник шел все дальше в гору. Наконец дорога, некоторое время тянувшаяся вдоль обгорелого склона, вывела его на вершину холма. Ник прислонился к пню и сбросил плечевые ремни. Прямо перед ним, сколько он мог охватить взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались слева, у подножия холмов. Среди равнины были разбросаны островки темного соснового леса. Вдали, налево, виднелась река. Ник проследил ее взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие голубые холмы отмечали границу возвышенности Верхнего озера. Далекие и неясные, они были едва видны сквозь дрожащий от зноя воздух над залитой солнцем равниной. Если пристально глядеть на них, они пропадали. Но если взглядывать на них вскользь, они были там, далекие холмы Верхнего озера.

Ник сел на землю, прислонился к обгорелому пню и закурил. Мешок лежал на пне, с ремнями

наготове, на нем еще оставалась вмятина от спины Ника. Ник сидел, курил и глядел по сторонам. Ему незачем было доставать карту. По положению реки он и так мог сказать, где находится.

Пока Ник курил, вытянув ноги, он заметил, что с земли на его шерстяной носок взобрался кузнечик. Кузнечик был черный. Когда Ник шел по дороге в гору, у него из-под ног все время выскакивали кузнечики. Все они были черные. Это были не те крупные кузнечики, у которых, когда они взлетают, под черными надкрыльями с треском раскрываются желтые с черным или красные с черным крылышки. Это были самые обыкновенные кузнечики, но только черные, как сажа. Ник обратил на них внимание, еще когда шел по дороге, но тогда он над этим не задумался. Теперь, глядя, как черный кузнечик пощипывает ворс на его носке, он сообразил, что они стали черными оттого, что жили на обугленной земле. Пожар, должно быть, случился в прошлом году, но кузнечики и сейчас были черные. Любопытно бы знать, сколько еще времени они останутся черными?

Он осторожно протянул руку и поймал кузнечика за крылья. Ник перевернул его — кузнечик при этом все время перебирал лапками в воздухе

— и стал рассматривать его кольчатое брюшко. Да, и брюшко тоже было черное, переливчатое, а голова и спина тусклые.

— Ну, ступай, кузнечик, — сказал Ник; в первый раз он заговорил громко. — Лети себе.

Он подбросил кузнечика в воздух и проводил его взглядом, когда тот полетел через дорогу к обугленному пню.

Ник поднялся на ноги. Он прислонился спиной к своему мешку, лежащему на пне, и продел руки в ременные петли. Он стоял на вершине холма с мешком на спине и глядел через равнину вдаль, на реку, потом свернул с дороги и стал спускаться прямиком по склону холма. По обгорелой земле было легко идти. Шагах в двухстах от склона следы пожара прекращались. Дальше начинался высокий, выше щиколотки, мягкий дрок и сосны небольшими островками; волнистая равнина с песчаной почвой, с частыми подъемами и спусками, зеленая и полная жизни.

Ник ориентировался по солнцу. Он знал на реке хорошее местечко и теперь, чтобы выйти туда, пересекал равнину, поднимаясь на невысокие склоны, за которыми открывались новые склоны, а иногда с возвышения вдруг обнаруживался справа или слева большой остров густого сосно-

вого леса. Он нарвал похожего на вереск дрока и подсунул себе под ремни. Ремни растирали дрок, и Ник на ходу все время чувствовал его запах.

Он устал, и было очень жарко идти по неровной, лишенной тени равнине. Он знал, что в любое время может выйти к реке, стоит только свернуть налево. До реки, наверное, не больше мили. Но он продолжал идти на север, чтобы к вечеру выйти к реке как можно выше по течению.

Уже давно Ник видел перед собой большой остров соснового леса, выступавший над волнистой равниной. Ник спустился в лощинку, а затем, выйдя на гребень, повернул и пошел к лесу.

В лесу не было кустарника. Стволы поднимались одни прямо вверх, другие немного наклонно, но все были прямые и темные, и внизу веток на них не было. Ветки начинались высоко вверху. Местами они переплетались, отбрасывая наземь густую тень. По краю леса шла полоса голой земли. Земля была темная и мягкая под ногами. Ее покрывал ковер из сосновых игл, выдвинувшийся здесь за пределы леса. Деревья выросли, и ветки передвинулись выше, и те места, на которые раньше падала от них тень, теперь оказались открытыми. На небольшом расстоянии от деревьев эта лесная почва сразу кончалась, и дальше

шли заросли дрока.

Ник сбросил мешок и прилег в тени. Он лежал на спине и глядел вверх сквозь ветки. Он вытянулся на земле, и плечи, спина и поясница у него отдыхали. Приятно было чувствовать спиной землю. Он поглядел на небо между ветвями, потом закрыл глаза. Потом снова открыл и поглядел вверх. Высоко в ветвях был ветер. Он опять закрыл глаза и заснул.

Ник проснулся с ломотой и болью в теле. Солнце уже почти село. Мешок показался ему тяжелым, и ремни резали плечи. Он нагнулся с мешком на спине, поднял чехол с удочками и пошел через заросли дрока по направлению к реке. Он знал, что до реки не больше мили.

По склону, усеянному пнями, он спустился на луг. За лугом открылась река. Ник был доволен, что добрался до нее. Он пошел лугом вдоль реки, вверх по течению. Брюки у него намокли от росы. После жаркого дня выпала ранняя и обильная роса. Река не шумела. У нее было слишком ровное и быстрое течение. На краю луга, прежде чем искать высокое место для ночлега, Ник остановился и посмотрел на реку. Форели поднимались на поверхность воды в погоне за насекомыми, которые после захода солнца стали появляться из болота

за рекой. В погоне за ними форели выпрыгивали из воды. Пока Ник шел по лугу вдоль реки, форели то и дело выпрыгивали из воды. Теперь все насекомые, должно быть, опустились на воду, потому что форели ловили их прямо на поверхности. Повсюду на реке, сколько мог охватить взгляд, форели поднимались из глубины, и по воде всюду шли круги, как будто начинался дождь.

Ник поднялся по склону, песчаному и лесистому, откуда видны были луг, полоска реки и болото. Ник сбросил мешок, положил на землю чехол с удочками и оглянулся, отыскивая ровное место. Он был очень голоден, но хотел разбить лагерь раньше, чем приниматься за стряпню. Ровное место нашлось между двумя соснами. Ник достал из мешка топор и срубил два торчавших из земли корня. Получилась ровная площадка, достаточно большая, чтобы на ней устроиться на ночлег. Ник ладонями разровнял песок и повыдергал дрок с корнями. Руки стали приятно пахнуть дроком. Взрытую землю он снова разровнял. Он не хотел, чтобы у него были бугры в постели. Выровняв землю, он расстелил три одеяла. Одно он сложил вдвое и постелил прямо на землю. Два других постелил сверху.

От одного из пней он отколол блестящий сос-

новый горбыль и расщепил его на колышки для палатки. Он сделал их прочными и длинными, чтобы они крепко держались в земле. Когда он вынул палатку и расстелил ее на земле, мешок, прислоненный к сосновому стволу, стал совсем маленьким. К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки, потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан.

Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя

несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это — устройство лагеря — было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.

Он выполз из палатки, приподняв кисею. В лесу уже стемнело. В палатке было светлей.

Ник подошел к мешку, ощупью отыскал бумажный пакет с гвоздями и со дна пакета достал длинный гвоздь. Он вбил его в ствол сосны, придерживая пальцами и тихонько ударяя обухом топора. На гвоздь он повесил мешок. В мешке были все его припасы. Теперь они подвешены высоко и будут в сохранности.

Ник был голоден. Ему казалось, что никогда в жизни он не был так голоден. Он открыл две банки с консервами — одну со свининой и бобами, другую с макаронами — и выложил все это на сковородку.

— Я имею право это есть, раз притащил на себе, — сказал Ник. Голос его странно прозвучал среди леса, в сгущающейся темноте. Больше он не

говорил вслух.

Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они начинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпения дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело,

поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки.

— Ах, черт! — сказал Ник. — Ах, черт побери! — сказал он с наслаждением.

Он съел полную тарелку и даже не вспомнил о хлебе. Вторую порцию он съел с хлебом и дочиста вытер коркой тарелку. С самого утра он ничего не ел, кроме кофе и сэндвича с ветчиной на вокзале в Сент-Игнесе. Все вместе было очень приятно. Замечательное ощущение. Ему и раньше случалось бывать очень голодным, но тогда не удавалось утолить голод. Он мог бы уже давно разбить лагерь, если бы захотел. На реке было сколько угодно хороших мест. Но так лучше.

Ник подбросил в костер две большие сосновые щепки. Огонь запылал сильнее. Ник вспомнил, что не принес воды для кофе. Он достал из мешка брезентовое ведро и по склону холма, а потом краем луга спустился к реке. На том берегу лежал белый туман. Трава была мокрая и холодная. Ник стал на колени на берегу и забросил ведро в воду. Оно расправилось в воде и крепко натянуло веревку. Вода была ледяная. Ник сполоснул ведро, наполнил его до краев и понес в лагерь. Повыше над рекой было не так холодно.

Ник вбил в дерево еще один большой гвоздь и подвесил ведро с водой. Он до половины наполнил кофейник, подбросил щепок в костер и поставил кофейник на решетку. Он не мог припомнить, как он раньше варил кофе. Помнил только, что однажды поспорил из-за этого с Хопкинсом, но позабыл, какой способ он тогда защищал. Он решил вскипятить кофе. И тут же вспомнил, что это как раз и есть способ Хопкинса. Когда-то они готовы были спорить обо всем на свете. Поджидая, пока кофе закипит, он открыл небольшую банку с абрикосовым компотом. Ему нравилось открывать банки. Он опорожнил банку в оловянную чашку. Поглядывая на кофейник, Ник сначала выпил абрикосовый сок, очень осторожно, стараясь не пролить, а потом неторопливо стал подбирать уже самые фрукты. Они были вкуснее, чем свежие абрикосы.

Кофейник тем временем вскипел. Крышка приподнялась, и кофе, вместе с гущей, потек по кофейнику. Ник снял кофейник с решетки. Хопкинс мог торжествовать. Ник положил сахару в пустую чашку, из которой только что пил компот, и налил в нее немного кофе, чтоб остыл. Кофе был очень горячий, и, наливая, Ник прихватил ручку кофейника своей шляпой. Он не

даст гуще осесть в кофейнике. По крайней мере хоть первую чашку покрепче. Пускай все будет по Хопкинсу, с начала до конца. Хопкинс это заслужил. Хопкинс был знаток приготовления кофе, серьезный человек. Самый серьезный из всех, кого Ник знал. Это все было очень давно. Хопкинс, когда разговаривал, не шевелил губами. Он любил играть в поло. Он нажил миллионы в Техасе. Когда пришла телеграмма, что на его участке забил фонтан, ему пришлось занять денег на билет до Чикаго. Он мог бы телеграфировать, чтобы ему выслали денег, но это было бы слишком дорого. Его невесту прозвали Белокурой Венерой. Хоп не обижался, потому что она не была его настоящей невестой. Как-то раз он сказал, что совершенно спокоен на этот счет, — над его настоящей невестой никто не посмел бы шутить. Он был прав. Потом пришла телеграмма, и он уехал. Это случилось на Блэк-Ривер. Телеграмма шла восемь дней. Хопкинс подарил Нику свой «кольт» двадцать второго калибра. Фотоаппарат он подарил Биллу. Это — затем, чтобы они его не забывали. Будущим летом все они собирались на рыбную ловлю. Теперь, когда Хоп разбогател, он купит яхту, они будут плавать по Верхнему озеру вдоль северного берега. При прощании Хоп был

взволнован, но серьезен. Всем стало грустно. С его отъездом экскурсия расстроилась. Больше они никогда не видели Хопкинса. Все это было очень давно, на Блэк-Ривер.

Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рассказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остановить, потому что достаточно устал. Он вылил кофе из кофейника и вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в палатку. Сидя на одеялах, он снял брюки и башмаки, завернул башмаки в брюки, подложил их под голову вместо подушки и забрался под одеяло.

Через открытую сторону палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ночным ветром. Ночь была тихая. На болоте было совершенно тихо. Ник удобно растянулся под одеялом. У самого его уха жужжал комар. Ник сел и зажег спичку. Комар сидел на парусине у него над головой. Ник быстро поднес к нему спичку и с удовлетворением услышал, как комар зашипел на огне. Спичка погасла. Ник снова вытянулся под одеялом. Он повернулся на бок и закрыл глаза. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что засыпает. Он свернулся под одеялом и заснул.

Глава пятнадцатая
На Биг-Ривер II

Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденные заранее были доставлены сюда. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом.

К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой, — говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось

недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Принесите, — сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как отпустили люк.

Когда он проснулся, солнце было высоко и палатка уже начала нагреваться. Ник вылез из-под сетки от комаров, которой был затянут вход в палатку, поглядеть, какое утро. Когда он вылезал, трава была мокрая на ощупь. Брюки и башмаки он держал в руках. Солнце только что поднялось над холмом. Кругом были луг, река, болото. За рекой по краю болота росли березы.

Сейчас, ранним утром, река была светлая, гладкая, бежала быстро. Шагов на двести ниже по течению поперек реки торчали три коряги. Вода перекатывалась через них, гладкая и глубокая. Ник увидел, как выдра перешла по корягам через

реку и скрылась в болоте. Раннее утро и река радовали его. Ему не терпелось отправиться в путь, хотя бы и без завтрака, но он знал, что позавтракать необходимо. Он развел небольшой костер и поставил кофейник на огонь.

Пока вода нагревалась, Ник взял пустую бутылку и спустился к реке. Луг был мокрый от росы, и Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. Он нашел много отличных кузнечиков. Они сидели у корней травы. Некоторые сидели на стеблях. Все были холодные и мокрые от росы и не могли прыгать, пока не обсохнут на солнце. Ник стал собирать их; он брал только коричневых, среднего размера и сажал в бутылку. Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук коричневых, среднего размера. Пока он их собирал, остальные отогрелись на солнце и начали прыгать в разные стороны. Прыгая, они раскрывали крылышки. Они делали прыжок и, упав на землю, больше уже не двигались, словно мертвые.

Ник знал, что к тому времени, как он позавтракает, кузнечики совсем оживут. Если упустить

время, то целый день уйдет на то, чтобы набрать полную бутылку хороших кузнечиков, и, кроме того, сбивая их шляпой, он многих передавит. Он сошел на берег и вымыл руки. Его радовало, что он так близко от реки. Потом он пошел к палатке. Кузнечики уже тяжело прыгали по траве. В бутылке, обогретые солнцем, они прыгали все разом. Ник заткнул бутылку сосновой палочкой. Она как раз настолько затыкала горлышко, что кузнечики не могли выскочить, а воздух проходил свободно.

Ник перекатил бревно на прежнее место; он знал теперь, что здесь можно будет каждое утро набирать сколько угодно кузнечиков.

Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прислонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковороду. Потом в закипевшее сало он осторожно налил теста. Оно разлилось по сковороде, как лава. Сало пронзительно шипело. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от сковороды. Поверхность пузырилась, становилась пористой. Ник взял чистую сосновую щепку и подсунул

ее под лепешку, уже подрумяненную снизу. Он встряхнул сковороду, и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать», — подумал Ник. Он подсунул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.

Когда лепешка была готова, Ник опять смазал сковороду салом. Теста хватило на два больших блина и один поменьше.

Ник съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сэндвичей.

В мешке он отыскал большую луковицу. Он разрезал ее пополам и содрал шелковистую верхнюю кожицу. Затем одну половину он изрезал на тонкие ломтики и приготовил два сэндвича с луком. Их он тоже завернул в пергамент, засунул в другой большой карман и застегнул пуговицу. Он положил сковороду вверх дном на решетку, выпил кофе, сладкий и желтовато-коричневый от сгущенного молока, и прибрал лагерь. Хороший получился у него лагерь.

Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свинтил удилище, а чехол засунул обратно в

палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести. Это была тяжелая двойная леса. Когда-то Ник заплатил за нее восемь долларов. Она была нарочно сделана толстой и тяжелой, чтобы ею можно было взмахнуть и чтобы она тяжело, плоско падала и прямо ложилась на воду; иначе нельзя было бы далеко забросить легкую наживку. Ник открыл алюминиевую коробочку с поводками. Поводки были проложены фланелевой прокладкой. Фланелевую прокладку Ник в поезде смочил водой из фильтра, когда подъезжал к Сент-Игнесу. От влаги поводки размягчились, и Ник расправил один и привязал узелком к концу тяжелой лесы. К поводку он привязал крючок. Крючок был маленький, очень тонкий и упругий.

Ник достал крючок, положив удилище на колени. Он туго натянул лесу, проверяя узлы и скрепления на удилище. Это было приятное чувство. Он проделал это осторожно, чтобы крючок не воткнулся в руку.

Он стал спускаться к реке, держа в руках спиннинг; бутылка с кузнечиками висела у него на шее на ремешке, обвязанном вокруг горлышка.

Сачок для рыбы висел на крючке на поясе. Через плечо у него был подвешен длинный мешок из-под муки; верхние углы мешка он завязал бечевкой и перекинул бечевку через плечо. Мешок хлопал его по ногам.

Обвешанный всем этим снаряжением, Ник двигался с трудом, но чувствовал себя настоящим рыболовом. Бутылка с кузнечиками болталась у него на груди. Карманы ковбойки, набитые сэндвичами и коробочками с крючками и наживкой, давили на грудь.

Он вошел в воду. Его обожгло. Брюки прилипли к ногам. Сквозь башмаки он чувствовал камешки на дне. Холодная вода обжигала, поднимаясь все выше по ногам.

Вода бурлила вокруг его ног. Там, где он вошел в реку, вода была выше колен. Он побрел по течению. Ноги скользили по гравию. Он глянул вниз, в водовороты, крутившиеся вокруг его ног, и встряхнул бутылку, чтобы достать кузнечика.

Первый кузнечик, выбравшись из горлышка, одним прыжком выскочил из бутылки и упал в воду. Его сейчас же засосало водоворотом возле правой ноги Ника, потом он выплыл немного ниже по течению. Он быстро плыл, барахтаясь. Внезапно на гладкой поверхности воды появился

круг, и кузнечик исчез. Его поймала форель.

Другой кузнечик высунул голову из горлышка бутылки. Он поводил усиками. Он карабкался по горлышку бутылки, готовясь прыгнуть. Ник ухватил его за голову и, крепко держа, стал насаживать на крючок; он воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь головогрудь, до самого последнего сегмента брюшка. Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду.

Держа спиннинг в правой руке, он повел лесу против течения. Левой рукой он снял лесу с катушки и пустил ее свободно. Кузнечик был еще виден среди мелкой ряби. Потом скрылся из виду.

Вдруг леса натянулась. Ник стал выбирать ее. В первый раз клюнуло. Держа ожившую теперь удочку поперек течения, он подтягивал лесу левой рукой. Удилище то и дело сгибалось, когда форель дергала лесу. Ник чувствовал, что это небольшая форель. Он поставил удилище стоймя. Оно согнулось.

Он увидел в воде форель, дергавшуюся головой и всем телом; наклонная черта лесы в воде постепенно выпрямлялась.

Ник перехватил лесу левой рукой и вытащил

на поверхность устало бившуюся форель. Спина у нее была пятнистая, светло-серая, такого же цвета, как просвечивающий сквозь воду гравий, бока сверкнули на солнце. Зажав удочку под мышкой, Ник нагнулся и окунул правую руку в воду. Мокрой правой рукой он взял ни на минуту не переставшую биться форель, вынул у нее крючок изо рта и пустил ее обратно в воду.

Мгновение форель висела в потоке, потом опустилась на дно возле камня. Ник протянул к ней руку, до локтя погрузив ее в воду. Форель оставалась неподвижной в бегущей воде, лежала на дне, возле камня. Когда Ник пальцами коснулся ее гладкой спинки, ощутил подводный холод ее кожи; форель исчезла, только тень ее скользнула по дну.

«Ничего. Обойдется, — подумал Ник. — Просто она устала».

Он смочил руку, прежде чем взять форель, чтобы не повредить одевавший ее нежный слизевой покров. Если тронуть ее сухой рукой, на пораженном месте развивается белый паразитический грибок. Раньше, когда Ник ловил форелей на реках, где бывало много народу и, случалось, впереди него и позади шли другие рыболовы, ему постоянно попадались дохлые форели, все

в белом пуху, прибитые течением к камню или плавающие брюхом вверх в тихой заводи. Ник не любил, когда на реке были другие рыболовы. Если они не принадлежат к вашей компании, они портят все удовольствие. Он побрел дальше по течению, по колено в воде, по мелководью, занимавшему участок шагов в пятьдесят длиной, выше коряг, торчавших поперек реки. Он держал крючок в руке, но не стал насаживать на него новой приманки. На отмелях можно наловить мелкой форели, но она Ника не интересовала. А крупной форели в этот час дня не бывает на мелководье.

Теперь вода доходила ему до бедер, холодная, обжигающая, и прямо перед ним была заводь, запруженная корягами. Вода была гладкая и темная; налево — нижний край луга, направо — болото.

Ник откинулся назад, навстречу течению, и достал кузнечика из бутылки. Он насадил его на крючок и плюнул на него, на счастье. Затем он размотал несколько ярдов лесы с катушки и забросил кузнечика далеко вперед, в быструю темную воду. Кузнечик поплыл к корягам, потом от тяжести лесы ушел под воду. Ник держал удилище в правой руке, пропуская лесу между

пальцами.

Лесу сильно дернуло. Ник подсек, и удилище поднялось, напряженное, словно живое, согнутое пополам, готовое сломиться; и леса натянулась, выходя из воды; она натягивалась все сильней, все напряженней. Ник почувствовал, что еще секунда — и поводок оборвется; он отпустил лесу.

Катушка завертелась с визгом, когда леса начала стремительно разматываться. Слишком быстро. Ник не успевал следить за лесой, леса слетала с катушки, визг становился все пронзительней.

Катушка обнажилась. Сердце у Ника, казалось, перестало биться от волнения. Откинувшись назад в ледяной воде, доходившей ему до бедер, Ник крепко прихватил катушку левой рукой. Большой палец с трудом влезал в отверстие катушки.

Когда он задержал катушку, леса вдруг стала тугой и жесткой, и за корягами огромная форель высоко выпрыгнула из воды. Ник тотчас нагнул удилище, чтобы ослабить лесу. Но уже в тот момент, как он его нагибал, он почувствовал, что напряжение слишком велико, леса стала слишком тугой. Ну конечно, поводок оборвался. Он безошибочно это почувствовал по тому, как леса вдруг потеряла всякую упругость, стала сухой и

жесткой. Потом ослабла.

Во рту у Ника пересохло, сердце упало. Он стал наматывать лесу на катушку. Ему никогда не попадалось такой большой форели. Чувствовалось, что она такая тяжелая, такая сильная, что ее не удержишь. И какая громадина. С хорошего лосося величиной.

Руки у Ника тряслись. Он медленно наматывал лесу. Он слишком переволновался. У него закружилась голова, слегка подташнивало, хотелось присесть отдохнуть.

Поводок оборвался в том месте, где был привязан к крючку. Ник взял его в руки. Он думал о форели, о том, как где-то на покрытом гравием дне она старается удержаться против течения, глубоко на дне, куда не проникает свет, под корягами, с крючком во рту. Ник знал, что зубы форели в конце концов перекусят крючок. Но самый кончик так и останется у нее в челюсти. Форель, наверное, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке. Как камень. Она и тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слышал про таких.

Ник выбрался на луг. Вода стекала у него по

брюкам, хлюпала в башмаках. Он прошел немного берегом и сел на корягу. Он не спешил, ему хотелось продлить удовольствие.

Он пошевелил пальцами ног в воде, наполнявшей башмаки, и достал папиросу из бокового кармана. Он закурил и бросил спичку в быстро бегущую воду под корягами. Когда спичку завертело течением, за ней погналась маленькая форель. Ник засмеялся. Сперва он выкурит папиросу.

Он сидел на коряге, курил, обсыхая на солнце, солнце грело ему спину, впереди река уходила в лес и, повернув, исчезала в лесу, — отмели, блеск солнца, большие отполированные водой камни, кедры вдоль берега и белые березы, коряга, теплая от солнца, на ней удобно сидеть, гладкая, без коры, сырая на ощупь. И постепенно его покинуло чувство разочарования, резко сменившее возбуждение, от которого у него даже заболели плечи. Теперь опять все было хорошо. Положив удилище на корягу, он привязал новый крючок к поводку, он до тех пор затягивал жилу, пока она не слиплась в твердый, плотный узелок.

Он насадил наживку, потом взял удочку и перешел по корягам на тот берег, чтобы сойти в воду в неглубоком месте. Под корягами и за ними было глубоко. Нику пришлось обойти песчаную

косу на том берегу, прежде чем он добрался до мелководья.

Налево, там, где кончался луг и начинались леса, лежал большой, вывороченный с корнем вяз. Его повалило грозой, и он лежал вершиной в лесу; корни были занесены илом и обросли травой, образуя бугор у самой воды. Река подмывала вывороченные корни. С того места, где Ник стоял, ему были видны глубокие, похожие на колеи впадины, промытые течением в мелком дне. Там, где стоял Ник, дно было покрыто галькой; подальше — тоже усеяно галькой и большими, торчащими из воды камнями. Но там, где река делала изгиб возле корней вяза, дно было илистое и между впадинами извивались языки зеленых водорослей.

Ник взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леса, описав дугу, увлекла кузнечика в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Форель клюнула, и Ник подсек.

Вытянув удилище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву, и пятясь по колено в воде, Ник вывел форель, которая все время ныряла, сгибая удилище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удилище, гнувшееся, как живое, Ник стал подтягивать

к себе форель. Форель рвалась, но постепенно приближалась, удилище подавалось при каждом рывке, иногда его конец уходил в воду, но всякий раз форель подтягивалась немного ближе. Подняв удилище над головой, Ник провел форель над сачком и сачком подхватил ее.

Форель тяжело висела в сачке, сквозь петли виднелись ее пятнистая спинка и серебряные бока. Ник снял ее с крючка — приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед нижней челюстью — и, бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Держа мешок против течения, Ник приоткрыл его; мешок наполнился водой и стал тяжелым. Ник приподнял его, и вода начала вытекать. Дно мешка оставалось в воде, и там билась большая форель.

Ник пошел вниз по течению. Мешок висел спереди, погруженный в воду, оттягивая ему плечи.

Становилось жарко, солнце жгло ему затылок.

Одну хорошую форель он уже поймал. Много ему и не нужно. Река стала широкой и мелкой. По обоим берегам росли деревья. На левом берегу деревья под утренним солнцем отбрасывали на воду короткие тени. Ник знал, что везде в тени есть форели. После полудня, когда солнце станет

над холмами, форели перейдут в прохладную тень возле другого берега.

Те, что покрупней, будут под самым берегом. На Блэк-Ривер всегда можно было их там найти. Когда же солнце садилось, они выходили на середину реки. Как раз когда солнце заливало реку слепящим блеском, форели хорошо ловились повсюду. Но ловить их в этот час было почти невозможно: поверхность реки слепила, как зеркало на солнце. Конечно, можно было повернуться против течения, но на такой реке, как эта или Блэк-Ривер, брести против течения трудно, а в глубоких местах вода валит с ног. Не так-то это просто в реках с быстрым течением.

Ник пошел дальше по мелководью, вглядываясь, не окажется ли возле берега глубоких ям. На самом берегу рос бук, так близко к реке, что ветви его окунались в воду. Вода крутилась вокруг листьев. В таких местах всегда водятся форели.

Нику не хотелось ловить в этой яме. Крючок наверняка зацепится за ветку.

Однако на вид тут было очень глубоко. Он забросил кузнечика так, что он ушел под воду, его закружило течением и унесло под нависшие над водой ветви. Леса сильно натянулась, и Ник подсек. Между ветвей и листьев тяжело плеснулась

форель, наполовину выскочив из воды. Конечно, крючок зацепился. Ник сильно дернул, и форель исчезла. Ник смотал лесу и, держа крючок в руке, пошел вниз по течению.

Впереди, под левым берегом, лежала большая коряга. Ник видел, что в середине она пустая; вода не бурлила вокруг ее верхнего конца, а входила внутрь гладкой струей, только по бокам разбегалась мелкая рябь. Река становилась все глубже. Сверху коряга была серая и сухая. Она была наполовину в тени.

Ник вынул затычку из бутылки вместе с уцепившимся за нее кузнечиком. Ник снял его, насадил на крючок и забросил в воду. Он вытянул удилище далеко вперед, так что кузнечика понесло течением прямо к коряге. Ник нагнул удилище, и кузнечика затянуло внутрь. Лесу сильно дернуло. Ник потянул к себе удилище. Можно было подумать, что крючок зацепился за корягу, если бы только не живая упругость удочки.

Ник попробовал вывести рыбу на открытое место. Тащить ее было тяжело.

Вдруг леса ослабла, и Ник подумал, что форель сорвалась. Потом он увидел ее очень близко, в открытой воде; форель дергала головой, стараясь

освободиться от крючка. Рот у нее был крепко сжат. Она изо всех сил боролась с крючком в светлой, быстро бегущей воде.

Смотав лесу левой рукой, Ник поднял удилище, чтобы натянуть лесу, и попытался подвести форель к сачку, но она метнулась прочь, исчезла из виду, рывками натягивая лесу. Ник повел ее против течения, предоставив ей дергаться в воде, насколько позволяла упругость удилища. Он перенял удочку левой рукой, повел форель против течения, — она не переставала бороться, всей своей тяжестью повисая на лесе, — и опустил ее в сачок. Он поднял сачок из воды, форель висела в нем тяжелым полукольцом, из сетки бежала вода, он снял форель с крючка и опустил ее в мешок.

Он приоткрыл мешок и заглянул в него — на дне мешка трепетали в воде две большие форели.

По все углублявшейся воде Ник побрел к пустой коряге. Он снял мешок через голову — форели забились, когда мешок поднялся из воды, — и повесил его на корягу так, чтобы форели были глубоко погружены в воду. Потом он залез на корягу и сел; вода с его брюк и башмаков стекала в реку. Он положил удочку, перебрался на затененный конец коряги и достал из кармана сэндвичи. Он окунул их в холодную воду. Крошки

унесло течением. Он съел сэндвичи и зачерпнул шляпой воды напиться; вода вытекала из шляпы чуть быстрей, чем он успевал пить.

В тени на коряге было прохладно. Ник достал папиросу и чиркнул спичкой по коряге. Спичка глубоко ушла в серое дерево, оставив в нем бороздку. Ник перегнулся через корягу, отыскал твердое место и зажег спичку. Он сидел, курил и смотрел на реку.

Впереди река сужалась и уходила в болото. Вода становилась здесь гладкой и глубокой, и казалось, что болото сплошь поросло кедрами, так тесно стояли стволы и так густо сплетались ветви. По такому болоту не пройдешь. Слишком низко растут ветви. Пришлось бы ползти по земле, чтобы пробраться между ними. «Вот почему у животных, которые водятся в болоте, такое строение тела», — подумал Ник.

Он пожалел, что ничего не захватил почитать. Ему хотелось что-нибудь почитать. Забираться в болото ему не хотелось. Он взглянул вниз по реке. Большой кедр наклонился над водой, почти достигая противоположного берега. Дальше река уходила в болото.

Нику не хотелось идти туда. Не хотелось брести по глубокой воде, доходящей до самых подмышек,

и ловить форелей в таких местах, где невозможно вытащить их на берег. По берегам болота трава не росла, и большие кедры смыкались над головой, пропуская только редкие пятна солнечного света; в полутьме, в быстром течении, ловить рыбу было небезопасно. Ловить рыбу на болоте — дело опасное. Нику этого не хотелось. Сегодня ему не хотелось спускаться еще ниже по течению.

Он достал нож, открыл его и воткнул в корягу. Потом подтянул к себе мешок, засунул туда руку и вытащил одну из форелей. Захватив ее рукой поближе к хвосту, скользкую, живую, Ник ударил ее головой о корягу. Форель затрепетала и замерла. Ник положил ее в тень на корягу и тем же способом оглушил вторую форель. Он положил их рядышком на корягу. Это были очень хорошие форели.

Ник вычистил их, распоров им брюхо от анального отверстия до нижней челюсти. Все внутренности вместе с языком и жабрами вытянулись сразу. Обе форели были самцы; длинные серовато-белые полоски молок, гладкие и чистые. Все внутренности были чистые и плотные, вынимались целиком. Ник выбросил их на берег, чтобы их могли подобрать выдры.

Он обмыл форель в реке. Когда он держал их

в воде против течения, они казались живыми. Окраска их кожи еще не потускнела. Ник вымыл руки и обтер их о корягу. Потом он положил форели на мешок, разостланный на коряге, закатал и завязал сверток и уложил его в сачок. Нож все еще торчал, воткнутый в дерево. Ник вычистил лезвие о корягу и спрятал нож в карман.

Ник встал во весь рост на коряге, держа удилище в руках; сачок тяжело свисал с его пояса; потом он сошел в реку и, шлепая по воде, побрел к берегу. Он взобрался на берег и пошел прямиком через лес по направлению к холмам, туда, где находился лагерь. Он оглянулся. Река чуть виднелась между деревьями. Впереди было еще много дней, когда он сможет ловить форель на болоте.

L’envoi

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы прошлись по саду. «Вот королева», — сказал он. Она подрезала розовый куст. «Здравствуйте», — сказала она. Мы сели за стол под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. «Хорошее виски у нас пока еще есть», — сказал король. Он сказал мне, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. «Пластирас, по-видимому, порядочный человек, — сказал король, — но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку.

Мужчины без женщин (1927)

ПосвящаетсяЭВАНУ ШИПМЕНУ

Непобежденный

Мануэль Гарсиа поднялся по лестнице в контору дона Мигеля Ретаны. Он поставил свой чемодан на пол и постучал в дверь. Ответа не было. Но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь.

— Ретана, — сказал он, прислушиваясь.

Ответа не было.

«А все-таки он здесь», — подумал Мануэль.

— Ретана, — повторил он и громче постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос из конторы.

— Это я, Маноло, — сказал Мануэль.

— А что нужно? — спросил голос.

— Мне нужна работа, — сказал Мануэль.

В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан.

За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек. Над его головой висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской; стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков.

Маленький человечек сидел и смотрел на Мануэля.

— Я думал, ты убит, — сказал он.

Мануэль быстро постучал костяшками пальцев по столу. Маленький человечек сидел и смотрел на него через стол.

— Сколько у тебя выходов за этот год? — спросил Ретана.

— Один, — ответил Мануэль.

— Только тот один? — спросил маленький человечек.

— Только.

— Я читал об этом в газетах, — сказал Ретана. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Мануэля.

Мануэль поглядел на чучело быка. Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет девять назад бык убил его брата, того, что подавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щите, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть ее, но он предполагал, что это в память его брата. Что ж, он был славный мальчик.

На дощечке было написано: «Бык Марипоса,

с ганадерии герцога Верагуа, вспоровший семь лошадей и убивший Антонио Гарсиа, новильеро, 27 апреля 1909 года».

Ретана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову.

— На воскресенье герцог прислал мне такую партию, что без скандала не обойдется, — сказал он. — Они все разбиты на ноги. Что говорят о них в кафе?

— Не знаю, — ответил Мануэль. — Я только что приехал.

— Да, — сказал Ретана. — У тебя и чемодан с собой.

Откинувшись на спинку стула, он смотрел на Мануэля через большой стол.

— Садись, — сказал он. — Сними шляпу.

Мануэль сел; без шляпы лицо его стало совсем другим. Косичка матадора, пришпиленная на макушке, чтобы она держалась под шляпой, нелепо торчала над бледным лицом.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Ретана.

— Я только что из больницы, — сказал Мануэль.

— Я слышал, будто тебе отняли ногу.

— Нет, — сказал Мануэль. — Обошлось.

Ретана наклонился вперед и пододвинул Ма-

нуэлю стоявший на столе деревянный ящичек с сигаретами.

— Бери, — сказал он.

— Спасибо.

Мануэль закурил.

— А ты? — сказал он, протягивая Ретане зажженную спичку.

— Нет. — Ретана помахал рукой. — Не курю.

Ретана молча смотрел, как Мануэль курит.

— Почему ты не подыщешь себе какую-нибудь работу? — спросил Ретана.

— Я не хочу какую-нибудь, — сказал Мануэль. — Я матадор.

— Нет больше матадоров, — сказал Ретана.

— Я матадор, — сказал Мануэль.

— Да, сидя у меня в конторе.

Мануэль засмеялся.

Ретана молча смотрел на Мануэля.

— Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь, — предложил Ретана.

— Когда? — спросил Мануэль.

— Завтра.

— Не люблю быть заменой, — сказал Мануэль. Именно так все они погибают. Именно так погиб Сальвадор. Он постучал костяшками пальцев по столу.

— Больше у меня ничего нет, — сказал Ретана.

— Почему бы тебе не выпустить меня днем на будущей неделе? — спросил Мануэль.

— Сбора не сделаешь, — ответил Ретана. — Публика требует только Литри, Рубито и Ля Торре. Эти хорошо работают.

— Публика придет смотреть меня, — с надеждой сказал Мануэль.

— Нет, не придет. Тебя уже давно забыли.

— Я могу хорошо работать, — сказал Мануэль.

— Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады, — повторил Ретана. — Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух новильо.

— Чьи новильо? — спросил Мануэль.

— Не знаю. Что найдется в корале. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям.

— Не люблю быть заменой, — сказал Мануэль.

— Как хочешь, — сказал Ретана.

Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нем Мануэль, напомнив о старых временах, уже исчезло. Он охотно заменит им Чавеса, потому что это обойдется дешево. Но и других можно иметь по дешевке. Все же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может

выступить. Теперь его дело решать.

— А сколько ты мне заплатишь? — спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется. Но он знал, что не может отказаться.

— Двести пятьдесят песет, — ответил Ретана. Он хотел дать пятьсот, но когда он разжал губы, они сказали двести пятьдесят.

— Виляльте ты платишь семь тысяч, — сказал Мануэль.

— Но ты не Виляльта, — ответил Ретана.

— Я знаю, — сказал Мануэль.

— Он делает сборы, Маноло, — объяснил Ретана.

— Конечно, — сказал Мануэль. Он встал. — Дай триста, Ретана.

— Хорошо, — согласился Ретана. Он достал из ящика стола листок бумаги.

— А можно мне пятьдесят получить сейчас? — спросил Мануэль.

— Пожалуйста, — сказал Ретана. Он вынул из бумажника кредитку в пятьдесят песет и, развернув ее, положил на стол.

Мануэль взял деньги и спрятал в карман.

— А куадрилья? — спросил он.

— Будут ребята, которые всегда работают у меня по вечерам. Они — ничего.

— А пикадоры?

— Пикадоры неважные, — признался Ретана.

— Мне нужен хоть один хороший пикадор, — сказал Мануэль.

— Найми его, — сказал Ретана. — Ступай и найми.

— Только не за те же деньги, — возразил Мануэль. — Не могу же я оплачивать пикадора из этих шестидесяти дуро.

Ретана ничего не ответил, только посмотрел через стол на Мануэля.

— Ты сам знаешь, что мне нужен хоть один хороший пикадор, — сказал Мануэль.

Ретана, не отвечая, смотрел на Мануэля, словно откуда-то очень издалека.

— Так не годится, — сказал Мануэль.

Ретана все еще разглядывал его, откинувшись на спинку стула, разглядывал откуда-то издалека.

— У нас есть свои пикадоры, — сказал он.

— Знаю, — сказал Мануэль, — знаю я твоих пикадоров.

Ретана не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено.

— Я хочу только равных шансов, — негромко сказал Мануэль. — Когда я выйду на арену, нуж-

но, чтобы я мог подступиться к быку. Для этого довольно одного хорошего пикадора.

Он обращался к человеку, который уже не слушал его.

— Если тебе нужно что-нибудь сверх положенного, — сказал Ретана, — доставай сам. Будет работать наша куадрилья. Приводи своих пикадоров, сколько хочешь. Клоунада кончается в десять тридцать.

— Хорошо, — сказал Мануэль. — Если это твое последнее слово.

— Да, — сказал Ретана.

— До завтра, — сказал Мануэль.

— Я буду там, — сказал Ретана.

Мануэль поднял свой чемодан и вышел.

— Захлопни дверь! — крикнул Ретана.

Мануэль оглянулся. Ретана сидел, наклонившись над столом, и просматривал бумаги. Мануэль плотно притворил дверь, и замок щелкнул.

Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и отблеск солнца на белых зданиях больно резанул глаза. Он пошел к Пуэрта-дель-Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотная и свежая, как проточная вода. Но, когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его.

Среди встречавшихся ему людей Мануэль не заметил ни одного знакомого лица.

Перед самой Пуэрта-дель-Соль он зашел в кафе.

В кафе было пустовато. Только немногие посетители сидели за столиками у стены. За одним из столиков четверо играли в карты. Остальные сидели, прислонившись к стене, и курили; перед ними стояли пустые рюмки и чашки из-под кофе. Мануэль прошел через длинный зал в маленькую заднюю комнату. В углу за столиком сидел человек и спал. Мануэль сел за один из столиков.

Вошел официант и остановился возле Мануэля.

— Вы не видели Сурито? — спросил его Мануэль.

— Он приходил утром, — ответил официант. — Теперь он раньше пяти не придет.

— Дайте мне кофе с молоком и рюмку коньяку, — сказал Мануэль.

Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмкой. В левой руке он держал бутылку коньяку. Описав подносом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил в стакан кофе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками.

Мануэль снял шляпу, и официант увидел ко-

сичку, приколотую надо лбом. Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля.

— Вы будете здесь выступать? — спросил официант, закупоривая бутылку.

— Да, — сказал Мануэль. — Завтра.

Официант медлил у столика, прижав дно бутылки к бедру.

— В клоунаде? — спросил он.

Мальчик смутился и отвел глаза.

— Нет, после.

— А я думал, что будут Чавес и Эрнандес, — сказал официант.

— Нет. Я и еще один.

— Кто? Чавес или Эрнандес?

— Кажется, Эрнандес.

— А что случилось с Чавесом?

— Он ранен.

— Кто сказал?

— Ретана.

— Эй, Луис! — крикнул официант в соседнюю комнату. — Чавес ранен.

Мануэль снял обертку с порции сахара и бросил оба куска в стакан. Он помешал кофе и выпил его; кофе был сладкий, горячий и приятно согревал

пустой желудок. Потом он выпил коньяк.

— Налейте еще рюмку, — сказал он официанту.

Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдце. К столику подошел еще один официант. Мальчик ушел.

— Что, Чавес тяжело ранен? — спросил Мануэля второй официант.

— Не знаю, — ответил Мануэль. — Ретана не сказал.

— Ему-то, конечно, наплевать, — вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его. Он, вероятно, только что подошел.

— У нас так: если Ретана поддержит, твое счастье, — сказал высокий официант. — А если не поддержит, можешь пойти и пустить себе пулю в лоб.

— Верно, — поддакнул второй официант. — Совершенно верно.

— Еще бы не верно, — сказал высокий официант. — Я хорошо знаю, что это за птица.

— Смотрите, как он выдвинул Виляльту, — сказал первый официант.

— Да разве его одного, — сказал высокий официант. — А Марсьяла Лаланду! А Насионаля!

— Верно, верно, — подтвердил маленький

официант.

Они оживленно разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку коньяку. О нем они забыли — словно его здесь и не было.

— Это просто стадо верблюдов, — продолжал высокий официант. — Вы когда-нибудь видели Насионаля-второго?

— Я видел его в прошлое воскресенье, — ответил первый официант.

— Настоящий жираф, — сказал маленький официант.

— Я же вам говорил, — сказал высокий официант. — Все это любимчики Ретаны.

— Послушайте, дайте мне еще рюмку, — сказал Мануэль. Пока они разговаривали, он перелил коньяк с блюдца в рюмку и выпил его.

Первый официант, не глядя на Мануэля, наполнил рюмку, и все трое, разговаривая, вышли из комнаты.

Человек в дальнем углу все еще спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вдохе.

Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну. Выходить на улицу не стоит — слишком жарко. Да и делать там нечего. Нужно повидать

Сурито. Он вздремнет немного, пока тот не пришел. Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. Может быть, лучше поставить его под стул, к стене. Он нагнулся и подвинул чемодан. Потом положил голову на стол и заснул.

Когда он проснулся, кто-то сидел за столиком напротив него. Это был высокий, плотный мужчина с крупными чертами лица и смуглой, как у индейца, кожей. Он уже давно сидел здесь. Он махнул рукой официанту, чтобы тот не подходил, и теперь сидел и читал газету, время от времени взглядывая на Мануэля, который спал, положив голову на стол. Он читал с трудом, по складам, усиленно шевеля губами. Чтобы передохнуть, он отрывался от газеты и смотрел на спящего. Он неподвижно и грузно сидел против Мануэля, надвинув на лоб черную широкополую шляпу.

Мануэль выпрямился и посмотрел на него.

— Здравствуй, Сурито, — сказал он.

— Здравствуй, малыш, — сказал плотный мужчина.

— Я спал. — Мануэль потер лоб кулаком.

— Я видел, что ты спишь.

— Как дела?

— Хороши. А твои?

— Так себе.

Оба молчали. Пикадор Сурито смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки пикадора, складывающие газету, прежде чем спрятать ее в карман.

— У меня к тебе просьба, Манос, — сказал Мануэль.

«Маносдурос» было прозвище Сурито. Каждый раз, как он слышал его, он вспоминал о своих огромных руках. Он смущенно положил их перед собой на стол.

— Давай выпьем, — сказал он.

— Давай, — сказал Мануэль.

Официант подошел, вышел и снова вошел. Уходя, он оглянулся на сидящих за столиком Мануэля и Сурито.

— В чем дело, Маноло? — Сурито поставил рюмку на стол.

— Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером? — спросил Мануэль, смотря через стол на Сурито.

— Нет, — сказал Сурито. — Я больше не работаю.

Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа: вот и дождался. Ну да, дождался.

— Не сердись, Маноло, но я больше не работаю.

— Сурито смотрел на свои руки.

— Ну что ж, — сказал Мануэль.

— Я слишком стар, — сказал Сурито.

— Я только спросил, — сказал Мануэль.

— Это завтра вечером?

— Да. Я подумал, что, если у меня будет один хороший пикадор, я справлюсь.

— Сколько тебе платят?

— Триста песет.

— Так ведь я один получаю больше.

— Я знаю, — сказал Мануэль. — Я не имел никакого права просить тебя.

— Почему ты не бросишь этого дела? — сказал Сурито. — Почему ты не отрежешь свою колету, Маноло?

— Не знаю, — ответил Мануэль.

— Ты немногим моложе меня, — сказал Сурито.

— Не знаю, — сказал Мануэль. — Не могу бросить. Только бы шансы были равные — больше мне ничего не нужно. Не могу не выступать, Манос.

— Нет, можешь.

— Нет, не могу. Я пробовал бросать.

— Я понимаю, что это трудно. Но так нельзя. Ты должен бросить раз и навсегда.

— Не могу я этого сделать. Да и последнее время я был в форме.

Сурито посмотрел на лицо Мануэля.

— Тебя свезли в больницу.

— Но до этого я был в блестящей форме.

Сурито ничего не ответил. Он перелил коньяк со своего блюдца в рюмку.

— В газетах писали, что такой работы еще не видывали, — сказал Мануэль.

Сурито молча посмотрел на него.

— Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю, — сказал Мануэль.

— Ты слишком стар, — сказал пикадор.

— Нет, — сказал Мануэль. — Ты на десять лет старше меня.

— Я — другое дело.

— Вовсе я не слишком стар, — сказал Мануэль.

Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица пикадора.

— Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, Манос, — с упреком сказал Мануэль.

— Не хочу я на тебя смотреть, — сказал Сурито. — Я слишком волнуюсь.

— Ты не видел меня в последнее время.

— Зато раньше видел.

Сурито посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда.

— Бросай это дело, Маноло.

— Не могу, — сказал Мануэль. — Я сейчас в форме, верно тебе говорю.

Сурито наклонился вперед, положив руки на стол.

— Слушай. Я поработаю завтра с тобой, но, если ты провалишься, ты бросишь. Понял? Согласен?

— Согласен.

Сурито откинулся назад со вздохом облегчения.

— Пора бросить, — сказал он. — Нечего дурака валять. Пора отрезать колету.

— Не придется бросать, — сказал Мануэль. — Вот увидишь. Я могу хорошо работать.

Сурито встал. Спор утомил его.

— Пора бросить, — сказал он. — Я сам отрежу тебе колету.

— Нет, не отрежешь, — сказал Мануэль. — Не придется.

Сурито подозвал официанта.

— Пойдем, — сказал Сурито. — Пойдем ко мне.

Мануэль достал чемодан из-под стула. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь все просто.

— Пойдем ко мне, пообедаем, — сказал Сурито.

Мануэль стоял в патио де кавальсос и ждал окончания клоунады. Сурито стоял рядом с ним. В конюшне было темно. Высокие ворота, ведущие на арену, были закрыты. Сверху донесся дружный смех, потом еще взрыв смеха. Потом наступила тишина. Мануэль любил запах конюшни. Хорошо пахло в темном патио. Опять с арены донесся хохот, потом аплодисменты, долго не смолкающие аплодисменты.

— Ты видел их когда-нибудь? — спросил Сурито, высокий, громоздкий в темноте рядом с Мануэлем.

— Нет, — ответил Мануэль.

— Очень смешно, — сказал Сурито. Он улыбнулся про себя в темноте.

Высокие, двустворчатые, плотно пригнанные ворота распахнулись, и Мануэль увидел арену в ярком свете дуговых фонарей и темный, уходящий вверх амфитеатр; по краю арены, раскланиваясь, бежало двое людей, одетых бродягами, а за ними следом, в ливрее с блестящими пуговицами, шел третий, подбирая шляпы и трости, брошенные на песок, и кидал их обратно в темноту.

В патио вспыхнул электрический свет.

— Я пойду подыщу себе конягу, пока ты соберешь ребят, — сказал Сурито.

За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которую выводили на арену, чтобы вывезти убитого быка.

Члены куадрильи, смотревшие клоунаду из прохода между барьером и первым рядом, вошли в патио и, болтая, остановились под фонарем. Красивый юноша в оранжевом с серебром костюме подошел к Мануэлю.

— Я Эрнандес, — сказал он, улыбаясь, и протянул руку.

Мануэль пожал ее.

— Сегодня нас ждут настоящие слоны, — весело сказал юноша.

— Да, крупные, и рога нешуточные, — подтвердил Мануэль.

— Вам достались худшие, — сказал юноша.

— Не беда, — сказал Мануэль. — Чем крупнее бык, тем больше мяса для бедных.

— Кто это придумал? — ухмыльнулся Эрнандес.

— Это старинная поговорка, — сказал Мануэль. — Построй свою куадрилью, чтобы мне видеть, кто работает со мной.

— У вас будут хорошие ребята, — сказал Эрнан-

дес. Он был очень весел. Он выступал в третий раз, и у него уже были поклонники в Мадриде. Он радовался, что через несколько минут начнется бой.

— А где пикадоры? — спросил Мануэль.

— Выбирают лошадей. Дерутся, кому достанется самый резвый скакун, — ухмыльнулся Эрнандес.

Мулы под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота; мертвый бычок взрыл борозду в песке.

Как только провезли быка, все выстроились для выхода.

Впереди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними — члены их куадрилий, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех — четыре пикадора верхами, стальные наконечники отвесно поднятых копий поблескивали в полумраке конюшни.

— Почему это Ретана скупится на освещение, лошадей не разглядишь, — сказал один из пикадоров.

— Он знает, что мало радости разглядывать его кляч, — ответил другой пикадор.

— Эта дохлятина подо мной едва на ногах держится, — сказал первый пикадор.

— Какие ни на есть, а лошади.

— Лошади-то они лошади.

Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях.

Сурито молчал. У него была единственная надежная лошадь. Он успел испытать ее в загоне, она слушалась повода и шпор. Он снял повязку с ее правого глаза и перерезал веревки, которыми ее уши были плотно притянуты к голове. Это была хорошая, крепкая лошадь, крепко стоявшая на ногах. Больше ему ничего не нужно. Он непременно удержится на ней до конца боя. Сидя в высоком стеганом седле под тусклым фонарем, дожидаясь выхода на арену, он мысленно проделал весь бой. Другие пикадоры, справа и слева от него, продолжали болтать. Он не слышал их.

Оба матадора стояли рядом впереди своих куадрилий, одинаково подхватив плащи левой рукой. Мануэль думал о трех юношах позади него. Все трое были мадридцы, как Эрнандес, лет по девятнадцати. Один из них, цыган, спокойный, сдержанный, смуглолицый, понравился Мануэлю. Он обернулся.

— Как тебя зовут? — спросил он цыгана.

— Фуентес, — ответил цыган.

— Хорошее имя, — сказал Мануэль. Цыган улыбнулся, показывая белые зубы.

— Когда бык выйдет, перехвати его и погоняй

немножко, — сказал Мануэль.

— Хорошо, — сказал цыган. Лицо его стало серьезно. Он начал думать о том, что будет делать на арене.

— Начинают, — сказал Мануэль Эрнандесу.

— Ну что ж, идем.

Подняв голову, покачиваясь в такт музыке, размахивая правой свободной рукой, они вышли на арену, ступая по желтому песку под дуговыми фонарями; за ними двинулись куадрильи, позади — пикадоры верхами, а после всех — служители и позвякивающая упряжка мулов. Толпа аплодировала Эрнандесу, когда они шли через арену. Они выступали горделиво, покачиваясь в такт музыке, глядя прямо перед собой.

Они поклонились президенту, и шествие распалось на составные части. Матадоры подошли к барьеру и сменили тяжелые мантии на легкие боевые плащи. Мулов увели с арены. Пикадоры на коротком галопе объехали кругом арены, и двое из них ускакали обратно в ворота. Служители разровняли песок.

Мануэль выпил стакан воды, поданный ему одним из подручных Ретаны, который должен был прислуживать Мануэлю и подавать ему шпаги.

Эрнандес, поговорив со своим служителем,

подошел к Мануэлю.

— Тебя хорошо встретили, мальчик, — сказал ему Мануэль.

— Меня любят, — радостно улыбнулся Эрнандес.

— Как прошел выход? — спросил Мануэль подручного Ретаны.

— Как свадебный поезд, — ответил тот. — Блестяще. Вы оба вышли, что твои Хоселито и Бельмонте.

Сурито проскакал мимо них, точно грузная конная статуя. Он повернул лошадь мордой к коралю, откуда должен был появиться бык. Странно выглядит арена в свете дуговых фонарей. Он привык работать на жарком дневном солнце, за большие деньги. Эта канитель при фонарях ему не нравилась. Уж начинали бы поскорей.

Мануэль подошел к нему.

— Валяй, Манос, — сказал он. — Урезонь его, чтобы был как раз по мне.

— Я его урезоню, малыш. — Сурито сплюнул в песок. — Он у меня попрыгает.

— Нажимай на него, Манос, — сказал Мануэль.

— Уж я нажму, — сказал Сурито. — Чего мы ждем?

— Вот он идет, — сказал Мануэль.

Сурито сидел в седле, крепко упираясь ногами в стремена, сжимая могучими ляжками в кожаных набедренниках бока лошади, держа в левой руке поводья, в правой — длинное копье, низко надвинув на глаза широкополую шляпу для защиты от света, и, не отрываясь, смотрел на далекую дверь кораля. Уши коня дрогнули. Сурито огладил его левой рукой.

Красная дверь кораля распахнулась, и несколько секунд Сурито видел далекий пустой проход по ту сторону арены. Потом бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей, заскользил, тормозя всеми четырьмя ногами, и, радуясь свободе после темного загона, пошел галопом — мягким, частым галопом, беззвучным, если бы не всхрапывание широко раздутых ноздрей.

В первом ряду, положив блокнот на бетонные перила и наклонившись вперед, заштатный репортер «Эль Эральдо» со скучающим видом небрежно записывал: «Бык Негро, черной масти, номер 42, очень воинственно настроенный, выбежал со скоростью 90 миль в час…»

Мануэль, который следил за быком, облокотившись на барьер, махнул рукой, и цыган выбежал вперед, волоча за собой плащ. Бык на всем скаку повернул и кинулся на плащ, опустив голову и

задрав хвост. Цыган двигался зигзагами, и когда бык увидел его, то забыл про плащ и кинулся на человека. Цыган подбежал к красному барьеру и перепрыгнул через него, и бык ударил рогами в деревянные доски. Он дважды стукнул рогами о барьер, вслепую бодая дерево.

Репортер «Эль Эральдо» закурил сигарету, бросил спичкой в быка и записал в свой блокнот: «… рога основательные, способные удовлетворить даже платных посетителей. Негр обнаружил явное желание вторгнуться на территорию матадоров».

Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптанный песок. Уголком глаза он видел Сурито верхом на белой лошади у самого барьера, слева от себя, на расстоянии четверти круга. Мануэль держал плащ близко перед собой, сжимая складки обеими руками, и кричал быку: «Ю-у! Ю-у!» Бык повернул и, словно оттолкнувшись от барьера, кинулся на плащ; Мануэль шагнул в сторону и обвел быка вокруг себя, размахивая плащом перед самыми рогами. Когда плащ описал круг, Мануэль снова стоял против быка, держа плащ почти вплотную у груди, а когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа

одобрительно кричала.

Четыре раза он повертывался вместе с быком, поднимая плащ, вздувавшийся парусом, и каждый раз заставляя быка снова кинуться. После пятого поворота он прижал плащ к бедру и стремительно перевернулся, так что плащ закружился вихрем, как пачки балерины, и бык, словно на привязи, обежал вокруг него; потом Мануэль отступил, оставив быка лицом к лицу с Сурито на белой лошади, крепко упершейся ногами в песок; лошадь смотрела на быка, уши ее выставились вперед, губы дергались; Сурито, надвинув шляпу на глаза, подался вперед, из-под согнутого локтя полуопущенной правой руки под острым углом торчало длинное копье, обращенное стальным наконечником к быку.

Репортер «Эль Эральдо», затягиваясь сигаретой, следя глазами за быком, писал: «Маститый Манолo, исполнив серию вполне приемлемых вероник и продемонстрировав рекорте в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии».

Сурито сидел в седле, измеряя взглядом расстояние между быком и наконечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь

к удару, Сурито вонзил острие копья во вздувшийся бугор мышц между лопатками быка, налег всей тяжестью на древко, поднял левой рукой белую лошадь на дыбы и перебросил ее направо, протолкнув быка под брюхом лошади, так что рога не задели ее, и лошадь стала на передние ноги, дрожа всем телом, а бык, хлестнув лошадь хвостом по груди, кинулся на плащ, протянутый ему Эрнандесом.

Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидав лошадь, бык бросился на нее. Копье пикадора скользнуло по спине быка, и, когда бык вскинул лошадь на рога, пикадор, уже наполовину вылетевший из седла, выпростал правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась оземь, и бык продолжал бодать ее, а пикадор, оттолкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать.

Мануэль не мешал быку бодать упавшую лошадь; спешить было некуда, пикадору ничего не грозило; а кроме того, пусть поволнуется, такому

пикадору это полезно. В следующий раз будет дольше держаться. Уж и пикадоры! Он посмотрел на Сурито, который, собрав лошадь, ждал в двух шагах от барьера.

— Ю-у! Томар! — крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка, и протянул ему плащ, который держал обеими руками. Бык оставил лошадь и кинулся за плащом, и Мануэль побежал в сторону, широко развернув плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к Сурито.

«Негру пришлось заплатить за смерть Росинанта несколькими вара, причем Эрнандес и Маноло показали искусные китэ, — писал репортер «Эль Эральдо». — Он увернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он не большой любитель лошадей. Маститый пикадор Сурито еще раз показал свое уменье владеть копьем, проделав, в частности, искусное суэрте…»

— Олэ! Олэ! — закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул репортера по спине. Тот поднял глаза от блокнота и увидел, что Сурито, как раз под ним, стоя в стременах, перегнулся через голову лошади и вонзил копье в загривок быка; копье торчало во всю длину под острым углом у него

из-под мышки, — он держал его почти за наконечник, — и, навалившись всей своей тяжестью, Сурито удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь, а Сурито, перегнувшись далеко вперед, удерживал его, удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности. Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольное острие копья вспороло бугор мышц между его лопатками; бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ, и юноша увел его на середину арены.

Сурито, оглаживая свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, которым Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы.

— Ты видел? — спросил Сурито, обращаясь к Мануэлю.

— Замечательно, — ответил Мануэль.

— Досталось ему от меня, — сказал Сурито. — Посмотри на него.

Кидаясь на плащ, взметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Сурито через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую, на черной лопатке быка.

— Досталось ему от меня, — повторил Сурито.

— Хороший бык, — сказал Мануэль.

— Еще один раз, и я убил бы его.

— Сейчас начнется третий тур, — сказал Мануэль.

— Посмотри на него, — повторил Сурито.

— Мне пора, — сказал Мануэль и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор; служители, держа лошадь под уздцы и колотя ее палками по ногам, старались подтащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами.

Сурито пустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, хмурясь, следил за ходом боя.

Наконец бык кинулся, служители бросились бежать к барьеру, пикадор промахнулся, и бык, поддев рогами брюхо лошади, забросил ее себе на спину.

Сурито наблюдал, не упуская ни одной подробности: вот подбежали служители в красных куртках и оттащили пикадора. Пикадор, уже на ногах, чертыхается, размахивает руками. Мануэль и Эрнандес держат наготове плащи. А бык, огромный черный бык стоит с лошадью на спине — копыта болтаются, уздечка зацепилась за рога. Черный бык с лошадью на спине шатается на ко-

ротких ногах, то вскидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь; наконец лошадь сброшена, и бык кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой.

Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Он терял много крови. По всему боку поблескивала кровь.

Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас кинется — свирепый, глаза вытаращены, следит за плащом. Мануэль отступил в сторону и, подняв руки, растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать веронику.

Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась. Он держит ее ниже. Это все Сурито.

Мануэль взмахнул плащом, сейчас кинется, он ступил в сторону и сделал еще одну веронику. Как страшно наставил рог, думал Мануэль. С него хватит, теперь он начеку. Теперь он подстерегает. Не спускает с меня глаз. Но я каждый раз подставляю ему плащ.

Он тряхнул плащом перед мордой быка; сейчас кинется; Мануэль ступил в сторону и повернулся на месте. Слишком близко получилось. Нельзя работать так близко к нему. Край плаща был мокрый от крови там, где он скользнул по спине

быка.

Ну ничего, еще один раз, последний. Мануэль, лицом к быку, в пятый раз протянул ему плащ. Бык смотрел на него. Неподвижным взглядом, выставив рога, бык смотрел на него, подстерегая.

— Ю-у! — крикнул Мануэль. — Торо! — и, отклонившись назад, взмахнул плащом. Сейчас кинется. Он ступил в сторону, снова махнул плащом и перевернулся, и бык обежал вокруг него, следуя за плащом, а потом остался ни с чем, застыв на месте, словно завороженный. Мануэль, собрав плащ в правую руку, помахал им перед мордой быка, чтобы показать, что бык оцепенел, и пошел прочь.

Аплодисментов не было.

Мануэль пошел по песку к барьеру, а тем временем Сурито уехал с арены. Пока Мануэль работал с быком, рожок протрубил сигнал к выходу бандерильеро. Сигнал лишь смутно дошел до его сознания. Служители накрывали брезентом двух убитых лошадей и посыпали песок вокруг них опилками.

Мануэль подошел к барьеру выпить воды. Служитель протянул ему тяжелый пористый кувшин.

Фуентес, высокий цыган, стоял наготове, держа

в руках пару бандерилий, сложив вместе тонкие красные палочки крючками вперед. Он посмотрел на Мануэля.

— Ступай, — сказал Мануэль.

Цыган выбежал на арену. Мануэль, отставив кувшин, вытирал лицо носовым платком и смотрел на цыгана.

Репортер «Эль Эральдо» нагнулся за бутылкой теплого шампанского, которая стояла у него между ног, отхлебнул и закончил абзац:

«… престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов серией трафаретных трюков с плащом, после чего начался следующий номер программы».

Бык все еще стоял не двигаясь посреди пустой арены. Фуентес, высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки, в каждой руке по тонкой красной палочке, держа ее кончиками пальцев, выставив острия вперед. Фуентес подходил все ближе, а позади него, немного в стороне, шел другой член куадрильи с плащом. Бык посмотрел на Фуентеса и вышел из оцепенения.

Его глаза впились в остановившегося перед ним цыгана. Тот откинулся назад и что-то крикнул быку. Потом покрутил бандерильями, и блеск стальных наконечников привлек взгляд быка.

Задрав хвост, бык рванулся вперед.

Он бросился прямо на Фуентеса, не спуская с него глаз. Фуентес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерильи. Когда бык опустил голову для удара, Фуентес еще больше откинулся назад, руки его сошлись над головой, бандерильи опустились под прямым углом, и, подавшись вперед, Фуентес вонзил их в лопатку быка; далеко подавшись вперед над рогами и опираясь на отвесно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка отклонившись в сторону.

— Олэ! — закричала толпа.

Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающая из воды форель. Красные рукоятки бандерилий качались при каждом прыжке.

Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог.

— Скажи ему, чтобы следующий раз колол справа, — сказал он одному из юношей, когда тот побежал к Фуентесу с новой парой бандерилий.

Тяжелая рука опустилась на плечо Мануэля.

— Ну как, малыш? — спросил Сурито.

Мануэль молча следил за быком.

Сурито облокотился на барьер и налег на него

всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему.

— Ты сегодня в форме, — сказал Сурито.

Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать до следующего тура. Цыган хорошо работал бандерильями. Бык будет хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык. Все, что было до сих пор, — это пустяки. Самый конец, удар шпагой — вот что решит дело. Не то чтобы он очень волновался. Он даже не думал об этом. Но у него было дурное предчувствие. Он стоял у барьера и смотрел на быка, готовясь к следующему туру, обдумывая, как он будет работать с мулетой, утомит быка, сделает его податливым.

Цыган снова шел навстречу быку, шел, вытягивая носки, горделиво, как танцор по бальному залу; красные палочки бандерилий покачивались в такт его шагам. Бык — теперь он не был в оцепенении — следил за ним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога.

Когда Фуентес подошел почти вплотную, бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Фуентес, пятясь, отбежал назад, потом остановился, подался вперед, вытянув руки, поднявшись на носки, и в ту самую секунду, когда рога миновали

его, всадил бандерильи в тугой бугор мышц между лопатками быка.

Толпа бешено аплодировала.

— Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам, — сказал подручный Ретаны, обращаясь к Сурито.

— Хорошо работает, — сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите!

Все трое следили за цыганом.

Фуентес стоял на арене спиной к барьеру. Позади него, по эту сторону барьера, стояли двое из куадрильи, держа наготове плащи, чтобы отвлечь внимание быка.

Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. Теперь попался, думал бык. Стоит вплотную к красным доскам, на расстоянии короткого прыжка. Бык неотступно следил за ним.

Цыган откинулся, отвел руки назад, держа бандерильи крючками вперед. Он позвал быка, топнул ногой. Бык медлил, выжидая. Он хотел бить наверняка. Хватит с него колючек.

Фуентес подошел ближе к быку. Откинулся назад. Снова позвал быка. Кто-то в толпе предостерегающе крикнул.

— Черт, слишком близко, — сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите, — сказал подручный Ретаны.

Откинувшись назад, Фуентес повертел бандерильями, поддразнивая быка, потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кинулся на него, Фуентес плавно опустился на носки и, вытянув руки, подавшись вперед всем телом, вонзил бандерильи под прямым углом, ловко уклонившись от правого рога.

Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер.

Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разодрана — бык задел ее кончиком рога. Фуентес радостно улыбался, показывая прореху зрителям. Он обошел арену кругом. Когда он проходил мимо Сурито, сияя улыбкой, указывая на свою куртку, Сурито улыбнулся.

Последнюю пару бандерилий втыкал кто-то другой. Никто не обращал на него внимания.

Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулеты, сложил ее и передал через барьер Мануэлю. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную

рукоятку, и ножны, обвиснув, упали.

Он посмотрел на Сурито. Старый пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.

— Теперь он от тебя не уйдет, малыш, — сказал Сурито.

Мануэль кивнул.

— Он хорошо подготовлен, — сказал Сурито.

— Как раз как надо, — подтвердил служитель.

Мануэль кивнул.

Трубач наверху, под самой крышей, протрубил сигнал к последнему туру, и Мануэль пошел через арену туда, где в одной из темных лож должен был сидеть президент.

В первом ряду заштатный репортер «Эль Эральдо» отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии боя, он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради, в самом деле? Всего-то вечерний бой. Если он что-нибудь пропустит, можно посмотреть в утренних газетах. Он еще раз отхлебнул шампанского. У него свиданье у «Максима» в двенадцать. Да и кто такие, в сущности, эти матадоры? Мальчишки и лодыри. Просто-напросто лодыри. Он спрятал блокнот и посмотрел на Мануэля, который очень одиноко стоял у края арены и размахивал шляпой в знак

приветствия в сторону одной из невидимых лож темного амфитеатра. Посреди арены спокойно стоял бык, уставясь в пространство.

— Я посвящаю этого быка вам, сеньор, и мадридской публике, самой просвещенной и самой великодушной во всем мире, — сказал Мануэль. Это была общепринятая формула. Он сказал ее всю. Он мог бы несколько сократить ее для вечернего боя.

Он отвесил поклон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо и, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, направился к быку.

Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него; глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки и что из раны от копья Сурито все еще течет блестящая струйка крови. Он отметил, как поставлены ноги быка. Подвигаясь вперед, с мулетой в левой руке и шпагой в правой, он следил за ногами быка. Бык не может кинуться, пока не сдвинет все четыре ноги. Теперь он стоял спокойно, расставив ноги.

Мануэль подходил к быку, следя за его ногами. Все хорошо. Он справится. Нужно заставить быка опустить голову, чтобы можно было перегнуться через рога и убить его. Он не думал о том, как вонзит шпагу, как убьет быка. Он думал только

о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой все же угнетал его. Подвигаясь вперед, следя за ногами быка, он видел и его глаза, влажную морду и широкий разворот выставленных вперед рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем. Он чувствовал, что доберется до этого маленького, с белым лицом.

Мануэль остановился против быка. Втыкая острие шпаги в мулету, перекладывая шпагу в левую руку и натягивая красную ткань, как кливер, он в то же время видел концы рогов: один рог раскололся, когда бык ударил в барьер. Другой был острый, как игла дикобраза. Натягивая мулету, Мануэль заметил красное пятно на белом основании рога. Отмечая все это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля.

Выжидает, подумал Мануэль. Бережет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову. Главное — заставить опустить голову. Сурито заставил его опустить голову, но он опять поднял ее. Когда я начну гонять его, кровь пойдет из раны, тогда голова опустится.

Держа перед собой мулету, натягивая ее шпагой, Мануэль позвал быка.

Бык смотрел на него.

Мануэль вызывающе откинулся назад и взмах-

нул туго натянутой мулетой.

Бык увидел мулету. Она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка сдвинулись.

Вот сейчас. У-ух! Когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.

Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против Мануэля.

Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. Вот сейчас, подумал Мануэль. У-ух!

Бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую, повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под дуговыми фонарями.

Когда паса натурале кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса де печо. Он стоял неподвижно, а бык вплотную про-

шел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток бандерилий. Горячее черное тело быка коснулось его груди.

Черт, слишком близко, подумал Мануэль. Сурито, перегнувшись через барьер, торопливо сказал что-то цыгану, и тот, подхватив плащ, побежал к Мануэлю. Сурито, низко нахлобучив шляпу, смотрел через арену на Мануэля.

Мануэль снова стоял против быка, держа мулету в опущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за мулетой.

— Если бы это делал Бельмонте, они бесились бы от восторга, — сказал подручный Ретаны.

Сурито ничего не ответил. Он молча следил за Мануэлем, стоявшим в середине арены.

— Где это хозяин откопал его? — спросил подручный Ретаны.

— В больнице, — сказал Сурито.

— Скоро опять туда попадет, — сказал подручный Ретаны.

Сурито повернулся к нему.

— Постучи о дерево, — сказал он, показав на барьер.

— Я же в шутку.

— Постучи о дерево.

Подручный Ретаны наклонился и три раза постучал о барьер.

— Смотри, — сказал Сурито.

В середине арены, под дуговыми фонарями, Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено; он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, задрав хвост.

Мануэль уклонился от рогов и, когда бык снова кинулся, описал мулетой полукруг, и бык упал на колени.

— Да он просто блестящий матадор, — сказал подручный Ретаны.

— Нет, — сказал Сурито.

Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, и поблагодарил за аплодисменты, донесшиеся из темного амфитеатра.

Бык поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову.

Сурито что-то сказал двум другим юношам из куадрильи, они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как тот вышел с мулетой. Фуентес, высокий, стройный, стоял, прижав плащ к груди, рассеянным взглядом наблюдая бой. Когда подбежали еще двое, Эрнандес указал им места

— одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка.

Мануэль знаком велел юношам отойти подальше. Медленно отступая, они видели, что лицо его бледно и покрыто потом.

Не понимают они, что ли, что нужно отойти подальше? Нельзя же дразнить плащами быка, когда он уже застыл на месте и готов? Лучше не мешали бы, уж и так нелегко.

Бык стоял неподвижно, расставив ноги, и смотрел на мулету. Мануэль свернул мулету левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко.

Мануэль подразнил его мулетой. Бык не двинулся. Только глаза следили за ней.

Свинцом налился, подумал Мануэль. Ноги квадратом. Готов. Самое время.

Он мыслил привычными понятиями своего ремесла. Иногда соответствующий термин не сразу приходил на ум, и тогда мысль не складывалась. Его чутье и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал все о быках. Ему не надо было ни о чем думать. Он просто делал то, что от него требовалось. Его глаза все видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал

думать, он бы погиб.

И сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога, один расщепленный, другой ровный и острый, нужно стать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий и прямой выпад и, нагнувшись над рогами, всадить шпагу по рукоятку в кружок величиной с пятипенсовую монету между лопатками быка, почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен все это сделать, но думал только одно: «Corto y derecho».

Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету. Коротко и прямо — вытаскивая шпагу из мулеты. Он стал против расщепленного левого рога, перебросил мулету так, что она образовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз в правой руке, и, поднявшись на носки, нацелился клинком на самую высокую точку между лопатками быка.

Коротко и прямо он бросился на быка.

Толчок — и он почувствовал, что взлетает на воздух. Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило, и шпага выскочила у него из рук. Он упал ничком, а бык подбирался к нему, и Мануэль, лежа на земле, отталкивал морду быка

ногами в туфлях. Еще и еще, а бык добирался до него, от нетерпения вслепую тыча рогами, толкая его головой, вгоняя рога в песок. Отталкивая быка ногами, словно жонглер, подбрасывающий мяч, Мануэль не давал ему подойти вплотную.

Мануэль почувствовал ветерок — взметнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез, одним прыжком перескочив через Мануэля. Стало темно, когда бык прошел над ним. Даже не задел.

Мануэль встал и поднял мулету. Фуентес подал ему шпагу. Она согнулась, когда наскочила на лопатку. Мануэль выправил ее о колено и побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей. Куртка Мануэля разлеталась под мышкой, там, где она зацепилась за рог.

— Уведи его отсюда! — крикнул Мануэль цыгану. Бык почуял кровь убитой лошади и всадил рога в брезент. Когда он кинулся на плащ Фуентеса, с расщепленного рога свисал брезент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить брезент. Эрнандес, взбежав сзади, схватил брезент за край и ловко сдернул его с рога.

Бык повернул было за брезентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную по-

зицию. Мануэль шел к быку с мулетой и шпагой. Подойдя вплотную, он взмахнул мулетой. Бык не двинулся.

Мануэль стал боком к нему, нацеливаясь острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый, и явно не способен к нападению.

Мануэль поднялся на носки, нацелился стальным острием и кинулся на быка.

Снова толчок. Мануэля отбросило назад, и он с силой ударился о песок. На этот раз нельзя было отбиваться ногами — бык стоял прямо над ним. Мануэль лежал не шевелясь, положив голову на руки, и бык толкал его рогами. Толкал в спину, в прижатое к песку лицо. Мануэль почувствовал, как рог вошел в песок между его скрещенными руками. Бык ударил его в поясницу. Лицо Мануэля вдавилось в песок. Бык зацепил рогом рукав куртки и оторвал его напрочь. Захлопали плащи, и бык, оставив Мануэля, последовал за ними.

Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу. Потом провел большим пальцем по острию и побежал к барьеру за новой шпагой.

Служитель передал ему шпагу через барьер.

— Вытрите лицо, — сказал он.

Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. Где

же Сурито?

Куадрилья отступила от быка, держа плащи наготове. Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно.

Мануэль пошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею. Бык не двинулся. Мануэль провел мулетой справа налево, слева направо перед мордой быка. Глаза быка следили за мулетой, поворачивались при каждом взмахе, но он не кидался. Он ждал Мануэля.

Мануэль волновался. Ничего нельзя сделать, надо ударить. Коротко и прямо. Он подошел близко к быку, скрестил шпагу с мулетой и кинулся. Вонзая шпагу, он перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога. Бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями, и упала, красной рукояткой вперед, на песок.

Мануэль подбежал и поднял ее. Она согнулась, и он выпрямил ее о колено.

Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он поравнялся с Эрнандесом, державшим плащ наготове.

— Он из одних костей, — сочувственно сказал юноша.

Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал за-

пачканный кровью платок в карман.

Вот он стоит. У самого барьера. Проклятый! Может быть, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага? Черта с два, нет! Он им покажет, что есть.

Мануэль протянул быку мулету, но бык не двинулся. Потом помахал мулетой перед мордой быка. Все напрасно.

Он сложил мулету, вытащил шпагу, стал боком и бросился на быка. Вонзив шпагу, он изо всей силы нажал на рукоять, шпага согнулась, потом высоко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, упала в толпу. Когда шпага выскочила у него из рук, Мануэль успел увернуться от рогов.

Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка попала ему в лицо, в окровавленное лицо, обращенное к толпе. Они быстро летели одна за другой. Падали на песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустой бутылкой из-под шампанского. Она ударила Мануэля по ноге. Он стоял, всматриваясь в темноту, откуда все это летело. Потом что-то просвистело в воздухе и упало возле него. Его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ею перед толпой.

— Благодарю вас, — сказал он. — Благодарю вас.

Ох, мерзавцы! Мерзавцы! Ох, подлые мерзавцы! Он пинком отбросил подушку и побежал к быку.

Вот он стоит. Как ни в чем не бывало. Ну, погоди же, мерзавец!

Мануэль провел мулетой перед черной мордой быка.

Все напрасно.

Не желаешь? Хорошо. Он подошел вплотную и ткнул острым концом мулеты во влажную морду быка.

Бык кинулся, Мануэль отскочил назад, но споткнулся о подушку и, падая, почувствовал, что рог вошел в него, вошел под ребро. Он ухватился обеими руками за рог и поехал задом, крепко зажимая место, куда вошел рог. Бык подбросил его, и он очутился на песке. Он лежал неподвижно. Ничего страшного. Бык не трогал его.

Он встал, кашляя, чувствуя себя разбитым и погибшим. Подлые мерзавцы!

— Шпагу мне! — крикнул он. — Мулету!

Фуентес подошел с мулетой и шпагой. Эрнандес обнял его одной рукой.

— Да ступайте вы в лазарет, — сказал он. — Не валяйте дурака.

— Уйди от меня, — сказал Мануэль. — Уйди к черту!

Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку.

Вот он стоит, грузный, расставив ноги.

Ну, погоди, мерзавец! Мануэль вытащил шпагу из мулеты, нацелился и бросился на быка. Он почувствовал, что клинок вошел до отказа. По самую рукоять. Все пять пальцев ушли в рану. Он стоял над быком, и руке было горячо от крови быка.

Потом бык стал валиться на бок, увлекая его за собой. Мануэль отступил на шаг и смотрел, как бык падал — сначала медленно, потом вдруг перевернулся, задрав все четыре ноги.

Мануэль поднял к толпе руку, теплую от крови быка.

Ну, погодите, мерзавцы! Он хотел заговорить, но кашель помешал ему. Душило что-то горячее. Он поискал глазами мулету. Нужно пойти и приветствовать президента. К черту президента! Он сел на песок и уставился на убитого быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Что-то ползает по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка! К черту всех! Он хотел встать, но опять закашлялся.

Он снова опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его.

Его унесли в лазарет — бегом пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку мулов, потом шли по темному проходу, потом с кряхтеньем тащили вверх по лестнице и наконец положили.

Врач и двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол. Разрезали на нем рубашку. Мануэль очень устал. В груди жгло, как огнем. Он закашлялся, и что-то прижали к его губам. Все очень суетились вокруг него.

Электрический свет бил прямо в глаза. Мануэль закрыл глаза.

Он услышал тяжелые шаги по лестнице. Потом перестал слышать. Потом услыхал далекий шум. Это толпа. Ну что ж, второго быка придется убить кому-нибудь другому. Они уже разрезали всю его рубашку. Врач улыбнулся ему. А вот и Ретана.

— Здравствуй, Ретана, — сказал Мануэль. Он не услышал своего голоса.

Ретана улыбнулся ему и что-то сказал. Мануэль не расслышал.

Сурито стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме

пикадора, но без шляпы.

Сурито что-то сказал ему. Мануэль не расслышал.

Сурито говорил с Ретаной. Один из санитаров улыбнулся и передал Ретане ножницы. Ретана передал их Сурито. Сурито что-то сказал Мануэлю. Он не расслышал.

К черту операционный стол! Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрет. Если бы он умирал, тут был бы священник.

Сурито что-то говорил ему, подняв ножницы.

Вот оно что! Они хотят отрезать его косичку. Они хотят отрезать его колету.

Он сел на операционном столе. Врач отступил назад, рассерженный. Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи.

— Ты этого не сделаешь, Манос, — сказал Мануэль.

Он вдруг ясно услышал голос Сурито.

— Успокойся, — сказал Сурито. — Не сделаю. Я пошутил.

— Я был в форме, — сказал Мануэль. — Мне просто не повезло. Вот и все.

Мануэль лег на спину. Что-то положили ему на лицо. Все это знакомо. Он глубоко вдыхал привычный запах. Он устал. Он очень, очень устал.

Потом маску сняли с его лица.

— Я был в форме, — слабым голосом проговорил Мануэль. — Я был в блестящей форме.

Ретана посмотрел на Сурито и пошел к дверям.

— Я останусь с ним, — сказал Сурито.

Ретана пожал плечами.

Мануэль открыл глаза и посмотрел на Сурито.

— Скажи сам, разве я не был в форме, Манос? — спросил он, с надеждой глядя на Сурито.

— Еще бы, — сказал Сурито. — Ты был в блестящей форме.

Санитар наложил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая.

В другой стране

Война продолжалась и с наступлением осени, но мы в ней больше не участвовали. Осенью в Милане холодно и темнеет очень рано. Когда зажигали электрические фонари, было приятно брести вдоль улиц, разглядывая витрины. Продавцы вывешивали перед входом звериные чучела, снег припорашивал лисьи шкурки, а ветер раздувал лисьи хвосты. Полое задубевшее чучело оленя висело тяжело и неподвижно, а пернатая мелочь порхала на ветру, и ветер трепал ей перья. Осень была холодная, и с гор дул ветер.

Всем нам каждый день нужно было ходить в госпиталь, и добраться туда через сумрачный город можно было разными путями. Две дороги шли вдоль каналов, но это был дальний путь. Однако в любом случае, чтобы попасть в госпиталь, необходимо было перейти через мост. Мостов было три. На одном женщина торговала жареными каштанами. Можно было постоять и погреться от угольной жаровни, а каштаны еще долго сохраняли в кармане свое тепло. Госпиталь был старинный и очень красивый, мы входили в одни ворота и, пройдя через двор, выходили в

другие, в дальнем конце. Зачастую мы наблюдали начинавшуюся похоронную процессию. За старым госпиталем находились новые кирпичные корпуса, там-то мы и встречались каждый день, мы были очень вежливы друг с другом, интересовались, что с кем приключилось, и усаживались в аппараты, на которые возлагали такие большие надежды.

Врач подошел к моему аппарату и спросил:

— Что вы больше всего любили до войны? Спортом увлекались?

Я сказал:

— Да, играл в футбол.

— Отлично, — сказал он. — Вы сможете играть в футбол лучше прежнего.

У меня нога не гнулась в колене; с иссохшей икрой, она безжизненно висела до самой щиколотки, и аппарат, похожий на трехколесный велосипед, был призван сгибать и разгибать колено, как при кручении педали. Но колено все равно не гнулось, и в критической точке аппарат заклинивало.

Врач сказал:

— Все пройдет. Вам повезло, молодой человек. Вы снова будете играть в футбол, как чемпион.

В соседнем аппарате сидел майор с маленькой,

как у ребенка, рукой. Когда доктор осматривал его руку, зажатую между двумя кожаными ремнями, которые ходили вверх-вниз, дергая его негнущиеся пальцы, он подмигнул мне и сказал:

— А я тоже буду играть в футбол, синьор капитан медицинской службы? — До войны он был великолепным фехтовальщиком, лучшим в Италии.

Врач отправился в свой кабинет, расположенный в глубине зала, и принес снимок, изображавший одну и ту же руку до и после лечения на аппарате: сначала она была высохшей почти так же, как у майора, потом несколько увеличилась. Держа фотографию здоровой рукой, майор внимательно изучил ее.

— Ранение? — спросил он.

— Производственная травма, — ответил врач.

— Весьма занятно, весьма занятно, — сказал майор и вернул снимок врачу.

— Ну, теперь верите?

— Нет, — ответил майор.

Каждый день приходили туда и три парня примерно моих лет. Все трое — миланцы, один собирался стать адвокатом, другой — художником, третий — военным, и после процедур мы иногда шли вместе и по дороге заходили в кафе

«Кова», что рядом с «Ла Скала». Поскольку нас было четверо, мы шли прямиком через район, где верховодили коммунисты. Там нас ненавидели за то, что мы были офицерами, и из пивной кто-нибудь непременно выкрикивал: «A basso gli ufficiali!»[40]. Еще один, пятый парень, который иногда присоединялся к нам, носил на лице черную шелковую повязку, потому что у него не было носа, ему предстояла пластическая операция. Он пошел на фронт из военной академии и, не проведя на передовой и часа, был ранен. Нос ему потом восстановили, но юноша происходил из старинного знатного рода, и сделать нос таким, каким ему подобало быть, так и не удалось. Парень уехал в Южную Америку и работал там в банке. Но это было гораздо позднее, а тогда никто из нас не знал, что с нами станется. Мы знали только, что война продолжается, но мы в ней больше не участвуем.

Все мы имели одинаковые медали — кроме парня с черной шелковой повязкой на лице, тот пробыл на фронте слишком недолго, чтобы заслужить отличие. Высокий молодой человек с очень бледным лицом, тот, что собирался стать адвока-

---

[40] Примечания: 40
Долой офицеров!*(ит.)*

том, был лейтенантом в «Ардити»[41] и имел три такие военные награды, каких у каждого из нас было всего по одной. Он слишком много времени провел рядом со смертью и держался несколько обособленно. Мы все держались немного обособленно, и связывало нас лишь то, что мы каждый день встречались в госпитале. И все же, когда мы шли в «Кову» через этот опасный район, шли в темноте мимо пивных, откуда лился свет и неслось грозное пение, и когда порой оказывались на улице, запруженной толпой, которую приходилось расталкивать, чтобы проложить себе дорогу, мы ощущали, как нас сплачивает нечто, что пережили мы и чего эти люди, ненавидящие нас, понять не в состоянии.

Зато в кафе «Кова» все было понятно, там было тепло и забавно и не слишком светло, в определенные часы — шумно и накурено, и за столиками всегда сидели девушки, а на крючках по стенам развешаны иллюстрированные журналы. Девушки в «Кове» были большими патриотками, я вообще считал, что самыми большими патриота-

[41] Примечания: 41

«Народные смельчаки» («Arditi del Popolo») — вооруженные отряды антифашистов в Италии (1921–1922). Образовались в период наступления фашизма в 1921 г. из левого крыла «Национальной ассоциации смельчаков Италии», составленной в 1919 г. из бывших бойцов штурмовых отрядов итальянской армии.

ми в Италии являлись девушки из кафе, — думаю, они такими же остались и теперь.

Поначалу ребята очень почтительно относились к моим медалям и интересовались, за что я их получил. Я показал им орденские книжки, в которых высокопарным языком, изобиловавшим такими словами, как fratellanza[42] и abnegazione[43], в сущности — если отбросить эпитеты — было написано, что наградили меня за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хотя в присутствии чужаков я по-прежнему оставался их другом. Я был другом, но, после того как они увидели мои орденские книжки, уже не одним из них, потому что у них все было по-другому и свои медали они получили совсем за другое. Да, я был ранен, это правда, но мы все прекрасно знали, что ранение, в конце концов, дело случая. Тем не менее я никогда не стыдился своих наград и иногда, после нескольких коктейлей, представлял себе, будто и я совершил все то, что совершили они, чтобы их заслужить. Однако ночью, возвращаясь домой по опустевшим улицам, продуваемым холодным

---

[42] Примечания: 42
Братство (*ит.*).

[43] Примечания: 43
Самоотверженность (*ит.*).

ветром, мимо закрытых магазинов, и стараясь держаться поближе к фонарям, я понимал, что никогда бы не сделал того, что сделали они, и что я очень боюсь смерти, и часто, лежа в одинокой постели и боясь умереть, я задавался вопросом: как бы я себя повел, окажись снова на фронте?

Те трое орденоносцев напоминали охотничьих соколов; а я соколом не был, хотя тем, кто никогда не бывал на охоте, и я мог казаться соколом; они, эти трое, прекрасно все понимали, и постепенно мы отошли друг от друга. Но с парнем, раненным в первый день пребывания на фронте, мы остались друзьями, потому что ему так и не суждено было узнать, как повел бы себя он; поэтому-то и его отторгли, а мне он нравился, так как я мог предполагать, что из него сокола тоже не получилось бы.

Майор, который прежде был знаменитым фехтовальщиком, не верил в геройство и, пока мы сидели в соседних аппаратах, не жалел времени на исправление моих грамматических ошибок. С самого начала он похвалил мой итальянский, и мы свободно болтали с ним на этом языке. Но однажды я сказал, что итальянский язык такой легкий, что мне даже не особенно интересно его изучать; все кажется в нем так просто.

— Ну да, — сказал майор, — только почему в таком случае вы пренебрегаете грамматикой?

Мы перестали пренебрегать грамматикой, и вскоре итальянский был уже таким трудным языком, что я боялся и фразу произнести на нем в присутствии майора, пока соответствующее грамматическое правило четко не всплывет в моей голове.

Майор посещал госпиталь исключительно регулярно. Думаю, он не пропустил ни одной процедуры, хотя наверняка не верил в эти аппараты. Со временем все мы перестали в них верить, и однажды майор сказал, что все это — чушь. Аппараты были тогда в новинку, и именно нам выпало доказывать их эффективность. Идиотская идея, сказал он, «голая теория и ничего больше». В тот день я не выучил урока, и майор сказал, что я — редкостный тупица, а сам он дурак, что тратит на меня силы. Он был мал ростом и сидел в кресле прямо, уставившись в стену напротив, в то время как его правая рука была зажата в аппарате, и ремни, стягивавшие пальцы, со стуком дергались вверх-вниз.

— Что вы будете делать, когда война закончится, если она закончится? — спросил он меня. — Следите за грамматикой!

— Вернусь в Штаты.

— Вы женаты?

— Нет, но надеюсь когда-нибудь жениться.

— Очень глупо с вашей стороны, — сказал майор. Он казался очень сердитым. — Мужчина не должен жениться.

— Почему, signor maggiore?

— Не называйте меня «signor maggiore».

— Почему мужчина не должен жениться?

— Нельзя жениться. Нельзя! — сердито повторил он. — Если ему суждено потерять все, не следует ставить на кон еще и это. Он не должен загонять себя в положение человека, которому есть что терять. Нужно обзаводиться лишь тем, что потерять невозможно.

Майор говорил с гневом и горечью, глядя при этом прямо перед собой.

— Но почему он непременно должен это потерять?

— Потеряет, обязательно потеряет, — сказал майор, продолжая смотреть в стену. Потом перевел взгляд на аппарат, выдернул из него свою усохшую руку и с ожесточением хлопнул ею по бедру. — Потеряет! — почти выкрикнул он. — Не спорьте со мной! — Он позвал фельдшера, обслуживавшего аппараты: — Да остановите вы эту

чертову штуковину!

Майор пошел в другой кабинет, где проводили световые процедуры и массаж, и я услышал, как он спросил врача, нельзя ли ему воспользоваться телефоном, после чего закрыл за собой дверь. Я сидел уже на другом аппарате, когда майор вернулся. На нем были плащ и кепи. Он подошел прямо ко мне и положил руку мне на плечо.

— Простите, — сказал он, потрепав меня по плечу здоровой рукой. — Я был непозволительно резок. У меня только что умерла жена. Вы должны извинить меня.

— О… — сказал я, искренне ему сочувствуя. — Какое страшное горе.

Он стоял, закусив нижнюю губу.

— Это очень тяжело, — сказал он. — Никак не могу прийти в себя.

Он смотрел мимо меня в окно. Потом заплакал.

— Совершенно не могу с этим смириться, — сказал он и всхлипнул. И так, не переставая плакать, уставившись в никуда, не теряя военной выправки, с лицом, мокрым от слез, кусая губы, он прошел мимо всех этих аппаратов и скрылся за дверью.

Врач рассказал мне потом, что жена майора,

которая была очень молода и на которой он не женился до тех пор, пока не был окончательно комиссован по инвалидности, умерла от пневмонии. Она болела всего несколько дней. Никто не ожидал, что она умрет. Майор не приходил в госпиталь три дня. Потом явился в урочное время с черной повязкой на рукаве кителя. За время его отсутствия по стенам были развешаны снимки различных ран до и после лечения с помощью здешних аппаратов. Напротив того места, где обычно сидел майор, висели три фотографии таких же усохших, как у него, и полностью восстановленных рук. Не знаю, где врач их раздобыл. Мне было доподлинно известно, что мы первые, на ком эти аппараты испытывают. Фотографии не произвели на майора никакого впечатления, потому что он смотрел мимо них, в окно.

Холмы, что белые слоны

По ту сторону долины Эбро белели длинные холмы. По эту — ни деревьев, ни тени, и станция между двумя железнодорожными путями вся на солнце. Только само здание отбрасывало теплую тень, а открытую дверь бара перегораживала занавеска из бамбука, чтобы не залетали мухи. Американец и девушка сидели за столиком в тени здания. Было очень жарко, и экспресс из Барселоны приходил через сорок минут. На этой станции стоял две минуты и катил дальше, в Мадрид.

— Чего бы нам выпить? — спросила девушка. Сняла шляпу и положила на стол.

— Ужасно жарко, — ответил мужчина.

— Давай выпьем пива.

— Dos cervezas[44], — крикнул мужчина, раздвинув занавеску.

— Больших? — спросила из-за двери женщина.

— Да. Больших.

Женщина принесла два стакана пива и два фетровых кружка. Положила кружки на стол,

---

[44] Примечания: 44
Два пива*(исп.).*

поставила на них стаканы с пивом и взглянула на мужчину и девушку. Девушка смотрела вдаль, на гряду холмов; они белели на солнце, тогда как вокруг все побурело от засухи.

— Словно белые слоны, — молвила девушка.

— Никогда таких не видел. — Мужчина выпил пиво.

— Конечно же, не видел.

— А почему бы и нет? Если ты говоришь, что я не мог их увидеть, это еще ничего не доказывает.

Девушка перевела взгляд на бамбуковую занавеску.

— На ней что-то написано, — заметила она. — Что это значит?

— «Анис дель Торо». Это такой ликер.

— Мы можем его попробовать?

— Подойдите к нам! — позвал он, повернувшись к бамбуковой занавеске. Женщина вышла из бара.

— С вас четыре реала.

— Принесите нам два стаканчика «Анис дель Торо».

— С водой?

— Ты хочешь с водой?

— Не знаю, — пожала плечами девушка. — С водой вкусно?

— Нормально.

— Так вам с водой? — спросила женщина.

— Да, с водой.

— Отдает лакрицей. — Девушка пригубила и поставила стаканчик на стол.

— Как и всё.

— Да, — сказала девушка. — Всё отдает лакрицей. Особенно то, чего так давно хотелось, вроде абсента.

— Перестань.

— Ты первый начал, — указала девушка. — Я развлекалась. Хорошо проводила время.

— Ну что же, давай попробуем не скучать.

— Я и пробовала. Сказала, что эти холмы похожи на белых слонов. Разве это не остроумно?

— Остроумно.

— Мне хотелось попробовать этот ликер. Мы ведь только и делаем, что ездим всюду и пробуем новые напитки.

— Вот именно.

Девушка взглянула на холмы.

— Чудесные холмы, — сказала она. — Пожалуй, они вовсе и не похожи на белых слонов. Просто мне подумалось, что они так же белеют сквозь деревья.

— Не выпить ли нам еще?

— Ладно.

Теплый ветер качнул к столу бамбуковую занавеску.

— Хорошее пиво, и холодное, — отметил мужчина.

— Чудесное, — согласилась девушка.

— Это же пустячная операция, Джиг, — добавил мужчина. — Это даже и не операция.

Девушка смотрела вниз, на землю, где стоял стол.

— Ты сама увидишь, Джиг, это сущие пустяки. Просто укол.

Девушка промолчала.

— Я поеду с тобой и все время буду рядом. Они сделают укол, а потом все наладится само собой.

— И что станет с нами?

— Все пойдет хорошо. Как и раньше.

— Почему ты так думаешь?

— Только это и мешает нам. Только из-за этого мы и несчастны.

Девушка вновь взглянула на занавеску и, протянув руку, ухватила две бамбуковые палочки.

— И ты думаешь, потом нам будет хорошо и мы будем счастливы?

— Я уверен. Ты только не бойся. Я многих знаю, кто это делал.

— Я тоже, — кивнула девушка. — И потом все они были так счастливы.

— Если ты не хочешь, не надо. Я не настаиваю. Но я знаю, что это сущие пустяки.

— И ты действительно этого хочешь?

— Я думаю, это самый лучший выход. Но я не настаиваю, чтобы ты это сделала, если ты и впрямь не хочешь.

— А если я это сделаю, ты будешь счастлив, и все пойдет по-прежнему, и ты меня будешь любить?

— Я и теперь тебя люблю. Ты же знаешь, что люблю.

— Знаю. Но, если я это сделаю, все опять пойдет хорошо, и если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится?

— Я буду в восторге. Я и сейчас в восторге, только мне не до этого. Ты ведь знаешь, я всегда такой, когда волнуюсь.

— А если я это сделаю, ты не будешь волноваться?

— Нет, я не буду волноваться, потому что это очень просто.

— Ну, тогда я сделаю. Поскольку мне все равно, что со мной будет.

— То есть как?

— Мне все равно, что со мной будет.

— Но мне-то не все равно.

— Да, да. Но мне все равно, что со мной будет. Я это сделаю, и все будет хорошо.

— Если ты так ставишь вопрос, то я не хочу, чтобы ты это делала.

Девушка встала и прошла до конца платформы. По ту сторону железнодорожных путей тянулись поля пшеницы, а деревья росли вдоль берегов Эбро. Далеко за рекой высились горы. Тень от облака скользила по пшеничному полю, и между деревьями виднелась река.

— Все это могло быть нашим, — сказала девушка. — Все могло быть нашим, но нашими же стараниями с каждым днем это становится все более невозможным.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, что все могло быть нашим.

— Все и так наше.

— Нет. Не наше.

— Весь мир наш.

— Нет. Не наш.

— Мы можем поехать куда угодно.

— Нет, не можем. Теперь все это уже не наше.

— Наше.

— Нет. И если это у тебя забирают, вернуть уже не получится.

— Но у нас еще ничего не забрали.

— А вот увидишь.

— Возвращайся в тень, — попросил он. — Не надо это так воспринимать.

— Я это никак не воспринимаю, — ответила девушка. — Просто я все понимаю.

— Я не хочу, чтобы ты делала что-то такое, чего не хочешь…

— Или что мне навредит. Знаю. Не выпить ли нам еще пива?

— Хорошо. Ты только должна осознать…

— Я осознаю, — оборвала его девушка. — Может, нам оставить этот разговор?

Они сели за столик. Девушка смотрела на холмы на выжженной стороне долины, а мужчина — на нее и на столик.

— Ты должна осознать, — нарушил он долгую паузу, — я не хочу, чтобы ты делала то, чего не хочешь. Если для тебя это так много значит, я готов на это пойти.

— А для тебя это ничего не значит? Мы бы как-нибудь справились.

— Конечно, значит. Только, кроме тебя, мне никого не надо. Больше никто не нужен. И я знаю, что это сущие пустяки.

— Конечно. Ты знаешь, что это сущие пустяки.

— Ты можешь говорить, что угодно, а я знаю, что это так.

— Можно тебя попросить об одном?

— Для тебя я готов на все.

— Тогда, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, замолчи.

Он ничего не ответил и посмотрел на чемоданы, которые стояли у стены. Обклеенные ярлыками всех отелей, где они останавливались.

— Но я не хочу, чтоб ты это делала, — не удержался он. — Мне это вовсе не нужно.

— Я сейчас закричу, — сказала девушка.

Из бара, откинув бамбуковую занавеску, вышла женщина с двумя стаканами и поставила их на влажный фетр.

— Поезд придет через пять минут, — предупредила она.

— Что она говорит? — спросила девушка.

— Что поезд придет через пять минут.

Девушка благодарно улыбнулась женщине.

— Перенесу чемоданы на ту сторону. — Он встал. Она улыбнулась в ответ.

— Хорошо. А потом возвращайся допивать пиво.

Он поднял оба тяжелых чемодана и понес их вокруг станции на другую платформу. Взглянул

на пути, но поезд еще не показался. Возвращаясь, он прошел через бар, где выпивали ожидавшие поезда пассажиры. Сам выпил у стойки стаканчик «Аниса» и посмотрел на них. Все спокойно дожидались поезда. Он вышел, раздвинув бамбуковую занавеску. Девушка сидела за столом и улыбнулась ему.

— Ты чувствуешь себя лучше? — спросил он.

— Я чувствую себя прекрасно, — ответила она. — Все в полном порядке. Я чувствую себя прекрасно.

Киллеры

Дверь закусочной «У Генри» распахнулась, и вошли двое. Они сели за стойку.

— Что вы будете? — спросил их Джордж.

— Не знаю, — сказал один. — Что ты будешь есть, Эл?

— Не знаю, — сказал Эл. — Даже не знаю, что я хочу.

Начинало смеркаться. За окном зажегся уличный фонарь. Оба посетителя углубились в меню. Ник Адамс, сидевший за стойкой поодаль, наблюдал за ними. Он болтал с Джорджем, когда они вошли.

— Я буду вырезку из жареной свинины с яблочным соусом и картофельным пюре, — сказал первый.

— Еще не готово.

— Какого ж черта пишете в меню?

— Это на ужин, — объяснил Джордж. — После шести.

Джордж глянул на настенные часы у него за спиной.

— Сейчас только пять.

— На часах двадцать минут шестого, — сказал

второй.

— Они на двадцать минут спешат.

— Ну и черт с ними, — сказал первый. — А что есть?

— Я могу вам предложить разные сэндвичи, — сказал Джордж. — Ветчина с яйцом, бекон с яйцом, печенка с беконом, стейк.

— Дай мне куриные фрикадельки с зеленым горошком, на сметанном соусе, с картофельным пюре.

— Это на ужин.

— Чего ни попросишь, все на ужин. Хорошо вы тут работаете.

— Я могу вам предложить ветчину с яйцом, бекон с яйцом, печенку…

— Мне ветчину с яйцом, — сказал тот, которого назвали Элом. Он был в котелке и в черном, наглухо застегнутом пальто. Мелкое бледное лицо, поджатые губы. Шелковый шарф, перчатки.

— А мне бекон с яйцом, — сказал второй. Он был под стать Элу. Внешность разная, но одеты, как братья-близнецы. Оба в тесных наглухо застегнутых пальто. Они положили локти на стойку и подались вперед.

— Есть что-нибудь выпить? — спросил Эл.

— Серебристое пиво, безалкогольное пиво, им-

бирный эль, — перечислил Джордж.

— Я спрашиваю,*выпить* что-нибудь есть?

— Только то, что я назвал.

— Городок что надо, — сказал второй. — Как называется?

— Саммит.

— Слыхал о таком? — спросил Эл у друга.

— Нет, — ответил тот.

— Чем тут у вас вечерами занимаются? — поинтересовался Эл.

— Ужинают, — пояснил друг. — Приходят все сюда и съедают большой ужин.

— Точно, — сказал Джордж.

— Значит, ты с этим согласен? — спросил Эл.

— Ага.

— Да ты, я вижу, умник.

— Ага, — поддакнул Джордж.

— Так вот, ты ошибаешься, — сказал второй коротышка. — А ты что скажешь, Эл?

— Тупарь. — Эл повернулся к Нику. — А тебя как зовут?

— Адамс.

— Еще один умник, — сказал Эл. — Скажи, Макс?

— В этом городе сплошные умники, — подтвердил тот.

Джордж принес две тарелки — ветчину с яйцом и бекон с яйцом. И еще две с гарниром — картошкой фри. Он закрыл распашную дверцу, отделявшую салон от кухни.

— Какая ваша? — спросил он у Эла.

— Ты что, не помнишь?

— Ветчина с яйцом.

— Во умник, — сказал Макс.

Он наклонился вперед и пододвинул ветчину с яйцом. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж на них поглядывал.

— Ну чего смотришь? — спросил Макс.

— Я не смотрю.

— Ага. А кто на меня уставился?

— Это он так дурака валяет, Макс, — сказал Эл.

Джордж прыснул.

— Отставить смешочки, — приказал Макс. — Ты меня понял?

— Хорошо, — сказал Джордж.

— Он думает, что это хорошо, — обратился Макс к Элу. — Так он думает. Здорово.

— Мыслитель, — сказал Эл, не отрываясь от еды.

— Как зовут второго умника? — спросил Ал у Макса.

— Эй, умник, — обратился Макс к Нику. — Ну-ка

перейди к своему дружку за стойкой.

— Зачем? — спросил Ник.

— Ни за чем.

— Перейди, и всё, парень, — сказал Эл.

Ник выполнил требование.

— Зачем это? — спросил Джордж.

— Не твое собачье дело, — сказал Эл. — Кто на кухне?

— Ниггер.

— Какой еще ниггер?

— Повар.

— Скажи, чтобы он вышел.

— Зачем?

— Скажи, чтобы он вышел.

— Где, по-вашему, вы находитесь?

— Мы отлично знаем, где находимся, — сказал тот, которого звали Максом. — По-твоему, мы глуповатые?

— Ведешь ты себя глупо, — сказал ему Эл. — Нашел с кем спорить. Короче, — обратился он к Джорджу. — Скажи ниггеру, чтобы он вышел.

— Что вы ему сделаете?

— Ничего. Включи голову, умник. Что мы можем сделать ниггеру?

Джордж приоткрыл кухонное окошко.

— Сэм, — позвал он, — выйди на минутку.

Дверца открылась, и в салон вошел ниггер.

— Чего? — спросил он.

Посетители за стойкой смерили его взглядом.

— Ты, ниггер, стой, где стоишь, — сказал ему Эл.

Сэм в фартуке посмотрел на двоих посетителей за стойкой.

— Да, сэр, — сказал он.

Эл слез с табурета.

— Я иду на кухню вместе с ниггером и умником, — сказал он. — Пошли, ниггер. И ты с ним, умник.

Коротышка пропустил вперед Ника и повара Сэма. Дверца за ними закрылась. Тот, кто назывался Максом, остался сидеть за стойкой. Но смотрел он не на Джорджа, а в широкое настенное зеркало за спиной у Джорджа. Закусочная «У Генри» когда-то была салуном.

— Ну, умник? — сказал Макс, глядя в зеркало. — Что молчишь?

— Что все это значит?

— Эй, Эл, — повысил голос Макс. — Умник спрашивает, что все это значит.

— Так скажи ему, — откликнулся Эл из кухни.

— А ты сам как думаешь?

— Я не знаю.

— А как тебе кажется?

Все это время Макс смотрел в зеркало.

— Я лучше не буду ничего говорить.

— Эй, Эл. Умник не будет ничего говорить по поводу того, что он думает.

— Я тебя хорошо слышу, — откликнулся Эл. Бутылочкой с кетчупом он распахнул окошко, через которое передавали на кухню грязные тарелки. — Послушай, умник, — обратился он к Джорджу. — Отойди-ка чуть подальше. А ты, Макс, сдвинься немного влево. — Он был похож на фотографа, расставляющего людей для группового снимка.

— Поговори со мной, умник, — сказал Макс. — Что, по-твоему, будет дальше?

Джордж молчал.

— Я тебе скажу, — продолжал Макс. — Мы убьем шведа. Ты ведь знаешь шведа по имени Оле Андресон?

— Да.

— Он приходит сюда каждый вечер, так?

— Бывает.

— В шесть часов, так?

— Если приходит.

— Нам все известно, умник, — сказал Макс. — Давай о чем-нибудь другом. Ты в кино ходишь?

— Нечасто.

— А ты ходи почаще. Кино — оно для умников вроде тебя.

— За что вы хотите убить Оле Андресона? Что он вам сделал?

— Он при всем желании не мог нам ничего сделать. Он нас в глаза не видел.

— Только один раз и увидит, — донесся из кухни голос Эла.

— Тогда за что вы хотите его убить? — спросил Джордж.

— Мы его убьем за друга. Это дружеская услуга, умник.

— Придержи язык, — сказал на кухне Эл. — Ты слишком много болтаешь.

— Должен же я его как-то развлечь. Да, умник?

— Ты слишком много болтаешь, — повторил Эл. — Вот ниггер и второй умник сами себя развлекают. Я их связал, как двух монашек в женском монастыре.

— Ты бывал в женском монастыре?

— Представь себе.

— Это был кошерный монастырь, не иначе.

Джордж глянул на настенные часы.

— Если кто зайдет, скажешь, что повара отпустили, а если будут требовать еду, скажешь, что сам приготовишь. Все понял, умник?

— Ладно, — сказал Джордж. — А что будет с нами?

— Там видно будет, — сказал Макс. — Это тот случай, когда заранее ничего не известно.

Джордж снова глянул на часы. Шесть пятнадцать. Входная дверь открылась. Вошел вагоновожатый.

— Привет, Джордж, — сказал он. — Ужином накормите?

— Сэм отошел, — сказал Джордж. — Вернется через полчаса, не раньше.

— Тогда, пожалуй, я перекушу в другом месте, — сказал вагоновожатый.

Джордж глянул на часы. Шесть двадцать.

— Молодец, умник, — сказал Макс. — Где это тебя так вышколили?

— Знает, что я бы ему голову снес, — подал голос Эл на кухне.

— Нет, тут другое, — возразил Макс. — Умник молодец. Просто молодчина. Он мне нравится.

Без пяти семь Джордж сказал:

— Он не придет.

В закусочной побывали еще двое. Джордж приготовил для мужчины сэндвич с ветчиной и яйцом «на вынос». В кухне он увидел сидящего сразу за распашной дверцей Эла в сдвинутом на

затылок котелке, с обрезом, лежащим на спинке стула. Ник и повар сидели, связанные, в углу, спина к спине, с полотенцами во рту вместо кляпа. Джордж завернул сэндвич в промасленную бумагу и положил в пакет, который вручил мужчине, а тот расплатился и ушел.

— Наш-то умник на все горазд, — сказал Макс. — И приготовит, если надо. Из тебя, умник, получится отличная женушка.

— Что дальше? — спросил Джордж. — Ваш друг Оле Андресон уже не придет.

— Минут десять еще подождем, — сказал Макс.

Он переводил взгляд с зеркала на часы. Стрелки часов показали семь, затем пять минут восьмого.

— Ну что, Эл, — сказал Макс. — Пойдем, что ли. Он не придет.

— Еще пять минут, — отозвался тот из кухни.

За это время появился еще один посетитель, и Джордж объяснил ему, что повар заболел.

— Взяли бы другого, — возмутился посетитель. — У вас тут закусочная или что?

Он ушел.

— Пошли, Эл, — сказал Макс.

— А что будем делать с двумя умниками и поваром?

— Ничего.

— Уверен?

— Ну. Сматываем удочки.

— Нехорошо, — сказал Эл. — Паршиво сработано. Ты наболтал лишнего.

— Да ладно тебе, — сказал Макс. — Надо же было как-то развлечься.

— Ты слишком много болтаешь.

Эл вышел из кухни. Обрезанные стволы дробовика слегка оттопыривали на животе слишком тесное пальто. Он разгладил передок руками в перчатках.

— Будь здоров, умник, — сказал он Джорджу. — Считай, что тебе повезло.

— Это точно, — сказал Макс. — Попробуй поиграть на скачках, умник.

Дверь за ними закрылась. Джордж видел в окно, как они прошли под фонарем с дуговой лампой и пересекли улицу. В своих пальто не по размеру и нахлобученных цилиндрах они напоминали водевильную пару. Толкнув распашную дверцу, Джордж вошел в кухню и развязал Ника и повара.

— С меня хватит, — сказал повар Сэм. — С меня хватит.

Ник поднялся. Ему еще никогда не затыкали рот кляпом.

— Ух, — сказал он. — Ничего так, да? — Он делал вид, что ему все нипочем.

— Они собирались убить Оле Андресона, — сказал Джордж. — Когда он зайдет поужинать.

— Оле Андресона?

— Ага.

Повар большими пальцами потрогал уголки рта.

— Они точно ушли? — спросил он.

— Да, — подтвердил Джордж. — Точно.

— Не нравится мне это, — сказал повар. — Совсем не нравится.

— Послушай, — обратился Джордж к Нику. — Ты бы сходил к Оле Андресону.

— Ладно.

— Не встревайте вы в это дело, — вмешался повар Сэм. — Лучше держитесь подальше.

— Если не хочешь, не иди, — сказал Джордж.

— Это вас до добра не доведет, — гнул свое повар. — Держитесь подальше.

— Я схожу к нему, — сказал Ник Джорджу. — Где он живет?

Повар отвернулся.

— Эти мальчишки себе на уме, — сказал Сэм.

— Он живет в меблированных комнатах Хирша, — пояснил Джордж.

— Я пойду.

Свет от дуговой лампы пробивался сквозь голые ветви. Ник отшагал вдоль трамвайных путей и, дойдя до следующего фонаря, свернул в переулок. Через три дома он увидел меблированные комнаты Хирша. Ник поднялся на две ступеньки и нажал на звонок. Дверь открыла женщина.

— Оле Андресон здесь живет?

— Вы хотите его увидеть?

— Если он дома.

Ник проследовал за женщиной вверх по лестнице и по коридору до конца. Здесь она постучала в дверь.

— Кто?

— Тут к вам пришли, мистер Андресон, — сказала женщина.

— Это Ник Адамс.

— Входи.

Ник открыл дверь и вошел в комнату. Оле Андресон лежал на постели в верхней одежде. Кровать для профессионального боксера в тяжелом весе была коротковата. Он подложил под голову две подушки. На Ника он даже не взглянул.

— Ну, что? — спросил он.

— Я был «У Генри», — сказал Ник, — когда туда

вошли двое парней. Они связали меня и повара и заявили, что собираются вас убить.

Это прозвучало как-то глупо. Оле Андресон промолчал.

— Они держали нас на кухне, — продолжал Ник. — Они собирались вас убить, когда вы зайдете поужинать.

Оле Андресон молчал, уставившись в стену.

— Джордж подумал, что будет лучше, если я вас предупрежу.

— Я все равно ничего не могу сделать, — сказал Оле Андресон.

— Я могу описать, как они выглядели.

— Я не хочу знать, как они выглядели, — сказал Оле Андресон, не отрываясь от стены. — Спасибо, что предупредил.

— Не за что.

Ник разглядывал здоровяка, лежащего на кровати.

— Может, мне обратиться в полицию?

— Не надо, — сказал Оле Андресон. — Это ничего не даст.

— Я могу что-нибудь для вас сделать?

— Нет. Ничего тут не сделаешь.

— Может, это просто блеф.

— Нет. Это не блеф.

Оле Андресон отвернулся к стене.

— Вот только я все никак не соберусь выйти на улицу, — он разговаривал со стеной. — Целый день торчу здесь.

— Разве нельзя уехать из города?

— Нет, — сказал Оле Андресон. — Хватит уже бегать.

Он смотрел в стену.

— Тут уже ничего не сделаешь.

— А если как-то договориться?

— Нет. Я влип. — Голос его звучал тускло. — Тут уже ничего не сделаешь. Ничего, скоро соберусь и выйду.

— Меня ждет Джордж, — сказал Ник.

— Будь здоров, — сказал Оле Андресон. Он не обернулся. — Спасибо, что пришел.

Закрывая за собой дверь, Ник проводил взглядом здоровяка, лежащего на постели в верхней одежде, лицом к стене.

— Весь день провел в своей комнате, — сказала хозяйка, когда он спустился вниз. — Наверно, неважно себя чувствует. Я ему говорю: «Мистер Андресон, вы бы прогулялись, такой чудесный осенний денек». Но у него душа не лежит.

— Он не хочет выходить на улицу.

— Жаль, что он неважно себя чувствует, — ска-

зала женщина. — Он такой славный. Когда-то он был боксером.

— Я знаю.

— Только по лицу и можно догадаться, — сказала женщина. Они говорили уже на пороге. — Такой благородный.

— Спокойной ночи, миссис Хирш, — сказал Ник.

— Я не миссис Хирш, — поправила его женщина. — Она тут хозяйка, а я всего лишь присматриваю за домом. Меня зовут миссис Белл.

— Спокойной ночи, миссис Белл, — сказал Ник.

— Спокойной ночи.

Ник прошагал по темному переулку до фонаря, а затем вдоль трамвайных путей до закусочной «У Генри». Джордж стоял за стойкой.

— Ну, видел Оле?

— Да, — сказал Ник. — Он не выходит из комнаты.

Повар, услышав голос Ника, выглянул из кухни.

— Не хочу ничего не слышать, — с этими словами он снова закрыл дверцу.

— Ты ему все рассказал? — спросил Джордж.

— Да. Но он и так в курсе.

— Что он собирается делать?

— Ничего.

— Они его убьют.

— Скорее всего.

— Наверно, вляпался во что-то в Чикаго.

— Скорее всего.

— Хорошая заварушка.

— Та еще заварушка, — согласился Ник.

Они замолчали. Джордж взял полотенце и стал протирать стойку.

— Интересно, что он натворил? — прервал молчание Ник.

— Кому-то перешел дорогу. У них за это убивают.

— Надо отсюда сваливать, — сказал Ник.

— Это правильно, — согласился Джордж.

— Невыносимо думать о том, как он там торчит в своей комнате, зная, что его ждет. Жуть какая-то.

— Лучше об этом не думать, — сказал Джордж.

Che Ti Dice La Patria?[45]

Дорога через перевал была твердой и гладкой и в эти ранние утренние часы еще не пыльной. Внизу лежали холмы, поросшие дубами и каштанами, а еще ниже, вдали — море. По другую сторону — снежные горы.

Мы спускались с перевала через лес. Вдоль дороги были сложены мешки с углем, и сквозь деревья виднелись бараки углежогов. Было воскресенье. То поднимаясь, то опускаясь, дорога вела вниз от перевала, через заросли кустарника, через деревни.

Деревни были окружены виноградниками. Виноградники уже побурели, лозы стали шершавыми и плотными. Дома были белыми, и на улицах мужчины, одетые по-воскресному, играли в шары. Вдоль некоторых домов росли грушевые деревья, их похожие на канделябры ветви чернели на фоне белых стен. Груши опрыскивали, и стены домов были испачканы сине-зелеными с сизым отливом пятнами. Вокруг деревень были небольшие вырубки, на которых рос виноград,

---

[45] Примечания: 45
О чем говорит тебе родина?*(ит.)*

дальше шел лес.

В деревне, не доезжая двадцати километров до Специи, на площади стояла толпа, и молодой человек с чемоданом в руке, подойдя к нашей машине, попросил подбросить его в Специю.

— У нас только два места, и оба заняты, — сказал я. У нас был старенький «Форд-Купе».

— Я на подножке постою.

— Вам будет неудобно.

— Не имеет значения. Мне нужно в Специю.

— Ну что, возьмем? — спросил я Гая.

— Похоже, он все равно не отстанет, — ответил Гай.

Молодой человек просунул в окно пакет.

— Подержите это у себя, — сказал он. Двое мужчин привязали его чемодан к багажнику поверх наших. Молодой человек попрощался с каждым за руку, заверив, что для фашиста и человека, привыкшего к путешествиям так, как он, неудобств не существует, и, взобравшись на левую подножку автомобиля, правой рукой ухватился за нижний край открытого окна.

— Можно ехать, — сказал он. Из толпы ему замахали. Он махнул в ответ свободной рукой.

— Что он сказал? — спросил Гай.

— Что можно ехать.

— Очень мило, — сказал Гай.

Дорога шла вдоль реки. На другом берегу возвышались горы. Солнце слизывало иней с травы. День был солнечный и холодный, свежий воздух врывался внутрь через поднятый ветровой щиток.

— Как ты думаешь, каково ему там, снаружи? — Гай смотрел вперед, на дорогу. Вид слева ему загораживал наш попутчик. Молодой человек сбоку возвышался над капотом, как носовое украшение корабля. Он поднял воротник и глубоко нахлобучил шляпу, нос у него посинел от холода.

— Может, ему надоест? — сказал Гай. — С той стороны у нас шина дрянная.

— Или он соскочит, если она лопнет, — сказал я. — Не захочет пачкать свой дорожный костюм.

— Вообще-то он мне не мешает, — сказал Гай. — Если б только машина так не кренилась из-за него на поворотах.

Лес закончился; дорога, отклонившись от реки, пошла вверх; вода в радиаторе начала закипать; молодой человек с досадой и подозрением смотрел на струю ржавого пара; мотор скрежетал, когда Гай обеими ногами до упора выжимал педаль сцепления; рывками — вверх, вверх, назад-вперед, снова вверх и наконец — ровная по-

верхность. Скрежет прекратился, и в наставшей тишине слышалось только бурное клокотанье в радиаторе. Мы очутились на вершине последнего холма, над Специей и морем. Отсюда дорога спускалась короткими, лишь чуть скругленными зигзагами. На поворотах наш спутник свешивался в сторону так, что машина с тяжело груженным верхом едва не переворачивалась.

— И ведь не скажешь ему, чтобы он этого не делал, — заметил я Гаю. — Инстинкт самосохранения.

— Великий итальянский инстинкт.

— Величайший итальянский инстинкт.

Поворот за поворотом мы спускались все ниже, утопая в глубокой пыли, пыль оседала на оливковых деревьях. Специя простиралась внизу, вдоль моря. На подъезде к городу дорога выровнялась. Наш попутчик просунул голову в окно.

— Я здесь сойду.

— Останови, — сказал я Гаю.

Мы притормозили у обочины. Молодой человек спрыгнул, подошел к багажнику и отвязал свой чемодан.

— Дальше пойду пешком, чтобы у вас не было неприятностей из-за пассажира, — сказал он. — Мой пакет.

Я отдал ему пакет. Он потянулся к карману.

— Сколько я вам должен?

— Нисколько.

— Почему?

— Не знаю, — сказал я.

— Тогда спасибо. — Молодой человек не сказал «благодарю вас», или «премного вам благодарен», или «тысяча благодарностей» — ничего такого, что прежде было принято произносить в Италии, если вас снабжали каким-нибудь расписанием или объясняли дорогу. Он выбрал самую сухую форму — «спасибо» и подозрительно посмотрел нам вслед, когда Гай тронулся с места. Я помахал на прощанье рукой. Молодой человек был слишком горд, чтобы ответить. Мы двинулись дальше, в Специю.

— Такие юноши в Италии далеко пойдут, — сказал я Гаю.

— Двадцать километров он уже прошел с нашей помощью, — заметил Гай.

Завтрак в Специи

Въехав в Специю, мы стали искать, где бы перекусить. Улица была широкая, дома высокие и желтые. Мы двигались к центру вдоль трамвайных путей. На стенах домов красовались стандартные портреты Муссолини с горящим взором, под ними от руки черной краской было приписано: «Vivas!», из нижних точек обеих «v» краска каплями стекла по стене. Переулки бежали к гавани. День был солнечный, и по случаю воскресенья весь народ высыпал на улицу. Мощеные мостовые недавно сбрызнули, и в пыли образовались влажные канавки. Мы ехали, прижимаясь к тротуару, чтобы не мешать трамваям.

— Давай поедим где-нибудь, где попроще, — предложил Гай.

Мы остановились напротив двух ресторанных вывесок на противоположной стороне улицы, я купил газеты. Рестораны располагались дверь в дверь. Женщина, стоявшая на пороге одного из них, улыбнулась нам, мы пересекли дорогу и вошли внутрь.

Внутри было темно, в глубине за столиком сидели три девушки и старуха. За другим столиком,

напротив, — матрос. Он не ел и не пил, просто сидел. Дальше, за ним, молодой человек в синем костюме что-то писал. Волосы у него были напомажены и блестели, он был очень элегантно одет и выглядел щеголем.

Свет проникал внутрь через дверной проем и витрины, где были выставлены овощи, фрукты, бифштексы и отбивные. Подошла девушка, приняла у нас заказ, другая встала в дверях. Мы заметили, что под домашним платьем у нее ничего нет. Пока мы читали меню, та, что принимала заказ, обняла Гая за шею. Всего девушек было три, и они поочередно выходили постоять на пороге. Старуха за столом в глубине зала что-то говорила им, и они снова подсаживались к ней.

В зале была еще только одна дверь, которая вела на кухню. Ее прикрывала занавеска. Девушка, принявшая у нас заказ, появилась из этой двери с блюдом спагетти. Она поставила его перед нами, принесла бутылку красного вина и уселась за наш стол.

— Ну вот, — сказал я Гаю, — ты хотел местечка попроще.

— А здесь совсем не просто. Здесь сложно.

— О чем вы говорите? — спросила девушка. — Вы немцы?

— С юга, — сказал я. — Южные немцы — добрые и славные ребята.

— Не поняла, — сказала она.

— Это что, местный обычай? — спросил Гай. — Я обязательно должен позволять ей обнимать меня за шею?

— Конечно, — сказал я. — Муссолини запретил бордели. Здесь — ресторан.

На девушке было цельнокроеное платье. Она навалилась на стол, скрестила руки на груди и улыбнулась. С одной стороны улыбка у нее была привлекательнее, чем с другой, и она старалась поворачиваться к нам лучшей стороной. Обаянию этой стороны способствовало то, что с другой на носу у нее из-за какой-то неприятности образовалась вмятина, как на теплом воске. Нос был очень холодный и твердый, только вдавленный.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она Гая.

— Он в восторге от тебя, — сказал я. — Но он не говорит по-итальянски.

— Ich spreche Deutsch[46], — сказала она и погладила Гая по волосам.

— Поговори с дамой на своем родном языке, Гай.

---

[46] Примечания: 46
Я говорю на немецком*(нем.)*.

— Откуда ты? — спросила девушка.

— Потсдам.

— Задержишься здесь хоть ненадолго?

— В этой прекрасной Специи? — спросил я.

— Скажи ей, что нам надо ехать, — сказал Гай. — Скажи, что мы больные и у нас нет денег.

— Мой друг — женоненавистник, — сказал я. — Закоренелый немецкий женоненавистник.

— Скажи ему, что я его люблю.

Я сказал.

— Заткнись и давай выбираться отсюда, — сказал Гай.

Дама обвила его шею и другой рукой.

— Скажи ему, что он — мой, — сказала она.

Я сказал.

— Да вытаскивай же ты нас отсюда!

— Вы ссоритесь? — спросила дама. — Вы не любите друг друга?

— Мы немцы, — ответил я с достоинством, — истинные немцы-южане.

— Скажи ему, что он красавчик, — попросила девушка.

Гаю тридцать восемь, и ему льстит, что во Франции его принимают за коммивояжера.

— Ты красавчик, — сказал я.

— Кто это говорит, ты или она? — спросил Гай.

— Она. Я — только твой переводчик. Разве не за этим ты меня с собой взял?

— Хорошо, что она, — сказал Гай. — Жаль, если бы пришлось прямо здесь с тобой расстаться.

— Ну, не знаю. Специя — прелестное местечко.

— Специя, — повторила девушка. — Вы говорите о Специи?

— Прелестное местечко, — сказал я.

— Это моя родина, — сказала она. — Специя — мой дом, а Италия — моя родина.

— Она говорит, что Италия — ее родина.

— Скажи ей — оно и видно.

— Что у вас на десерт? — спросил я.

— Фрукты, — ответила она. — У нас есть бананы.

— Бананы — это пойдет, — сказал Гай. — По крайней мере они в кожуре.

— О, он любит бананы, — сказала девушка и обняла Гая.

— Что она говорит? — спросил он, отворачиваясь от нее.

— Она рада, что ты хочешь бананов.

— Скажи ей, что я не хочу бананов.

— Синьор не хочет бананов.

— Ах, — удрученно сказала девушка, — он не хочет бананов.

— Скажи ей, что я каждое утро принимаю холодную ванну.

— Синьор каждое утро принимает холодную ванну.

— Не поняла, — сказала девушка.

Бутафорский матрос напротив не шелохнулся. Никто в комнате не обращал на него никакого внимания.

— Принесите нам счет, — сказал я.

— О нет! Вы должны остаться.

— Послушай, — сказал щеголеватый молодой человек, писавший что-то за своим столом, — не держи их. Эти двое ничего не стоят.

Девушка взяла меня за руку.

— Разве ты не хочешь остаться? Ну, уговори его.

— Надо ехать, — сказал я. — Мы должны сегодня добраться до Пизы, а еще лучше — до Флоренции. Развлечься мы сможем и там, вечером. Сейчас еще рановато. Мы должны доехать засветло.

— Но немного задержаться было бы так приятно.

— Путешествовать нужно при свете дня.

— Послушай, — сказал молодой щеголь, — не трать времени попусту на эту парочку. Говорю тебе, они ничего не стоят, уж ты мне поверь.

— Принесите нам счет, — сказал я.

Она взяла счет у старухи, принесла нам, вернулась и снова села за ее стол. Из кухни вышла другая девушка, пересекла зал и встала в дверях.

— Да не трать ты силы на этих двоих, — устало повторил франтоватый молодой человек. — Поди поешь. Они ничего не стоят.

Мы заплатили по счету и встали. Все девушки, старуха и щеголь теперь сидели за одним столом. Бутафорский матрос сидел, обхватив руками голову. Пока мы завтракали, с ним никто ни разу не заговорил. Девушка принесла сдачу, которую отсчитала ей старуха, и пошла обратно на свое место. Мы оставили чаевые на столе и вышли. Когда мы уже сидели в машине, девушка вышла и встала на пороге. Мы тронулись, и я помахал ей рукой. Она не ответила, только стояла и смотрела нам вслед.

После дождя

Шел сильный дождь, когда мы проезжали через пригороды Генуи, и, несмотря на то, что мы ехали очень медленно, из-под колес впереди идущих трамваев и грузовиков жидкая грязь летела на тротуары, поэтому, завидев нас, люди спешили укрыться в подъездах. В Сен-Пьер-д'Арена, промышленном пригороде Генуи, была широкая улица с двумя автомобильными колеями, и мы старались ехать посередине, чтобы не обрызгивать грязью людей, возвращавшихся с работы домой. Слева от нас было Средиземное море. Волны разбивались о длинный парапет, и ветер окатывал машины брызгами. Русло реки, которое было широким, каменистым и высохшим, когда мы въезжали в Италию, теперь до краев наполнилось бурой водой. Бурая вода обесцвечивала море, и когда волны отступали, оставляя прогалины, свет проходил сквозь желтую воду, и пенные гребни, подхваченные ветром, летели через дорогу.

Большая машина быстро промчалась мимо нас, подняв фонтан грязной воды, окатившей наше ветровое стекло и радиатор. Стеклоочи-

стители метались взад-вперед, размазывая по стеклу пленку грязи. Мы остановились пообедать в Сестри. Заведение не отапливалось, и мы не сняли пальто и шляпы. Через окно нам была видна машина. Она была покрыта грязью и стояла возле лодок, которые вытащили на берег, чтобы их не унесло волнами. В ресторане можно было разглядеть собственное дыхание.

Pasta asciutta оказалась недурна; вино отдавало квасцами, и мы разбавляли его водой. Потом официант принес бифштекс с жареной картошкой. В дальнем конце зала сидели мужчина и женщина. Он был средних лет, она — молода и в черном. На протяжении всего обеда она выдувала изо рта струйки холодного белого пара. Мужчина, глядя на это, качал головой. Ели молча, мужчина под столом держал спутницу за руку. Она была миловидна, оба казались очень печальными. Рядом стояла дорожная сумка.

У нас были с собой газеты, и я вслух читал Гаю репортаж о шанхайском сражении. После обеда он отправился с официантом в место, которого не оказалось в ресторане, а я протер тряпкой ветровое стекло, фары и номера. Гай вернулся, и мы, дав задний ход, стартовали. Официант водил его в старый дом по другую сторону дороги. Люди

в доме были подозрительны, и официант остался ждать Гая, чтобы у них ничего не пропало.

— Хоть и не знаю как, я не сантехник, но они боялись, что я что-нибудь там украду, — сказал Гай.

Когда мы выехали на возвышенность за городом, ветер ударил в машину сбоку и чуть не перевернул ее.

— Хорошо, что нас сдувает от моря, — сказал Гай.

— Да, — сказал я. — Где-то здесь утонул Шелли.

— Это случилось в Виареджио, — сказал Гай. — Ты помнишь, зачем мы приехали в эту страну?

— Да, — сказал я, — но у нас ничего не вышло.

— Сегодня вечером мы ее покинем.

— Если успеем проскочить Вентимилью.

— Посмотрим. Мне не хочется ехать вдоль берега ночью.

Было чуть за полдень, начало проглядывать солнце. Море внизу было синим, покрытым белыми барашками, бегущими к Савоне. Сзади, за мысом, синие и бурые воды смешивались. Впереди к берегу направлялся грузовой пароход.

— Генуя все еще видна? — спросил Гай.

— О да.

— Вон тот большой мыс должен скрыть ее из

виду.

— Мы еще долго будем ее видеть. Пока я вижу даже мыс Портофино, что за ней.

Наконец Генуя исчезла из поля зрения. Я оглянулся — сзади было только море; внизу, в бухте, — линия берега с рыбацкими лодками; наверху, на склоне холма, какой-то городок, а дальше по всему побережью — мысы.

— Пропала, — сказал я Гаю.

— О, она давно пропала.

— Этого нельзя было сказать наверняка, пока мы не отъехали достаточно далеко.

Мы увидели дорожный знак, предупреждающий об S-образном зигзаге и Svolta Pericolosa[47]. Дорога обогнула мыс, и ветер задул сквозь щель в неплотно прилегающем ветровом щитке. Внизу вдоль берега тянулся плоский мыс. Ветер высушил пыль, и она стала лететь из-под колес. На прямом участке пути мы обогнали фашиста на велосипеде, тяжелый револьвер в кобуре висел у него на поясе сзади. Велосипедист двигался по середине дороги, и нам пришлось его объехать. Когда мы поравнялись, он поднял голову и посмотрел на нас. Впереди показался железно-

---

[47] Примечания: 47
Опасный поворот (*ит.*).

дорожный переезд, и, когда мы приблизились, шлагбаум опустился.

Пока мы ждали, подкатил фашист на велосипеде. Поезд проехал, и Гай завел мотор.

— Стойте, — крикнул сзади велосипедист. — У вас номер заляпан грязью.

Я вышел из машины с тряпкой. Номер я чистил после обеда.

— Цифры вполне можно разобрать, — сказал я.

— Вы так думаете?

— Посмотрите сами.

— Я не могу их разобрать. Номер грязный.

Я протер номерной знак тряпкой.

— А теперь?

— Двадцать пять лир.

— Что? — сказал я. — Цифры видны. Во всем виноватo состояние дорог.

— Вам не нравятся итальянские дороги?

— Они грязные.

— Пятьдесят лир. — Он плюнул на дорогу. — У вас грязная машина, и вы сами тоже грязные.

— Хорошо. Только дайте мне квитанцию с вашей подписью.

Он вынул книжку бланков, заполнил обе части квитанции, край оторвал и отдал нам, оставив себе корешок, который держал так, чтобы я его

не видел.

— Езжайте, — сказал он, — пока ваш номерной знак снова не запачкался.

После наступления темноты мы ехали еще два часа и провели ту ночь в Ментоне, городок выглядел очень веселым, чистым, миленьким и вполне нормальным. Мы проехали от Вентимильи до Пизы и Флоренции, через Романью в Римини, потом назад: через Форли, Имолу, Болонью, Парму, Пьяченцу и Геную обратно в Вентимилью. В целом путешествие заняло всего десять дней. Естественно, за такой короткий срок у нас не было возможности увидеть, что происходит со страной и людьми.

Пятьдесят тысяч

— Как дела, Джек? — спросил я.

— Ты видел этого Уолкотта? — сказал он.

— Только в гимнастическом зале.

— Ну, — сказал Джек, — надо, чтобы мне повезло, а то его так не возьмешь.

— Он до тебя и не дотронется, Джек, — сказал Солджер.

— Хорошо, кабы так.

— Он в тебя и горстью дроби не попадет.

— Дробью пускай, — сказал Джек. — Дроби я не боюсь.

— А в него легко попасть, — сказал я.

— Да, — сказал Джек, — он долго не продержится на ринге. Не то что мы с тобой, Джерри. Но сейчас хорош.

— Ты его обработаешь одной левой.

— Пожалуй, — сказал Джек. — Может быть, и так.

— Разделай его, как ты Ричи Льюиса разделал.

— Ричи Льюис, — сказал Джек, — этот жмот!

Мы все трое, Джек Бреннан, Солджер Бартлет и я, сидели у Хэндли. За соседним столиком сидели две шлюхи. Они уже порядком накачались.

— Жмот, — говорит одна. — Ишь ты! Ты как сказал, дубина ирландская? Жмот?

— Да, — говорит Джек. — Именно.

— Жмот, — говорит она опять. — Уж эти ирландцы! Чуть что, так сейчас ругаться. А сам-то!

— Не связывайся, Джек. Пойдем.

— Жмот, — говорит она. — А ты, герой, хоть раз в жизни угостил кого-нибудь? Жена тебе небось каждое утро карманы наглухо зашивает. А туда же, жмот! Тебе от Ричи Льюиса тоже попало!

— Да, — сказал Джек. — А вы как — ни с кого денег не берете?

Мы вышли. Джек всегда был такой. За словом в карман не лазил.

Джек проходил тренировку на ферме у Данни Хогана в Джерси. Место там красивое, но Джеку не нравилось. Он скучал без жены и детей и все время ворчал и злился. Меня он любил, и мы с ним ладили. Хогана он тоже любил, но Солджер Бартлет скоро начал его раздражать. Шутник может здорово надоесть, особенно если шутки его начинают повторяться. А Солджер все время подшучивал над Джеком, все время отпускал шуточки. Не очень забавные и не очень удачные, и Джека это злило. Бывало, например, так: Джек кончал работать с тяжестями и с мешком и наде-

вал перчатки.

— Поработаешь со мной? — спрашивал он Солджера.

— Ладно. Ну, как с тобой поработать? — говорил Солджер. — Вздуть тебя, как Уолкотт тебя вздует? Посадить тебя разок-другой в нокдаун?

— Валяй, — говорил Джек. Но это ему не нравилось.

Раз утром на прогулке мы зашли довольно далеко и теперь возвращались. Мы делали пробежку три минуты; потом ходьба — одну минуту. Потом опять пробежка. Джека нельзя было назвать спринтером. На ринге он двигался быстро, когда бывало нужно, но бегать не умел. Во время ходьбы Солджер только и делал, что высмеивал Джека. Мы поднялись на холм, где стояла ферма.

— Вот что, Солджер, — сказал Джек, — уезжайка ты в город.

— Что это значит?

— Уезжай в город да там и оставайся.

— В чем дело?

— Меня тошнит от твоей болтовни.

— Ах, так, — сказал Солджер.

— Да уж так, — сказал Джек.

— Тебя еще хуже будет тошнить, когда Уолкотт с тобой разделается.

— Может быть, — сказал Джек, — но пока что меня тошнит от тебя.

Солджер уехал в то же утро с первым поездом. Я провожал его на станцию. Он был очень сердит.

— Я ведь только шутил, — сказал он. Мы стояли на платформе, дожидаясь поезда. — С чего он на меня взъелся, Джерри?

— Он нервничает, оттого и злится, — сказал я. — А так он добрый малый, Солджер.

— Вот так добрый! Когда это он был добрым?

— Ну, прощай, Солджер, — сказал я.

Поезд подошел. Солджер поднялся на ступеньки, держа чемодан в руках.

— Прощай, Джерри, — сказал он. — Будешь в городе до состязания?

— Навряд ли.

— Значит, увидимся на матче.

Он вошел в вагон, кондуктор вскочил на подножку, и поезд тронулся. Я поехал домой в двуколке. Джек сидел на крыльце и писал жене письмо. Принесли почту; я взял газету, сел на другой стороне крыльца и стал читать. Хоган выглянул из дверей и подошел ко мне.

— Что у него вышло с Солджером?

— Ничего не вышло. Просто он сказал Солджеру, чтоб тот уезжал в город.

— Я так и знал, что этим кончится, — сказал Хоган. — Он не любит Солджера.

— Да. Он мало кого любит.

— Сухарь, — сказал Хоган.

— Со мной он всегда был хорош.

— Со мной тоже, — сказал Хоган. — Я от него плохого не видел. А все-таки он сухарь.

Хоган ушел в дом, а я остался на крыльце; сидел и читал газеты. Осень только начиналась, а в Джерси, в горах, очень красиво, и я дочитал газеты и стал смотреть по сторонам и на дорогу внизу вдоль леса, по которой, поднимая пыль, бежали машины. Погода была хорошая, и места очень красивые.

Хоган вышел на порог, и я спросил:

— Хоган, а что, есть тут какая-нибудь дичь?

— Нет, — сказал Хоган. — Только воробьи.

— Читал газету? — спросил я.

— А что там?

— Санди вчера трех привел к финишу.

— Это мне еще вчера вечером сказали по телефону.

— Следишь за ними? — спросил я.

— Да, держу связь, — сказал он.

— А Джек? — спросил я. — Он еще играет на скачках?

— Он? — сказал Хоган. — Разве это на него похоже?

Как раз в эту минуту Джек вышел из-за угла, держа в руках письмо. На нем был свитер, старые штаны и башмаки для бокса.

— Есть у тебя марка, Хоган? — спросил он.

— Давай письмо, — сказал Хоган. — Я отправлю.

— Джек, — сказал я, — ведь ты раньше играл на скачках?

— Случалось.

— Я знаю, что ты играл. Помнится, я тебя видел в Шипсхэде.

— А теперь почему бросил? — спросил Хоган.

— Много проиграл.

Джек сел на ступеньку рядом со мной и прислонился к столбу. Он жмурился, сидя на солнышке.

— Дать тебе стул? — спросил Хоган.

— Нет, — сказал Джек. — Так хорошо.

— Хороший день, — сказал я. — Славно сейчас в деревне.

— А по мне, лучше в городе с женой.

— Ну что ж, осталась всего неделя.

— Да, — сказал Джек. — Это верно.

Мы сидели на крыльце. Хоган ушел к себе в контору.

— Как ты считаешь, я в форме? — спросил меня Джек.

— Трудно сказать. У тебя, во всяком случае, еще есть неделя, чтобы войти в форму.

— Не виляй, пожалуйста.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Ты не в порядке?

— Сплю плохо, — сказал Джек.

— Это пройдет. День-два, и все наладится.

— Нет, — сказал Джек. — У меня бессонница.

— Тебя что-нибудь тревожит?

— По жене скучаю.

— Пускай она сюда приедет.

— Нет, для этого я слишком стар.

— Мы хорошенько погуляем вечером, перед тем как тебе ложиться, ты устанешь и заснешь.

— Устану! — сказал Джек. — Я и так все время чувствую себя усталым.

Он всю неделю был такой. Не спал по ночам, а утром чувствовал себя так — ну, знаете, когда даже руку сжать в кулак не можешь.

— Выдохся, — сказал Хоган. — Как вино без пробки. Никуда не годится.

— Я никогда не видал этого Уолкотта, — сказал я.

— Он Джека убьет, — сказал Хоган. — Пополам перервет.

— Ну что ж, — сказал я. — Надо же когда-нибудь и проиграть.

— Да, но не так, — сказал Хоган. — Люди подумают, что он совсем не тренирован. Это портит нашу репутацию.

— Ты слышал, что о нем говорили репортеры?

— Еще бы не слышать! Они сказали, что он ни к черту не годен. Сказали, что его нельзя выпускать на ринг.

— Ну, — сказал я, — они ведь всегда врут.

— Так-то так. Но на этот раз не соврали.

— Э, откуда им знать, в порядке человек или не в порядке.

— Ну, — сказал Хоган, — не такие уж они дураки.

— Только и сумели, что разругать Вилларда в Толедо. Этот Ларднер, сейчас-то он умный, а спроси его, что он говорил о Вилларде в Толедо.

— Да он к нам и не приезжал, — сказал Хоган. — Он пишет только о больших состязаниях.

— А, плевать мне на них, кто бы они ни были, — сказал я. — Что они понимают? Писать они, может, и умеют, но что они понимают в боксе?

— А сам-то ты считаешь, что Джек в форме? — спросил Хоган.

— Нет. Он сошел. Теперь одного не хватает, чтоб

Корбетт изругал его как следует, — ну, и тогда все будет кончено.

— Корбетт его изругает, будь покоен, — сказал Хоган.

— Да. Он его изругает.

В эту ночь Джек опять не спал. Следующий день был последний перед боем. После завтрака мы опять сидели на крыльце.

— О чем ты думаешь, Джек, когда не спишь? — спросил я.

— Да так, беспокоюсь, — сказал Джек. — Беспокоюсь насчет своего дома в Бронксе, беспокоюсь насчет своей усадьбы во Флориде. О детях беспокоюсь и о жене. А то вспоминаю матчи. Потом у меня есть кой-какие акции — вот и о них беспокоюсь. О чем только не думаешь, когда не спится!

— Ну, — сказал я, — завтра вечером все будет кончено.

— Да, — сказал Джек. — Это очень утешительно, не правда ли? Раз, два — и все уладится, так, по-твоему?

Весь день он злился. Мы не работали. Джек только поупражнялся немного, чтобы размяться. Он провел несколько раундов боя с тенью. И даже тут он производил неважное впечатление. Потом немного попрыгал со скакалкой. Он никак не мог

вспотеть.

— Лучше бы уж совсем не работал, — сказал Хоган. Мы стояли рядом и смотрели, как он прыгает со скакалкой. — Он что, совсем больше не потеет?

— Да, вот не может.

— Ты думаешь, что он хоть сколько-нибудь в форме? Ведь он, кажется, всегда легко сгонял вес?

— Нисколько он не в форме. Он сходит, вот что.

— Надо, чтобы он вспотел, — сказал Хоган.

Джек приблизился, прыгая через скакалку. Он прыгал прямо перед нами то вперед, то назад, на каждом третьем прыжке скрещивая руки.

— Ну, — сказал он, — вы что каркаете, вороны?

— Я считаю, что тебе больше не надо работать, — сказал Хоган. — Выдохнешься.

— Ах, как страшно! — сказал Джек и запрыгал прочь от нас, крепко ударяя скакалкой об пол.

Под вечер на ферму приехал Джон Коллинз. Джек был у себя в комнате. Джон приехал из города в машине. С ним было двое приятелей. Машина остановилась, и все они вышли.

— Где Джек? — спросил меня Джон.

— У себя. Лежит.

— Лежит?

— Да, — сказал я.

— Ну, как он?

Я посмотрел на тех двух, что приехали с Джоном.

— Ничего, это его друзья, — сказал Джон.

— Плохо, — сказал я.

— Что с ним?

— У него бессонница.

— Черт, — сказал Джон. — У этого ирландца всегда бессонница.

— Он не в порядке, — сказал я.

— Черт, — сказал Джон. — Всегда он не в порядке. Десять лет я с ним работаю, и никогда еще он не бывал в порядке.

Те, что с ним приехали, засмеялись.

— Познакомьтесь, — сказал Джон. — Мистер Морган и мистер Стейнфелт. А это мистер Доил. Тренер Джека.

— Очень приятно, — сказал я.

— Пойдем к Джеку, — сказал тот, кого звали Морганом.

— Да, поглядим-ка на него, — сказал Стейнфелт.

Мы все пошли наверх.

— Где Хоган? — спросил Джон.

— В сарае, со своими клиентами.

— Много у него сейчас народу? — спросил Джон.

— Только двое.

— Тихо у вас, а? — спросил Морган.

— Да, у нас тихо, — сказал я.

Мы остановились перед дверью в комнату Джека. Джон постучал.

Ответа не было.

— Спит, наверно, — сказал я.

— С какой стати ему спать среди бела дня?

Джон нажал ручку, и мы вошли. Джек лежал на постели и спал. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку. Он обнимал подушку обеими руками.

— Эй, Джек! — сказал Джон.

Голова Джека шевельнулась на подушке.

— Джек! — сказал Джон, наклоняясь над ним. Джек еще глубже зарылся в подушку. Джон тронул его за плечо. Джек приподнялся, сел и посмотрел на нас. Он был небрит, на нем был старый свитер.

— Черт, — сказал Джек. — Что вы мне спать не даете?

— Не сердитесь, — сказал Джон. — Я не знал, что вы спите.

— Ну конечно, — сказал Джек. — Уж, конечно, вы не знали.

— Вы ведь знакомы с Морганом и Стейнфелтом, — сказал Джон.

— Очень рад, — сказал Джек.

— Как себя чувствуете, Джек? — спросил Морган.

— Великолепно, — сказал Джек. — Как мне еще себя чувствовать?

— Вид у вас хороший, — сказал Стейнфелт.

— Куда уж лучше, — сказал Джек. — Послушайте. — Он повернулся к Джону. — Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какого же черта вас нет на месте, когда сюда являются репортеры? Мы с Джерри, что ли, должны с ними разговаривать?

— У меня Лью работал в Филадельфии, — сказал Джон.

— А мне какое дело! — сказал Джек. — Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какое мне дело, что там у вас в Филадельфии? Вы там не для меня денежки загребали. Какого черта вас нет, когда вы мне нужны?

— Хоган был здесь.

— Хоган, — сказал Джек. — Хоган такой же бессловесный, как и я.

— Кажется, Солджер Бартлет тоже с вами работал? — спросил Стейнфелт, чтобы переменить разговор.

— Да, он был здесь, — сказал Джек. — Он-то был, как же.

— Джерри, — сказал Джон, — будьте любезны, поищите Хогана и скажите ему, что мы хотим его видеть, так, через полчасика.

— Ладно, — сказал я.

— Почему вы его отсылаете? — сказал Джек. — Не уходи, Джерри.

Морган и Стейнфелт переглянулись.

— Не волнуйтесь, Джек, — сказал Джон.

— Ну, я пойду поищу Хогана, — сказал я.

— Иди, если сам хочешь, — сказал Джек. — Но не потому, что они тебя отсылают.

— Пойду поищу Хогана, — сказал я.

Хоган был в гимнастическом зале, в сарае. С ним были оба его клиента, в перчатках. Каждый из них так боялся попасть под удар противника, что сам уж не решался ударить.

— Ну, довольно, — сказал Хоган, увидев меня. — Прекратите это побоище. Вы, джентльмены, примите душ, а Брюс вас отмассирует.

Они пролезли под канатом, и Хоган подошел ко мне.

— Джон Коллинз приехал, — сказал я, — повидать Джека. И с ним двое приятелей.

— Я видел, как они подъехали в машине.

— Кто эти, с Джоном?

— То, что называется ловкачи, — сказал Хоган. — Ты их не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Хэнни Стейнфелт и Хью Морган. Держат пул.

— Я ведь уезжал.

— Правда, — сказал Хоган. — Этот Хэнни Стейнфелт продувная бестия.

— Я о нем слышал.

— Хитрец, — сказал Хоган. — А вообще, оба они жулики.

— Так, — сказал я. — Они хотят, чтобы мы к ним зашли через полчаса.

— То есть, иначе говоря, чтобы мы к ним не заходили раньше чем через полчаса?

— Вот именно.

— Ну, пойдем в контору, — сказал Хоган. — К черту этих жуликов.

Минут через тридцать мы с Хоганом пошли наверх. Мы постучали в дверь. Слышно было, что в комнате разговаривают.

— Подождите минутку, — сказал кто-то.

— А ну вас к дьяволу, — сказал Хоган. — Если я вам нужен, я буду в конторе.

Мы услышали, как повернулся ключ в замке. Стейнфелт открыл дверь.

— Заходите, Хоган, — сказал он. — Сейчас мы выпьем по рюмочке.

— Ладно, — сказал Хоган. — Это дело.

Мы вошли. Джек сидел на кровати. Джон и Морган сидели на стульях. Стейнфелт стоял.

— Что у вас тут за тайны? — сказал Хоган.

— Хэлло, Данни, — сказал Джон.

— Хэлло, Данни, — сказал Морган, и они пожали друг другу руки.

Джек ничего не сказал. Он молча сидел на кровати. Он не с ними. Он сам по себе. На нем была старая синяя фуфайка, старые штаны и башмаки для бокса. Ему бы не мешало побриться. Стейнфелт и Морган были шикарно одеты. Джон тоже. Джек сидел на кровати, и вид у него был очень ирландский и мрачный.

Стейнфелт достал бутылку, а Хоган принес стаканы, и все выпили. Мы с Джеком выпили по стаканчику, а прочие на этом не остановились и выпили по два и по три.

— Приберегите на дорогу, — сказал Хоган.

— Не беспокойтесь. У нас еще есть, — сказал

Морган.

После второго стакана Джек больше уже не пил. Он встал и смотрел на них. Морган сел на его место на кровати.

— Выпейте, Джек, — сказал Джон и протянул ему стакан и бутылку.

— Нет, — сказал Джек. — Я никогда не любил поминок.

Все засмеялись. Джек не смеялся.

Все были уже под мухой, когда уезжали. Джек стоял на крыльце, пока они садились в машину. Они помахали ему на прощанье.

— До свиданья, — сказал Джек.

Потом мы ужинали. За все время ужина Джек не сказал ни слова, кроме «передайте мне это», «передайте мне то». Оба клиента Хогана ели вместе с нами. Это были славные ребята. Поужинав, мы вышли на крыльцо. Теперь рано темнело.

— Погуляем, Джерри? — спросил Джек.

— Давай, — сказал я.

Мы надели пальто и вышли. До шоссе был порядочный кусок, а потом мы еще мили полторы прошли по шоссе. Нас обгоняли машины, и мы то и дело сходили с дороги, чтобы их пропустить. Джек молчал. Когда мы залезли в кусты, чтобы пропустить большую машину, Джек сказал:

— Ну ее к шутам, эту прогулку. Пойдем домой.

Мы пошли тропинкой, которая вела сперва через холм, а потом по полям, прямо к ферме. С холма видны были огни в доме. Мы обогнули дом и подошли к крыльцу; в дверях стоял Хоган.

— Хорошо погуляли? — спросил Хоган.

— Замечательно, — сказал Джек. — Послушай, Хоган. Есть у тебя виски?

— Есть, — сказал Хоган. — А что?

— Пришли-ка нам наверх. Я сегодня намерен спать.

— Ну, как знаешь, — сказал Хоган.

— Пойдем ко мне, Джерри, — сказал Джек.

Наверху Джек сел на кровать и сжал голову руками.

— Веселая жизнь, — сказал он.

Хоган принес кварту виски и два стакана.

— Принести вам лимонаду? — спросил Хоган.

— Зачем? Чтоб меня потом тошнило?

— Я ведь только спросил, — сказал Хоган.

— Выпьешь с нами? — спросил Джек.

— Нет, спасибо, — сказал Хоган и вышел.

— А ты, Джерри?

— Стаканчик выпью, — сказал я.

Джек налил два стакана.

— Ну-с, — сказал он, — теперь займемся.

— Подлей воды, — сказал я.

— Да, — сказал Джек. — Пожалуй, так будет лучше.

Мы выпили молча. Джек хотел налить мне еще.

— Нет, — сказал я, — с меня довольно.

— Как хочешь, — сказал Джек. Он налил себе порядочную порцию и добавил воды. Он немного повеселел. — Ну и компания, эти, что приезжали, — сказал он. — Наверняка хотят бить. Так, чтоб без риска.

Потом, немного погодя, он добавил:

— Что ж, они правы. Какой смысл рисковать? Выпей, Джерри, — сказал он. — Ну, выпей со мной.

— Мне это не нужно, Джек, — сказал я. — Мне и так хорошо.

— Только один, — сказал Джек. Его уже немного развезло.

— Ладно, — сказал я.

Джек налил немного в мой стакан, а в свой побольше.

— Люблю выпить, — сказал он. — Если б не бокс, я бы, наверно, здорово пил.

— Наверно.

— Знаешь, — сказал он, — я много упустил из-за

бокса.

— Зато у тебя куча денег.

— Да, — сказал Джек. — Для этого я и стараюсь. А все-таки я много упустил.

— Ну что, например?

— Да вот, например, с женой. И дома мало приходится бывать. И для моих девочек это плохо. Спрашивает их какая-нибудь подружка — из таких, знаешь, светских барышень: «Кто твой отец?» — «Мой отец — Джек Бреннан». Это плохо для них.

— Э, — сказал я, — ничего это не значит. Были б только у них деньги.

— Да, — сказал Джек, — денег я для них припас.

Он налил себе еще. Бутылка была уже почти пуста.

— Подлей воды, — сказал я. Джек добавил воды.

— Ты не знаешь, — сказал он, — как я скучаю по жене.

— Знаю, — сказал я.

— Нет, ты не знаешь. Ты даже представить себе не можешь, каково это.

— В деревне все-таки лучше, чем в городе.

— А мне, — сказал Джек, — совершенно все

равно. Ты даже представить себе не можешь, как я по ней скучаю.

— Выпей еще.

— Я пьян? Заговариваюсь?

— Есть немножко.

— Ты даже понять не можешь, каково мне. Никто не может понять.

— Кроме жены, — сказал я.

— Она знает, — сказал Джек. — Она-то знает. Уж она знает, будь покоен. Она знает.

— Подлей воды, — сказал я.

— Джерри, — сказал Джек, — ты даже понять не можешь, каково мне бывает.

Он был пьян вдребезги. Он пристально смотрел на меня. Взгляд у него был какой-то слишком пристальный.

— Сегодня ты будешь спать, — сказал я.

— Слушай, Джерри, — сказал Джек. — Хочешь заработать? Поставь на Уолкотта.

— Вот как?

— Слушай, Джерри. — Джек отставил стакан. — Смотри. Я сейчас пьян. Знаешь, сколько я на него ставлю? Пятьдесят тысяч.

— Это большие деньги.

— Пятьдесят тысяч. Два против одного. Получу двадцать пять чистых. Поставь на него, Джерри.

— Выгодное дело, — сказал я.

— Все равно мне его не побить, — сказал Джек. — Тут нет никакого жульничества. Я ведь все равно не могу его побить. Почему же не заработать на этом?

— Подлей воды, — сказал я.

— После этого боя уйду с ринга, — сказал Джек. — Брошу все к чертям. Все равно он меня побьет. Почему же не заработать?

— Ясно.

— Целую неделю не спал, — сказал Джек. — Всю ночь лежу и мучаюсь. Не могу спать, Джерри. Ты даже понять не можешь, каково это, когда не спишь.

— Плохо.

— Не могу спать. Не могу, и кончено. Сколько ни тренируйся, а какой толк, если не можешь спать, верно?

— Верно.

— Ты даже понять не можешь, Джерри, каково это, когда не спишь.

— Подлей воды, — сказал я.

Часам к одиннадцати Джек был готов, и я уложил его в постель. Он засыпал стоя. Я помог ему раздеться и лечь.

— Теперь ты будешь спать, Джек, — сказал я.

— Да, — сказал Джек, — теперь я засну.

— Спокойной ночи, Джек, — сказал я.

— Спокойной ночи, Джерри, — сказал Джек. — Один у меня есть друг — это ты.

— Да ну тебя, — сказал я.

— Один только друг, — сказал Джек. — Один-единственный.

— Спи, — сказал я.

— Сплю, — сказал Джек.

Внизу, в конторе, Хоган сидел за столом и читал газеты. Он посмотрел на меня.

— Ну, уложил своего дружка? — спросил он.

— Готов.

— Лучше так, чем совсем не спать, — сказал он.

— Да.

— А вот поди объясни это газетным писакам.

— Ну, я тоже пошел спать, — сказал я.

— Спокойной ночи, — сказал Хоган.

Утром, часов в восемь, я сошел вниз и позавтракал. Хоган работал со своими клиентами в сарае. Я пошел туда и стал смотреть на них.

— Раз! Два! Три! Четыре! — считал Хоган. — Хэлло, Джерри, — сказал он. — Джек встал?

— Нет. Еще спит.

Я пошел к себе в комнату и уложил вещи. В половине десятого я услышал, как Джек ворочается

за стеной. Когда я услышал, что он спускается по лестнице, я тоже пошел вниз. Джек сидел за завтраком. Хоган тоже был там, он стоял у стола.

— Как себя чувствуешь, Джек? — спросил я.

— Ничего.

— Хорошо спал? — спросил Хоган.

— Спал на славу, — сказал Джек. — Во рту скверно, но голова не болит.

— Вот видишь, — сказал Хоган. — Это потому, что виски хорошее.

— Припиши к счету, — сказал Джек.

— Когда вы едете? — спросил Хоган.

— После завтрака. Одиннадцатичасовым.

— Сядь, Джерри, — сказал Джек.

Хоган ушел. Я сел к столу. Джек ел грейпфрут. Когда ему попадалась косточка, он выплевывал ее в ложку и сбрасывал на блюдце.

— Я вчера здорово накачался, — начал он.

— Да, выпил немножко.

— Наболтал, наверно, всякого вздору.

— Да нет, ничего особенного.

— Где Хоган? — спросил он. Он доедал грейпфрут.

— В контору ушел.

— Что я там говорил насчет ставок? — спросил Джек. Он держал ложку и тыкал ею в грейпфрут.

Вошла горничная, поставила на стол яичницу с ветчиной и убрала грейпфрут.

— Дайте мне еще стакан молока, — сказал ей Джек. Она вышла.

— Ты сказал, что ставишь пятьдесят тысяч на Уолкотта, — сказал я.

— Это верно, — сказал Джек.

— Это большие деньги.

— Не нравится мне это, — сказал Джек.

— Может еще и по-другому обернуться.

— Нет, — сказал Джек. — Он до смерти хочет стать чемпионом. Эти жулики на нем не промахнутся.

— Ничего нельзя знать наперед.

— Нет. Ему нужно звание. Для него это важней денег.

— Пятьдесят тысяч — большие деньги, — сказал я.

— Это простой расчет, — сказал Джек. — Я не могу победить. Ты же знаешь, что я не могу победить.

— Пока ты на ринге, всегда есть шанс.

— Нет, — сказал Джек. — Я выдохся. Это простой расчет.

— Как ты себя чувствуешь?

— Прилично, — сказал Джек. — Выспался, а это

мне как раз и нужно.

— Ты будешь хорош на ринге.

— Да, будет на что посмотреть, — сказал Джек.

После завтрака Джек вызвал жену по междугородному телефону. Он сидел в телефонной будке.

— За все время первый раз ее вызывает, — сказал Хоган.

— Он каждый день ей писал.

— Ну да, — сказал Хоган, — марка ведь стоит только два цента.

Мы попрощались с Хоганом, и Брюс, негр-массажист, отвез нас на станцию в двуколке.

— Прощайте, мистер Бреннан, — сказал он, когда подошел поезд. — Надеюсь, вы ему расшибете котелок.

— Прощайте, — сказал Джек и дал Брюсу два доллара.

Брюсу много пришлось над ним поработать. Лицо у него вытянулось. Джек заметил, что я смотрю на два доллара в руках у Брюса.

— Это все оплачено, — сказал он. — Массаж Хоган тоже ставит в счет.

В поезде Джек все время молчал. Он сидел в углу — билет у него был засунут за ленту шляпы — и смотрел в окно. Только раз он повернулся и заговорил со мной.

— Я предупредил жену, что возьму на ночь номер у Шелби, — сказал он. — Это в двух шагах от Парка. А домой вернусь завтра утром.

— Отличная мысль, — сказал я. — Жена тебя когда-нибудь видела на ринге?

— Нет, — сказал Джек. — Никогда не видела.

Я подумал — какого же он ждет избиения, если не хочет показываться домой после матча. На вокзале мы взяли такси и поехали к Шелби. Вышел мальчик и забрал наши чемоданы, а мы пошли в контору.

— На какую цену у вас есть номера? — спросил Джек.

— Есть только номера на две кровати, — сказал конторщик. — Могу вам предложить прекрасную комнату на две кровати за десять долларов.

— Это дорого.

— Могу предложить вам комнату на две кровати за семь долларов.

— С ванной?

— Конечно.

— Ты можешь переночевать со мной, Джерри, — сказал Джек.

— Да нет, — сказал я, — я остановлюсь у зятя.

— Я это не затем, чтобы ты платил, — сказал Джек. — А так, чтобы деньги зря не пропадали.

— Запишитесь, пожалуйста, — сказал конторщик. Потом прочитал про себя наши фамилии. — Номер двести тридцать восемь, мистер Бреннан.

Мы поднялись на лифте. Комната была большая и хорошая, с двумя кроватями и дверью в ванную.

— Шикарно, — сказал Джек.

Лифтер поднял шторы и внес наши чемоданы. Джек и не подумал дать ему на чай, тогда я дал ему двадцать пять центов. Мы помылись, и Джек сказал, что нужно пойти куда-нибудь поесть.

Мы пообедали у Хэндли. Там было много знакомых. В середине обеда вошел Джон и сел за наш столик. Джек ел, а разговаривал мало.

— Как у вас с весом, Джек? — спросил Джон.

Джек уписывал солидный обед.

— Хоть одетым могу взвешиваться, — сказал Джек. Он всегда легко сгонял вес. Он был прирожденным легковесом и никогда не толстел. У Хогана он еще потерял в весе.

— Ну, это у вас всегда в порядке, — сказал Джон.

— Да, это в порядке, — сказал Джек.

Мы пошли в Парк взвешиваться. Условия матча были: сто сорок семь фунтов в три часа дня. Джек

стал на весы, обернув полотенце вокруг бедер. Стрелка не шевельнулась. Уолкотт только что взвешивался и теперь стоял в сторонке; вокруг него толпился народ.

— Дайте поглядеть на ваш вес, Джек, — сказал Фридмен, менеджер Уолкотта.

— Пожалуйста. Но тогда и его при мне взвесьте. — Джек мотнул головой в сторону Уолкотта.

— Сбросьте полотенце, — сказал Фридмен.

— Сколько? — спросил Джек.

— Сто сорок три фунта, — сказал толстяк, возившийся у весов.

— Здорово согнали, Джек, — сказал Фридмен.

— Взвесьте его, — сказал Джек.

Уолкотт подошел. Он был белокурый, с широкими плечами и руками, как у тяжеловеса. Зато ноги у него были коротковаты. Джек был выше его на полголовы.

— Хэлло, Джек, — сказал он. Лицо у него было все в шрамах.

— Хэлло, — сказал Джек. — Как самочувствие?

— Очень хорошо, — сказал Уолкотт. Он сбросил полотенце и стал на весы. Таких широких плеч и такой спины я еще ни у кого не видел.

— Сто сорок шесть фунтов и двенадцать унций. — Уолкотт сошел с весов и ухмыльнулся Джеку.

— У вас разница в четыре фунта, — сказал ему Джон.

— К вечеру будет еще больше, — сказал Уолкотт. — Я теперь пойду пообедаю.

Мы пошли в уборную, и Джек оделся.

— Крепкий паренек, — сказал мне Джек.

— Судя по виду, ему часто доставалось.

— О да, — сказал Джек. — В него попасть не трудно.

— Вы теперь куда? — спросил Джон, когда Джек был одет.

— Обратно, в отель, — сказал Джек. — Вы обо всем позаботились?

— Да, — сказал Джон. — Там все сделают.

— Пойду теперь прилягу, — сказал Джек.

— Хорошо. А без четверти семь я зайду за вами, и мы пойдем ужинать.

— Ладно.

Когда мы пришли в номер, Джек снял башмаки и пиджак и лег. Я сел писать письмо. Время от времени я поглядывал на Джека. Он не спал. Он лежал совсем тихо, но глаза у него то и дело открывались. Наконец он встал.

— Сыграем в криббедж, Джерри? — сказал он.

— Давай, — сказал я.

Он раскрыл чемодан и достал карты и доску

для криббеджа. Мы сыграли несколько партий, и Джек выиграл у меня три доллара. Потом в дверь постучали, и вошел Джон.

— Хотите сыграть в криббедж, Джон? — спросил Джек.

Джон положил шляпу на стол. Она была вся мокрая. Пальто у него тоже было мокрое.

— Дождь идет? — спросил Джек.

— Льет как из ведра, — сказал Джон. — Я ехал в такси, но попал в затор, пришлось добираться пешком.

— Давайте сыграем в криббедж, — сказал Джек.

— Вам бы надо поесть.

— Нет, — сказал Джек. — Пока еще не хочется.

С полчаса они играли в криббедж, и Джек выиграл у Джона полтора доллара.

— Ну, ладно, — сказал Джек. — Пойдем, что ли, ужинать.

Он подошел к окну и выглянул на улицу.

— Все еще дождь?

— Да.

— Поедим здесь, в отеле, — сказал Джон.

— Хорошо, — сказал Джек. — Сыграем еще партию. Кто проиграет, платит за ужин.

Немного погодя Джек поднялся и сказал:

— Вам платить, Джон. — И мы пошли вниз и поужинали в большом зале.

После ужина мы вернулись в номер, и Джек еще раз сыграл с Джоном и выиграл у него два с половиной доллара. Джек совсем развеселился. У Джона был с собой саквояж, и в нем все, что нужно для матча. Джек снял рубашку и воротничок и надел фуфайку и свитер, чтобы не простудиться на улице, а костюм для ринга и халат уложил в чемоданчик.

— Готовы? — спросил его Джон. — Сейчас велю вызвать такси.

Скоро зазвонил телефон, и снизу сказали, что машина пришла.

Мы спустились в лифте, прошли через вестибюль, сели в такси и поехали в Парк. Шел проливной дождь, но перед входом на улице стояла толпа. Все места были проданы. Когда мы проходили в уборную, я увидел, что зал набит битком. От верхних мест до ринга, казалось, было добрых полмили. В зале было темно. Только фонари над рингом.

— Хорошо, что не вынесли на открытую сцену, — сказал Джон. — А то как быть под таким дождем?

— Полный сбор, — сказал Джек.

— На такой матч и больше бы пришло, — сказал Джон. — Зал не вмещает.

— Погоду наперед не закажешь, — сказал Джек.

Джон подошел к дверям уборной и заглянул внутрь. Джек сидел там, уже в халате, скрестив руки, и смотрел в пол. С Джоном было двое секундантов. Они выглядывали из-за его плеча. Джек поднял глаза.

— Он уже вышел? — спросил он.

— Только что вышел, — сказал Джон.

Мы стали спускаться. Уолкотт как раз выходил на ринг. Его хорошо встретили. Он пролез под канатом, поднял руки, сложенные вместе, улыбнулся, потряс ими над головой, сперва в одну сторону, потом в другую, и сел. Джеку много хлопали, когда он пробирался сквозь толпу. Джек ирландец, а ирландцев всегда хорошо встречают. Ирландец не сделает такого сбора в Нью-Йорке, как еврей или итальянец, но встречают их всегда хорошо. Джек поднялся на ступеньки и нагнулся, чтобы пролезть под канатом, а Уолкотт вышел из своего угла и наступил на нижний канат, чтобы Джеку удобней было пройти. Публике это страшно понравилось. Уолкотт положил Джеку руку на плечо, и они постояли так несколько секунд.

— В любимцы публики метите? — спросил Джек. — Уберите руку с моего плеча.

— Ведите себя прилично, — сказал Уолкотт.

Публика любит такие вещи. Как они благородно держат себя перед боем! Как они желают друг другу удачи!

Когда Джек стал бинтовать себе руки, Солли Фридмен перешел в наш угол, а Джон пошел к Уолкотту. Джек просунул большой палец в петлю бинта, а потом гладко и аккуратно обмотал руку и крепко завязал ее тесьмой у кисти и дважды вокруг суставов.

— Эй, эй, — сказал Фридмен. — Куда столько тесьмы?

— Пощупайте, — сказал Джек. — Она же совсем мягкая. Не придирайтесь.

Фридмен оставался с нами все время, пока Джек бинтовал другую руку, а один из секундантов принес перчатки, и я натянул их на Джека, размял и завязал.

— Фридмен, — сказал Джек. — Какой он национальности, этот Уолкотт?

— Не знаю, — сказал Солли. — Датчанин, что ли.

— Он чех, — сказал секундант, принесший перчатки.

Рефери позвал их на середину ринга, и Джек вышел. Уолкотт вышел улыбаясь. Они сошлись, и рефери положил обоим руки на плечи.

— Ну-с, любимчик, — сказал Джек Уолкотту.

— Ведите себя прилично.

— Что это вы выдумали назваться Уолкоттом? — сказал Джек. — Вы разве не знаете, что он был негр?

— Выслушайте, — сказал рефери и прочитал им какое полагается наставление. Раз Уолкотт прервал его. Он ухватил руку Джека и спросил:

— Могу я бить, если он захватит меня вот так?

— Уберите руку, — сказал Джек. — Нас еще не снимают для кино.

Они разошлись по углам. Я снял халат с Джека, он налег на канат и несколько раз согнул ноги в коленях, потом натер подошвы канифолью. Раздался гонг, и Джек быстро повернулся и вышел. Уолкотт подошел к нему, они коснулись друг друга перчаткой о перчатку, и едва Уолкотт опустил руку, как Джек провел двойной джеб левой в голову. Не было на свете лучшего боксера, чем Джек. Уолкотт пошел на него, все время двигаясь вперед, опустив подбородок. Он предпочитает работать крюками и держит руки низко. Все, что он умеет, — это бить. Но всякий раз, как он

приближался, Джек бил левой. Казалось, что это происходит само собой. Джек только поднимает руку — и удар уже нанесен. Три или четыре раза он опережал правой, но Уолкотт тогда подставлял плечо, и удар шел высоко, в голову. Уолкотт как все файтеры. Единственно, чего он боится, это такого же удара, как его собственные. Он закрыт всюду, где ему грозит сильный удар. А джебы левой его не беспокоят.

На четвертом раунде у него уже шла кровь и все лицо было разбито. Но всякий раз, как они сближались, Уолкотт бил крюками с такой силой, что у Джека пониже ребер с обеих сторон появились два больших красных пятна. Всякий раз, как он подходил близко, Джек связывал его, потом освобождал руку и бил его апперкотом, но если Уолкотту удавалось освободить руку, он наносил Джеку такой удар по корпусу, что на улице было слышно. Он файтер.

Так продолжалось еще три раунда. Они не разговаривали. Они все время работали. Мы тоже усердно работали над Джеком между раундами. Он казался вялым, но он никогда не бывает очень подвижным на ринге. Он двигался мало, а левая у него работала как будто автоматически. Казалось, она соединена с головой Уолкотта, и

чтобы ударить, Джеку нужно только захотеть. В ближнем бою Джек всегда спокоен и зря не тратит пороху. Он блестяще знает близкий бой, и теперь, когда они расходились, Джек всегда был в выигрыше. Сперва бой шел в нашем углу, и я увидел, как Джек связал Уолкотта, потом освободил руку, повернул ее и нанес ему апперкот в нос открытой перчаткой. У Уолкотта пошла кровь, и он наклонил голову над плечом Джека, чтобы его тоже замарать, а Джек резко поднял плечо и ударил его плечом по носу, а потом нанес удар правой сверху и снова ударил плечом.

Уолкотт обозлился. На пятом раунде он уже смертельно ненавидел Джека. А Джек не злился; то есть не больше, чем всегда. Он умел доводить своего противника до бешенства. Вот почему он терпеть не мог Ричи Льюиса. Ему не удавалось его переиграть. У Ричи Льюиса всегда было в запасе два-три новых трюка, которых Джек не умел сделать. В близком бою Джек, пока не уставал, всегда был в полной безопасности. Он под орех разделал Уолкотта. Удивительней всего, что со стороны казалось, будто он ведет честный классический бокс. Это потому, что так он тоже умел работать.

После седьмого раунда Джек сказал:

— Левая у меня отяжелела.

С этого момента он пошел на проигрыш. Сперва это было незаметно. Но если раньше он вел бой, теперь его вел Уолкотт. Раньше он был все время закрыт — теперь ему приходилось плохо. Он уже не мог держать Уолкотта на дистанции левой. Казалось, что все по-прежнему, но если раньше Уолкотт почти всякий раз промахивался, теперь он почти всякий раз попадал. Джек получил несколько сильных ударов по корпусу.

— Который раунд? — спросил Джек.

— Одиннадцатый.

— Я долго не выдержу, — сказал Джек. — Ноги отказывают.

До сих пор Уолкотт только задевал его. Джек успевал отстраниться, и получалось как при игре в бейсбол, когда игрок тянет за собой мяч и этим отнимает у него часть силы. А теперь Уолкотт начал бить крепче. Он работал, как машина. Джек только старался блокировать. Со стороны незаметно было, какое это ужасное избиение. Между раундами я массировал Джеку ноги. Мышцы дрожали у меня под пальцами все время, пока я его растирал. Ему было совсем плохо.

— Как идет? — спросил он Джона, поворачивая к нему распухшее лицо.

— Это его бой.

— Я еще продержусь, — сказал Джек. — Не хочу, чтобы этот полячишка меня нокаутировал.

Все шло так, как он ожидал. Он знал, что не может побить Уолкотта. У него не хватало силы. Но все было в порядке. Деньги были поставлены как надо, и теперь он хотел закончить бой по своему вкусу. Он не хотел, чтобы его нокаутировали.

Раздался гонг, и мы вытолкнули его вперед. Он вышел медленно. Уолкотт пошел на него. Джек нанес ему удар левой, и Уолкотт принял его, потом вошел в близкий бой и начал бить по корпусу. Джек попытался связать его, но это было все равно что пытаться задержать механическую пилу. Джек вырвался, но промахнулся правой. Уолкотт провел крюк слева, и Джек упал. Он упал на руки и колени и посмотрел на нас. Рефери начал считать. Джек смотрел на нас и тряс головой. На восьмом счете Джон подал ему знак. Голоса бы Джек все равно не услышал — так ревела толпа. Джек встал. Рефери, пока вел счет, все время одной рукой держал Уолкотта.

Как только Джек встал, Уолкотт пошел на него. Я услышал, как Солли Фридмен закричал:

— Берегись, Джимми!

Уолкотт подходил, глядя на Джека. Джек ударил левой. Уолкотт только головой тряхнул.

Он прижал Джека к канату, оглядел его, послал очень слабый крюк слева в голову, а затем ударил крюком по корпусу изо всех сил и так низко, как только мог. Верных пять дюймов ниже пояса. Я думал, у Джека глаза выскочат. Они у него совсем на лоб полезли. Рот у него раскрылся.

Рефери схватил Уолкотта. Джек шагнул вперед. Если он упадет, пропали пятьдесят тысяч. Он шел так, словно у него кишки вываливались.

— Это не был неправильный, — сказал он. — Это случайность.

Толпа так ревела, что ничего не было слышно.

— Я в порядке, — сказал Джек.

Они были как раз против нас. Рефери взглянул на Джона и покачал головой.

— Ну иди, сукин сын, полячишка, — сказал Джек.

Джон перевесился через канат. Он уже держал в руках полотенце. Джек стоял возле самого каната. Он шагнул вперед. Я увидел, что лицо у него залито потом, словно кто-то взял его и выжал. По носу скатилась большая капля.

— Ну, иди, — сказал он Уолкотту.

Рефери поглядел на Джона и махнул Уолкотту.

— Иди, скотина, — сказал он.

Уолкотт вышел. Он не знал, что делать. Он ни-

как не ожидал, что Джек выдержит. Джек пустил в ход левую. Толпа ревела не переставая. Они были как раз против нас. Уолкотт ударил дважды. У Джека было такое лицо — ничего страшнее я не видал. Он держался только усилием воли, держал себя всего — все свое тело, и это было видно по его лицу. Он все время думал и напряжением мысли зажимал свое тело в том месте, куда ему был нанесен удар.

Затем он начал бить. Лицо у него было ужасное. Он начал бить свингами, низко держа руки. Уолкотт закрылся. Джек послал бешеный свинг ему в голову. Потом вдруг опустил руки и левой ударил в пах, а правой как раз в то место, куда сам получил удар. Гораздо ниже пояса. Уолкотт рухнул наземь, ухватился за живот, перевернулся и скорчился.

Рефери схватил Джека и оттолкнул его в угол. Джон выскочил на ринг. Толпа все ревела. Рефери что-то говорил судьям, а затем глашатай с мегафоном вышел на ринг и объявил:

— Победа за Уолкоттом. Неправильный удар.

Рефери говорил с Джоном. Он сказал:

— Что же я мог сделать? Джек не захотел признать неправильный удар. А потом, когда ошалел от боли, сам ударил неправильно.

— Все равно он не мог победить, — сказал Джон.

Джек сидел на стуле. Я уже снял с него перчатки, и он обеими руками зажимал себе живот. Когда ему удавалось обо что-нибудь опереться, лицо у него становилось не такое ужасное.

— Подите извинитесь, — сказал Джон ему на ухо. — Это произведет хорошее впечатление.

Джек встал. Пот катился у него по лицу. Я набросил на него халат, и он под халатом прижал ладонь к животу и пошел через ринг. Уолкотта уже подняли и приводили в чувство. В том углу толпились люди. Никто из них не заговорил с Джеком. Джек нагнулся над Уолкоттом.

— Я очень сожалею, — сказал Джек. — Я не хотел ударить низко.

Уолкотт не ответил. Видно было, что ему очень скверно.

— Ну вот, теперь вы чемпион, — сказал Джек. — Надеюсь, получите от этого массу удовольствия.

— Оставьте мальчика в покое, — сказал Солли Фридмен.

— Хэлло, Солли, — сказал Джек. — Мне очень жаль, что так вышло.

Фридмен только посмотрел на него.

Джек пошел обратно, в свой угол, странной, за-

пинающейся походкой. Мы помогли ему пролезть под канатом, потом провели мимо репортерских столов и дальше по коридору. Там толпился народ, многие тянулись похлопать Джека по спине. Джек, в халате, должен был пробираться сквозь всю эту толпу по пути в уборную. Уолкотт сразу стал героем дня. Вот как выигрывались пари у нас в Парке.

Как только мы добрались до уборной, Джек лег и закрыл глаза.

— Сейчас поедем в отель и вызовем доктора, — сказал Джон.

— У меня все кишки полопались, — сказал Джек.

— Мне очень совестно, Джек, — сказал Джон.

— Ничего, — сказал Джек. Он лежал, закрыв глаза.

— Перехитрить нас вздумали, — сказал Джон.

— Ваши друзья, Морган и Стейнфелт, — сказал Джек. — Хорошенькие у вас друзья, нечего сказать.

Теперь он лежал с открытыми глазами. Лицо у него все еще было осунувшееся и страшное.

— Удивительно, как быстро соображаешь, когда дело идет о таких деньгах, — сказал Джек.

— Вы молодчина, Джек, — сказал Джон.

— Нет, — сказал Джек. — Это пустяки.

Простой вопрос

Снег снаружи был уже выше подоконника. Проникающее в окно солнце освещало карту на столе лачуги, обшитой сосновыми досками. Солнце стояло высоко, и верхушки сугробов не мешали его лучам освещать домик. Вдоль тыльной стороны лачуги была проложена траншея, и в каждый погожий день солнце, отражаясь от стены, подтапливало снег и расширяло траншею. Был конец марта. Майор сидел в комнате за столом возле стены. Его адъютант сидел за другим столом.

Вокруг глаз майора белели ободки — следы темных очков, которые защищали глаза от слепящего снега. Лицо майора было сперва обожжено на солнце, потом покрылось загаром, а потом снова обгорело, уже поверх загара. Обожженный нос распух, и кожа на нем шелушилась. Занимаясь бумагами, майор макнул пальцы левой руки в блюдце с маслом и размазал масло по лицу, осторожно прикасаясь к коже самыми кончиками пальцев. Он аккуратно обтер пальцы о край блюдца, чтобы масло не капало с них, а потом, смазав лоб и щеки, легонько погладил пальцами нос. Закончив, он встал, взял блюдце с маслом

и пошел в крохотную комнатенку, служившую ему спальней.

— Посплю немного, — сказал он адъютанту. В их армии адъютант был совсем не то, что унтер-офицер. — А ты закончи дела.

— Хорошо, signor maggiore[48], — ответил адъютант.

Он откинулся на спинку стула и зевнул. Достал из кармана книжку в бумажной обложке и раскрыл; затем положил ее на стол и раскурил трубку. Облокотился на стол и принялся читать, попыхивая трубкой. Затем закрыл книжку и убрал в карман. Слишком много еще бумажной волокиты осталось. Никакого удовольствия от чтения, пока она над душой висит. Солнце за окном скрылось за горой и больше не освещало лачугу. Вошел солдатик с охапкой небрежно порубленных сосновых сучьев.

— Потише, Пинин, — сказал ему адъютант. — Майор спит.

Пинин служил при майоре ординарцем. Он был смуглый парнишка. Растопив печь, он осторожно, стараясь не шуметь, подбросил еще сучьев, потом закрыл дверь и удалился в сени. Адъютант

---

[48] Примечания: 48
Господин майор*(ит.)*.

снова погрузился в бумаги.

— Тонани! — окликнул майор.

— Да, signor maggiore?

— Пришли ко мне Пинина.

— Пинин! — позвал адъютант. Пинин вошел в комнату. — Тебя майор зовет, — сказал адъютант.

Пинин пересек комнату и приблизился к клетушке майора.

Постучал в приоткрытую дверь.

— Signor maggiore?

— Войди, — донесся до ушей адъютанта голос майора. — И закрой дверь.

Майор лежал на койке. Пинин подошел и остановился рядом. Подушкой майору служил рюкзак, набитый каким-то бельем. Удлиненное, обожженное, намазанное маслом лицо было повернуто к Пинину. Руки майора лежали поверх одеяла.

— Тебе ведь девятнадцать?

— Да, signor maggiore.

— Ты когда-нибудь любил?

— В каком смысле, signor maggiore?

— Ну… в девчонку влюблялся?

— Я бывал с девчонками.

— Я не то имел в виду. Я спросил, влюблялся ли

ты — в какую-нибудь девчонку?

— Да, signor maggiore.

— Ты и сейчас любишь девчонку? Что-то ты не пишешь ей. Я ведь все твои письма читаю.

— Да, я ее люблю, — сказал Пинин. — Но просто не пишу ей.

— Ты уверен?

— Да.

— Тонани, — позвал майор, не повышая голоса. — Ты меня слышишь?

— Он не слышит, — сказал майор. — Так ты точно любишь девчонку?

— Да.

— И… — Майор стрельнул в него глазами. — Тебя еще не совратили?

— Не пойму, что это значит — совратили.

— Ладно, — сказал майор. — Не заносись.

Пинин потупился и уставился на пол. Майор поглядел на его смуглое лицо, смерил его взглядом с ног до головы, а потом посмотрел на его руки. И продолжил, не улыбаясь:

— Так ты и правда не хочешь… — Майор приумолк. Пинин смотрел в пол. — Ты уверен, что не мечтаешь о том, чтобы… — Пинин продолжал разглядывать пол. Майор оперся головой о рюкзак и улыбнулся. Он даже почувствовал облегчение:

сложностей в армейской жизни и без того было хоть отбавляй. — Ты славный парнишка, Пинин, — сказал он. — Очень славный. Только не задавайся и смотри в оба, чтобы никому другому не достался.

Пинин неподвижно стоял возле его койки.

— Не бойся, — сказал майор. Руки его покоились на одеяле. — Я тебя не трону. Можешь возвращаться в свой взвод, если хочешь. Только лучше оставайся при мне. Меньше шансов тогда, что тебя убьют.

— Вам что-нибудь от меня нужно, signor maggiore?

— Нет, — сказал майор. — Ступай и займись своими делами. Дверь за собой не закрывай.

Пинин неловко вышел, оставив дверь открытой. Адъютант поднял голову и посмотрел на него. Пинин раскраснелся и даже двигался совсем не так, как прежде. Адъютант проводил его взглядом и улыбнулся.

Вскоре Пинин вошел снова и подбросил в печь еще дров.

Майор, который лежал на койке, разглядывая свою обтянутую тканью каску и темные очки, висевшие на гвоздике, услышал его шаги.

«Вот ведь прохвост, — подумал он. — Неужели

наврал мне?»

Десять индейцев

Поздно вечером Ник возвращался из города с праздника 4 июля в большом фургоне с Джо Гарнером и его семьей, и по пути им попались девять пьяных индейцев. Он запомнил, что девять, потому что Джо Гарнер, в сумерках погонявший лошадей, чтобы еще засветло добраться домой, натянул вожжи и спрыгнул на землю, чтобы вытащить одного индейца из колеи. Тот спал, уткнувшись носом в песок. Джо оттащил его в кусты и влез в фургон.

— Это уже девятый по счету, — покачал головой Джо, — как выехали из города.

— Ох уж эти индейцы! — фыркнула миссис Гарнер.

Ник сидел на задней скамье с двумя гарнеровскими мальчиками. Он выглянул из фургона, чтобы посмотреть на индейца, которого Джо убрал с дороги.

— Это Билли Тэйбшо? — спросил Карл.

— Нет.

— У него штаны совсем как у Билли.

— У всех индейцев одинаковые штаны.

— Я его и не рассмотрел как следует, — признал-

ся Фрэнк. — Папка так быстро соскочил и влез обратно, что я ничего не успел увидеть. Я думал, он убивает змею.

— Похоже, многие индейцы этим вечером ползают, как змеи, — пробурчал Джо Гарнер.

— Ох уж эти индейцы! — повторила миссис Гарнер.

Они поехали дальше. Свернули с шоссе и стали подниматься в гору. Лошадям подъем по песчаной дороге давался тяжело: мальчики спрыгнули и пошли пешком. Когда миновали школу, Ник оглянулся с вершины холма. Он увидел огни Петоски, а вдали, за Литл-Траверс-Бей, — огни Харбор-Спрингса. Теперь они снова забрались в фургон.

— Эту дорогу надо бы посыпать гравием, — проворчал Джо Гарнер.

Они въехали в лес. Джо и миссис Гарнер, прижавшись друг к другу, сидели на передней скамье. Ник — сзади, между двумя мальчиками. Дорога вышла наконец на открытое место.

— А здесь папка скунса переехал.

— Нет, это было дальше.

— Не имеет значения, где именно, — отозвался Джо, не поворачивая головы. — Какая разница, где переехать скунса.

— Вчера вечером я двух скунсов видел, — заявил Ник.

— Где?

— Там, около озера. Они у берега дохлую рыбу искали.

— Ты, наверное, видел енотов, — засомневался Карл.

— Нет, скунсов. Что я, скунсов не знаю?

— Ты должен знать, — кивнул Карл. — Ты за индианкой бегаешь.

— Перестань болтать глупости, Карл, — одернула его миссис Гарнер.

— Да они пахнут одинаково!

Джо Гарнер засмеялся.

— Перестань смеяться, Джо, — повернулась к мужу миссис Гарнер. — Я не позволю Карлу такое говорить.

— Правда, ты за индианкой бегаешь, Ники? — спросил Джо.

— Нет.

— Правда, правда, — встрял Фрэнк. — Он за Пруденс Митчелл бегает.

— Неправда.

— Он каждый день к ней ходит.

— Нет, не хожу. — Ник, сидевший в темноте между двумя мальчиками, в глубине души был

рад, что его дразнят Пруденс Митчелл. — Она не моя девушка.

— Вы его только послушайте! — воскликнул Карл. — Я их каждый день вместе встречаю.

— А наш Карл не может найти себе подругу, — вздохнула его мать. — Даже индианку.

Карл притих.

— У Карла с девчонками не ладится, — согласился Фрэнк.

— Заткнись!

— Молодец, Карл! — похвалил сына Джо Гарнер. — Девчонки до добра не доведут. Бери пример с отца.

— Кто бы говорил. — И миссис Гарнер придвинулась поближе к Джо, воспользовавшись толчком фургона. — У тебя в свое время подружек хватало.

— Готов поспорить, что папка никогда не водился с индианкой.

— Откуда тебе знать? — сказал Джо. — Ты уж гляди, Ник, не упусти свою Пруди.

Жена что-то шепнула ему, Джо развеселился.

— Чего ты смеешься, папка? — спросил Фрэнк.

— Не говори, Гарнер, — остановила его жена. Джо вновь засмеялся.

— Пускай Ники забирает себе эту Пруди. У меня

и самого отличная девушка, — сказал он.

— Вот это ты правильно сказал, — согласилась миссис Гарнер. Лошади с трудом тащились по песку. Джо наугад хлестнул кнутом в темноту.

— Но-но, шевелитесь! Завтра вам еще тяжелее придется.

На спуске с холма лошади пошли рысью, фургон подбрасывало. У фермерского дома все вылезли. Миссис Гарнер отперла дверь, вошла внутрь и вышла обратно с лампой в руке. Карл и Ник сняли поклажу с фургона. Фрэнк сел на переднюю скамью, чтобы отогнать фургон в амбар и распрячь лошадей. Ник поднялся на заднее крыльцо и открыл дверь кухни. Миссис Гарнер растапливала плиту и оглянулась, перестав поливать дрова керосином.

— До свидания, миссис Гарнер! — попрощался Ник. — Спасибо, что подвезли меня.

— Не за что, Ники.

— Я отлично провел время.

— Мы тебе всегда рады. Может, останешься поужинать с нами?

— Нет, я лучше пойду — думаю, папа меня уже заждался.

— Ну тогда иди. И передай, пожалуйста, Карлу, что его зовет мать.

— Ладно.

— Спокойной ночи, Ники!

— Спокойной ночи, миссис Гарнер!

Ник вышел во двор фермы и направился к сараю. Джо и Фрэнк доили коров.

— До свидания! — попрощался Ник. — Я прекрасно провел время.

— До свидания, Ники! — крикнул Джо Гарнер. — А ты разве не останешься поужинать?

— Нет, не могу. Скажете Карлу, что его мать ждет?

— Хорошо. Спокойной ночи, Ники!

Ник пошел босиком по тропинке через луг позади сарая. Земля была скользкой, роса приятно холодила разутые ноги. Он перелез через изгородь на границе луга, спустился в овраг, увязая в топкой грязи, поднялся наверх и, пройдя через сухой буковый лес, увидел наконец светящиеся окна дома. Вновь перелез через изгородь и подошел к переднему крыльцу. Сквозь оконное стекло он увидел, что отец сидит за столом и читает при свете большой лампы. Ник толкнул дверь и вошел.

— Ну как, Ники? — спросил отец. — Хорошо провел день?

— Прекрасно, папа. Праздник удался.

— Есть хочешь?

— Еще как!

— А куда ты дел свои башмаки?

— Я их оставил в фургоне Гарнеров.

— Ладно, пойдем на кухню.

Отец пошел впереди с лампой. Остановился у ледника и поднял крышку. Ник прошел на кухню. Отец принес тарелку с куском холодной курицы и кувшин молока, поставил их на стол перед Ником. Рядом поставил лампу.

— Еще пирог есть, — сказал отец. — Тебе этого достаточно?

— Более чем.

Отец опустился на стул у покрытого клеенкой стола. На стену легла его большая тень.

— Кто выиграл бейсбольный матч?

— Петоски. Пять — три.

Отец смотрел, как он ест; потом налил ему стакан молока из кувшина.

Ник выпил и вытер салфеткой рот. Отец протянул руку к полке за пирогом. Отрезал Нику большой кусок. Пирог был с черникой.

— А ты что делал, папа?

— Утром ходил рыбу удить.

— Поймал что-нибудь?

— Одного окуня.

Отец сидел и смотрел, как Ник ест пирог.

— А после обеда ты что делал? — спросил Ник.

— Ходил прогуляться к индейскому поселку.

— Видел кого-нибудь?

— Все индейцы отправились в город пьянствовать.

— Так и не видел совсем никого?

— Видел твою подружку, Пруди.

— Где?

— В лесу, с Фрэнком Уэшберном. Случайно набрел на них. Они недурно проводили время.

Отец смотрел в сторону.

— Что они делали?

— Да я особенно не разглядывал.

— Скажи мне, что они делали.

— Не знаю, — сказал отец. — Я слышал только, как они там возились.

— А откуда ты знаешь, что это были они?

— Видел.

— Ты, кажется, сказал, что не разглядел их?

— Нет, я их видел.

— Кто с ней был? — спросил Ник.

— Фрэнк Уэшберн.

— Когда они… когда они…

— Что — когда они?

— Им было хорошо?

— Похоже на то.

Отец встал из-за стола и вышел из кухни. Когда он вернулся к столу, Ник сидел, уставившись в тарелку. В глазах его стояли слезы.

— Хочешь еще пирога?

Отец взялся за нож, чтобы отрезать кусок.

— Нет, — ответил Ник.

— Съешь еще кусочек.

— Нет, я больше не хочу.

Отец прибрал со стола.

— А где ты их видел? — спросил Ник.

— За поселком.

Ник смотрел в свою тарелку.

Отец сказал:

— Ступай-ка ты спать, Ник.

— Иду.

Ник прошел в свою спальню, разделся и лег в постель. Он слышал шаги отца в соседней комнате. Ник лежал в постели, уткнувшись лицом в подушку.

«Мое сердце разбито, — думал он. — Если я это так чувствую, то оно и вправду должно быть разбито».

Через некоторое время он услышал, как отец потушил лампу и пошел к себе в комнату. Он слышал, как зашумел в кронах деревьев поднявший-

ся ветер, и почувствовал холод, проникавший сквозь сетку на окне. Долго лежал, зарывшись лицом в подушку, потом перестал думать о Пруди и наконец уснул. Проснувшись ночью, услышал шелест ветра в зарослях болиголова, растущих около дома, и шум волн, бьющихся о берег озера, и опять заснул. Утром дул сильный ветер, и вздымавшиеся волны с разбега обрушивались на берег, и, понемногу просыпаясь, Ник не сразу вспомнил, что его сердце разбито.

Канарейку в подарок

Поезд промчался мимо длинного кирпичного дома с садом и четырьмя толстыми пальмами, в тени которых стояли столики. По другую сторону полотна было море. Потом пошли откосы песчаника и глины, и море мелькало лишь изредка, далеко внизу, под скалами.

— Я купила ее в Палермо, — сказала американка. — Мы там стояли только один час: это было в воскресенье утром. Торговец хотел получить плату долларами, и я отдала за нее полтора доллара. Правда, она чудесно поет?

В поезде было очень жарко, было очень жарко и в купе спального вагона. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Американка опустила штору, и моря совсем не стало видно, даже изредка. Сквозь стеклянную дверь купе были видны коридор и открытое окно, а за окном пыльные деревья, лоснящаяся дорога, ровные поля, виноградники и серые холмы за ними.

Из множества высоких труб валил дым — подъезжали к Марселю; поезд замедлил ход и по одному из бесчисленных путей подошел к вокзалу. В Марселе простояли двадцать пять минут, и

американка купила «Дейли мейл» и полбутылки минеральной воды. Она прошлась по платформе, не отходя далеко от подножки вагона, потому что в Каннах, где стояли двенадцать минут, поезд тронулся без звонка и она едва успела вскочить. Американка была глуховата — она боялась, что звонок, может быть, и давали, но она его не слышала.

Поезд вышел с Марсельского вокзала, и теперь стали видны не только стрелки и фабричный дым, но, если оглянуться назад, и город, и гавань, и горы за ней, и последние отблески солнца на воде. В сумерках поезд промчался мимо фермы, горевшей среди поля. У дороги стояли машины; постели и все домашнее имущество было вынесено в поле. Смотреть на пожар собралось много народу. Когда стемнело, поезд пришел в Авиньон. Пассажиры входили и выходили. Французы, возвращавшиеся в Париж, покупали в киоске сегодняшние французские газеты. На платформе стояли солдаты-негры в коричневых мундирах. Все они были высокого роста, их лица блестели в свете электрических фонарей. Они были совсем черные и такого высокого роста, что им не было видно, что делается в вагонах. Поезд тронулся, платформа и стоявшие на ней негры остались

позади. С ними был сержант маленького роста, белый.

В спальном купе проводник откинул три койки и застелил их. Американка всю ночь не спала, потому что поезд был скорый, а она боялась быстрой езды по ночам. Ее койка была у окна. Канарейку из Палермо в закутанной шалью клетке вынесли в коридор рядом с уборной, подальше от сквозняка. В коридоре горел синий фонарь. Всю ночь поезд шел очень быстро, и американка не спала, ожидая крушения.

Утром, когда до Парижа оставалось совсем немного, американка вышла из умывальной очень свежая, несмотря на бессонную ночь, очень здоровая на вид — типичная американка средних лет. Раскутав клетку и повесив ее на солнце, она отправилась в вагон-ресторан завтракать. Когда она вернулась в купе, постели были уже убраны и превращены в сиденья, канарейка отряхивала перышки в солнечном свете, лившемся в открытое окно, и поезд подходил к Парижу.

— Она любит солнце, — сказала американка. — Сейчас запоет.

Канарейка встряхнулась и начала чистить перышки.

— Я всегда любила птиц, — сказала американка.

— Я везу ее домой, моей дочке… Вот она и запела.

Канарейка чирикнула, и перья у нее на шее взъерошились, потом она опустила головку и зарылась клювом в перья. Поезд пролетел через мост и шел очень чистеньким лесом. Один за другим мелькали пригороды Парижа. В пригородах были трамваи, и на стенах, обращенных к полотну, большие рекламы: «Белль жардиньер», дюбонне и перно. Все, мимо чего проходил поезд, выглядело словно натощак.

Сначала я не прислушивался к разговору американки с моей женой.

— Ваш муж тоже американец? — спросила она.

— Да, — ответила моя жена. — Мы оба американцы.

— Я думала, что вы англичане.

— О нет, — сказала жена.

— Может, вам это показалось потому, что я ношу подтяжки? — сказал я.

Американка не слышала. Она была совсем глухая и понимала собеседника по движениям губ, а я не смотрел на нее. Я смотрел в окно. Она продолжала разговаривать с моей женой.

— Я так рада, что вы американцы. Из американцев выходят самые лучшие мужья, — говорила она. — Вы знаете, из-за этого нам пришлось

покинуть Европу. В Веве моя дочь влюбилась в иностранца. — Она помолчала. — Они были безумно влюблены друг в друга. — Она опять замолчала. — Я ее увезла, конечно.

— Но теперь это у нее прошло? — спросила моя жена.

— Не думаю, — ответила американка. — Она ничего не ест и совсем не спит. Как я ни старалась, она ничем не интересуется. Она ко всему равнодушна. Не могла же я позволить, чтобы она вышла за иностранца. — Она помолчала. — Один из моих друзей говорил мне, что иностранец не может быть хорошим мужем для американки.

— Да, — сказала моя жена, — думаю, что не может.

Американка похвалила дорожное пальто моей жены, — оказалось, что она уже лет двадцать заказывает платье в том же самом ателье на улице Сент-Оноре. У них есть ее мерка, и знакомая vendeuse[49], которая знает ее вкус, подбирает ей платья и посылает их в Америку. Посылки приходят в почтовое отделение недалеко от ее дома, в центре Нью-Йорка. В почтовом отделении их вскрывают для оценки, пошлина не очень

---

[49] Примечания: 49
Продавщица*(фр.).*

высокая, потому что платья всегда простые, без золотого шитья, без отделки, и не кажутся дорогими. До теперешней vendeuse Терезы была другая vendeuse, Амели. Их было всего две — за все двадцать лет. Couturier[50] оставался все время один и тот же. А вот цены повысились. Хотя при нынешнем курсе это не важно. Теперь у них есть мерка ее дочери. Она уже совсем взрослая, и мерку едва ли придется менять.

Поезд подходил к Парижу. Укрепления сровняли с землей, но трава здесь так и не выросла. На путях стояло много вагонов: коричневые деревянные вагоны-рестораны и коричневые деревянные спальные вагоны, которые в пять часов вечера отправятся в Италию, если поезд по-прежнему отходит в пять; на этих вагонах были таблички: «Париж — Рим»; и вагоны пригородного сообщения, с сиденьями на крышах, которые дважды в день бывают переполнены, если все осталось по-старому; мимо мелькали белые стены домов и бесчисленные окна. Все было словно натощак.

— Американцы — самые лучшие мужья, — говорила американка моей жене. Я снимал

---

[50] Примечания: 50
Закройщик*(фр.).*

чемоданы. — Только за американцев и стоит выходить замуж.

— А давно вы уехали из Веве? — спросила моя жена.

— Осенью будет два года. Вот я и везу канарейку ей в подарок.

— А этот молодой человек был швейцарец?

— Да, — ответила американка. — Из очень хорошей семьи. Будущий инженер. Они там и познакомились, в Веве. Подолгу гуляли вместе.

— Я знаю Веве, — сказала моя жена. — Мы провели там медовый месяц.

— Неужели? Надо думать, это было чудесно. Мне, конечно, и в голову не приходило, что она может в него влюбиться.

— Веве чудесное место, — сказала моя жена.

— Да, — сказала американка. — Не правда ли? Где вы там останавливались?

— Мы жили в «Трех коронах», — сказала моя жена.

— Хороший старый отель, — сказала американка.

— Да, — сказала моя жена. — У нас была очень хорошая комната, и осенью там было чудесно.

— Вы были там осенью?

— Да, — сказала моя жена.

Мы проезжали мимо трех вагонов, которые попали в крушение. Стенки вагонов были разворочены, крыши смяты.

— Посмотрите, — сказал я, — здесь было крушение.

Американка взглянула в окно и увидела последний вагон.

— Именно этого я и боялась всю ночь, — сказала она. — У меня бывают иногда ужасные предчувствия. Никогда больше не поеду ночным экспрессом. Должны же быть другие удобные поезда, которые ходят не так быстро.

Тут поезд вошел под навес Лионского вокзала, остановился, и к окнам подбежали носильщики. Я передал чемоданы в окно, мы вышли на тускло освещенную длинную платформу, и американка вверила свою особу попечениям одного из трех агентов Кука, который сказал ей:

— Одну минуту, мадам, я найду вашу фамилию в списке.

Подкатив тележку, носильщик нагрузил на нее багаж, и мы простились с американкой, чью фамилию агент Кука уже отыскал в ворохе отпечатанных на машинке листков и, отыскав, сунул листки в карман.

Мы пошли за носильщиком с тележкой по

длинной асфальтовой платформе вдоль поезда. В конце платформы, у выхода, контролер отбирал билеты.

Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе.

Альпийская идиллия

Жарко было спускаться в долину даже ранним утром. Лыжи у нас на плечах оттаивали и сохли на солнце. Весна еще только начиналась в долине, но солнце уже сильно припекало. Мы шли по дороге в Голотурп, нагруженные лыжами и рюкзаками. На кладбище, мимо которого мы проходили, только что кончились похороны. Я сказал «Grüss Gott»[51] пастору, когда он, уходя с кладбища, поравнялся с нами. Пастор поклонился.

— Странно, что пасторы никогда не отвечают, — сказал Джон.

— Я думал, ему будет приятно сказать «Grüss Gott».

— Они никогда не отвечают, — сказал Джон.

Мы остановились посреди дороги и смотрели, как церковный сторож засыпает свежую могилу. Тут же стоял чернобородый крестьянин в высоких кожаных сапогах. Сторож перестал работать и выпрямился. Крестьянин в высоких сапогах взял заступ из рук сторожа и стал засыпать могилу, разравнивая землю, как разравнивают

---

[51] Примечания: 51
Здравствуйте*(нем.).*

навоз на грядках. Майское утро было так ясно и солнечно, что свежая могила казалась нелепой. Не верилось, что кто-то мог умереть.

— Вообрази, что тебя хоронят в такое утро, — сказал я Джону.

— Хорошего мало.

— Ну, — сказал я, — пока что этого не требуется.

Мы пошли дальше по дороге, мимо городских домов, к гостинице. Мы целый месяц ходили на лыжах в Сильвретте и рады были очутиться в долине. В Сильвретте мы хорошо походили на лыжах, но там уже наступила весна — снег был крепок только рано утром и потом к вечеру. В остальное время мешало солнце. Мы оба устали от солнца. Некуда было от него спрятаться. Только скалы и хижина, выстроенная у ледника под выступом скалы, отбрасывали тень, а в тени пропотевшее белье замерзало. Без темных очков нельзя было посидеть перед хижиной. Нам нравилось загорать дочерна, но солнце очень утомляло. Оно не давало отдохнуть. Радовался я и тому, что ушел от снега. В Сильвретте уже слишком сильно чувствовалась весна. Мне немного надоели лыжи. Мы слишком долго пробыли в горах. У меня во рту остался вкус талой воды,

которую мы пили, собирая ее с железной крыши хижины. Я не мог отделаться от этого привкуса, когда думал о лыжах. Я радовался, что на свете существуют не только лыжи, и я радовался, что ушел от неестественно ранней высокогорной весны к этому майскому утру в долине.

На крыльце гостиницы, раскачиваясь на стуле, сидел хозяин. Рядом с ним сидел повар.

— Привет лыжникам! — сказал хозяин.

— Привет! — ответили мы, прислонили лыжи к стене и скинули рюкзаки.

— Хорошо было наверху? — спросил хозяин.

— Отлично, только слишком много солнца.

— Да, в это время уже слишком много солнца.

Повар остался сидеть. Хозяин вошел с нами в дом, отпер контору и вынес нашу почту — пачку писем и несколько газет.

— Давай выпьем пива, — сказал Джон.

— Давай. Только здесь, не на воздухе.

Хозяин принес две бутылки, и мы выпили их, читая письма.

— Не выпить ли еще? — сказал Джон. На этот раз пиво принесла служанка. Она улыбнулась, откупоривая бутылки.

— Много писем, — сказала она.

— Да. Много.

— Prosit[52], — сказала она и вышла, захватив пустые бутылки.

— Я уже забыл, какой вкус у пива.

— А я нет, — сказал Джон. — Там, в хижине, я часто вспоминал его.

— Ну вот, — сказал я, — дорвались наконец.

— Ничего нельзя делать слишком долго.

— Нельзя. Мы пробыли там слишком долго.

— До черта долго, — сказал Джон. — Не годится делать что-нибудь слишком долго.

Солнце светило в открытое окно и пронизывало бутылки с пивом на столе. Бутылки были наполовину пусты. Пиво в бутылках пенилось не сильно, потому что оно было очень холодное. Когда его наливали в высокие кружки, пена поднималась и кольцом окаймляла края. Я смотрел в окно на белую дорогу. Деревья по обочинам дороги были в пыли. Дальше виднелись зеленое поле и ручей. На берегу ручья среди деревьев стояла лесопилка с водяным колесом. Лесопилка была открыта с одной стороны, и я видел длинное бревно и пилу, ходившую вверх и вниз. Никто не направлял ее. По зеленому полю расхаживали четыре вороны. На дереве сидела еще ворона и

---

[52] Примечания: 52
На здоровье*(нем.).*

смотрела на них. На крыльце повар встал со стула и через сени прошел в кухню. Здесь, в комнате, солнце пронизывало пустые стаканы на столе. Джон сидел, положив локти на стол и подперев голову руками.

Я увидел в окно двух мужчин, поднимающихся по ступенькам крыльца. Отворилась дверь, и они вошли. Один из них был бородатый крестьянин в сапогах, другой — церковный сторож. Они сели за столик у окна. Вошла служанка и остановилась у их столика. Крестьянин, казалось, не замечал ее. Он сидел, положив руки на стол. Он был в старой солдатской куртке, с заплатами на локтях.

— Что будем пить? — спросил сторож. Крестьянин не ответил, будто и не слышал.

— Что ты хочешь?

— Шнапс, — сказал крестьянин.

— И четверть литра красного, — сказал сторож служанке.

Служанка принесла заказанное, и крестьянин выпил свой шнапс. Он смотрел в окно. Сторож следил за ним. Джон не поднимал головы. Он спал.

Вошел хозяин и направился к их столику. Он сказал что-то на местном диалекте, и сторож ответил ему. Крестьянин по-прежнему смотрел

в окно. Хозяин вышел из комнаты. Крестьянин встал. Он вынул из кожаного бумажника кредитку в десять тысяч крон и развернул ее. Подошла служанка.

— За все? — спросила она.

— За все, — сказал крестьянин.

— За вино я сам заплачу, — сказал сторож.

— За все, — повторил крестьянин, обращаясь к служанке.

Она сунула руку в карман передника, вытащила полную горсть монет и отсчитала сдачу. Крестьянин вышел. Как только за ним закрылась дверь, хозяин вернулся в комнату и заговорил со сторожем. Потом сел за его столик. Они говорили на диалекте. Сторож посмеивался. Хозяин брезгливо морщился. Сторож встал из-за стола. Он был маленького роста, с усами. Он высунулся в окно и посмотрел на дорогу.

— Вон он идет, — сказал он.

— В «Эдельвейс»?

— Да.

Они еще поговорили, а потом хозяин подошел к нашему столику. Хозяин был высокого роста, уже старик. Он посмотрел на спящего Джона.

— Он, видно, устал.

— Да, мы рано поднялись.

— Обедать скоро будете?

— Хоть сейчас, — сказал я. — Что у вас есть?

— Все что угодно. Вам сейчас принесут карточку.

Служанка принесла меню. Джон проснулся. Меню было написано чернилами на карточке, и карточка вставлена в деревянную рамку.

— Вот тебе Speisekarte, — сказал я Джону. Джон взглянул на меню. Он был еще сонный.

— Не выпьете ли вы с нами? — спросил я хозяина. Он подсел к нам.

— Скоты эти крестьяне, — сказал хозяин.

— Мы уже видели этого на похоронах, когда входили в город.

— Он жену хоронил.

— Вот что!

— Скотина. Все эти крестьяне скоты.

— Почему скоты?

— Просто не верится. Просто не верится, какая с ним вышла история.

— Расскажите.

— Просто не верится. — Хозяин повернулся к сторожу. — Франц, поди-ка сюда.

Сторож подошел, захватив бутылочку вина и стакан.

— Молодые люди только что вернулись из Вис-

баде-нерхютте, — сказал хозяин.

Мы поздоровались.

— Что вы будете пить?

— Ничего. — Франц отрицательно повел пальцем.

— Еще четверть литра?

— Пожалуй.

— Вы понимаете диалект? — спросил хозяин.

— Нет.

— А в чем дело? — спросил Джон.

— Он сейчас расскажет нам про того крестьянина, который засыпал могилу, когда мы входили в город.

— Я все равно ничего не пойму, — сказал Джон. — Они говорят слишком быстро.

— Он приехал сегодня хоронить жену, — сказал хозяин. — Она умерла в ноябре.

— В декабре, — поправил сторож.

— Это все равно. Так, значит, она умерла в декабре, и он дал знать в общину.

— Восемнадцатого декабря, — сказал сторож.

— Но он не мог привезти ее и похоронить, пока не стаял снег.

— Он живет по ту сторону Пазнауна, — сказал сторож, — но он нашего прихода.

— Он никак не мог привезти ее? — спросил я.

— Нет, не мог. Пока не сойдет снег, оттуда, где он живет, можно добраться только на лыжах. Так вот сегодня он привез ее, чтобы похоронить, а пастор, когда посмотрел на ее лицо, хоронить не захотел. Дальше ты рассказывай, — сказал он сторожу, — только говори не по-своему, а так, чтобы все поняли.

— Очень смешно вышло с пастором, — сказал сторож. — В удостоверении о смерти было сказано, что она умерла от сердечной болезни. Мы все знали, что у нее больное сердце. Иногда ей делалось дурно в церкви. Последнее время она совсем не приходила. Не могла подниматься в гору. Когда пастор, откинув одеяло, открыл ее лицо, он спросил Олза:

— Она очень страдала?

— Нет, — сказал Олз. — Я пришел домой и вижу — она лежит поперек кровати мертвая.

Пастор еще раз посмотрел на нее. Что-то, видно, ему не нравилось.

— Отчего у нее сделалось такое лицо?

— Не знаю, — сказал Олз.

— А ты подумай, может быть, вспомнишь, — сказал пастор и опустил одеяло. Олз ничего не ответил. Пастор смотрел на него. Олз смотрел на пастора.

— Вы хотите знать?

— Я должен знать, — сказал пастор.

— Вот тут-то и начинается самое интересное, — сказал хозяин. — Слушайте. Рассказывай, Франц.

— Так вот, — сказал Олз, — она умерла, я известил общину и убрал ее в сарай на сложенные дрова. Потом мне эти дрова понадобились, а она уже совсем закоченела, и я прислонил ее к стене. Рот у нее был открыт, и, когда я вечером приходил в сарай пилить дрова, я вешал на нее фонарь.

— Зачем ты это делал? — спросил пастор.

— Не знаю, — ответил Олз.

— И часто ты это делал?

— Каждый раз, когда вечером работал в сарае.

— Ты поступил очень дурно, — сказал пастор. — Ты любил свою жену?

— О да, любил, — сказал Олз. — Я очень любил ее.

— Вы все поняли? — спросил хозяин. — Вы все поняли про его жену?

— Почти.

— А как насчет обеда? — спросил Джон.

— Заказывай, — сказал я. — Вы думаете, это правда? — спросил я хозяина.

— Конечно, правда, — сказал он. — Скоты эти крестьяне.

— А куда он пошел?

— Он пошел в другой трактир, в «Эдельвейс».

— Он не захотел пить со мной, — сказал Франц.

— Он не хотел пить у меня, потому что Франц узнал про историю с его женой, — сказал хозяин.

— Послушай, — сказал Джон, — а как насчет обеда?

— Давай, — сказал я.

Гонка преследования

Уильям Кэмбелл участвовал в гонке преследования вместе с эстрадной труппой, взяв старт от самого Питсбурга. В гонке преследования — в велосипедной гонке — гонщики стартуют один за другим через равные интервалы. Идут они очень быстро, потому что дистанция обычно дается короткая, и если кто замедлит ход, другие гонщики, не сбавившие темпа, наверстывают время, которое разделяло их на старте. Как только задний поравняется с впередиидущим и обойдет его, тот выбывает из состязания, слезает с машины и покидает шоссе. Если обгона нет, победителем считается гонщик, больше всех увеличивший разрыв на дистанции. Когда в соревновании участвуют только двое, обгон происходит чаще всего не дальше чем на шестой миле. Эстрадная труппа догнала Уильяма Кэмбелла в Канзас-Сити.

Уильям Кэмбелл рассчитывал идти хоть немного впереди эстрадной труппы до самого побережья Тихого океана. Пока он упреждал эстрадную труппу в качестве устроителя, ему платили жалованье. Когда эстрадная труппа догнала его,

он лежал в постели. Он лежал в постели, когда директор труппы вошел к нему в номер, а после того, как директор ушел, Уильям Кэмбелл решил, что теперь вставать совершенно незачем. В Канзас-Сити было холодно, и он не спешил выходить на улицу. Канзас-Сити ему не понравился. Он сунул руку под кровать за бутылкой и выпил. От виски в желудке утихало. Директор эстрадной труппы, мистер Тернер, выпить отказался.

— Тем лучше, — сказал Уильям Кэмбелл. — Потому что на самом деле я ничего не знаю. Это я просто так. — Он снова натянул простыню на лицо. — Как здесь хорошо, под простыночкой! — сказал он.

Мистер Тернер стоял у кровати. Он был человек пожилой, с брюшком, лысый, и его ждало много всяких дел.

— Тебе бы надо задержаться здесь, Билли, и пройти курс лечения, — сказал он. — Если хочешь, я это устрою.

— Никакого лечения я проходить не желаю, — сказал Уильям Кэмбелл. — Не имею ни малейшей охоты проходить курс лечения. Я всем доволен. Я всю свою жизнь был всем доволен.

— Давно это с тобой?

— Что за вопрос! — Уильям Кэмбелл сделал

вдох и выдох сквозь простыню.

— Давно ты запил, Билли?

— А что, разве я плохо работал?

— Да нет! Я, Билли, просто спрашиваю. Давно ты запил?

— Не знаю. Но мой волк вернулся. — Он потрогал простыню языком. — Уже с неделю, как мой волк при мне.

— Врешь ты!

— Не-ет! Милый мой волчок. Только я приложусь к бутылке, мой волк уходит за дверь. Не выносит спиртного. Бедненький волчок. — Он вкруговую водил языком по простыне. — Прекрасный мой волчок! Ничуть не изменился. Все такой же. — Уильям Кэмбелл закрыл глаза и сделал глубокий вдох.

— Тебе надо полечиться, — сказал мистер Тернер. — Ложись в лечебницу Кили. Не пожалеешь. Там неплохо.

— Город Кили, — сказал Уильям Кэмбелл. — Это недалеко от Лондона. — Он закрыл, потом открыл глаза, задевая ресницами простыню. — Люблю простыночки, — сказал он и посмотрел на мистера Тернера. — Слушай, ты думаешь, я пьяный?

— Ты и есть пьяный.

— Ничего подобного.

— Ты пьяный, и белая горячка у тебя уже была.

— Нет. — Уильям Кэмбелл закрылся с головой. — Милая моя простыночка, — сказал он и нежно дохнул в нее. — Красавица моя. Простыночка, ты меня любишь? Это входит в плату за номер. Как в Японии. Нет, — сказал он. — Слушай, Билли, дорогой мой «Билли-вскользь», сейчас ты у меня удивишься. Я не пьяный. Я нашпиговался до ушей.

— Брось, — сказал мистер Тернер.

— Посмотри. — Уильям Кэмбелл подтянул под простыней правый рукав пижамы, потом высунул правую руку из-под одеяла. — Вот, гляди. — На руке от кисти до локтя были маленькие синеватые пятнышки, окружавшие крохотные темно-синие следы уколов. Пятнышки почти находили одно на другое. — Это мое новое достижение, — сказал Уильям Кэмбелл. — Пью я теперь редко и понемножку, только чтобы прогнать волка из комнаты.

— От этого тоже вылечивают, — сказал Билли-вскользь Тернер.

— Нет, — сказал Уильям Кэмбелл. — Ни от чего нас не вылечивают.

— Нельзя же, Билли, ставить на себе крест, — сказал Тернер. Он присел к нему на кровать.

— Осторожней с моей простыночкой! — сказал Уильям Кэмбелл.

— Ну, не повезло тебе, так неужели же ставить на себе крест из-за этого в твои-то годы, Билли, и накачиваться всякой мерзостью!

— Преследуется законом? Вот ты о чем?

— Я не о законе, а о том, что это надо в себе побороть.

Билли Кэмбелл любовно коснулся простыни губами и языком.

— Милая моя простыночка, — сказал он. — Я могу целовать эту простыночку, и в то же время мне сквозь нее все видно.

— Перестань ты про свою простыночку. Нельзя втягиваться в эту мерзость, Билли.

Уильям Кэмбелл закрыл глаза. Его начинало слегка поташнивать. Он знал, что тошнота не облегчится рвотой, а будет все усиливаться, если не принять мер. Вот тогда-то он и предложил мистеру Тернеру выпить. Мистер Тернер отказался. Уильям Кэмбелл отпил из бутылки. Это могло принести только временное облегчение. Мистер Тернер внимательно следил за ним. Мистер Тернер сидел в этом номере много дольше, чем ему можно было, — у него накопилось столько дел. Хотя он всю свою жизнь провел среди наркома-

нов, наркотики внушали ему ужас, а к Уильяму Кэмбеллу он относился очень хорошо и не хотел оставлять его одного. Он жалел Уильяма Кэмбелла и думал, что курс лечения мог бы ему помочь. Он знал, что в Канзас-Сити от этого лечат. Но ему надо было уходить. Он встал.

— Слушай, Билли, — сказал Уильям Кэмбелл. — Слушай, что я тебе скажу. Тебя зовут Билли-вскользь. Это потому, что ты все скользишь. А меня зовут просто Билли потому, что я скользить не умею. Не умею я скользить, Билли. Никогда не умел. Все за что-нибудь зацеплюсь. Попробую скользнуть — раз! — и зацепился! — Он закрыл глаза. — Не умею я скользить, Билли. А это знаешь как плохо, когда не умеешь скользить.

— Да, — сказал Билли-вскользь Тернер.

— Что «да»? — Уильям Кэмбелл посмотрел на него.

— Ты говорил…

— Нет, — сказал Уильям Кэмбелл. — Я ничего не говорил. Видимо, произошла ошибка.

— Ты говорил про то, что скользить…

— Нет, нет. Про то, чтобы скользить, речи быть не могло. Ты слушай, Билли, я открою тебе один секрет. Люби простыночки, Билли. С проститутками, Билли… — Он запнулся. — С проститутками

простись. С проституткой просто ночь, а с простыночкой — ночка. — Он замолчал и сунул голову под простыню.

— Мне пора, — сказал Билли-вскользь Тернер.

— Будешь путаться с проститутками, обязательно подцепишь, — сказал Уильям Кэмбелл. — С ними просто ночь, а…

— Ты это уже говорил.

— Что говорил?

— Про ночь и про ночку.

— А, да. Будешь любить простыночки… — Он подышал на простыню и потерся о нее носом. — Про них я еще ничего не знаю, — сказал он. — С этой простыночкой у меня только началось.

— Мне надо уходить, — сказал мистер Тернер. — Дел всяких много.

— Что ж, пожалуйста, — сказал Уильям Кэмбелл. — Уходить всем надо.

— Ну, я пошел.

— Ладно, уходи.

— Ну, как ты, Билли, ничего?

— Мне в жизни так хорошо не было.

— Правда, ничего?

— Мне очень хорошо. Ступай. Я еще немножко полежу. А к двенадцати встану.

Но когда мистер Тернер вошел к Уильяму Кэм-

беллу в полдень, Уильям Кэмбелл спал, а так как мистер Тернер был из тех, кто знает, чем следует дорожить в жизни, он не стал будить его.

Сегодня пятница

Три римских солдата в питейном заведении. Одиннадцать часов вечера. У стены стоят бочки. За деревянной стойкой — виноторговец-иудей. Три римских солдата немного навеселе.

1-й римский солдат: Ты пробовал красное?

2-й солдат: Нет, не пробовал.

1-й солдат: Так попробуй.

2-й солдат: Ну хорошо. Нам красного, Джордж.

Виноторговец-иудей: Прошу, джентльмены. Вам понравится. (*Наполняет из бочки глиняный кувшин,ставит перед солдатами.*) Отличное винишко.

1-й солдат: Ты тоже хлебни. (*Поворачивается к третьему римскому солдату, который прислонился к бочке.*) Да что с тобой такое?

3-й римский солдат: Живот болит.

2-й солдат: Так ты дул воду.

1-й солдат: Попробуй красного.

3-й солдат: Я не могу пить эту дрянь. От нее крутит живот.

1-й солдат: Ты слишком долго здесь торчишь.

3-й солдат: А то я не знаю!

1-й солдат: Скажи-ка, Джордж, у тебя нет ничего

для желудка этого джентльмена?

Виноторговец: Как не быть!

Третий римский солдат пробует питье, которое приготовил для него виноторговец.

3-й солдат: Что ты туда положил? Верблюжье дерьмо?

Виноторговец: Пейте-пейте, офицер. Вот увидите, станет лучше.

3-й солдат: Хуже-то некуда.

1-й солдат: Не ломайся. На днях Джордж здорово меня подлатал.

Виноторговец: Вы были совсем плохи, офицер. Я-то знаю, чем лечить желудок.

Третий римский солдат опустошает кружку.

3-й солдат: Иисусе! (*Морщится.*)

2-й солдат: Ложная тревога!

1-й солдат: Ну, не знаю. По мне, он неплохо держался.

2-й солдат: А почему не слез с креста?

1-й солдат: Он и не собирался слезать. Суть была не в этом.

2-й солдат: Покажите мне человека, который не захочет слезть с креста.

1-й солдат: Да ты ни черта не понимаешь. Спроси Джорджа. Эй, Джордж, хотел он слезть с креста?

Виноторговец: Джентльмены, меня там не было. Я такими вещами не интересуюсь.

2-й солдат: Послушай, я их немало повидал, здесь и не только. Покажи мне того, кто не захочет слезть с креста, когда припрет — когда припрет, говорю! — и я тут же составлю ему компанию.

1-й солдат: Думаю, он держался на ура.

3-й солдат: Ничего так.

2-й римский солдат: Вам, парни, невдомек, о чем я толкую. Я не говорю, что он паршиво держался. Я говорю, что когда припрет, когда начнут приколачивать, каждый захочет, чтобы это прекратилось.

1-й солдат: Ты это видел, Джордж?

Виноторговец: Нет, офицер, меня такие вещи не интересуют.

1-й солдат: Меня его поведение удивило.

3-й солдат: Гвозди, вот что мне не нравится. Должно быть, это паршиво.

2-й солдат: Паршивей всего, когда поднимают. (*Показывает, поднимая ладони.*) Когда собственная тяжесть начинает тянуть вниз. Вот тогда становится совсем туго.

3-й солдат: Точно, не всякий выдержит.

1-й солдат: Что я, не видел их, что ли? Видел, целую кучу. Говорю вам, он держался молодцом.

Второй римский солдат ухмыляется виноторговцу-иудею.

2-й солдат: А ты, друг, тоже за Христа?

1-й солдат: Давай, издевайся. Но уясни себе вот что: он отлично держался.

2-й солдат: Может, еще вина?

Виноторговец с надеждой поднимает глаза. Третий римский солдат сидит, свесив голову. Выглядит он неважно.

3-й солдат: Хватит с меня.

2-й солдат: Только нам двоим, Джордж.

Виноторговец приносит кувшин с вином, поменьше предыдущего. Тянется через деревянную стойку.

1-й римский солдат: Девчонку его видал?

2-й солдат: Так я стоял рядом с ней.

1-й солдат: Симпатичная.

2-й солдат: Мы с ней старые друзья. (*Подмигивает виноторговцу.*)

1-й солдат: Я видел ее в городе.

2-й солдат: Она жила припеваючи. Не принес он ей удачи.

1-й солдат: Да какая тут удача. Но по мне, он сегодня отлично смотрелся.

2-й солдат: А что стало с его шайкой?

1-й солдат: Разбежались. Остались одни бабы.

2-й римский солдат: Трусливый сброд. Как увидели, куда его ведут, сразу смылись.

1-й солдат: А бабы остались.

2-й солдат: Да, бабы остались.

1-й римский солдат: Видел, как я проткнул его копьем?

2-й римский солдат: Рано или поздно ты наживешь себе неприятности.

1-й солдат: Хоть это я мог для него сделать. Говорю тебе, он здорово держался.

Виноторговец-иудей: Увы, джентльмены, мне пора закрываться.

1-й римский солдат: Еще по одной.

2-й римский солдат: А смысл? Это пойло ничего не изменит. Идем.

1-й солдат: Всего по одной.

3-й римский солдат (*поднимаясь с бочки*): Нет уж. Пошли отсюда. Паршиво мне.

1-й солдат: По одной!

2-й солдат: Хватит. Нам пора. Доброй ночи, Джордж. Прибавь к нашему счету.

Виноторговец: Доброй ночи, джентльмены. (*Он выглядит немного встревоженным.*) А не дадите мне немного денег, офицер?

2-й римский солдат: Джордж, да ты спятил! Получка в среду.

Виноторговец: Нет проблем, офицер. Доброй ночи, джентльмены.

Три римских солдата выходят на улицу. На улице.

2-й римский солдат: Одно слово, жид.

1-й римский солдат: Да ладно, хороший парень!

2-й солдат: У тебя сегодня все хорошие.

3-й римский солдат: Пошли скорее в казармы. Паршиво мне.

2-й солдат: Ты слишком долго здесь торчишь.

3-й римский солдат: Да не в том дело. Паршиво мне.

2-й солдат: Слишком долго здесь торчишь. В этом все дело.

ЗАНАВЕС

Банальная история

Он съел апельсин, задумчиво выплевывая косточки. На улице снег переходил в дождь. Электрическая печурка почти не давала тепла. Поднявшись из-за стола, он сел прямо на нее. До чего приятно! Здесь, наконец, была жизнь.

Он потянулся за новым апельсином. В далеком Париже Маскар отделал Дэнни Фраша во втором раунде. В далекой Месопотамии выпал двадцать один фут снега. На другом конце мира, в Австралии, английские крикетисты загоняли шары в воротца.*Вот где* была романтика.

Покровители искусств и литературы открыли для себя «Форум», прочел он. Это проводник, философ и друг мыслящего меньшинства. Великолепные рассказы — не их ли авторы напишут завтрашние бестселлеры?

Вам понравятся эти теплые, незамысловатые американские истории с добродушной смешинкой, оконца в реальную жизнь на просторной ферме, в тесной квартирке или уютном доме.

Нужно почитать, подумал он.

Он начал читать. Дети наших детей — что с ними станет? Кем они будут? Требуются новые

способы поиска места под солнцем. Война или мир?

Или всем нам придется переселиться в Канаду?

Наши основополагающие убеждения: разрушит ли их Наука? Наша цивилизация: подчиняется ли она более древнему порядку вещей?

А тем временем в далеких, сочащихся влагой джунглях Юкатана стучат по каучуковым деревьям топоры лесорубов.

Нужны ли нам великие люди — или их следует окультурить? Возьмите Джойса. Возьмите президента Кулиджа. За какой звездой следовать студентам университетов? Взгляните на Джека Бриттона. Взгляните на доктора Генри ван Дайка. Можно ли их примирить? Вспомните случай Янга Стриблинга.

А как насчет наших дочерей, которым предстоит исследовать собственные глубины? Нэнси Готорн самостоятельно зондирует дно океана жизни. Отважно и рассудительно встречает она проблемы, которые ждут каждую восемнадцатилетнюю девушку.

Это была великолепная брошюра.

Вы восемнадцатилетняя барышня? Возьмите случай Жанны д'Арк. Возьмите случай Бернарда

Шоу. Возьмите случай Бетси Росс.

Представьте все это в 1925 году. Есть ли в истории пуританства сомнительные страницы? Имелись ли у Покахонтас скрытые стороны? Было ли у нее четвертое измерение?

А современная живопись — и поэзия? Искусство? И да, и нет. Возьмите Пикассо.

Существует ли кодекс поведения у бродяг? Отправьте мысль в полет.

Романтика повсюду. Авторы «Форума» высказываются по существу, славятся юмором и мудростью.

Но не пытаются умничать и всегда лаконичны.

Живите полной духовной жизнью, пронизанной новыми идеями, пропитанной романтикой необычного. Он отложил брошюру.

А тем временем в темной комнате своего дома в Триане лежал, вытянувшись на кровати, Мануэль Гарсиа Маэра, с трубками в легких, захлебываясь мокротой. Его смерти ждали несколько дней, и все андалузские газеты посвятили ей специальный выпуск. Мужчины и мальчики покупали портреты Маэры в полный рост, чтобы запомнить его, и, глядя на литографии, забывали, как он выглядел на самом деле. Тореадоры не слишком

скорбели о нем, ведь он постоянно вытворял на арене трюки, которые им давались лишь изредка. Все они шли под дождем за его гробом, сто сорок семь тореадоров проводили его на кладбище, чтобы похоронить рядом с Хоселито. После похорон они разошлись по кафе, укрываясь от дождя, и многие покупали цветные портреты Маэры, сворачивали в трубочку и прятали в карман.

Бессонница

Ночью мы лежали на полу и слушали шелкопрядов. Они глодали листья шелковицы, и всю ночь доносились звуки тихой грызни и шелест падающих листьев. Я избегал сна, так как уже давно жил с мыслью, что стоит мне только в темноте закрыть глаза и отпустить вожжи, как душа моя оставит тело. У меня это началось давно, после того как я ночью подорвался и почувствовал, как душа отлетела, а потом вернулась. Я старался никогда об этом не думать, но с тех пор всякий раз, когда я начинал забываться сном, все повторялось, и требовались большие усилия, чтобы это как-то остановить. И хотя сейчас я почти уверен, что она ночью не отлетит, в то лето я предпочитал не устраивать эксперименты.

Мне было чем себя занять, пока я лежал без сна. Я себе представлял речку, где я мальчишкой ловил форель, и мысленно, не спеша, проходил ее на всем протяжении, закидывая крючок под каждое бревно, на всех поворотах русла, в глубокие притоны и в прозрачное мелководье, и рыба то ловилась, а то срывалась. В полдень я брал паузу, чтобы перекусить, сидя на бревне или на

высоком берегу под деревом, и ел я всегда неспешно, поглядывая на течение внизу. Частенько у меня кончалась наживка, потому что я брал с собой всего десяток червей в жестянке из-под табака. Приходилось искать новых, и порой было непросто подкапывать берег, заслоненный от солнца высокими кедрами, никакой тебе травы, голая влажная земля, и зачастую я оставался ни с чем. И все же я всегда, так или иначе, находил какого-то живца, и лишь однажды, на болоте, мне ничего не подвернулось, и тогда я разрезал одну из пойманных форелей, и она послужила в качестве приманки.

Иногда я находил насекомых в пойменной земле, в траве или под папоротниками, и пускал их в ход. Встречались жуки, и насекомые с ножками-травинками, и в трухлявых пнях белые личинки с коричневатой сжатой головкой, которые срывались с крючка и исчезали в холодной воде, и клещи под бревном, где также попадались земляные черви, скрывавшиеся в почве, стоило только отвалить бревно. Однажды я наживил саламандру, найденную под старым кряжем. Она была такая маленькая, изящная, верткая, симпатичного цвета. Своими крошечными ножками она отчаянно вцепилась в рыболовный крючок,

и больше я саламандр не трогал, хотя попадались они мне постоянно. Я также не использовал сверчков из-за того, что́ они вытворяли на крючке. Когда речка текла через луга, я ловил в траве кузнечиков и пускал их в ход, но, случалось, просто швырял их в воду и наблюдал за тем, как они барахтались и кружили, подхваченные течением, пока их не проглатывала форель. Иногда за вечер я успевал порыбачить в четырех-пяти разных протоках, начиная в верховье и дальше вниз по течению. Если все заканчивалось слишком быстро, а время еще оставалось, то я проходил ту же протоку еще раз, но уже начиная с того места, где она впадала в озеро, и шел против течения, отлавливая рыбешек, которых пропустил невзначай.

В иные ночи я рисовал речушки в своем воображении, и среди них случались очень даже славные. Я словно грезил наяву. Некоторые я помню до сих пор, и мне сдается, что я в них действительно рыбачил, в моей памяти они соединились с настоящими речками. Я давал им имена, я добирался до них на поезде, а то еще приходилось топать много миль.

Но бывали ночи, когда затея с рыбалкой не прокатывала, и сна не было ни в одном глазу,

и тогда я повторял молитвы, снова и снова, поминая всех, кого я знавал. Это занимало уйму времени, потому что если постараться припомнить всех, кого ты знал, возвращаясь к самым ранним воспоминаниям, — а для меня это чердак дома, где я родился, с родительским свадебным пирогом в жестяной коробке, подвешенной к стропилу, с заспиртованными в бутылях змеями и прочей живностью, пойманными моим отцом в далеком детстве, спиртовой раствор частично выветрился, и обнажившиеся кольца змей и других существ побелели, — если вернуться так далеко назад, то список получится длинный. Если же молиться за них за всех, посвящая каждому в отдельности «Дева Мария, радуйся» и «Отче наш», то на это уйдет много-много времени, и, в конце концов, рассветет, и тогда можно будет уснуть, если, конечно, ты находишься в таком месте, где дневной сон в принципе возможен.

В такие ночи я пытался припомнить все, что со мной произошло, начиная с предвоенной поры и уходя все дальше и дальше назад. Вот так и выяснилось, что самым ранним воспоминанием для меня стал дедушкин чердак. Оттолкнувшись от него, я мысленно двигался обратно, пока снова не доходил до войны.

Помню, как после смерти дедушки мы переехали в новый дом, задуманный и построенный моей матерью. Многие вещи, не предназначенные для перевозки, сжигались на заднем дворе, и мне не забыть, как эти бутыли швыряли в костер, и они лопались от жара, и от ядреного раствора взлетали вверх языки пламени. Я помню, как в костре на заднем дворе горели заспиртованные змеи.

Но это были исключительно неодушевленные предметы. Не помню людей, которые их сжигали, но когда я добирался до этого эпизода, я за них молился.

Что касается нового дома, то я помню, как мать постоянно избавлялась от ненужных вещей и в этом преуспевала. Однажды, когда отец охотился, она основательно почистила подвал и сжигала все лишнее. Вернувшись, отец слез с подводы и привязал лошадь. Костер у дороги перед домом догорал. Я вышел встретить отца. Он передал мне свой дробовик, поглядывая на пепелище.

— Что это? — спросил он.

— Дорогой, я почистила подвал, — сказала мать. Она улыбалась ему, стоя на крыльце. Отец пнул что-то под ногами. Потом наклонился и вытащил из золы какой-то предмет.

— Принеси грабли, Ник, — сказал он мне.

Я сходил за ними в подвал, и отец методично прошелся граблями по пепелищу. Он выгреб оттуда топорики для обтесывания камней, и примитивные разделочные ножи, и инструменты для изготовления наконечников для стрел, и сами наконечники, и разную керамику. Все обугленное, выщербленное. Отец аккуратно все это выгреб и разложил на траве у дороги. Его дробовик в кожаном чехле и ягдташи все это время валялись в траве.

— Ник, забери ружье и ягдташи и принеси мне газету, — сказал он.

Моя мать давно ушла в дом. Я закинул на плечо тяжелый дробовик, который бил меня по ногам, взял в обе руки охотничьи сумки и направился к дому.

— Не все сразу, — остановил меня отец. — Для тебя это слишком большая ноша.

Я положил ягдташи и унес ружье, а в отцовском кабинете взял из стопки одну газету. Мой отец разложил обугленную, выщербленную утварь на газете, а затем все завернул.

— Лучшие наконечники для стрел превратились в труху, — сказал он.

Он унес газетный сверток, а я остался с двумя охотничьими сумками. А потом я забрал их в дом.

В этом эпизоде, который я вспомнил, участвовали два человека, и я помолился за обоих.

Бывало, я не мог до конца вспомнить ни одной молитвы. Дойду до слов «и на земле, как на небе», и давай сначала, пока снова не забуксую. И когда я понимал, что это тупик, приходилось заменять молитвы чем-то другим. В такие ночи я пытался вспомнить имена всех животных и птиц и рыб, а дальше названия всех стран и городов, и блюд, и улиц в Чикаго, а когда уже ничего не приходило в голову, я просто слушал. Не помню такой ночи, когда стояла бы полная тишина. При свете я не боялся спать, я ведь знал, что только в темноте моя душа может покинуть тело. Поэтому чаще всего я проводил ночи при свете, и тогда я спал — сказывались усталость и недосып. Наверняка были случаи, когда я спал, потеряв над собой контроль, но если я себя контролировал, то ни о каком сне не могло быть и речи. А в ту ночь я слушал шелкопрядов, подтачивающих листья. Ночью это очень отчетливо слышно, и вот я лежал с открытыми глазами и ловил каждый звук.

Со мной в комнате был еще один человек, и он тоже не спал. Мои уши давно это уловили. Он не умел лежать так же тихо, как я, может, потому, что у него не было такой большой практики

бодрствования. Наши одеяла были расстелены на соломе, и, когда он ворочался, солома под ним хрустела, однако шелкопрядов это не пугало, и они продолжали методично вгрызаться.

В ночи было слышно, как что-то происходит в семи километрах от передовой, но эти звуки отличались от тихих шорохов в темной комнате. Мой сосед попробовал полежать неподвижно, вот только надолго его не хватило. Тогда я тоже пошевелился, давая ему понять, что я не сплю. Он десять лет прожил в Чикаго. В девятьсот четырнадцатом году, когда он приехал домой погостить, его забрали в армию солдатом и отдали в мое распоряжение санитаром, поскольку он говорил по-английски. Я понял, что он прислушивается, и еще раз пошевелился.

— Не можете уснуть, signor tenente[53]? — спросил он.

— Да.

— Я тоже не могу.

— А что такое?

— Не знаю. Не спится.

— Чувствуете себя нормально?

— Ага. Все хорошо. Просто не спится.

---

[53] Примечания: 53
Синьор лейтенант*(ит.).*

— Хотите, немного поболтаем? — спросил я.

— Давайте. Хотя о чем можно болтать в этой дыре?

— Не такое уж плохое место, — сказал я.

— Ага. Сносное.

— Расскажите мне про Чикаго, — попросил я.

— Так уж рассказывал однажды.

— Как вы женились?

— Тоже рассказывал.

— Письмо, которое вы получили в понедельник, от нее?

— Ага. Она мне постоянно пишет. Дело у нас прибыльное.

— Будет чем заняться, когда вернетесь.

— Ага. Она неплохо управляется. Хорошие деньги зарабатывает.

— Мы их не разбудим своей болтовней? — спросил я.

— Нет. Они ничего не слышат. Спят как убитые. Не чета мне. Я вот дергаюсь.

— Говорите тише, — попросил я. — Хотите сигаретку?

Мы курили в темноте со знанием дела.

— Вы мало курите, синьор лейтенант.

— Да. Я почти завязал.

— И правильно, ничего хорошего, — сказал он.

— Не думаю, что вы особенно жалеете. Слыхали? Слепой не курит, потому что он не видит сигаретного дыма.

— Я в это не верю.

— По-моему, вранье, — сказал он. — Но где-то я это слышал. Знаете, как люди болтают.

Мы помолчали. Я послушал шелкопрядов.

— Слышите? — спросил он. — Как они грызут?

— Забавно, — сказал я.

— Скажите, синьор лейтенант, вы из-за чего не спите? Я же вижу. Сколько вы уже ночей не спите, с тех пор как я с вами.

— Сам не знаю, Джон, — признался я. — Прошлой весной мне крепко досталось, и по ночам мне как-то не по себе.

— Вот и мне тоже, — сказал он. — Зря я встрял в эту войну. Теперь дергаюсь.

— Может, все еще поправится.

— Скажите, синьор лейтенант, зачем вы встряли в эту войну?

— Не знаю, Джон. В тот момент было такое желание.

— Было такое желание. Сильно сказано.

— Нам следует говорить потише, — напомнил я.

— Да они спят как мертвые. К тому же они все

равно не понимают по-английски. Они вообще ни черта не смыслят. Что вы будете делать, когда все закончится и мы вернемся в Штаты?

— Пойду в газету.

— В Чикаго?

— Возможно.

— Вы читаете статьи этого Брисбена? Моя жена присылает мне вырезки.

— Конечно.

— Вы с ним знакомы?

— Нет, но я его видел.

— Я бы хотел с ним познакомиться. Он хорошо пишет. Моя жена не читает по-английски, но она все равно покупает газету, как при мне, вырезает редакционные статьи и спортивную страницу и посылает.

— Как ваши дети?

— Нормально. Одна из дочек в четвертом классе. Знаете, синьор лейтенант, если б не дети, я б не работал у вас санитаром. Я бы сейчас был на передовой.

— Я рад, что у вас есть дети.

— Я тоже. Они хорошие, но я хочу мальчика. Три девочки и ни одного мальчика. Это, скажу я вам, знак.

— Почему бы вам не поспать?

— Сейчас не получится. У меня бессонница, синьор лейтенант. Меня беспокоит, что вы не спите.

— Все образуется, Джон.

— У такого молодого человека, как вы, не должно быть бессонницы.

— Я приду в норму. Мне нужно время.

— Скорей бы уж. Без сна нам никак нельзя. Вас что-то беспокоит? Какие-то неприятные мысли?

— Да нет, Джон, ничего такого.

— Вам надо жениться, синьор лейтенант. Тогда вам не о чем будет беспокоиться.

— Не знаю.

— Вам надо жениться. Почему бы вам не найти симпатичную итальянскую девушку с хорошим приданым? За вас любая пойдет. Вы молодой, красивый, у вас есть боевые награды. Вы были дважды ранены.

— Я не очень хорошо говорю по-итальянски.

— Вы отлично говорите. И плевать на язык. С ними не разговаривать надо. На них надо жениться.

— Я подумаю.

— У вас есть знакомые девушки?

— Конечно.

— Женитесь на той, у кого больше денег. А хо-

рошей женой, при здешнем воспитании, будет любая.

— Я подумаю.

— Синьор лейтенант, не надо думать. Надо действовать.

— Хорошо.

— Мужчина должен быть женат. Вы никогда не пожалеете. Каждый мужчина должен быть женат.

— Хорошо, — повторил я. — Попробуем немного поспать.

— Ладно. Я попробую. Помните, что я вам сказал.

— Я запомню. Давайте, Джон, немного поспим.

— Ладно, — сказал он. — Надеюсь, синьор лейтенант, у вас получится.

Я слышал, как он еще повертелся на соломенном ложе, а потом затих и задышал ровно. А потом захрапел. Я долго слушал его храп, пока не переключился на шелкопрядов. Они безостановочно глодали листья, которые с шелестом падали. Я нашел новую тему для воспоминаний и теперь, лежа в темноте с открытыми глазами, перебирал в памяти всех девушек, которых я знал, и представлял себе, какие из них могли бы получиться жены. Это было очень увлекательно,

и на какое-то время форель и молитвы отошли на второй план. Но потом я все же вернулся к рыбной ловле, поскольку мог отчетливо увидеть каждую протоку, и все они то и дело менялись, тогда как девушки, стоило мне несколько раз пройтись по списку, теряли очертания, и я не мог их явственно представить, а под конец они слились в нечто неразличимое, и мне пришлось оставить все попытки. А вот молитвы я не оставил, и часто по ночам я молился за Джона. Его призыв отозвали из действующей армии еще до начала октябрьского наступления. Я этому был только рад, потому что иначе я бы за него здорово волновался. Несколько месяцев спустя он навестил меня в миланском госпитале и, узнав, что я так и не женился, расстроился не на шутку. Представляю, как бы он расстроился, узнай он, что я по сей день не женат. Он собирался назад в Америку и по-прежнему считал, что брак решает все проблемы.

Победитель не получает ничего (1933)

ПосвящаетсяАДЕ и АРЧИБАЛЬДУ МАКЛИШ

После шторма

Все началось на пустом месте, из-за какого-то неосторожного слова, а потом переросло в драку, и я поскользнулся, а он прижал меня к полу, упершись в мою грудь коленом, и стал душить обеими руками, словно хотел прикончить, а я все время пытался вытащить нож из кармана, чтобы пырнуть его и освободиться. Все так перепились, что никто и не пытался оттащить его. Он душил меня и молотил головой об пол, но я наконец вытащил нож, выщелкнул лезвие и полоснул его прямо по руке, и тогда он меня отпустил. Теперь он не мог ничего держать, даже если бы хотел. Он скатился с меня, зажал рану и стал вопить, а я сказал:

— Какого черта? Ты меня чуть не задушил!

Мне хотелось убить его. Я потом еще неделю не мог глотать, так он повредил мне горло.

Ну, я дал деру, а их была целая куча, и кое-кто рванул за мной, но я завернул за угол и побежал к докам, там я встретил какого-то парня, который сказал, что дальше по улице кто-то убил человека.

— Кто его убил? — спросил я.

А он ответил:

— Не знаю, кто его убил, но что он мертв — это точно.

Было темно, на улице стояла вода, фонари не горели, окна были разбиты, лодки валялись вверх дном, и деревья были выворочены с корнем, и все кругом поломано, я сел в какую-то маленькую шлюпку, поплыл и нашел свою моторку там, где оставил ее, в бухте Манго-Ки, с ней все было в порядке, только водой залило до краев. Ну, я вычерпал воду и оттолкнул моторку от берега; в небе было полно облаков, которые то и дело заволакивали луну, и все еще прилично штормило, я вышел в море и, когда рассвело, был уже за пределами Восточной гавани.

Да, брат, это был шторм так шторм! Я был первым, кто после него вышел в море, и такой воды, как тогда, поверьте, вы еще не видали. Она была белой, как щелок, а берег между Восточной гаванью и Саут-Уэст-Ки изменился до неузнаваемости. Где-то посередине его рассек большой канал, который промыло штормом, шторм повырывал деревья, смыл почву и сделал воду белой как мел, и на ее поверхности чего только не плавало: ветки, целые деревья и мертвые птицы. На маленьких островках собрались, казалось, все

живущие на земле пеликаны, а вокруг вились тучи других всевозможных птиц. Должно быть, они слетелись на остров, почувствовав приближение шторма.

Я целый день проболтался у берега Саут-Уэст-Ки, но никто меня не преследовал. Моя моторка была пока единственной, вышедшей в море; я заметил обломок мачты, плававший на воде, догадался, что где-то потерпел крушение корабль, и отправился его искать. И нашел. Это была трехмачтовая шхуна, я увидел обломки ее рангоута, торчавшие из воды. Она лежала на большой глубине, и я понял, что оттуда мне ничего не достать. Поэтому продолжил поиски. Поскольку я всех обскакал, мне должна была достаться вся какая ни есть добыча. Я проплыл над всеми мелями вокруг той трехмачтовой шхуны, но ничего не обнаружил и двинулся дальше. Заплыл далеко и оказался над зыбким песчаным дном, но и тут ничего не было, поэтому я поплыл еще дальше. И вот когда вдали уже показался маяк «Ребекка», я заметил, что множество самых разных птиц кружит над одним местом, и направился прямо туда, чтобы посмотреть, что они там нашли, птиц в самом деле была огромная туча.

Я увидел что-то напоминающее наискось тор-

чащую из воды мачту, и когда подплыл ближе, птицы взлетели в воздух и стали кружить надо мной. Вода в том месте была чистой, и прямо из нее действительно выступала какая-то мачта, и когда я приблизился к ней, то увидел внизу, под водой, длинную тень, я встал прямо над ней и понял, что на дне лежит судно; оно просто лежало там, гигантское, полностью погруженное в воду. Я стал дрейфовать над ним. Судно лежало на боку, корму глубоко засосало в песок. Все бортовые иллюминаторы были задраены, я мог видеть, как блестят сквозь воду стекла, и вообще видел весь корпус корабля; это было самое большое судно, какое я встречал в своей жизни, я проплыл над ним из конца в конец, а потом встал чуть в стороне и бросил якорь; потом я подтащил шлюпку к переднему краю палубы, столкнул ее в воду, поплыл, гребя веслами, и остановился над кораблем, а птицы продолжали тучей кружить надо мной.

У меня была подводная зрительная труба, какие используют для сбора губок, но руки дрожали, я едва удерживал ее. Все иллюминаторы, которые я видел, когда проплывал над судном, были задраены, но где-то далеко на глубине, почти над днищем, должно быть, имелась пробоина,

потому что оттуда все время всплывали какие-то предметы. Что именно, понять было невозможно. Просто куски чего-то. И это они привлекали птиц. Столько птиц разом вы в жизни не видели. Они вились вокруг меня с истерическими криками.

Я все видел ясно и четко. Видел, что борт у корабля пузатый, а сам он длиной с милю, как казалось под водой. Он лежал на боку, на чистой белой песчаной мели, а то, что наискось торчало над водой, было то ли фок-мачтой, то ли каким-то другим обломком рангоута. Нос находился недалеко от поверхности. Я сумел встать ногами на буквы, составлявшие название судна, и при этом голова моя осталась над водой. Но ближайший иллюминатор располагался двенадцатью футами глубже. До него я дотянулся только багром и попытался разбить стекло, но не смог. Оно было слишком прочным. Тогда я подгреб обратно к своей моторке, взял гаечный ключ и привязал его к концу багра, но все равно не смог разбить стекло в иллюминаторе. Так я и глазел через свою зрительную трубу на корабль со всеми заключенными в нем богатствами и, будучи первым, кто до него добрался, не мог проникнуть внутрь. А ведь там могло быть всякого добра миллионов на пять.

Меня прямо в дрожь бросало, когда я думал, сколько всего там, внутри. В том иллюминаторе, который находился ближе всего, что-то виднелось, но в трубу я не мог разобрать что. Поскольку багор оказался бесполезным, я разделся, встал, сделал несколько глубоких вдохов, а потом, нырнув с кормы, стал погружаться, зажав в руке гаечный ключ. Ухватившись за обод иллюминатора, я сумел на секунду заглянуть внутрь и увидел женщину с колыхавшимися на воде волосами. Я отчетливо видел, как она висит в воде, покачиваясь, и два раза изо всех сил ударил по стеклу гаечным ключом, в ушах дважды послышался звон, но стекло не поддалось, и пришлось мне всплывать.

Вцепившись в шлюпку, я отдышался, залез в нее, отдохнул минуту-другую и снова нырнул. Я поплыл вниз, ухватился пальцами за край иллюминатора и изо всей силы ударил по стеклу гаечным ключом. Я видел женщину, плававшую внутри, в каюте. Ее волосы были связаны у самых корней, а концы их колыхались, распластавшись в воде. Я разглядел кольца у нее на руке. Она находилась у самого иллюминатора, и я дважды саданул по стеклу, но оно даже не треснуло. Всплывая на поверхность, я думал, что не удержусь

и сделаю вдох раньше времени.

Я нырнул еще раз, и стекло наконец таки треснуло, но всего лишь треснуло, а когда я вынырнул, из носу у меня шла кровь, я постоял на носу корабля, касаясь босыми ногами букв его названия и высунув из воды голову, отдохнул немного, подплыл к шлюпке, влез в нее и сидел, ожидая, когда перестанет болеть голова, и глядя в воду через свою зрительную трубу, но кровь лилась так обильно, что трубу приходилось промывать. Тогда я лег на спину и зажал нос пальцами, чтобы остановить кровь, и так лежал на дне шлюпки, глядя в небо, где надо мной кружил миллион птиц.

Когда кровотечение прекратилось, я еще раз обозрел корабль через зрительную трубу, а потом стал грести к моторке, чтобы поискать в ней что-нибудь тяжелее гаечного ключа, но ничего не нашел, даже багра для губок. И я поплыл обратно, вода становилась все чище, и теперь можно было рассмотреть все, что плавало на поверхности над белой песчаной мелью. Я высматривал акул, но их не было. Акулу всегда видно издалека. Вода была совершенно прозрачной, а песок белым. На шлюпке имелся крюк на веревке, служивший якорем, я перерезал веревку и перевалился вме-

сте с крюком через борт. Крюк потянул меня вниз, мимо иллюминатора, и еще ниже, вдоль выпуклого борта, я цеплялся за все подряд, но не мог удержаться и погружался все глубже. Пришлось выпустить крюк. Я услышал, как он шмякнулся о дно, и мне показалось, что прошел год, прежде чем я вынырнул на поверхность. Шлюпку далеко отнесло течением, и пришлось добираться до нее вплавь, кровь из носа капала в воду, и я несказанно радовался, что нет акул, но я очень устал.

Голова раскалывалась, я полежал в шлюпке, отдохнул и поплыл на веслах обратно. День клонился к концу. Я еще раз нырнул с гаечным ключом, но опять ничего не добился. Ключ был слишком легким. Бесполезно было нырять дальше, не имея большого молотка или чего-нибудь еще, достаточно тяжелого. Я опять привязал ключ к багру и сквозь воду, глядя в зрительную трубу, молотил им по стеклу, пока ключ не сорвался, и я в ту же трубу отчетливо увидел, как он проскользил мимо борта лежавшего на дне корабля и опустился на донный песок, который тут же и засосал его. Больше я ничего сделать не мог. У меня теперь не было ни гаечного ключа, ни крюка, оставалось только вернуться на моторку. Я слишком устал, чтобы втаскивать на нее

шлюпку, да и солнце уже стояло совсем низко. Птицы разлетались, покидая корабль, и я взял курс на Саут-Уэст-Ки, волоча шлюпку на буксире и сопровождаемый сзади и спереди птицами. Я очень устал.

В ту ночь опять налетел сильный ветер, который дул целую неделю. Добраться до затонувшего судна было невозможно. Из города пришли люди и сообщили мне, что с парнем, которого я порезал, все в порядке, если не считать раны на руке, и я вернулся в город, где меня отпустили под залог в пятьсот долларов. Все уладилось, потому что несколько моих друзей показали под присягой, что это он погнался за мной с топором, но к тому времени, когда мы снова смогли добраться до судна, греки уже успели взрывом сделать в нем пробоину и полностью обчистить. Сейф они высадили тоже с помощью динамита. Никто так и не узнал, сколько в нем было. Судно перевозило золото, и все оно тоже досталось им. Они опустошили корабль дочиста. Нашел его я, но я не получил ни гроша.

Ему чертовски не повезло. Говорят, не успел он отойти от Гаваны, как на него обрушился ураган, и он не смог вернуться в гавань, или владельцы не позволили капитану повернуть обратно, хотя,

по слухам, тот хотел; пришлось в такой шторм плыть вперед, и, пытаясь в темноте пройти через пролив между «Ребеккой» и Тортугасом, он сел на мель. Может, у него сорвало руль. Может, он вообще потерял управление. Так или иначе, они не могли знать, что там зыбучие пески, и когда наткнулись на них, капитан, должно быть, приказал открыть балластные емкости, чтобы выровнять крен. Но пески оказались подвижными, и когда балластные емкости открыли, сначала засосало корму, а потом корабль перевернулся набок. На борту было четыреста пятьдесят пассажиров и команда, когда я нашел судно, все они, должно быть, были внутри. Видимо, балластные емкости открыли, как только ощутили толчок, и в тот момент, когда днище корабля коснулось песка, тот начал его засасывать. Потом, наверно, взорвались котлы, отсюда, судя по всему, те обломки, которые всплыли на поверхность. Удивительно, что не появились акулы. И рыб совсем не было. На фоне белого песка я бы их непременно заметил.

Зато теперь рыб там полно: морские окуни, самые крупные. Бóльшая часть корабля уже ушла в песок, но они живут внутри него, эти самые крупные окуни. Некоторые — весом по триста-четыреста фунтов. Надо будет как-нибудь сплавать

туда, половить. Оттуда, где лежит корабль, виден маяк «Ребекка». Теперь над затонувшим судном установили буй. Оно лежит в самом конце мели, прямо при входе в залив. Ему не хватило какой-нибудь сотни ярдов, чтобы проскочить. В темноте, в штормовую погоду они отклонились лишь на самую малость: из-за ливня, который стоял стеной, не было видно маяка. Да и не привыкли они к таким передрягам. Капитаны пассажирских судов не приучены плавать в такой шторм. Они знают свой курс и, как мне рассказывали, у них даже есть какой-то компас, который сам следит за ним. Возможно, они толком и не знали, куда загнал их шторм, но еще чуть-чуть — и они бы проскочили. Правда, вероятно, они лишились руля. Так или иначе, стоило им войти в залив — и до самой Мексики им не на что было бы уже наткнуться. Представляю, что творилось, когда они посреди такого ливня и ветра ощутили удар и капитан приказал открыть балластные емкости. В такую погоду на палубе наверняка никого не было. Все ушли вниз. А вот внутри те еще сцены, конечно, разыгрывались, потому что, как известно, судно затонуло быстро. Я же видел, как песок засосал гаечный ключ. Откуда было капитану, если ему незнакомы здешние воды, знать, что

это зыбучий песок? Он понял только, что это не камень. Наверное, он все видел с мостика. И догадался, что случилось, когда корабль стал оседать. Интересно, как быстро все произошло? И был ли с ним на мостике его помощник? Как вы думаете, они остались в рубке или выскочили наружу? Ни одного тела так и не нашли. Ни единого. Никто не всплыл. А ведь со спасательными поясами плавают долго. Наверное, все погибли внутри. Ну, а грекам досталось все. Все! Уж они быстро подсуетились. И унесли все подчистую. Первыми налетели птицы. Потом приплыл я, потом греки, и даже птицам досталось больше, чем мне.

Где чисто и светло

К столь позднему часу посетители кафе разошлись, за исключением одного старика: он сидел в тени, которую отбрасывала листва в электрическом свете. Днем на улице хватало пыли, но к ночи роса прибивала ее, и старику нравилось засиживаться допоздна, потому что он был глух, а по ночам стояла тишина, и он ощущал разницу. Оба официанта, которые находились в кафе, знали, что старик поднабрался, а он, пусть и хороший клиент, если выпивал слишком много, мог уйти, не заплатив; потому и следили за ним.

— На прошлой неделе он пытался покончить с собой, — заметил один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— С чего?

— Ни с чего.

— А откуда ты знаешь, что ни с чего?

— Денег у него достаточно.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где пустовали все столики, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева. Листья слегка пока-

чивались на ветру. Девушка и солдат прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой, торопливо, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его, — сказал официант.

— Какая ему разница, если он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. Они пять минут как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

— Чего изволите?

Старик посмотрел на него.

— Еще бренди.

— Вы напьетесь, — ответил официант.

Старик смотрел на него. Официант ушел.

— Всю ночь просидит, — пожаловался он коллеге. — Мне так спать хочется. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы покончил с собой на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку бренди и чистое блюдце с прилавка за стойкой и направился к столику, где сидел старик. Поставил блюдце и наполнил рюмку.

— Лучше б ты помер на прошлой неделе, — пожелал он глухому. Старик шевельнул пальцем.

«Добавьте еще», — попросил он. Официант добавил, бренди потек через край, по ножке, в самое верхнее из блюдец, стоявших одно на другом. «Спасибо вам», — поблагодарил старик. Официант унес бутылку в кафе. Вновь сел за столик к коллеге.

— Он уже пьян, — сообщил он.

— Он каждый вечер пьян.

— Зачем он на себя руки накладывал?

— Откуда мне знать.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И зачем это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Предостаточно.

— Ему, пожалуй, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Раньше трех никогда не ляжешь. Разве это дело, ложиться в такой час?

— Нравится ему тут, вот он и сидит.

— Он одинокий. А я — нет, меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то была жена.

— Теперь ему она ни к чему.

— Не скажи. С женой ему лучше бы было.

— За ним племянница присматривает. Ты ж сказал, она его из петли вынула.

— Знаю.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные они, старики.

— Не всегда. Этот старик аккуратный. Пьет — ни капли не проливает. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу я смотреть на него. Скорей бы домой ушел. Никакой заботы о тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону террасы, потом — на официантов.

— Еще бренди. — Он показал на рюмку. Тот официант, который спешил домой, направился к нему.

— Закончили. — Существительное он опустил: так необразованные люди обычно говорят с пьяными или иностранцами. — На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну, — попросил старик.

— Нет. Закончили. — Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца, до-

стал из кармана кожаный кошелек и заплатил за бренди, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед: глубокий старик, идущий неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть или выпить? — спросил официант, который никуда не спешил. Они уже закрывали ставни. — Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Один час ничего не значит.

— Для меня — больше, чем для него.

— Час, он для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может, купишь себе бутылку и выпьешь дома?

— Это совсем другое.

— Да, верно, — согласился женатый. Он не хотел грешить против истины. Просто спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, hombre[54], просто шучу.

— Не боюсь, — ответил тот, который спешил. Опустил металлическую ставню и выпрямился. — Доверие. Полное доверие.

---

[54] Примечания: 54
Мужик*(исп.).*

— У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, — вздохнул официант постарше. — Все, что надо.

— А тебе чего не хватает?

— У меня только работа.

— У тебя то же, что и у меня.

— Нет. Доверия никогда не было, а молодость прошла.

— И чего стоим? Хватит молоть чушь, давай запирать.

— Я из тех, кто любит засиживаться в кафе, — пояснил официант постарше. — С теми, кто не спешит в постель. С теми, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди, — покачал головой официант постарше. Он уже переодевался, чтобы идти домой. — Дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-то оно очень нужно.

— Hombre, есть же bodegas[55], которые работают всю ночь.

— Ничего ты не понимаешь. Здесь, в кафе, чисто и приятно. Свет яркий. Свет — это большое

---

[55] Примечания: 55
Кабак*(исп.).*

дело, а тут еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи, — попрощался официант помоложе.

— Спокойной ночи, — ответил второй. Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужны и чистота, и порядок. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше ничего и не найти. А чего он тогда боялся? Да не в страхе дело, не в боязни! В пустоте, и она ему так знакома. Все — пустота, да и сам человек — ничто. Потому-то ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто, на ничто сидит и ничто погоняет. Ничто наш, да святится ничто твое, да приидет царствие ничто, да будет воля ничто в ничто, потому это ничто и есть. Дай нам это ничто на сей день, который ничто, и ничто нам наши ничто, как и мы ничто нашим ничто, и не ничто нас в ничто, но избавь нас от ничто. Ибо ничто есть ничто, и ничто, и ничто во веки[56]. Он усмехнулся и остановился возле бара со сверкающей металлической ко-

---

[56] Примечания: 56

Официант переиначивает молитву «Отче наш», чем и доволен.

феваркой.

— Что желаете? — спросил бармен.

— Ничто.

— Otro loco mas[57]. — И бармен отвернулся.

— Маленькую чашечку, — попросил официант.

Бармен налил ему кофе.

— Свет очень яркий и приятный, а вот стойка не отполирована, — сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Слишком поздний час для пустых разговоров.

— Еще одну? — спросил он.

— Нет, благодарю вас, — ответил официант и вышел. Не любил он бары и bodegas. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он мог пойти домой, в свою комнату. Лечь в кровать и уснуть уже с рассветом. В конце концов, сказал он себе, это, вероятно, просто бессонница. Многие от нее страдают.

---

[57] Примечания: 57
Еще один псих*(исп.).*

Свет мира

Завидев нас на пороге, бармен поднял голову, протянул руку и накрыл стеклянными колпаками два блюда с бесплатной закуской.

— Одно пиво, — сказал я.

Он нацедил полную кружку, лопаткой снял пенную шапку, но не выпустил кружку из рук. Я положил никель на деревянную стойку, и он пододвинул мне кружку.

— А тебе? — спросил он у Тома.

— Пива.

Он нацедил, снял пену и, только увидев деньги, наискось по стойке подтолкнул кружку Тому.

— В чем дело? — спросил Том.

Бармен не ответил. Он посмотрел поверх наших голов на только что вошедшего мужчину и спросил у него:

— Что для вас?

— Ржаного, — сказал мужчина.

Бармен поставил на стойку бутылку, пустой стакан и стакан с водой.

Том протянул руку и снял стеклянный колпак с блюда с бесплатной закуской. На нем лежали маринованные свиные ножки и две деревянные

вилки, соединенные вместе наподобие ножниц, чтобы накладывать еду в тарелку.

— Нет, — сказал бармен и снова накрыл блюдо. Том остался с деревянными вилками-ножницами в руке. — Положи на место.

— Да пошел ты, — сказал Том.

Бармен сунул руку под стойку, продолжая наблюдать за нами обоими. Я положил на деревянную столешницу пятьдесят центов, тогда он выпрямился и спросил:

— Чего тебе?

— Пива, — сказал я, и, прежде чем налить мне вторую кружку, он снял с обоих блюд колпаки.

— Твои занюханные свиные ножки воняют, — сказал Том и выплюнул на пол то, что успел взять в рот. Бармен ничего не сказал. Человек, который пил ржаной виски, расплатился и вышел, не оглянувшись.

— Сам ты воняешь, — сказал бармен. — Такое дерьмо, как вы, всегда воняет.

— Он говорит, что мы — дерьмо, — сказал Том, обращаясь ко мне.

— Слушай, — сказал я. — Пошли лучше отсюда.

— Вот-вот, катитесь к чертовой матери, — сказал бармен.

— Это я сам решил уйти, — сказал я. — Тебя

никто не спрашивал.

— Мы еще вернемся, — сказал Томми.

— Черта с два, — сказал ему бармен.

— Объясни ему, что он ошибается, — сказал Том, поворачиваясь ко мне.

— Да ладно, пошли, — сказал я.

На улице было хорошо и темно.

— Что это за паршивая дыра? — сказал Томми.

— Понятия не имею, — сказал я. — Пойдем на вокзал.

Мы вошли в городишко с одного конца и собирались выйти из него с другого. Весь он пропах кожей, дубильной корой и опилками, горы которых громоздились повсюду. Когда мы входили в город, только начинало смеркаться, а теперь было уже совсем темно, и холодно, и лужи посреди дороги приморозило по краям.

На вокзале в ожидании поезда собралось пятеро шлюх, шесть белых мужчин и трое индейцев. В зальчике было тесно и душно от печки и застоявшегося дыма. Когда мы вошли, никто не разговаривал, окошко кассы было закрыто.

— А дверь притворить не надо? — сказал кто-то.

Я присмотрелся, кто это произнес. Оказалось — один из белых. На нем, как и на других, были

штаны из оленьей кожи, лесорубские резиновые сапоги и рубаха навыпуск из плотной ткани в пеструю клетку, однако он один был с непокрытой головой, и лицо у него было белое, а руки тонкие и тоже белые.

— Ну, так как, дверь-то закроешь?

— Конечно, — сказал я и закрыл.

— Спасибо, — сказал мужчина.

Один из сидевших рядом с ним тихо хихикнул.

— С поваром никогда не знался? — спросил он меня.

— Нет.

— Ну, можешь познакомиться с этим, — он посмотрел на соседа. — Он это любит.

Повар отвернулся от него и поджал губы.

— Он руки натирает лимонным соком, — продолжал мужчина. — И ни за что не окунет их в грязную воду от мытой посуды. Посмотри, какие они у него белые.

Одна из шлюх громко расхохоталась. Я в жизни не видел такой здоровенной шлюхи и вообще такой здоровенной женщины. На ней было платье из такого шелка, который меняет цвет. Еще две шлюхи были почти такими же здоровенными, но та, первая, весила, должно быть, не меньше трехсот пятидесяти фунтов. Глядя на

нее, трудно было поверить, что такие женщины вообще существуют. Все три были в платьях из одинакового меняющего цвет шелка. Они сидели на скамейке рядком, все три — необъятных размеров. Остальные две были самыми обычными на вид шлюхами, химическими блондинками с вытравленными перекисью волосами.

— Посмотри на его руки, — сказал разговорчивый лесоруб, кивая на повара. Шлюха снова расхохоталась, и все ее тело затряслось.

Повар быстро повернулся к ней и сказал:

— Заткнись, туша уродливая.

Но она продолжала хохотать, сотрясаясь всем телом и повторяя:

— Ох, господи Иисусе! — У нее был приятный голос. — Ох, господь милосердный.

Две другие толстые шлюхи вели себя очень тихо и смирно, как будто вообще слабо соображали, но тоже были толстыми, почти такими же, как та, самая толстая. В каждой было не меньше двухсот пятидесяти фунтов веса. Две тощие демонстрировали достоинство.

Что касается мужчин, то кроме повара и разговорчивого было еще два лесоруба — один прислушивался с интересом, но в разговор вступить робел, другой, казалось, был готов вот-вот

тоже что-нибудь вставить — и два шведа. Двое индейцев примостились на краю скамьи, еще один стоял, привалившись к стене.

Тот, который порывался вступить в разговор, очень тихо сказал мне:

— Наверное, чувствуешь себя так, будто влезаешь на стог сена.

Я рассмеялся и передал его слова Томми.

— Богом клянусь, в жизни не бывал в подобной дыре, — сказал тот. — Ты посмотри на эту троицу.

Тут вступил повар:

— Вам сколько лет, парни?

— Мне девяносто шесть, а ему — шестьдесят девять, — сказал Томми.

— Ха-ха-ха! — трясясь, зашлась самая толстая шлюха. У нее и впрямь был приятный голос. Остальные шлюхи даже не улыбнулись.

— Ну, зачем же так невежливо? — сказал повар. — Я ведь спросил, просто чтобы поддержать разговор.

— Нам семнадцать и девятнадцать, — сказал я.

— Ты чего? — повернулся ко мне Томми.

— Все нормально.

— Можете звать меня Алисой, — сказала толстая шлюха и снова затряслась.

— Это твое настоящее имя? — спросил Томми.

— Конечно, — ответила она. — Алиса. Разве не так? — Она повернулась к мужчине, сидевшему рядом с поваром.

— Алиса. Точно.

— Это тебе только хотелось бы иметь такое имя, — сказал повар.

— Это мое настоящее имя, — сказала Алиса.

— А других девиц как зовут? — спросил Том.

— Хейзл и Этель, — ответила Алиса.

Хейзл и Этель улыбнулись. Умом они, видать, не блистали.

— А тебя как звать? — спросил я одну из блондинок.

— Франсес, — сказала она.

— Франсес, а дальше?

— Франсес Уилсон. Тебе-то зачем?

— А тебя? — спросил я другую.

— Отстань, — сказала та.

— Он просто хочет, чтобы мы все подружились, — сказал разговорчивый. — А ты не хочешь с нами подружиться?

— Нет, — ответила химическая. — Только не с тобой.

— Да она просто злыдня, — сказал разговорчивый. — Обычная мелкая злыдня.

Блондинка посмотрела на товарку, покачала головой и сказала:

— Чертова деревенщина.

Алиса снова начала хохотать и трястись всем телом.

— Ничего смешного, — сказал повар. — Вот вы всё смеетесь, а ведь ничего смешного тут нет. Вы, молодые люди, куда направляетесь?

— А ты сам куда? — спросил его Том.

— Мне нужно в Кадиллак, — ответил повар. — Ты там бывал когда-нибудь? У меня там сестра живет.

— Он сам сестра, — сказал мужчина в оленьих штанах.

— Я бы попросил без дурацких намеков, — сказал повар. — Неужели нельзя разговаривать прилично?

— Стив Кетчел был из Кадиллака и Эд Уолгаст тоже, — сказал робкий.

— Стив Кетчел! — проникновенным голосом воскликнула одна из блондинок, словно это имя спустило какой-то курок у нее внутри. — Его застрелил собственный отец. Да, прости господи, собственный отец. Таких, как Стив Кетчел, больше нет.

— Разве его звали не Стэнли Кетчел? — спросил

повар.

— Ох, заткнись ты, — сказала блондинка. — Что ты знаешь о Стиве? Стэнли! Никакой он был не Стэнли. Стив Кетчел был самым чудесным и самым красивым мужчиной на свете. Я в жизни не видела такого чистого, такого белотелого и такого красивого мужчины, как Стив Кетчел. Да такого и не было никогда. Он двигался, как тигр, и был самым прекрасным и самым щедрым мужчиной из всех, когда-либо живших на земле.

— Ты его знала? — спросил один из мужчин.

— Знала ли я его? Знала ли я его?! Ты хочешь спросить, любила ли я его. Я знала его так, как ты не знаешь ни одного человека на земле, и любила так, как любят только Бога. Он был самый великий, самый замечательный, самый умный, самый красивый мужчина в мире, Стив Кетчел. И вот собственный отец пристрелил его, как собаку.

— Ты, кажется, ездила с ним на взморье?

— Нет. Я его знала раньше. Он был единственным мужчиной, которого я любила.

Все с большим уважением слушали химическую блондинку, которая вещала все это весьма театрально, только Алиса снова начала трястись. Я почувствовал это, сидя рядом.

— Надо было тебе выйти за него замуж, — ска-

зал повар.

— Я не хотела ломать ему карьеру, — сказала химическая. — Не хотела стать ему помехой. Жена — не то, что ему было нужно. О господи, что это был за мужчина!

— Очень благородно с твоей стороны, — сказал повар. — Но разве Джек Джонсон не нокаутировал его?

— Это было мошенничество, — сказала химическая. — Черномазый громила просто поймал его врасплох. Стив только что послал в нокдаун эту черную образину и не ожидал от ниггера ответного удара.

Окошко кассы открылось, и трое индейцев направились к нему.

— Стив сбил его с ног, — рассказывала химическая, — и повернулся, чтобы улыбнуться мне.

— Ты же сказала, что не была с ним на взморье, — напомнил кто-то.

— Я приехала только посмотреть этот бой. Стив повернулся, чтобы улыбнуться мне, а этот черный сукин сын выпрыгнул, как из преисподней, и ударил совершенно неожиданно. Стив мог справиться с сотней таких, как этот черный ублюдок.

— Он был великим боксером, — сказал лесоруб.

— Был! Бог тому свидетель, — сказала химическая. — И Бог свидетель, что теперь таких уже нет. Он сам был словно бог, точно. Такой белый и чистый, и красивый, и гладкий, и быстрый, как тигр или как молния.

— Я видел этот бой в кино, — сказал Том.

Мы все были очень растроганы ее рассказом. Алиса вся тряслась, я посмотрел на нее и увидел, что она плачет. Индейцы вышли на перрон.

— Он был для меня больше, чем любой муж, — сказала химическая. — Мы были мужем и женой перед Богом, и я до сих пор принадлежу ему, и всегда буду принадлежать, вся, до конца. Плевать мне на свое тело. Пусть кто хочет берет его. Но моя душа принадлежит Стиву Кетчелу. Боже милостивый, это был мужчина так мужчина.

Всем стало не по себе. Всем было грустно и неловко. А потом заговорила Алиса, которая не переставала трястись.

— Все ты бессовестно врешь, — сказала она низким голосом. — Никогда ты не спала со Стивом Кетчелом, и сама это прекрасно знаешь.

— Да как ты смеешь так говорить! — заносчиво сказала химическая.

— Говорю, потому что это правда, — отозвалась Алиса. — Я здесь единственная, кто знал Стива

Кетчела, я приехала из Манселоны и знала его еще там, вот это правда, и ты знаешь, что это правда, разрази меня гром тут на месте, если это неправда.

— И меня разрази, — сказала химическая.

— Это правда, правда, правда, и ты это знаешь. Это не какие-то там твои россказни, я точно знаю, что он мне сказал.

— И что же такое он тебе сказал? — самодовольно спросила химическая.

Алиса так рыдала и тряслась, что едва могла говорить.

— Он сказал: «Мировая ты баба, Алиса». Вот что он сказал.

— Это вранье, — сказала химическая.

— Это правда, — сказала Алиса. — Именно так он и сказал.

— Вранье, — заносчиво повторила химическая.

— Нет, это правда, правда, правда, Иисусом и Богородицей клянусь — правда.

— Стив не мог так сказать. Он так не выражался, — задиристо сказала химическая.

— Это правда, — сказала Алиса своим приятным голосом. — И мне плевать, веришь ты или нет. — Она больше не плакала, теперь она была

спокойна.

— Стив ни за что так бы не сказал, — заявила химическая.

— Он сказал это. — Алиса улыбнулась. — И я помню, когда он это сказал, и *я действительно* была тогда мировой бабой, точно как он сказал, да я и теперь получше тебя буду, старая ты пустая грелка.

— Не старайся, тебе меня не оскорбить, язвища гнойная, — сказала химическая. — Мои воспоминания всегда со мной.

— Нет, — очаровательно сладким голосом возразила Алиса, — нет у тебя никаких настоящих воспоминаний, кроме воспоминаний о том, как тебе трубы перевязывали и как ты первый раз заразилась «с» и «т»[58]. Все остальное ты просто вычитала в газетах. А я — здорова, ты это знаешь, и мужчинам я нравлюсь, хоть я и толстая, это ты тоже знаешь, и я никогда не вру, и это ты тоже знаешь.

— Оставь в покое меня и мои воспоминания, — сказала химическая. — Мои правдивые и прекрасные воспоминания.

Алиса посмотрела на нее, потом на нас, му-

---

[58] Примечания: 58

Видимо, имеются в виду первые буквы названий венерических болезней — сифилис и триппер.

чительное выражение сошло с ее лица, она улыбнулась, и лицо ее стало таким милым, какого я и не видел-то, кажется, никогда. У нее было очень милое лицо и красивая гладкая кожа, и очаровательный голос, и сама она была по-настоящему милой и искренне дружелюбной. Но боже ж мой, какой она была толстой! Ее толщины хватило бы на двух, нет, трех женщин! Том увидел, как я смотрю на нее, и сказал:

— Ну, хватит, пошли.

— До свидания, — сказала Алиса. Голос у нее и впрямь был очаровательный.

— До свидания, — сказал я.

— Так в какую сторону вы направляетесь, ребята? — спросил повар.

— В другую, — ответил ему Том.

Счастливых праздников, джентльмены!

В те времена расстояния были совсем другими, пыль несло с холмов — теперь их сровняли с землей, — и Канзас-Сити больше всего походил на Константинополь. Быть может, вам не верится. Никому не верится, хоть это и правда. В тот вечер шел снег, и в витрине магазина автомобилей, светлея на фоне ранних сумерек, стояла гоночная машина, вся посеребренная, с надписью «Дансаржан» на капоте. По-моему, это значило не то серебряный танец, не то серебряный танцор, и хотя я точно не знал, что правильней, я шел по заснеженной улице, любуясь красотой машины и радуясь знанию иностранного языка. Шел я из салуна братьев Вульф, где на Рождество и в День благодарения бесплатно угощали жареной индейкой, к городской больнице, стоявшей на высоком холме, над дымами, домами и улицами города. В приемном покое больницы сидели два хирурга «Скорой помощи» — док Фишер у письменного стола и доктор Уилкокс — в кресле, у стенки.

Док Фишер был худощавый рыжеватый блондин, с тонкими губами, насмешливым взглядом и руками игрока. Доктор Уилкокс, низкорослый и чернявый, всегда носил при себе справочник «Спутник и друг молодого врача», где для каждой болезни были указаны симптомы и лечение. В справочнике был указатель, и по нему, отыскав симптомы, можно было поставить диагноз. Док Фишер предлагал в следующем издании добавить такой указатель, чтобы по способу лечения можно было бы угадать болезнь и симптомы. «Для освежения памяти», — говорил он.

Доктор Уилкокс стеснялся справочника, но обойтись без него не мог. Книжка была переплетена в мягкую кожу, легко умещалась в кармане пиджака, и купил он ее по совету одного из профессоров, который сказал:

— Врач вы никуда не годный, Уилкокс, и я приложил все усилия, чтобы вам не выдавали диплом. Но так как вы все же стали представителем сей ученой профессии, советую вам, для блага человечества, приобрести справочник «Спутник и друг молодого врача» и пользоваться им. Научитесь хотя бы этому.

Доктор Уилкокс ничего не ответил, но в тот же день приобрел книжку в кожаном переплете.

— Привет, Хорейс, — сказал док Фишер, когда я вошел в приемную, где пахло табаком, йодоформом, карболкой и перегретыми радиаторами.

— Джентльмены! — сказал я.

— Что нового в Риальто? — спросил док Фишер. Он любил несколько вычурные фразы. Мне это казалось верхом изысканности.

— Бесплатная индейка у Вульфа, — ответил я.

— И вы вкусили?

— Обильно.

— Много ли коллег присутствовало?

— Все, весь штат.

— Бурно веселились, как положено в сочельник?

— Не очень.

— Вот доктор Уилкокс тоже слегка вкусил, — сказал док Фишер.

Доктор Уилкокс поглядел на него, потом на меня.

— Выпьем? — спросил он.

— Нет, спасибо, — сказал я.

— Как хотите, — сказал доктор Уилкокс.

— Хорейс, — сказал док Фишер, — вы не возражаете, что я называю вас просто Хорейс?

— Нет.

— Славно, Хорейс, старина. А у нас тут был пре-

занятный случай.

— Да уж, — сказал доктор Уилкокс.

— Помните мальчика, того, что приходил сюда вчера вечером?

— Это какого?

— Того, что избрал удел евнуха.

— Помню.

Я был тут, когда он пришел. Мальчику было лет шестнадцать. Он вошел без шапки, очень взволнованный и перепуганный, но решительный. Он был кудряв, хорошо сложен, с крупным выпуклым ртом.

— Тебе что, сынок? — спросил доктор Уилкокс.

— Хочу, чтоб меня кастрировали, — сказал мальчик.

— Зачем? — спросил док Фишер.

— Я и молился, и чего только не делал — не помогает…

— Чему не помогает?

— Изгнать гнусную похоть.

— Гнусную похоть?

— То, что со мной творится. И никак не остановить. Всю ночь молюсь — не помогает.

— А что с тобой делается? — спросил док Фишер.

Мальчик объяснил.

— Слушай, мальчик, — сказал док Фишер. — Ничего плохого в этом нет. Все так, как надо. Ничего тут плохого нет.

— Нет, это плохо, — сказал мальчик. — Это грех против целомудрия. Грех против Господа и Спасителя нашего.

— Нет, — сказал док Фишер. — Все это естественно, так и надо, потом ты поймешь, что в этом — счастье.

— Ах, ничего вы не понимаете, — сказал мальчик.

— Выслушай меня, — сказал док Фишер и стал ему объяснять всякие вещи.

— Нет, не буду я вас слушать. Вы меня не заставите.

— Да ты выслушай, прошу тебя, — сказал док Фишер.

— Дурак ты, и больше ничего, — сказал доктор Уилкокс.

— Значит, не сделаете?

— Чего это?

— Не кастрируете меня?

— Слушай, — сказал док Фишер. — Никто тебя кастрировать не станет. Ничего плохого в твоем теле нет. У тебя прекрасное тело, и перестань об этом думать. А если ты верующий, так помни,

что то, на что ты жалуешься, вовсе не греховное состояние, а средство принятия таинства.

— Никак не могу остановиться, — сказал мальчик. — Всю ночь молюсь и днем молюсь. Нет, это грех, вечный грех против целомудрия.

— Да иди ты… — сказал доктор Уилкокс.

— Когда так со мной говорят, я не слушаю, — сказал мальчик с достоинством доктору Уилкоксу. — Я вас очень прошу, сделайте! — обратился он к доку Фишеру.

— Нет, — сказал док Фишер. — Нет, мальчик, я уже тебе сказал.

— Гоните вы его отсюда! — сказал доктор Уилкокс.

— Я сам уйду! — сказал мальчик. — Не троньте меня! Я сам уйду.

Это было вчера, часов в пять.

— Так что же случилось? — спросил я.

— А то, что нынче, в час ночи, к нам привезли этого мальчика, — сказал док Фишер, — искалечил себя бритвой…

— Кастрировался?

— Нет, — сказал док Фишер, — он не понимал, что такое кастрация.

— Помрет, наверно, — сказал доктор Уилкокс.

— Почему?

— Крови много потерял.

— Наш добрый врачеватель, доктор Уилкокс, мой коллега, был на посту, но не смог найти указания на такой случай в своем справочнике.

— Идите вы к черту с вашими разговорчиками, — сказал доктор Уилкокс.

— Но я же выражаю лишь самое дружественное сочувствие, доктор, — сказал док Фишер, глядя на свои руки, — руки, причинившие ему столько неприятностей из-за его постоянной готовности помочь и полного пренебрежения к федеральным законам. — Вот и Хорейс подтвердит, что мои слова полны самых дружественных чувств. Дело в том, что юноша произвел себе ампутацию, Хорейс.

— Ну и нечего ко мне цепляться, — сказал доктор Уилкокс, — я бы вас попросил ко мне не цепляться.

— Цепляться к вам, доктор? Да еще в такой день — в день Рождества Господа нашего и Спасителя?

–*Нашего* Спасителя? Вы ведь, кажется, еврей? — сказал доктор Уилкокс.

— Верно, верно. Да, верно. Вечно я об этом забываю. Как-то не придаешь значения. Благодарю вас за напоминание, вы очень добры. Правильно.*Ваш*

Спаситель, без всякого сомнения — именно*ваш* Спаситель, — тут и весь путь к светлому Христову воскресению.

— Больно вы умный, — сказал доктор Уилкокс.

— Блестящий диагноз, доктор. Всегда я был больно умный. Во всяком случае, для тех краев. Никогда не умничайте, Хорейс. Правда, особых наклонностей к этому у вас нет, но проблески иногда замечаются. Но какой диагноз! И притом — без справочника!

— Катитесь к черту в зубы! — сказал доктор Уилкокс.

— Все во благовремении, доктор, все во благовремении. Если есть ад, то я, непременно, посещу его. Я даже как-то туда заглядывал. Мельком, конечно. Сразу отвернулся, тут же. А знаете, что сказал этот юноша, когда наш добрый доктор привез его сюда? Он сказал: «Я же просил вас — сделайте сами! Я вас так просил…»

— Да еще на Рождество! — сказал доктор Уилкокс.

— Вряд ли торжественность этого дня имеет тут особое значение, — сказал док Фишер.

— Может, для вас и не имеет, — сказал доктор Уилкокс.

— Слышите, Хорейс? Доктор обнаружил мое

уязвимое место, так сказать, мою ахиллесову пяту, и сумел обратить это в свою пользу.

— Больно вы умный, — сказал доктор Уилкокс.

Перемены

— Ну, — сказал молодой человек. — Так как же?

— Нет, — сказала девушка. — Не могу.

— То есть не хочешь?

— Я не могу, — сказала девушка. — Не вкладывай другого смысла в мои слова.

— Смысл такой, что не хочешь.

— Что ж, — сказала девушка. — Пусть будет по-твоему.

— Это как раз не по-моему. А хотелось бы, чтобы было по-моему.

— До сих пор так и было, как тебе хотелось, — сказала девушка.

В этот ранний час в кафе, кроме бармена за стойкой, только эти двое сидели у столика в углу. Лето подходило к концу, и оба они были такие загорелые, что выглядели совсем не по-парижски.

На девушке был твидовый костюм, ее гладкая кожа отливала темным золотом, белокурые волосы были коротко подстрижены и откинуты со лба, открывая его прекрасную линию. Молодой человек посмотрел на нее.

— Я ее убью, — сказал он.

— Не надо, прошу тебя, — сказала девушка. У нее были прелестные руки, и молодой человек перевел взгляд на них. Узкие, загорелые и очень красивые руки.

— Убью. Клянусь богом, убью.

— Легче от этого тебе не станет.

— Ничего умнее ты не могла выдумать? Не могла впутаться в какую-нибудь другую историю?

— Видимо, нет, — сказала девушка. — Что же ты по этому поводу думаешь делать?

— Я уже говорил тебе.

— Нет, правда?

— Не знаю, — сказал он. Она посмотрела на него и протянула ему руку.

— Бедный мой Фил, — сказала она. Он посмотрел на ее руки, но той, что она протянула, не коснулся.

— Спасибо, не надо, — сказал он.

— Просить прощения не стоит?

— Не стоит.

— Может, объяснить — почему?

— Нет, уволь.

— Я очень люблю тебя.

— Да, доказательства налицо.

— Как жаль, — сказала она, — что ты не понимаешь.

— Я понимаю. В том-то и беда. Я все понимаю.

— Да, ты понимаешь, — сказала она. — И от этого, конечно, тебе тяжелее.

— Еще бы, — сказал он, глядя на нее. — И все время буду понимать. И днем и по ночам. Особенно по ночам. Буду, буду понимать. На этот счет можешь не беспокоиться.

— Прости, — сказала она.

— Если б это был мужчина…

— Зачем ты так говоришь? Мужчины бы не было. Ты это знаешь. Ты не веришь мне?

— Вот интересно! — сказал он. — Верить! Очень интересно.

— Прости, — сказала она. — Я, кажется, одно это и твержу. Но если мы понимаем друг друга, стоит ли притворяться, будто понимания нет.

— Верно, — сказал он. — Действительно, не стоит.

— Если хочешь, я вернусь к тебе.

— Нет. Не хочу.

Несколько минут они молчали.

— Ты не веришь, что я люблю тебя? — спросила девушка.

— Перестанем молоть чепуху, — сказал молодой человек.

— Ты правда не веришь, что я тебя люблю?

— А ты бы доказала это на деле.

— Ты раньше был не такой. Ты никогда не требовал от меня доказательств. Это невежливо.

— Смешная ты девочка.

— А ты нет. Ты хороший, и у меня сердце разрывается, оттого что я тебя бросаю и ухожу.

— Да ведь ты иначе не можешь.

— Да, — сказала она. — Не могу, и ты это знаешь.

Он замолчал, и она посмотрела на него и опять протянула ему руку. Бармен стоял у дальнего конца стойки. Лицо у него было белое, и такая же белая была куртка. Он знал этих двоих и считал их красивой парой. Ему много пришлось перевидать, как такие вот молодые, красивые расходились, потом сходились в новые пары и не так уж долго сохраняли свою красоту. Сейчас он думал не о них, он думал о лошади. Через полчаса можно будет послать через дорогу и справиться, не выиграла ли его лошадка.

— Отпусти меня, почему ты не сжалишься надо мной? — спросила девушка.

— А что я, по-твоему, собираюсь сделать?

В кафе вошли двое и остановились у стойки.

— Слушаю, сэр, — сказал бармен, приняв заказ.

— И ты не можешь простить меня? Когда все

знаешь? — спросила девушка.

— Нет.

— По-твоему, все, что между нами было, все, что мы с тобой испытали, не научило нас понимать?

— Порока мерзостную харю, — с горечью сказал молодой человек, — та-та-та-та когда узришь. Потом что-то там еще и та-та в объятия заключишь. — Всех слов он не помнил. — Я не силен в цитатах.

— Почему же порок? — сказала она. — Невежливо так говорить.

— Извращение, — сказал он.

— Джеймс, — обратился к бармену один из вошедших. — Ты прекрасно выглядишь.

— Вы сами прекрасно выглядите, — сказал бармен.

— Старина Джеймс, — сказал другой. — Ты толстеешь, Джеймс.

— Так меня разносит, — сказал бармен, — страшное дело!

— Не забудь подлить коньяка, Джеймс, — сказал первый.

— Что вы, сэр, — сказал бармен. — Можете не сомневаться.

Двое у стойки посмотрели на тех двоих за столиком, потом опять на бармена. В этом на-

правлении смотреть было спокойнее.

— Я тебя все-таки прошу не говорить таких слов, — сказала девушка. — Такие слова ни к чему.

— Как же прикажешь это называть?

— А никак не надо. Не надо давать этому название.

— Так это называется.

— Нет, — сказала она. — Мы слеплены из разных кусочков. Ты это знал. И пользовался этим, сколько хотел.

— Этого можешь не повторять.

— Я хочу, чтобы тебе было понятнее.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Хорошо.

— Говоришь, хорошо, а думаешь, плохо. Да, я знаю. Это плохо. Но я вернусь к тебе. Я же сказала, что вернусь. Вот сейчас вернусь.

— Нет, не вернешься.

— Вернусь.

— Нет, не вернешься. Во всяком случае, не ко мне.

— Вот увидишь.

— Да, — сказал он. — В том-то и весь ужас. Очень может быть, что и вернешься.

— Конечно, вернусь.

— Тогда уходи.

— Правда? — Она не поверила ему, но голос у нее был радостный.

— Уходи. — Он сам не узнал своего голоса. Он смотрел на нее, на извилинку ее губ и на линию скул, на ее глаза и на то, как у нее были откинуты волосы со лба, и на кончик ее уха, и на шею.

— Нет, правда, можно? Какой ты милый, — сказала она. — Какой ты добрый.

— А когда вернешься, все мне подробно расскажешь. — Голос у него звучал странно. Он сам не узнал своего голоса. Она быстро взглянула на него. Что-то в нем устоялось.

— Ты хочешь, чтобы я ушла? — серьезно проговорила она.

— Да, — серьезно проговорил он. — Сейчас уходи. Сию же минуту. — Голос у него был чужой и во рту пересохло. — Немедленно, — сказал он.

Она встала и быстро пошла к двери. Она не оглянулась. Он смотрел ей вслед. До того как он сказал «уходи», лицо у него было совсем другое. Он поднялся из-за столика, взял оба чека и подошел с ними к стойке.

— Меня будто подменили, Джеймс, — сказал он бармену. — Перед тобой уже не тот человек.

— Да, сэр? — сказал Джеймс.

— Порок, — сказал загорелый молодой человек,

— очень странная вещь, Джеймс. — Он выглянул за дверь. Он увидел, как она идет по улице. Поймав свое отражение в стекле, он увидел, что его действительно будто подменили. Двое у стойки подвинулись, освобождая ему место.

— Что верно, то верно, сэр, — сказал Джеймс.

Те двое подвинулись еще немного, чтобы ему было удобнее. Молодой человек увидел себя в зеркале за стойкой.

— Я говорю, меня будто подменили, Джеймс, — сказал он. Глядя в зеркало, он убедился, что это так и есть.

— Вы прекрасно выглядите, сэр, — сказал Джеймс. — Наверно, хорошо провели лето.

Какими вы не будете

Наступление прокатилось через поле, было задержано пулеметным огнем с низкого участка дороги и из кучки фермерских домов, не встретило никакого сопротивления в городе и достигло берега реки. Проезжая по дороге на велосипеде, спешиваясь и толкая его перед собой, когда дорожное покрытие становилось слишком уж разбитым, Николас Адамс по положению тел видел, что здесь происходило.

Они лежали поодиночке или группами в высокой траве на само́м поле и вдоль дороги, с вывернутыми карманами, и мухи роились над ними, и вокруг каждого тела или группы тел валялись бумаги.

Посреди травы и неубранных хлебов, у дороги, там и сям было разбросано много всякой техники и амуниции: походная кухня — должно быть, она прибыла, когда дела шли хорошо, — множество ранцев из телячьей кожи, противотанковые ручные гранаты, каски, винтовки — иногда прикладом вверх, штыком в землю, видимо, в последний момент солдаты начали окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевые

инструменты, ящики из-под боеприпасов, ракетницы с разбросанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые сумки от противогазов, в гнезде из отстрелянных гильз — приземистый пулемет без казенника, на треноге, кожух водяного охлаждения пуст и свернут набок, снаряженные патронные ленты вываливаются из ящиков, весь пулеметный расчет в неестественных позах — рядом, на траве, и всё так же бумаги вокруг.

Повсюду валялись молитвенники, групповые фотографии — пулеметный расчет, выстроившийся в ряд, все румяные, веселые, как футбольная команда на фотографии для школьного ежегодника; теперь они лежали в траве, скорчившиеся и распухшие, — пропагандистские открытки с изображением солдата в австрийской форме, опрокидывающего женщину на кровать; рисунки были выполнены в импрессионистической манере, с привлекательными персонажами, и не имели ничего общего с реальной картиной изнасилования, когда женщине задирают юбку и натягивают подол на голову, чтобы заглушить крики, а иногда кто-то из товарищей еще и сидит у нее на голове. Таких стимулирующих открыток прямо накануне наступления, судя по

всему, было выпущено множество. Теперь они лежали на земле вперемешку с непристойными фотооткрытками, маленькими карточками деревенских девушек, сделанными деревенскими фотографами, иногда с детскими фотографиями и письмами, письмами, письмами. Вокруг погибших всегда и везде валяется много бумаг, и обломки этого наступления не составляли исключения.

Эти трупы были недавними, и никто ни о чем не позаботился, кроме как об их карманах. Ник заметил, что наших мертвых, или тех, о которых он все еще думал как о «наших мертвых», было на удивление мало. Мундиры у них тоже были расстегнуты и карманы вывернуты, и по положению их тел можно было понять, как именно и насколько искусно велось наступление. И распухли от жары все одинаково, независимо от национальной принадлежности.

Под конец город, очевидно, оборонялся лишь огнем с нижнего участка дороги, и мало у кого из австрийцев была возможность отступить — если у кого-то она вообще была. На улицах лежало всего трое убитых, и по тому, как именно лежали тела, было ясно, что застрелили их, когда они убегали. Дома были разрушены снарядами,

улицы завалены грудами штукатурки, цемента, сломанными балками, разбитой черепицей, а в стенах зияло множество дыр, пожелтевших по краям от горчичного газа. Все это было усеяно шрапнелью и осколками снарядов. В городе не осталось ни единой живой души.

Нику Адамсу, с тех пор как он покинул Форначи, не встретился ни один человек, хотя, проезжая по густо заросшей деревьями местности, он догадался, что слева от дороги, под завесой тутовой листвы, спрятаны орудия, их присутствие выдавали волны горячего воздуха от раскаленного солнцем металла, поднимавшиеся над ними. Потом он пересек город из конца в конец, удивляясь тому, что тот совершенно пуст, и съехал в низину, через которую дорога вела к берегу реки. Сразу за городом начиналось открытое голое пространство, дорога здесь бежала под уклон, и он мог издали видеть внизу гладкую поверхность реки, плавный изгиб противоположного берега и покрытую выбеленным, спекшимся на солнце илом полосу прибрежной земли, где австрийцы прорыли окопы. С тех пор как он видел эти места последний раз, все здесь буйно разрослось и пышно зазеленело, и несмотря на то, что место стало историческим, оно ничуть не изменилось

— все тот же низкий берег.

Батальон занимал позицию вдоль реки слева. По склону высокого берега тянулась цепочка окопов, кое-где в них виднелись люди. Ник заметил, где располагаются пулеметные гнезда и где установлены на своих станках сигнальные ракеты. Люди в окопах на склоне реки спали. Никто не спросил у него пароля. Ник Адамс прошел дальше, и только когда он вышел из-за поворота, огибавшего земляной вал, на него наставил пистолет юный младший лейтенант с давно не бритой щетиной на лице и очень красными глазами в обрамлении таких же воспаленных покрасневших век.

— Вы кто?

Ник представился.

— Чем можете подтвердить?

Ник протянул ему свою tessera[59] с фотографией и печатью Третьей армии, удостоверявшую его личность. Офицер взял ее.

— Это я пока оставлю у себя.

— Ничего подобного, — сказал Ник. — Отдайте мое удостоверение и уберите свой пистолет. Вон туда, в кобуру.

---

[59] Примечания: 59
Tessera (*um.*) — билет, пропуск.

— А откуда мне знать, кто вы такой?

— Вы видели мою tessera.

— А если tessera фальшивая? Дайте-ка ее сюда.

— Не валяйте дурака, — весело сказал Ник. — Проводите меня к командиру роты.

— Я должен отправить вас в штаб батальона.

— Ну ладно, — сказал Ник, — послушайте, вы знаете капитана Паравичини? Высокий такой, с маленькими усиками, который был до войны архитектором и говорит по-английски?

— А вы его знаете?

— Немного.

— Какой ротой он командует?

— Второй.

— Он командует батальоном.

— Отлично, — сказал Ник. Он был рад узнать, что Пара жив-здоров. — Тогда пошли в штаб батальона.

Когда Ник покидал пределы города, три шрапнельных снаряда разорвались справа высоко над разрушенными домами, и с тех пор обстрел не возобновлялся ни разу. Но у этого младшего офицера было такое выражение лица, какое бывает у человека в разгар артобстрела, — такое же напряженное. И голос звучал неестественно. Его пистолет нервировал Ника.

— Уберите его, — повторил он. — Между ними и вами — целая река.

— Если бы я считал, что вы шпион, я бы уже давно вас пристрелил, — сказал младший лейтенант.

— Ну ладно, — сказал Ник. — Пошли в штаб батальона. — Этот офицер очень его нервировал.

В блиндаже, служившем штабом батальона, занимавший майорскую должность капитан Паравичини, еще более худой и еще больше похожий на англичанина, чем прежде, встал из-за стола, когда Ник с порога взял под козырек.

— Привет, — сказал он. — Тебя не узнать. Что ты делаешь в этой форме?

— Меня в нее обрядили.

— Я очень рад тебя видеть, Николо.

— Взаимно. Вы хорошо выглядите. Как прошло представление?

— Мы провели наступление отлично. Правда. Отличное наступление. Я тебе покажу. Смотри.

Он продемонстрировал по карте, как развивалось наступление.

— Я ехал из Форначи, — сказал Ник. — И видел, как оно проходило. Действительно здорово.

— Исключительно. Совершенно исключительно. Ты прикомандирован к нашему полку?

— Нет. Мне предписано объехать позиции и продемонстрировать форму.

— Ну и задание.

— Предполагается, что, увидев одного американца в форме, люди поверят, что другие на подходе.

— А откуда им знать, что эта форма американская?

— Вы им сообщите.

— А-а! Ну да, понятно. Я отряжу капрала, который будет тебя сопровождать, и ты проедешь с ним по всей передовой.

— Как какой-нибудь политик-трепач, — сказал Ник.

— В штатском ты бы выглядел гораздо солидней. Штатская одежда придает солидности.

— Особенно если в шляпе, — сказал Ник.

— В велюровой, с вмятиной на тулье, — подхватил капитан.

— Вообще-то карманы у меня должны быть набиты сигаретами, почтовыми открытками и прочей чепухой, — сказал Ник. — А вещмешок — шоколадом. И все это я должен раздавать, сопровождая добрым словом и дружеским похлопыванием по спине. Но ни сигарет, ни открыток, ни шоколада у них не оказалось. Поэтому мне

велели просто послоняться тут.

— Уверен, твое появление и без того окажет воодушевляющее воздействие на войска.

— Не надо, — сказал Ник. — Меня и так воротит от всего этого. В принципе я должен был бы привезти вам бутылку коньяка.

— В принципе, — сказал Пара и в первый раз улыбнулся, обнажив желтые зубы. — Какое милое выражение. Хочешь стаканчик граппы?

— Нет, благодарю, — сказал Ник.

— Она совсем без эфира.

— У меня тот вкус до сих пор на языке стоит.

Ник вдруг все отчетливо вспомнил.

— Знаешь, у меня даже мысли не было о том, что ты пьян, пока ты не разболтался на обратном пути в грузовике.

— Я надирался тогда перед каждой атакой, — сказал Ник.

— А я вот не могу, — сказал Пара. — Напился было перед первым боем, перед самым первым, но от этого у меня только случилось расстройство желудка, а потом страшно мучила жажда.

— Вам это не нужно.

— В бою ты гораздо храбрей меня.

— Нет, — сказал Ник. — Я себя знаю и предпочитаю надираться. И не стыжусь этого.

— Я никогда не видел тебя пьяным.

— Разве? — сказал Ник. — Никогда? Даже в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде и я захотел спать и принял велосипед за одеяло и натянул его на себя до самого подбородка?

— То было не на передовой.

— Давайте не будем обо мне, — сказал Ник. — Этот предмет я знаю слишком хорошо, чтобы у меня было желание обсуждать его дальше.

— Ты можешь немного здесь задержаться, — сказал Паравичини. — Поспи, если хочешь. Там, снаружи, еще слишком жарко. А эту берлогу даже бомбы не пробили.

— Да, думаю, особой спешки нет.

— Ну, а если откровенно, как ты?

— Прекрасно. У меня абсолютно все в порядке.

— Нет, я серьезно.

— У меня все в порядке. Разве что спать без света пока не могу. Но и только.

— Я же говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но это знаю точно.

— Ну, они решили, что лучше подождать, пока само пройдет, вот я с этим и живу. А что? По-вашему, я выгляжу чокнутым?

— Выглядишь ты превосходно.

— Чертовски неприятно, когда тебя официаль-

но признают психом, — сказал Ник. — Никто больше в тебя не верит.

— Я бы на твоем месте поспал, Николо, — сказал Паравичини. — Тут, конечно, не такой штабной блиндаж, какой был у нас раньше. Но мы ждем, что нас скоро отсюда переведут. Я бы не советовал тебе пока выходить на солнцепек — это неразумно. Ложись вон на ту койку.

— Прилягу, пожалуй, ненадолго.

Ник лег на койку. Он был очень расстроен своим состоянием, а еще больше тем, что оно было очевидно капитану Паравичини. Этот блиндаж был не таким большим, как тот, в котором взвод новобранцев 1899 года рождения, только что прибывших на фронт, бился в истерике во время артиллерийской подготовки перед атакой, и Пара приказал ему выводить их парами наружу, чтобы показать, что ничего с ними не случится; Ник и сам тогда подтянул до упора подбородочный ремень каски, чтобы губы не дрожали. И вот, зная, что они не смогут удержать позицию, когда возьмут ее, зная, что все это — чертова мясорубка, и все же: если он не перестанет скулить, сверни ему нос, чтобы ему было о чем другом подумать. Я бы пристрелил одного для устрашения, да теперь уже поздно. Их еще хуже развезет. Сверни ему

нос. Начало перенесено на пять двадцать. У нас осталось всего четыре минуты. Сверни нос тому тупому мерзавцу и вытолкай его отсюда коленкой под зад. Думаешь, они сами поднимутся? А если нет, пристрели парочку и, кровь из носа, вытолкай остальных. Держись позади, сержант. Какой толк, если ты пойдешь впереди и обнаружишь, что за тобой никого нет? Гони их перед собой. Чертова мясорубка. Ладно. Все нормально. Потом, посмотрев на часы, уже спокойным тоном, тем самым веским спокойным тоном: «Савойя». На трезвую голову, не успев приложиться — а потом где уж было искать, если и себя было не найти после обвала, когда обрушилось полблиндажа, это-то и выгнало их наружу и погнало по склону, — тогда он единственный раз шел в атаку не надравшись. А когда они вернулись, оказалось, что сгорела станция*teleferica*[60], и некоторых раненых удалось спустить вниз только через четыре дня, а некоторых и вовсе не удалось, но мы взбирались в гору и спускались вниз — мы всегда возвращались. И была там, как ни странно, Габи Делис[61], вся в перьях; куколкой своею ты звал

[60] Примечания: 60
Teleferica (*um.*) — подвесная канатная дорога.

[61] Примечания: 61
Французская актриса и танцовщица.

меня год назад тра-ля-ля-ля, ласкать меня днем и ночью ты был бесконечно рад тра-ля-ля-ля, в перьях и без перьев прекрасна великая Габи, и меня тоже зовут Харри Пилсер[62], мы бывало выходили из такси, когда оно больше не могло ехать, потому что подъем становился слишком крутым, он каждую ночь видел этот крутой подъем во сне, а на вершине, как белый мыльный пузырь, вздувалась Сакре-Кер. Иногда его девушка была с ним, а иногда с кем-то другим, и он не мог этого понять, но это случалось в те ночи, когда река была гораздо шире и текла гораздо спокойней, чем должна была, а за Фоссальтой стоял невысокий дом, выкрашенный желтой краской и обсаженный со всех сторон ивами, и рядом была приземистая конюшня, и протекал канал, ведь он бывал там тысячу раз и никогда не видел всего этого, а теперь оно являлось ему каждую ночь так же отчетливо, как холм, только оно пугало его. Этот дом значил больше, чем что-либо другое, и снился ему каждую ночь. Именно это было ему нужно, но оно же и пугало его, особенно когда лодка тихо качалась на воде среди ив, а берега были не такими, как у этой реки, а еще более

[62] Примечания: 62
Американский актер, муж Габи Делис.

низкими, как в Портогранде, где они видели, как те переправлялись через затопленную низину, держа винтовки высоко над головами, пока не ушли вместе с ними под воду. Кто отдал такой приказ? Если бы, черт возьми, все так дьявольски не перепуталось, он бы во всем прекрасно разобрался. Вот почему он подмечал все в малейших подробностях и старался запечатлеть в памяти, чтобы знать, что и как, но иногда, безо всякой причины, все путалось, как вот сейчас, когда он, в дурацкой американской форме, лежит на койке в штабе батальона, которым командует Пара. Он сел и огляделся, все смотрели на него. Пара куда-то вышел. Он снова лег.

Начиналось всегда с парижского периода, но он его не пугал, разве только если она уходила с кем-то другим или он боялся, что им дважды попадется один и тот же таксист. Страшно было только это. А все, что касалось фронта, — нет. Фронт ему теперь больше и не снился, но что пугало его настолько, что он никак не мог избавиться от этого страха, так это длинный желтый дом и другая ширина реки. Сейчас он опять здесь, у реки, он проехал через тот же самый город, и никакого такого дома здесь не было. И река выглядела как положено. Так куда же он переносился

каждую ночь и в чем заключалась опасность, и почему он просыпался промокшим насквозь, испытывая больший страх, чем когда бы то ни было во время бомбежки? И все из-за какого-то дома, длинной конюшни и канала.

Он сел; осторожно спустил ноги на пол; они затекали всегда, когда он долго держал их вытянутыми; посмотрел на уставившихся на него от двери сержанта, связистов и двух ординарцев и надел свою каску, обтянутую парусиной.

— Сожалею, что у меня нет ни шоколада, ни почтовых открыток, ни сигарет, — сказал он. — Зато на мне — форма.

— Майор сейчас вернется, — сказал сержант. В этой армии звание сержанта не являлось офицерским.

— Форма не совсем правильная, — сказал им Ник. — Но общее представление дает. Скоро здесь будет несколько миллионов американцев.

— Вы думаете, что сюда пришлют американцев? — спросил сержант.

— О, безусловно. Американцев, вдвое выше меня ростом, здоровых, с чистыми сердцами, спящих по ночам, никогда не бывших раненными, никогда не бывших контуженными, не пьющих, хранящих верность своим девушкам,

оставшимся дома, и по большей части не знающих, что такое лобковые вши, — славные парни. Вот увидите.

— Вы итальянец? — спросил сержант.

— Нет, американец. Посмотрите на мой мундир. Его сшил Спаньолини, но он не совсем правильный.

— Северный или южный американец?

— Северный, — сказал Ник. Он чувствовал, что на него снова накатывает. Нужно поменьше болтать.

— Но вы говорите по-итальянски.

— А почему бы нет? Вы что-то имеете против? Разве я не имею права говорить по-итальянски?

— У вас итальянские медали.

— Пока только ленточки и удостоверения. Сами медали присылают позже. А то дашь их кому-нибудь на хранение, а человек уедет; или они потеряются со всем прочим багажом. В Милане, правда, можно купить новые. Документы — вот что действительно важно. Да вы не расстраивайтесь. Пробудете на фронте достаточно долго — тоже получите.

— Я ветеран эритрейской кампании, — чопорно заметил сержант. — Я сражался в Триполи.

— Большая честь познакомиться с вами, — ска-

зал Ник и протянул руку. — Нелегкие, должно быть, выпали вам денечки. Я заметил ваши нашивки. А в Карсо вы случайно не бывали?

— Меня только что призвали. В начале войны я по возрасту не подлежал призыву — слишком стар.

— А я еще недавно был слишком молод, — сказал Ник. — А теперь я демобилизован с фронта.

— И почему же вы сейчас здесь?

— Демонстрирую американскую форму, — сказал Ник. — Думаете, это не важное дело? Мне, правда, воротничок немного жмет, но скоро вы увидите, как неисчислимые миллионы одетых в эту форму парней налетят сюда, как саранча. Кузнечики. Вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнечиками, это та же саранча. Настоящий кузнечик маленький и зеленый, и сравнительно слабенький. Тем не менее не надо путать его с семилетней саранчой или цикадой, которая издает своеобразный непрерывный звук, правда, сейчас я не могу его припомнить. Стараюсь, но не могу. То почти слышу его — то он пропадает. Вы извините меня, если я прерву наш разговор?

— Пойди поищи майора, — сказал сержант одному из двух ординарцев. — Вижу, вы были ранены, — снова обратился он к Нику.

— В самые разные места, — ответил Ник. — Если вы интересуетесь шрамами, могу показать вам очень интересные, но я бы предпочел поговорить о кузнечиках; то есть о том, что мы называем кузнечиками и что на самом деле представляет собой саранчу. Когда-то эти насекомые играли очень важную роль в моей жизни. Возможно, вам это будет интересно, а вы можете рассматривать мою форму, пока я буду рассказывать.

Сержант рукой сделал знак второму ординарцу, и тот вышел.

— Сосредоточьтесь на форме. Ее сшил Спаньолини, это вы уже знаете. Вы тоже можете смотреть, — сказал Ник связистам. — На самом деле у меня нет никакого звания. Мы приданы американскому консулу. Вы не стесняйтесь, смотрите. Глазейте сколько хотите. Я вам расскажу про американскую саранчу. Мы всегда предпочитали ту, которую называли средней коричневой. Они лучше всех сохраняются в воде, и рыба тоже их предпочитает. Те, что покрупнее, летают и издают звук, похожий на тот, что издает гремучая змея, когда она гремит своими погремушками, очень сухой звук, у нее ярко окрашенные крылышки, иногда ярко-красные, иногда желтые в черную полоску, но эти крылышки в

воде распадаются на кусочки, так что наживка из этой саранчи никакая, а вот средняя коричневая — это пухленький, крепенький, мясистенький попрыгунчик, которого я могу рекомендовать, насколько можно рекомендовать что-то, с чем вам, джентльмены, вероятно, никогда не доведется встретиться. Но я должен подчеркнуть, что вы никогда не наберете достаточного количества этих насекомых на день рыбной ловли, если будете ловить их голыми руками или попытаетесь сшибать палкой. Это будет полной бессмыслицей и пустой тратой времени. Повторяю, джентльмены, это ни к чему не приведет. Правильный способ, которому следует обучать всех молодых офицеров на занятиях по стрелковому оружию, это, я бы сказал, если бы мне пришлось высказываться на эту тему — а кто знает, на какую тему мне придется высказываться, — это использовать невод или сеть, сделанную из обычной москитной сетки. Два офицера держат кусок такой сетки с противоположных концов, или, скажем так, они становятся с двух сторон, наклоняются, держат один край внизу, другой поднимают вверх и бегут против ветра. Попрыгунчики, которых гонит по ветру, попадают в сетку и застревают в ее ячейках. Не требуется никакой особой сно-

ровки, чтобы наловить огромное их количество, и, по моему мнению, у каждого офицера всегда должен быть про запас кусок москитной сетки, подходящий, чтобы соорудить из него ловушку для кузнечиков. Надеюсь, я все понятно объяснил, джентльмены? Вопросы? Если что-то в моей лекции осталось неясным, пожалуйста, спрашивайте. Прошу вас. Нет вопросов? Тогда я хотел бы завершить следующим. Великий полководец и джентльмен сэр Генри Уилсон сказал: джентльмены, либо повелеваете вы, либо повелевают вами. Позвольте мне повторить его слова. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы запомнили одну вещь. Одну вещь, которую я хочу чтобы вы унесли с собой, когда покинете этот зал. Джентльмены, либо повелеваете вы — либо повелевают вами. Это все, джентльмены. До свидания.

Он снял обтянутую парусиной каску, снова надел и, пригнувшись, вышел из блиндажа через низкую дверь. Пара, сопровождаемый обоими ординарцами, приближался снизу, от дороги. На солнце было очень жарко, и Ник опять снял каску.

— Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих штук, — сказал он. — Пойду

смочу свою в реке. — Он стал взбираться на насыпь.

— Николо, — окликнул его Паравичини. — Николо, ты куда идешь?

— Да, собственно, никуда ходить и не стоит. — Ник спустился обратно, держа каску в руке. — Мокрая она или сухая — один черт. А вы свою постоянно носите?

— Постоянно, — ответил Пара. — И скоро я от нее облысею. Пойдем внутрь.

Внутри Пара предложил ему сесть.

— Знаете, от них ведь совершенно никакого проку, черт их побери, — сказал Ник. — Помню, каким они казались удобством, когда нам их впервые выдали, но с тех пор я слишком часто видел их, полными мозгов.

— Николо, — сказал Пара, — думаю, тебе следует вернуться. Думаю, лучше тебе не появляться на передовой, пока тебя не снабдят всем необходимым. Нечего тебе здесь делать. Если ты будешь здесь расхаживать, даже не имея ничего сто́ящего для раздачи, люди начнут собираться вокруг тебя, а это навлечет обстрел. Мне это ни к чему.

— Я знаю, что это глупо, — сказал Ник. — Это была не моя идея. Но я прослышал, что здесь базируется наша бригада, и подумал, что смогу

повидать вас или еще кого-нибудь из знакомых. Я мог бы отправиться в Зензон или Сан-Дону. Я хотел бы побывать в Сан-Доне и еще раз взглянуть на мост.

— Я не могу допустить, чтобы ты разгуливал здесь безо всякой надобности, — сказал капитан Паравичини.

— Ладно, — сказал Ник.

Он чувствовал, что на него снова накатывает.

— Ты понял?

— Конечно, — сказал Ник.

Он старался удержать это в себе.

— Вылазки подобного рода надо предпринимать ночью.

— Естественно, — сказал Ник.

Он уже знал, что не сможет это остановить.

— Видишь ли, я командую батальоном, — сказал Пара.

— Почему бы вам не командовать им? — сказал Ник. Вот оно, уже здесь. — Вы ведь умеете читать и писать, правда?

— Умею, — мягко сказал Пара.

— Беда в том, что батальон у вас чертовски маленький. Как только его снова усилят, вас опять переведут в роту. Почему не хоронят мертвых? Я видел их по пути сюда. И мне не хочется смотреть

на них снова. Их-то можно хоронить в любое время суток, насколько я понимаю, и это будет гораздо лучше для вас. А то потом замучаетесь.

— Где ты оставил свой велосипед?

— В последнем доме.

— Думаешь, он там уцелеет?

— Не волнуйтесь, — сказал Ник. — Я скоро уйду.

— А пока приляг, Николо.

— Ладно.

Он закрыл глаза и вместо бородача, который совершенно спокойно смотрел на него через ружейный прицел, прежде чем спустить курок, вместо белой вспышки, вместо удара словно дубиной, после которого он, стоя на коленях, давился обжигающе-сладким комом, который выхаркнул на камень, пока они шли мимо него, вместо всего этого он увидел длинный желтый дом с приземистой конюшней и реку, гораздо более широкую, чем она была на самом деле, и более спокойную. «Господи, — подумал он. — Наверное, и впрямь надо идти».

— Я ухожу, Пара, — сказал он. — Поеду назад, пока светло. Если туда уже что-нибудь доставили, привезу сегодня ночью. Если нет, приеду в какую-нибудь другую ночь, когда будет что привезти.

— Жарко еще ехать, — сказал капитан Паравичини.

— Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Некоторое время со мной все будет в порядке. Один приступ только что был, но легкий. Они теперь становятся все легче. Я знаю, когда это должно вот-вот случиться, потому что начинаю слишком много болтать.

— Я пошлю с тобой ординарца.

— Лучше не надо. Дорогу я знаю.

— Так ты скоро вернешься?

— Обязательно.

— Давай я пошлю…

— Нет, — сказал Ник. — В знак доверия.

— Ну, тогда*ciao*[63].

–*Ciao*, — сказал Ник.

Он направился вниз, к дороге, и по ней туда, где оставил свой велосипед. К концу дня, когда он минует канал, дорога окажется в тени. Деревья, окаймляющие дорогу по ту сторону канала, совсем не пострадали от снарядов. Именно на этом отрезке дороги они как-то на марше повстречали Третий Савойский кавалерийский полк, всадники ехали по снегу, с пиками. В морозном воздухе

---

[63] Примечания: 63
Привет, пока (*ит.*).

из лошадиных ноздрей вырывались султанчики пара. Нет, это было где-то в другом месте. Где же это было?

— Скорей бы уж добраться до проклятого велосипеда, — сказал себе Ник. — Я не хочу заблудиться по дороге в Форначи.

Мать красавчика

Когда умер его отец, он был совсем ребенком, и его менеджер организовал вечное погребение. То есть участок закреплялся за покойником навсегда. Но когда умерла его мать, менеджер решил, что не вечно же им любиться. Конечно, они были дружками; красавчик — он такой, это всем видно. Так что менеджер похоронил его мать всего на пять лет.

Так вот, когда он вернулся в Мексику из Испании, пришло первое извещение. В нем говорилось, что это первое извещение по истечении пяти лет и что пора бы договориться о продлении материнской могилы. Вечная аренда стоила всего двадцать долларов. Тогда касса хранилась у меня, и я предложил все уладить. Но он ответил: нет, он сам все сделает. Сделает как надо. Это его мать, и он сам о ней позаботится.

Неделю спустя пришло второе извещение. Я прочел его вслух, а потом сказал: я думал, ты все устроил.

Нет, ответил он, не устроил.

— Давай я это сделаю, — сказал я. — Вот касса.

Нет, возразил он. Никто не смеет указывать

ему, что делать. Он сам все устроит, когда дойдут руки.

— Нет смысла тратить деньги раньше времени.

— Ну ладно, — ответил я. — Но не забудь этим заняться.

Тогда у него был контракт на шесть боев по четыре тысячи песо за бой плюс бенефис. Только в столице он заработал больше пятнадцати тысяч долларов. Просто он был прижимистым, вот и все.

Через неделю приходит следующее извещение, и я зачитываю его вслух. В нем говорится, что если он не заплатит до субботы, могилу его матери вскроют, а ее останки выбросят в общую кучу. Он отвечает, что займется этим во второй половине дня, когда отправится в город.

— Почему бы этим не заняться мне? — спрашиваю я.

— Не лезь в мои дела, — говорит он. — Это мое дело, и я его сделаю.

— Ладно, как знаешь, — отвечаю я. — Занимайся своими делами.

Он взял деньги из кассы, хотя всегда таскал при себе не меньше сотни песо, и повторил, что займется этим. Ушел с деньгами, и само собой, я

решил, что он все сделал.

Еще через неделю пришло новое извещение: поскольку он не ответил на последнее предупреждение, тело его матери отправили в общую могилу.

— Боже ты мой! — говорю я ему. — Ты сказал, что заплатишь, взял деньги из кассы — а теперь посмотри, что случилось с твоей матерью! Господи, только подумай! Твоя родная мать в общей могиле. Почему ты не разрешил мне все уладить? Я бы заплатил сразу после первого извещения.

— Не твое дело. Это *моя* мать.

— Верно, дело не *мое*, а *твое*. Что за кровь у тебя в жилах, раз ты позволил сотворить такое со своей матерью? Ты не заслуживаешь называться ее сыном.

— Это моя мать, — твердит он. — Теперь она мне еще дороже. Мне не нужно переживать, что она закопана в одном месте. Теперь она повсюду, в воздухе, словно птицы и цветы. Теперь она всегда будет со мной.

— Господи, — сказал я, — что за кровь у тебя в жилах? Не хочу даже говорить с тобой.

— Она повсюду, — повторил он. — Теперь мне не нужно печалиться.

Тогда он тратил кучу денег на женщин, чтобы

все думали, будто он мужик, но тех, кто его знал, ему одурачить не удавалось. Он задолжал мне шестьсот песо, однако не хотел отдавать.

— Зачем они тебе потребовались? — спросил он. — Ты мне не доверяешь? Ведь мы друзья.

— Дело не в дружбе и не в доверии. Дело в том, что пока тебя не было, я оплачивал счета из собственного кармана, а теперь мне нужны деньги, и тебе придется их отдать.

— У меня их нет.

— Есть, — возразил я. — Деньги лежат в кассе, и ты можешь мне заплатить.

— Мне самому нужны эти деньги, — сказал он. — Ты понятия не имеешь, сколько у меня расходов.

— Я торчал здесь, пока ты был в Испании, и ты разрешил мне платить за все, по всем местным счетам. Ты не присылал денег, и я отдал больше шести сотен собственных песо, а теперь они мне нужны, и ты мне их вернешь.

— Скоро верну, — пообещал он. — Но сейчас мне очень нужны деньги.

— Зачем?

— На личные дела.

— Так верни мне хотя бы часть.

— Не могу, — сказал он. — Мне очень нужны

деньги. Но скоро верну.

В Испании он провел всего два боя — там его невзлюбили, сразу поняли, что он за фрукт. Он заказал семь новых борцовских костюмов, и тут его натура проявилась во всей красе: он так паршиво их упаковал, что на обратном пути четыре костюма испортила морская вода, и теперь их нельзя было надеть.

— Боже мой! — сказал я ему. — Ты отправился в Испанию, проторчал там весь сезон и дрался всего два раза. Ты потратил все деньги, что взял с собой, на тряпки, а потом их испортила морская вода, и теперь ты даже не можешь их надеть. Вот как ты провел сезон, а теперь лопочешь что-то о личных делах. Отдай мне деньги, и я уйду.

— Ты мне нужен, — ответил он, — и я тебе заплачу. Но сейчас мне нужны деньги.

— Чтобы заплатить за могилу матери? — спросил я.

— Я рад тому, что случилось с моей матерью, — сказал он. — Тебе не понять.

— И слава богу, что не понять, — сказал я. — Верни деньги, или я сам заберу их из кассы.

— Теперь я буду за ней присматривать, — ответил он.

— Ну уж нет, — сказал я.

В тот же день он притащил ко мне бродягу, какого-то нищего парня из своего родного городка, и сказал:

— Моему *paisano*[64] нужны деньги, чтобы добраться домой. Его мать очень больна.

Понимаете, это был обычный бродяга, нищеброд, которого он никогда прежде не видел, но это был его земляк, и он хотел проявить себя великим щедрым матадором.

— Дай ему пятьдесят песо из кассы, — велел он.

— Ты только что заявил, что у тебя нет для меня денег, — сказал я. — А теперь хочешь, чтобы я дал пятьдесят песо этому оборванцу?

— Это мой земляк, — ответил он. — И у него беда.

— Ах ты сволочь, — сказал я и швырнул ему ключ от кассы. — Сам давай. Я уезжаю в город.

— Не сердись, — сказал он. — Я тебе заплачу.

Я вывел машину, чтобы ехать в город. Это была его машина, но он знал, что я лучше вожу. Все, что он делал, я мог сделать лучше. И он это понимал. Он даже не умел читать и писать. Я собирался повидаться кое с кем и разузнать, как заставить

---

[64] Примечания: 64
Земляк (*исп.*).

его заплатить мне. Он вышел во двор и сказал:

— Я поеду с тобой, и я тебе заплачу. Мы добрые друзья. Ни к чему ссориться.

Мы поехали в город, я вел машину. Когда мы почти добрались, он достал двадцать песо.

— Вот деньги.

— Безродный сучонок, — сказал я ему, а потом объяснил, что он может сделать с этими деньгами. — Ты отдал пятьдесят песо тому бродяге, а теперь суешь мне двадцать, хотя должен шесть сотен. Я не возьму у тебя ни сентаво. Сам знаешь, куда их засунуть.

Я выскочил из машины с пустыми карманами, понятия не имея, где буду ночевать. Позже вместе с приятелем я забрал вещи из его дома. И ни разу не говорил с ним до этого года. Я встретил его с тремя дружками вечером, по пути в кинотеатр «Кальяо» на Гран-Виа в Мадриде. Он протянул мне руку.

— Роджер, старина, здравствуй, — сказал он. — Как ты? Говорят, ты распускаешь про меня слухи. Несправедливые.

— Я всего лишь говорю, что у тебя не было матери, — ответил я. В испанском языке это самое ужасное оскорбление.

— Верно, — согласился он. — Моя бедная мать

умерла, когда я был таким юным, что можно сказать, будто у меня ее не было. Это очень печально.

Красавчики — они такие. Их ничем не проймешь. Вообще ничем. Они тратят деньги на себя и на всякую мишуру, но никогда не платят. Попробуй заставь их заплатить. Я сказал ему, что́ думаю о нем, прямо там, на Гран-Виа, перед его дружками, но он по-прежнему разговаривает со мной при встречах, будто я его друг. Что за кровь у него в жилах?

Пишет читательница

Она сидела у себя в спальне за столиком, разложив перед собой газету, и только изредка поглядывала в окно на падающий снег, который сразу же таял, ложась на крышу. Она писала вот это письмо — писала набело, не видя необходимости что-либо вычеркивать или исправлять.

Роунок, Виргиния.
6 февраля 1933 г.

Дорогой доктор, позвольте обратиться к Вам за советом по важному для меня делу, – мне надо прийти к какому-то решению, и я не знаю, на кого можно больше всех положиться, родителей спрашивать я не смею, и вот пишу Вам – и даже Вам признаюсь только потому, что это можно сделать заглазно. Так вот как все обстоит. Я вышла замуж за военнослужащего США в 1929 году, и в тот же год его услали в Шанхай в Китае. Он пробыл там три года и вернулся – его демобилизовали несколько месяцев назад – и поехал к своей матери в Хелену, штат Арканзас. Он

мне написал, чтобы я тоже туда выехала, я приехала и узнаю, что он проходит курс лечения уколами, и я, конечно, спросила, и оказывается, его лечат от… не знаю, как это слово пишется, но на слух вроде «си. филюс». Вы, наверно, понимаете, о чем я говорю. Так вот, скажите, не опасно ли мне будет жить с ним, – у нас ни разу ничего не было с тех пор, как он вернулся из Китая. Он меня уверяет, что все наладится, когда врач кончит его лечить. Как Вы считаете, правда ли это, – я помню, мой отец часто говорил, что лучше умереть, чем стать жертвой этой болезни. Отцу я верю, но мужу своему хочу верить еще больше. Умоляю Вас, скажите, что мне делать, – у меня дочь, которая родилась, когда ее отец был в Китае.

Заранее Вас благодарю и всецело полагаюсь на Ваш совет. С уважением…

И она поставила свою подпись.

Может, он скажет, как мне быть, думала она. Может, все-таки скажет. Судя по портрету в газете, он должен это знать. Лицо такое умное. Наверно, каждый день дает людям советы. Такой должен

знать. Я хочу поступить, как надо. Но так долго ждать! Так долго! А сколько я уже ждала. Господи! Сколько же можно ждать! Он должен был ехать, куда бы ни послали, знаю, знаю. Но почему такое должно было случиться с ним? Почему, Господи? Что бы он там ни сделал, зачем это с ним случилось? Господи, зачем, зачем? Ведь не обязательно ему было схватить это. Как же мне быть? Не хочу, чтобы он болел. Зачем он этим болеет?

Швейцарии, с уважением
Часть первая
Портрет мистера Уилера в Монтрё

В привокзальном кафе было тепло и светло. На деревянных столешницах, надраенных до блеска, стояли корзинки с претцелями в глазурованных бумажных пакетиках. Потертые сиденья резных стульев отличались удобством. На стене висели резные деревянные часы. В дальнем конце комнаты находился бар. За окном шел снег.

За столиком под часами два носильщика пили молодое вино. В кафе на секунду заглянул еще один носильщик с известием, что Восточный экспресс из Сент-Морица задерживается на час. К столику Уилера подошла официантка.

— Сударь, экспресс на час опаздывает, — сказала она. — Принести вам кофе?

— Если вы считаете, что он меня не взбодрит.

— Прошу прощения?

— Принесите.

— К вашим услугам.

Мистер Уилер смотрел в окно на падающий снег, освещенный фонарями на перроне, когда

она принесла ему кофе.

— Вы говорите на других языках, кроме английского? — спросил он официантку.

— О да, сударь. Я говорю по-немецки и по-французски, а также на местных наречиях.

— Выпить не желаете?

— О нет, сударь. Нам запрещено пить с клиентами.

— А как насчет сигары?

— О, нет. Я не курю, сударь.

— Ну что ж.

Мистер Уилер снова уставился в окно, выпил свой кофе и закурил сигарету.

— Фройляйн! — позвал он.

Официантка подошла.

— Чего изволите, сударь?

— Вас, — сказал он.

— Вы не должны так шутить.

— Я не шучу.

— Не говорите так.

— У меня нет времени на споры, — сказал мистер Уилер. — Через сорок минут приходит поезд. Если вы поднимитесь со мной наверх, я вам дам сто франков.

— Вы не должны произносить такие вещи. Я попрошу носильщика, чтобы он поговорил с вами.

— Я не хочу носильщика, — сказал мистер Уилер. — И полицейского, и торговца сигаретами. Я хочу вас.

— Если вы будете вести такие разговоры, то вам лучше покинуть заведение. Здесь подобное не поощряется.

— Тогда почему бы вам не уйти? Тогда я не смогу вести с вами разговоры.

Официантка отошла. Мистер Уилер проследил за тем, обратится ли она к носильщикам. Не обратилась.

— Мадмуазель! — позвал он. Официантка подошла. — Принесите мне, пожалуйста, бутылку сьонского.

— Да, сударь.

Мистер Уилер проводил ее взглядом, и вскоре она вернулась с бутылкой вина. Он сверился с настенными часами.

— Я вам дам двести франков, — сказал он.

— Я вас прошу не говорить такие вещи.

— Двести франков — большие деньги.

— Не смейте так говорить! — она с трудом подбирала английские слова. Мистер Уилер с интересом ее разглядывал.

— Двести франков.

— Мерзкий тип.

— Почему бы вам не уйти? Тогда я не смогу вести с вами разговоры.

Официантка ушла в бар. Мистер Уилер пил вино и улыбался себе под нос.

— Мадмуазель! — позвал он. Официантка сделала вид, что не слышит. — Мадмуазель! — еще раз позвал он. Официантка подошла.

— Вы что-то хотите?

— Еще как. Я вам дам триста франков.

— Мерзкий тип.

— Триста швейцарских франков.

Она ушла, провожаемая его взглядом. В дверях появился носильщик, которому мистер Уилер поручил свой багаж.

— Прибывает поезд, сударь, — сказал он по-французски.

Мистер Уилер поднялся.

— Мадмуазель! — позвал он. Официантка подошла к столику. — Сколько с меня за вино?

— Семь франков.

Мистер Уилер отсчитал восемь франков и положил на стол. Он надел пальто, готовый выйти вслед за носильщиком на перрон под идущий снег.

–*Au revoir*[65], мадам, — бросил он напоследок.

Официантка смотрела ему вслед. Безобразный, мерзкий тип, подумала она. Триста франков ни за что. Сколько раз я проделывала это задаром. Да и негде здесь. Совсем, что ли, не соображает? Ни времени, ни места. Триста франков — за что? Эти американцы…

Стоя на цементной платформе рядом со своим багажом и глядя на лобовой прожектор приближающегося локомотива, мистер Уилер думал о том, как дешево ему обошлась эта забава. Если не считать ужина, он потратил всего семь франков на вино и один на чай. С нее хватило бы и семидесяти пяти сантимов. Это только подняло бы ему настроение. Один швейцарский франк — это пять французских. Мистер Уилер направлялся в Париж. Он был весьма бережлив и безразличен к женщинам. Он уже бывал на этой станции и знал, что наверху нет свободных комнат. Мистер Уилер исключал всякий риск.

Часть вторая

---

[65] Примечания: 65
Прощайте*(фр.).*

Мистер Джонсон заигрывает в Веве

В привокзальном кафе было тепло и светло. Деревянные столешницы, надраенные до блеска, были покрыты полосатыми скатерками, красно-белыми и бело-синими, и на них стояли корзинки с претцелями в глазурованных бумажных пакетиках. Потертые сиденья резных стульев отличались удобством. На стене висели резные деревянные часы. В дальнем конце комнаты виднелась оцинкованная барная стойка. За окном шел снег.

За столиком под часами два носильщика пили молодое вино. В кафе на секунду заглянул еще один носильщик с известием, что Восточный экспресс из Сент-Морица задерживается на час, и тут же скрылся. К столику мистера Джонсона подошла официантка.

— Сударь, экспресс на час опаздывает, — сказала она. — Принести вам кофе?

— Если это вас не затруднит.

— Прошу прощения?

— Не откажусь.

— К вашим услугам.

Мистер Джонсон смотрел в окно на падающий снег, освещенный фонарями на перроне, когда

она принесла ему кофе.

— Вы говорите на других языках, кроме английского? — спросил он официантку.

— О да. Я говорю по-немецки и по-французски, а также на местных наречиях.

— Выпить не желаете?

— О нет, сударь. Нам запрещено пить с клиентами.

— А как насчет сигары?

— О, нет. Я не курю, сударь.

— Я тоже, — сказал мистер Джонсон. — Вредная привычка.

Официантка ушла, а мистер Джонсон закурил сигарету и попивал кофе. Настенные часы показывали без четверти десять. Его наручные часы чуть-чуть спешили. Поезд ожидался в десять тридцать; часовое опоздание означало одиннадцать тридцать. Джонсон окликнул официантку.

— Синьорина!

— Что желаете, сударь?

— Не хотите со мной развлечься? — спросил Джонсон.

Официантка покраснела.

— Нет, сударь.

— Ничего такого. Не составите мне компанию, чтобы вместе посмотреть вечерний Веве? При

желании можете взять с собой подружку.

— Мне надо работать, — сказала официантка. — У меня есть обязанности.

— Разумеется, — сказал Джонсон. — А если вас кто-то подменит? Во время Гражданской войны так часто делали.

— О нет, сударь. Я должна присутствовать лично.

— Где вы учили английский?

— В колледже Берлитц, сударь.

— Расскажите, — попросил Джонсон. — Шалили на младших курсах? Обнимашки? Выпивашки? Со Скоттом Фицджеральдом не пересекались?

— Прошу прощения?

— Для вас колледж — самое счастливое время? Кого туда набрали прошлой осенью?

— Сударь, это вы так шутите?

— Я почти серьезен, — заверил ее Джонсон. — Вы прекрасная девушка. Так не хотите со мной развлечься?

— О нет, сударь, — последовал ответ. — Вам что-нибудь принести?

— Как насчет карты вин? — сказал Джонсон.

— Да, сударь.

Джонсон с картой вин подошел к столику, где сидели три носильщика. Они подняли на него

глаза. Все были уже в возрасте.

–Wollen sie trinken?[66] — спросил он. Один из носильщиков улыбнулся и кивнул.

–Oui, monsieur.[67]

— Вы говорите по-французски?

–Oui, monsieur.

— Что будем пить?*Connais-vous des champagnes?*

–Non, monsieur.

–Faut les connaître, — сказал Джонсон. — Фройляйн, — позвал он официантку. — Мы будем пить шампанское.

— Какое шампанское, сударь, вы предпочитаете?

— Самое лучшее, — последовал ответ. *–Laquelle est le*лучшее? — спросил он у носильщиков.

–Le meilleur?[68] — переспросил тот, что заговорил первым.

— Естественно.

Носильщик достал из кармана пальто очки в золотой оправе и просмотрел перечень. Его

---

[66] Примечания: 66

Выпить не желаете*(нем.).*

[67] Примечания: 67

Да, месье*(фр.).*

[68] Примечания: 68

«Шампанское пробовали?» — «Нет, месье». — «Надо попробовать». — «Какое» — «Лучшее?»*(фр.)*

палец уткнулся в четвертую строчку с названием и ценой.

— «Спортсмен», — объявил он. — Самое лучшее.

— Джентльмены, вы согласны? — спросил Джонсон у остальных.

Один кивнул. Другой сказал по-французски:

— Я сам не пробовал, но о «Спортсмене» слышал, и не раз. Хорошее шампанское.

— Бутылку «Спортсмена», — сказал Джонсон официантке. Он посмотрел цену: одиннадцать швейцарских франков. — Две бутылки. Не будете возражать, если я тут с вами присяду? — спросил он у того, кто предложил марку.

— Садитесь. Пожалуйста, располагайтесь, — улыбнулся ему носильщик. Он сложил очки и спрятал их в футляр. — У господина день рождения?

— Нет, — ответил Джонсон. — Я не праздную. Жена решила развестись со мной.

— Вот как, — сказал носильщик. — Надеюсь, обойдется.

Второй носильщик покачал головой. А третий, кажется, был глуховат.

— Конечно, дело житейское, — сказал Джонсон, — вроде визита к дантисту или первых месячных

у девочки, но я расстроился.

— Вас можно понять, — сказал самый старый носильщик. — Я вас понимаю.

— Из вас, господа, никто не разводился? — спросил Джонсон. Он оставил свои языковые штучки и перешел на хороший французский.

— Нет, — ответил тот, что заказал «Спортсмен». — Здесь редко разводятся. Отдельные случаи.

— У нас не так. Практически все в разводе, — заметил Джонсон.

— Да уж, — покивал носильщик. — В газете писали.

— А я вот припозднился, — продолжал Джонсон. — Первый раз развожусь. А мне ведь уже тридцать пять.

–*Mais vous êtes encore jeune*, — сказал носильщик. И объяснил своим товарищам: — *Monsieur n'a que trente-cinq ans*.[69]

Они покивали.

— Совсем молодой, — сказал один из них.

— Вы правда первый раз разводитесь? — спросил первый.

— Истинный крест, — сказал Джонсон. — Мадмуазель, вы не откроете бутылку?

---

[69] Примечания: 69

Но вы еще молоды. Месье всего тридцать пять лет*(фр.).*

— Это очень дорого?

— Десять тысяч франков.

— Швейцарских?

— Нет, французских.

— То есть две тысячи швейцарских франков. Все равно не дешево.

— Да уж.

— Зачем тогда разводиться?

— Так попросили же.

— А зачем попросили?

— Чтобы выйти замуж за другого.

— Глупость какая-то.

— Совершенно с вами согласен.

Официантка наполнила четыре бокала. Все подняли их перед собой.

–*Prosit*, — сказал Джонсон.

— A*votre santé, monsieur*, — сказал носильщик.

Двое других откликнулись:

–*Salut!*[70]

Шампанское напоминало сладкий розовый сидр.

— В Швейцарии принято отвечать на другом языке? — спросил Джонсон.

— Нет, — ответил носильщик. — Французский

---

[70] Примечания: 70

«Будем здоровы»*(нем.).*— «Ваше здоровье» *(фр.).*— «Будьте!» *(фр.).*

считается более культурным. Кроме того, это романская Швейцария.

— Но вы говорите по-немецки?

— Да. В моих родных местах говорят по-немецки.

— Понятно, — сказал Джонсон. — И вы, значит, никогда не разводились?

— Нет. Слишком дорогое удовольствие. К тому же я не женат.

— Вот оно что. А эти двое джентльменов?

— Они женаты.

— Вам нравится быть женатым? — поинтересовался Джонсон у одного из них.

— Что?

— Вам нравятся брачные узы?

–Oui. C'est normale.

— Именно, — сказал Джонсон. *–Et vous, monsieur?*

–Ça va, — ответил второй.

–Pour moi, ça ne va pas[71], — заметил Джонсон.

— Месье собирается разводиться, — пояснил первый носильщик своим товарищам.

— О, — отреагировал второй.

— Ага, — отреагировал третий.

---

[71] Примечания: 71

«Да. Это нормально». — «А вам, месье?» — «Неплохо». — «А вот мне плохо» (фр.).

— Тема, кажется, исчерпана, — сказал Джонсон. — Мои злоключения вам неинтересны, — эти слова он адресовал первому носильщику.

— Ну почему же, — не согласился тот.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Как вам будет угодно.

— О чем же?

— Вы спортом увлекаетесь?

— Нет, — ответил Джонсон. — В отличие от моей жены.

— А чем вы занимаетесь для удовольствия?

— Я писатель.

— Это приносит хорошие деньги?

— Нет, но когда становишься известным, все меняется.

— Как интересно.

— Нисколько, — возразил Джонсон. — Извините, господа, но я должен вас покинуть. Не забудьте, вас ждет вторая бутылка.

— Но до прихода поезда еще сорок пять минут.

— Я знаю.

Подошла официантка, и он расплатился за выпивку и за ужин.

— Вы уходите, сударь? — спросила она.

— Да, — сказал Джонсон. — Прогуляюсь. Багаж пока оставлю здесь.

Он надел шарф, пальто и шляпу. Снег уже валил вовсю. Выйдя из кафе, он посмотрел в окно на сидящих за столом носильщиков. Официантка разливала по бокалам остатки шампанского. Неоткрытую бутылку она унесла обратно в бар. На этом каждый заработает около трех франков, подумал Джонсон. Он зашагал по перрону. В кафе ему подумалось, что если он выговорится, то это притупит боль, но нет, не притупилась, только остался неприятный осадок.

Часть третья
Сын члена географического общества в Территете

В привокзальном кафе Территета было жарковато, зато светло. На столешницах, надраенных до блеска, стояли корзинки с претцелями в глазурованных бумажных пакетиках и лежали картонки для пивных кружек, чтобы не оставлять на столе следов от влажного днища. Потертые сиденья резных стульев отличались удобством. На стене висели резные деревянные часы. В дальнем конце комнаты находился бар. За окном шел снег.

За столиком под часами старик пил кофе и читал вечернюю газету. В кафе на секунду заглянул

носильщик с известием, что Восточный экспресс из Сент-Морица задерживается на час. К столику мистера Харриса подошла официантка. Он как раз закончил ужин.

— Сударь, экспресс на час опаздывает, — сказала она. — Принести вам кофе?

— Если вам так хочется.

— Прошу прощения?

— Принесите.

— К вашим услугам.

Она принесла ему кофе. Мистер Харрис положил в чашку кусочки сахара, раздавил их ложечкой и посмотрел в окно на падающий снег, освещенный фонарями на перроне.

— Вы говорите на других языках, кроме английского? — спросил он официантку.

— О да. Я говорю по-немецки и по-французски, а также на местных наречиях.

— Какой из них вам больше нравится?

— Они очень похожи, сударь. Я не могу сказать, что какое-то наречие мне нравится больше других.

— Не желаете кофе или чего-то покрепче?

— О нет, сударь. Нам запрещено пить с клиентами.

— А как насчет сигары?

— О, нет, — она засмеялась. — Я не курю, сударь.

— Я тоже, — сказал Харрис. — Тут я не согласен с Дэвидом Беласко.

— Простите?

— Дэвид Беласко. Вы всегда его узнаете по перевернутому воротничку. Но я с ним не согласен. К тому же он умер.

— Я, сударь, отойду?

— Естественно.

Подавшись вперед, он смотрел в окно. В другом конце комнаты старик сложил газету. Приглядевшись к Харрису, он направился к нему со своим кофе.

— Прошу прощения за вторжение, — сказал по-английски, — но я подумал, что вы можете быть членом Национального географического общества.

— Пожалуйста, садитесь.

Джентльмен присел.

— Еще кофе или ликера не желаете? — спросил Харрис.

— Благодарю.

— Не выпьете со мной кирша?

— Почему нет. Только я угощаю.

— Нет, я настаиваю. — Харрис позвал офици-

антку.

Старик вынул из внутреннего кармана пальто записную книжку в кожаном переплете. Он снял с нее широкую эластичную ленту, извлек несколько карточек и одну из них протянул Харрису.

— Моя членская карточка, — сказал он. — Вы знакомы с американцем Фредериком Дж. Русселом?

— Боюсь, что нет.

— Насколько я знаю, он весьма известен.

— Откуда он родом? Где в Штатах он живет, вы знаете?

— Разумеется, в Вашингтоне. Разве не там находится штаб-квартира общества?

— Кажется, да.

— Кажется? Вы в этом не уверены?

— Я давно не был на родине, — пояснил Харрис.

— Так вы не член общества?

— Я — нет. Мой отец — да. На протяжении многих лет.

— Ну, тогда ваш отец наверняка знает Фредерика Дж. Руссела. Он там один из главных. К вашему сведению, именно мистер Руссел рекомендовал меня в члены общества.

— Приятно слышать.

— Жаль, что вы не член. Разве ваш отец не может дать вам рекомендацию?

— Наверное. По возвращении надо этим заняться.

— Очень вам советую, — сказал старик. — Вы, конечно, читаете журнал?

— Естественно.

— Вы видели номер с цветными фотографиями североамериканской фауны?

— Да. Он у меня в Париже.

— А номер с панорамой вулканов на Аляске?

— Просто чудо.

— А еще мне очень понравились фотографии диких животных Джорджа Шираза-третьего.

— Да, черт возьми.

— Простите?

— Просто отличные. Старина Шираз…

— Вы назвали его «старина»?

— Мы с ним давние друзья, — пояснил Харрис.

— Вот как. Вы знаете лично Джорджа Шираза-третьего. Должно быть, очень интересный человек.

— Да уж. Пожалуй, другого такого я не знаю.

— Вы, наверно, и с Джорджем Ширазом-вторым знакомы. Тоже интересный человек?

— В меньшей степени.

— В моем представлении он должен быть весьма интересным.

— Как ни странно, совсем неинтересный. Я часто удивлялся — «почему».

— Гм. Я полагал, что в этой семье все по-своему интересны.

— А вы помните панораму пустыни Сахара? — спросил Харрис.

— Пустыня Сахара? Это же было почти пятнадцать лет назад.

— Верно. Любимая фотография моего отца.

— Ему меньше нравились более поздние номера?

— Скорее всего, нравились. Но к панораме Сахары он был особенно привязан.

— Отличный кадр. Но, по-моему, его художественная ценность сильно превосходила научный интерес.

— Не знаю, — сказал Харрис. — Ветер, поднимающий песок, верблюд и этот коленопреклоненный араб, обращенный к Мекке.

— Насколько я помню, араб стоит, держа верблюда за уздечку.

— Вы совершенно правы, — сказал Харрис. — Я подумал о книге полковника Лоуренса.

— Кажется, его книга связана с Аравийским

полуостровом.

— Верно. Я вспомнил о ней по ассоциации с арабом.

— Должно быть, очень интересный человек, этот Лоуренс.

— Наверняка.

— Вы знаете, чем он сейчас занимается?

— Служит в Королевских военно-воздушных силах.

— Почему там?

— Ему нравится.

— Интересно, он член Национального географического общества?

— Любопытный вопрос.

— Он был бы достойным членом. Нам такие нужны. Я бы с удовольствием дал ему рекомендацию. Как думаете, его захотят принять в члены?

— Я думаю, да.

— Я рекомендовал ученого из Веве и своего коллегу из Лозанны, и их обоих приняли. Мне кажется, там будут очень рады, если я дам рекомендацию полковнику Лоуренсу.

— Отличная идея, — сказал Харрис. — Вы часто приходите в это кафе?

— Я прихожу после ужина выпить кофе.

— Вы работаете в университете?

— Я уже на пенсии.

— А я жду поезда, — сказал Харрис. — Еду в Париж, а потом поплыву из Гавра в Штаты.

— Я никогда не был в Америке. А хотелось бы. Может, как-нибудь посещу собрание общества. Я буду очень рад познакомиться с вашим отцом.

— Я уверен, что он был бы рад знакомству, но он в прошлом году умер. Застрелился, как это ни странно.

— Мне очень жаль. Я не сомневаюсь, что его уход стал тяжелой потерей для науки и для его семьи.

— Наука на удивление легко перенесла эту потерю. Вот вам моя визитка, — сказал Харрис. — У меня инициалы Э.Д., а у отца Э. Дж. Я уверен, что он был бы рад знакомству.

— Для меня это была бы большая честь.

Старик достал из записной книжки визитку и вручил ее Харрису.

На ней было написано:

СИГИЗМУНД
УАЙЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

Член Национального географического общества
Вашингтон, округ Колумбия, США

— Я буду ее беречь как зеницу ока, — сказал Харрис.

Ожидание

Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату, чтобы закрыть окна, и я увидел, что он выглядит больным. Он дрожал, его лицо побледнело, и он двигался медленно, словно испытывал боль.

— Что случилось, Шатц?

— Голова болит.

— Возвращайся в постель.

— Нет, все в порядке.

— Ложись в постель. Я зайду к тебе, когда оденусь.

Но когда я спустился вниз, он сидел у очага, полностью одетый, очень больной, несчастный мальчик девяти лет. Я пощупал ему лоб: у него был жар.

— Ложись в постель, — сказал я. — Ты болен.

— Со мной все в порядке, — ответил он.

Пришел доктор и измерил ему температуру.

— Сколько? — спросил я.

— Сто два.

Внизу доктор оставил три лекарства в разноцветных капсулах и инструкции, когда их принимать. Одно — чтобы сбить температуру,

второе — слабительное, третье — от кислотности. Вирус инфлюэнцы живет только в кислой среде, объяснил он. Похоже, доктор много знал об инфлюэнце; он сказал, что тревожиться не о чем, если температура не поднимется выше ста четырех градусов.

Сейчас легкая эпидемия, и никакой опасности нет, если удастся избежать пневмонии.

Вернувшись в комнату, я записал температуру мальчика и составил расписание приема лекарств.

— Хочешь, я тебе почитаю?

— Да. Если ты сам хочешь, — ответил он. Его лицо было очень бледным, под глазами темнели синяки. Он лежал тихо, и казалось, что происходящее его не интересует.

Я начал читать «Пиратскую книгу» Говарда Пайла, но увидел, что он не слушает.

— Как ты себя чувствуешь, Шатц? — спросил я.

— Пока без изменений.

Я уселся в ногах его постели и читал, чтобы скоротать время до приема очередной капсулы. Я думал, он уснет, но когда поднял глаза, он смотрел на изножье кровати, и вид у него был очень странный.

— Почему бы тебе не поспать? Я разбужу тебя,

когда нужно будет принять лекарство.

— Я бы предпочел не спать.

Некоторое время спустя он сказал:

— Ты не должен сидеть со мной, папа, если тебе это не нравится.

— Мне нравится.

— Я хочу сказать, ты не должен сидеть со мной, если рано или поздно тебе разонравится.

Я подумал, что у него легкий бред. В одиннадцать часов я дал ему лекарство и ненадолго вышел.

Был холодный солнечный день, мокрый снег замерз, и голые деревья, кусты, трава и земля словно покрылись ледяным кружевом. Я вывел молодого ирландского сеттера на прогулку, по дороге и берегу застывшего ручья, но идти было трудно, у рыжей собаки разъезжались лапы, а я дважды упал, сильно ударился, уронил ружье, и оно ускользнуло от меня по льду.

Мы спугнули стаю перепелок под высоким глинистым берегом, над которым нависал кустарник, и я застрелил двух, пока они убегали за гребень. Некоторые вспорхнули на деревья, но большая часть попряталась в кустах, и пришлось прыгать на обледеневшие ветки, чтобы поднять птиц. Когда они выбегают, а ты стоишь

на коварном пружинистом кустарнике, попасть по ним нелегко; я убил двух, промазал по пяти и отправился в обратный путь, довольный, что обнаружил стаю так близко к дому и что будет на кого охотиться в ближайшее время.

Дома мне сказали, что мальчик запретил входить в комнату.

— Вам сюда нельзя, — говорил он. — Вы не должны заразиться.

Я поднялся к нему и увидел, что он лежит в прежней позе, бледный, с раскрасневшимися от жара щеками, и смотрит в изножье кровати.

Я измерил ему температуру.

— Сколько?

— Около ста, — ответил я. Термометр показывал сто два и четыре десятых градуса.

— Было сто два, — заметил он.

— Кто тебе это сказал?

— Доктор.

— У тебя нормальная температура. Не волнуйся.

— Я и не волнуюсь, — сказал он. — Но все равно думаю.

— Не думай, — посоветовал я. — Относись к этому спокойно.

— Я отношусь спокойно, — ответил он и уста-

вился прямо перед собой. Его явно что-то тревожило.

— Запей лекарство водой.

— Думаешь, поможет?

— Конечно, поможет.

Я сел, открыл пиратскую книгу и начал читать, но вновь увидел, что он не слушает, и замолчал.

— Как ты думаешь, когда я умру? — спросил он.

— Что?

— Сколько мне еще осталось?

— Ты не умрешь. Да что с тобой такое?

— Нет, умру. Я слышал, как он говорил про сто два градуса.

— Люди не умирают от такой температуры. Не говори глупостей.

— Умирают. В школе во Франции мальчики сказали мне, что с температурой сорок четыре не живут. А у меня — сто два.

Весь день, с девяти часов утра, он ждал смерти.

— Бедный Шатц, — сказал я. — Бедный старина Шатц. Помнишь мили и километры? Ты не умрешь. Это разные термометры. На том термометре нормальная температура — тридцать семь. На этом — девяносто восемь.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Как с милями и километрами. Сколько километров в час мы проезжаем на скорости семьдесят миль в час?

— О.

Его пристальный взгляд медленно утратил сосредоточенность. Постепенно напряжение ослабло, и на следующий день он был очень вялым и плакал по пустякам.

Трактат о мертвых
Из книги «Смерть после полудня»

Весной лучше не ездить в Испанию на бой быков — из-за дождей. Может случиться, что в какой город ни сунешься, повсюду будет дождь, особенно в мае и июне, поэтому я предпочитаю летние месяцы. Правда, я ни разу не видел, чтобы в Испании шел снег в июле или августе; впрочем, в августе тысяча девятьсот двадцать девятого года снег выпал в горах, в летних курортах Арагона, а в Мадриде однажды снег шел пятнадцатого мая, и было так холодно, что бой быков пришлось отменить. В тот год я отправился в Испанию рано, рассчитывая, что весна уже наступила, и я хорошо помню, как весь день поезд шел по голой холодной пустыне, точно мы ехали по Южной Дакоте в ноябре месяце. Просто не верилось, что это та же страна, которую я знавал летом, и, когда я вечером, в Мадриде, вышел из здания вокзала, меня закружила снежная метель. Я приехал без пальто и целых три дня либо писал в своем номере, не вставая с постели, либо сидел в соседнем кафе и пил кофе с коньяком. Выходить на улицу

я не мог — было слишком холодно; а через три дня наступила чудесная весенняя погода. Мадрид лежит в горах, и климат там горный. Небо над Мадридом высокое, безоблачное, подлинно испанское небо, — по сравнению с ним итальянское кажется приторным, — а воздух такой, что дышать им — просто наслаждение. Зной и холод мгновенно сменяют друг друга. Однажды, июльской ночью, когда мне не спалось, я видел, как нищие жгли на улице старые газеты и грелись, сидя вокруг костра. А два дня спустя была такая жаркая ночь, что заснуть удалось лишь под утро, когда потянуло предрассветным холодком.

Мадридцы любят климат Мадрида и гордятся его изменчивостью. Где, в каком другом большом городе найдете вы такое разнообразие? Вы приходите в кафе и на вопрос, хорошо ли выспались, отвечаете, что была адская жара и вы уснули только на рассвете, а вам говорят, что именно так и надо. Всегда под утро становится прохладно — это и есть самое время, когда человеку полагается спать. Как бы жарко ни было ночью, уже на рассвете вы непременно заснете. Так что климат и вправду отличный, если не обижаться на резкие перемены. В душные ночи можно поехать в Бомбилью — посидеть за стаканом сидра и потан-

цевать, потом погулять в прохладных длинных аллеях, где с мелководной реки подымается туман. В холодные ночи можно выпить коньяку и рано лечь спать. Вообще-то спать по ночам считается в Мадриде чудачеством. И эта привычка довольно долго смущает ваших испанских друзей. Мадридец ни за что не ляжет спать, пока так или иначе не убьет время до утра. Свидания обычно назначаются в кафе на любой час после полуночи. Ни в одном из городов, где мне довелось побывать, кроме Константинополя во время оккупации его союзными войсками, я не видел, чтобы люди так редко ложились в постель с намерением выспаться. В Мадриде, где действует общее правило, согласно которому никто не ложится спать до предрассветной прохлады, такое поведение понятно, но для Константинополя это не причина, потому что там мы всегда, пользуясь прохладным часом, ездили к Босфору любоваться восходом солнца. Восход солнца — это чудесное зрелище. В ранней молодости — на рыбалке или на охоте, а также во время войны — нередко приходилось видеть, как встает солнце; а после окончания войны, насколько мне помнится, я видел восход только в Константинополе. Ездить к Босфору любоваться восходом стало прочно

укоренившимся обычаем. Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном. Словно это какое-то естественное, целительное завершение прожитого дня. Но такие вещи, когда долго их не видишь, забываются. Я однажды вечером очень поздно выехал из Канзас-Сити, чтобы навестить своих родственников, живущих за городом, и вдруг увидел огромное зарево, точно такое, как в ту ночь, когда горел скотопригонный двор; и, хотя я понимал, что мало чем могу помочь, все же счел своим долгом поспешить на пожар. Я повернул машину и повел ее в ту сторону. Когда я поднялся на ближайший пригорок, все объяснилось: это был восход солнца.

* * *

…Солнце — это очень важно. Теория, практика и зрелище боя быков создавались в расчете на солнце, и, когда солнце не светит, коррида испорчена. Испанцы говорят: «El sol es el major torero» — солнце лучший терреро, и без солнца лучший тореро бессилен. Он словно человек без тени.

Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки долж-

ны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни. У французов создан культ почитания усопших, но самое главное для них — повседневные житейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане тоже живут для мира сего и не склонны вспоминать о смерти, размышлять и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе как на службе отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение. А в общем — это неприятная тема, которую лучше обходить, в крайнем случае можно сказать несколько душеспасительных слов, но уж никак не следует вникать в нее. Никогда не надо распространяться о жертвах, говорят они, и я сам слышал от них эти слова. Англичане убивают во имя спортивного азарта, французы — во имя добычи. Добыча — это весьма соблазнительно, что может быть лучше, из-за нее стоит убивать. Но любое убийство, совершенное не ради спорта и не ради добычи, англичане и французы считают жестокостью. Конечно, не так это просто, как я изложил здесь, но такова судьба всех обобщающих выводов, и я пытаюсь установить некий принцип, воздерживаясь от

перечня исключений.

* * *

Помню, как Гертруда Стайн, говоря о бое быков, восхищалась Хоселито и показала мне фотографии, на которых она снята вместе с ним в Валенсии: она сидит в первом ряду, подле нее Алиса Токлас, под ними, на арене, — Хоселито и его брат Галло, а я тогда только что приехал с Ближнего Востока, где греки, прежде чем оставить Смирну, сталкивали с пристани в мелкую воду своих тягловых и вьючных животных, предварительно перебив им ноги, и, помнится, я сказал, что не люблю боя быков, потому что мне жаль несчастных лошадей. В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства. Когда пишешь для газеты, то, сообщая о каком-нибудь событии, так или иначе, передаешь свои чувства; тут помогает элемент злободневности, который наделяет известной эмоциональностью всякий отчет о случившемся сегодня. Но проникнуть в самую суть явлений,

понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет, — а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда, — мне никак не удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого. Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть. Она лишена тех привходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга, или человека, которого любил или ненавидел, — но все же это смерть, это нечто такое, о чем стоит писать. Я читал много книг, в которых у автора, вместо описания смерти, получалась просто клякса, и, по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наез-

жает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя.

По мере того как бой быков развивался, — или приходил в упадок, — все больше внимания уделялось приемам выполнения разных движений тореро и все меньше — конечной цели; и теперь подготовка быка к последнему смертельному удару, которую раньше брал на себя матадор, в значительной степени ложится на бандерильеров; если убийство быка представляет хоть малейшую трудность, то матадор, не обладающий ни находчивостью, ни знанием, а только грацией и виртуозностью, выходит против быка подготовленного, обессиленного, сломленного и только что не умерщвленного искусной работой опытного бандерильеро.

Некогда самым главным в зрелище боя быков считался момент убийства быка; с развитием и вырождением этого искусства все больший вес приобретали втыкание бандерилий и умение действовать мулетой. Плащ, бандерильи и мулета постепенно становились самоцелью, вместо того чтобы, как раньше, быть только средством достижения цели, и от этого бой быков одновременно и проиграл и выиграл.

В прежнее время быки были крупнее, чем теперь, они были свирепее, норовистее, тяжелее,

старше. Их рост не задерживали искусственно в угоду тореро, их выпускали на арену в возрасте от четырех с половиной до пяти лет, а не от трех с половиной до четырех, как теперь. Многие матадоры имели за плечами от шести до двенадцати лет ученичества в качестве бандерильеро и новильеро, когда получали официальное звание матадора. Это были зрелые люди, до тонкости знавшие свое ремесло, и они выходили на быка, достигшего расцвета физической силы и умевшего пользоваться рогами; бой с таким быком был и труден и опасен. Целью боя был заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, «момент истины», как его называют испанцы. И весь ход боя служил лишь подготовкой к этому моменту.

Нельзя изо дня в день сражаться с быками, если это настоящие быки — огромные, сильные, свирепые и проворные, знающие силу своих рогов и достигшие надлежащего возраста, — применяя технику боя быков, изобретенную Хуаном Бельмонте. Это слишком опасно…

И современный бой быков возможен только благодаря вырождению быков. Это, безусловно, вырождающееся искусство, и, как всякое явление декаданса, оно именно теперь, в период сильней-

шего вырождения, расцвело особенно пышно.

* * *

Старая леди. По-моему, в сегодняшней корриде не было никакого вырождения или упадка. Все тореро показались мне очень мужественными и храбрыми. Почему, сударь, вы говорите о декадансе?

Автор. Сударыня, они, безусловно, очень мужественные люди, хотя у Виляльты, пожалуй, голос мог бы быть чуть погуще. Но, говоря о вырождении, я имею в виду не того или иного тореро, а все искусство в целом; это следствие гипертрофии некоторых его аспектов.

Старая леди. Вас очень трудно понять, сударь.

— Я разъясню свою мысль позже, сударыня, но должен сказать, что не так-то легко пользоваться термином «декаданс», потому что теперь это — просто-напросто бранное слово, которым критики обзывают все то, чего они еще не успели понять, или что, как им кажется, противоречит их нравственным понятиям.

Старая леди. Я всегда думала, что это означает какую-то гниль, ну, например, падение придворных нравов.

— Сударыня, все наши слова притупились из-за

небрежного обращения с ними, но ваш врожденный здравый смысл подсказывает вам истину.

Старая леди. Прошу прощения, сударь, но меня нимало не занимают все эти рассуждения о словах. Если я не ошибаюсь, мы здесь для того, чтобы узнать побольше о бое быков и матадорах.

— Извольте, сударыня. Но уж если писатель заговорил о словах, то он будет говорить до тех пор, пока вам не наскучит и вы не пожелаете ему поискуснее пользоваться ими и поменьше истолковывать их.

Старая леди. Так не лучше ли вам помолчать, сударь?.. Вы постоянно желаете тореадорам успеха, а между тем указываете на их ошибки и, по-моему, придираетесь к ним. И скажите, молодой человек, как это случилось, что вы так много говорите и так длинно пишете о бое быков, а сами не участвуете в нем? Почему вы не стали тореадором, если вас так увлекло это дело и вам кажется, что вы досконально изучили его?

— Сударыня, не бывает бесповоротных решений, но с годами я все сильнее испытываю потребность посвятить себя литературе. Говорят, что благодаря замечательным произведениям мистера Уильяма Фолкнера издатели теперь согласны печатать все, что угодно, и не заставляют

писателей вычеркивать лучшие страницы своих книг, и я предвкушаю удовольствие написать о днях моей юности, которые я провел в самых лучших домах терпимости, какие только имелись в стране, среди самого блестящего общества. Я берег этот материал про запас, чтобы использовать его под старость, когда расстояние поможет мне увидеть все с предельной ясностью.

Старая леди. А мистер Фолкнер хорошо пишет о таких домах?

— Бесподобно, сударыня. Мистер Фолкнер великолепно пишет о них. За много лет ни один писатель из тех, кого мне приходилось читать, не написал лучше его.

Старая леди. Надо купить его книги.

— Купите, сударыня, с Фолкнером вы не промахнетесь. Кстати, он и плодовит. К тому времени, как вы сделаете заказ, выйдут новые его книги.

Старая леди. Если они таковы, как вы утверждаете, то чем больше, тем лучше.

— Сударыня, я совершенно с вами согласен.

* * *

Заметьте: если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямо-

го утверждения (что не имеет ничего общего с нарушением так называемых синтаксических и грамматических правил для того, чтобы добиться результатов, которых иным путем добиться нельзя), то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его. Не следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн и к которой прибегает бесталанный писатель, пытаясь замаскировать свое невежество или неумение писать ясно. Мистицизм подразумевает мистику, наличие некоей тайны, и на свете много тайн; но нет ничего таинственного в отсутствии таланта; и ходульная журналистика не становится литературой, если впрыснуть ей дозу ложно-эпического тона. Заметьте еще: все плохие писатели обожают эпос.

Автор. В этой главе, сударыня, совсем нет разговоров, а мы уже подошли к концу. Весьма сожалею.

Старая леди. И я сожалею, сударь.

— Что бы вы хотели? Еще несколько проверенных истин о породистых быках? Филиппику против венерических болезней? Две-три ориги-

нальные мысли о смерти и разложении? Или, быть может, вас заинтересует рассказ о том, как автор в ранней юности, проведенной в округах Эммет и Шарльвуа штата Мичиган, повстречался с дикобразом?

Старая леди. Прошу вас, сударь, довольно о животных на сегодня.

— Что вы скажете о небольшом душеспасительном рассуждении относительно жизни и смерти вроде тех, к которым авторы питают столь сильное пристрастие?

Старая леди. Я бы не сказала, что это меня прельщает. Нет ли у вас чего-нибудь новенького, о чем я никогда не читала? Что-нибудь занятное и вместе с тем поучительное? Мне немного не по себе сегодня.

— Сударыня, у меня имеется именно то, что вам нужно. Не про диких животных и не про быков. Написано доступным языком и предназначено стать «Занесенными снегом» наших дней, а к концу там сплошь одни разговоры.

Старая леди. Если там есть разговоры, я с удовольствием прочту.

— Извольте. Это называется: «Мертвые. Глава из естественной истории».

Старая леди. Название мне не нравится.

— Я не говорил, что оно вам понравится. Очень может быть, что рассказ вам вообще не понравится. Но так или иначе — вот он.

Мне всегда казалось, что естествоиспытатели напрасно пренебрегают войной как полем для наблюдений. У нас имеются прелестные и весьма обстоятельные описания флоры и фауны Патагонии покойного У. Г. Хадзона; его преподобие Гилберт Уайт очень увлекательно рассказал о случайных и совершенно необычных прилетах удода в Селборн, а епископ Стэнли дал нам хотя и популярную, но ценную «Жизнь птиц». Разве мы не можем предоставить читателю несколько интересных научных данных на основании наблюдений над мертвыми? Надеюсь, что да.

Когда неустрашимый путешественник Мунго Парк в одно из своих странствий, нагой и одинокий, теряя последние силы, лежал в необъятной африканской пустыне и думал, что дни его сочтены, и когда, по-видимому, ему ничего не оставалось, как покорно ждать смерти, взгляд его упал на цветок необычайной красоты. «Хотя весь цветок, — пишет он, — был не больше моего пальца, я не мог без восторга смотреть на нежное строение его корней, листочков и семенных коробочек. Может ли тот, кто в этом глухом уголке

мира взлелеял, вспоил и наделил совершенством столь, казалось бы, ничтожное создание, равнодушно взирать на бедствия и муки живых существ, сотворенных по его образу и подобию? Разумеется, нет. Эти мысли спасли меня от отчаяния; я поднялся и, несмотря на голод и усталость, продолжал свой путь, уверенный, что помощь близка; и я не обманулся».

Если, как говорит епископ Стэнли, созерцать чудеса природы не только с любопытством, но и с благочестием, то нет такой области естественной истории, изучение которой не укрепило бы в нас надежду, веру и любовь, в чем мы все, каждый из нас, так сильно нуждаемся в наших странствиях по пустыне жизни. Так посмотрим, какие возвышенные чувства могут пробудить в нас наблюдения над мертвыми.

На войне мертвые человеческой породы обычно самцы, но это не вполне верно в отношении животных вообще, и среди мертвых лошадей я нередко встречал кобыл. Интересно отметить, что только на войне естествоиспытатель имеет возможность наблюдать мертвых мулов. За двадцать лет наблюдений над жизнью в мирное время я ни разу не видел мертвого мула и уже стал было сомневаться в том, что эти животные

действительно смертны. В некоторых, очень редких случаях мне казалось, что я вижу мертвых мулов, однако при ближайшем рассмотрении я убеждался, что это живые существа, которые производили впечатление мертвых только благодаря способности пребывать в полном покое. Но на войне эти животные гибнут почти так же, как представители более распространенной и менее выносливой лошадиной породы.

Старая леди. Вы, кажется, сказали, что это не про животных.

— Я сейчас кончу про них. Имейте немножко терпения. Так писать очень трудно.

Мертвые мулы, которых мне пришлось видеть, большей частью встречались на горных дорогах или у подножия крутых откосов, куда их столкнули, чтобы очистить путь. В горах, где их присутствие привычно, они почти не нарушали общей картины и не казались мне такой несообразностью, как позднее в Смирне, когда греки перебили ноги всем своим вьючным животным и столкнули их с мола в мелкую воду. Поистине мулы и лошади с перебитыми ногами, тонущие в мелкой воде, взывали к кисти Гойи. Хотя вряд ли можно сказать, что они в буквальном смысле слова взывали к кисти Гойи, поскольку есть только

один Гойя, давно умерший, и весьма сомнительно, чтобы эти животные, будь они в состоянии взывать, воззвали бы о запечатлении на холсте своей участи; скорее всего, обладай они даром речи, они взывали бы о помощи.

Старая леди. Вы уже писали об этих мулах.

— Знаю и прошу прощения. Не перебивайте меня. Я больше не буду писать о них. Даю слово.

Возвращаясь к вопросу о поле мертвых, нельзя не отметить тот факт, что, поскольку мертвые обычно принадлежат к мужскому полу, вид мертвой женщины просто поражает. Впервые мне пришлось наблюдать такое патологическое отклонение от нормы непосредственно после взрыва на военном заводе, расположенном близ Милана, в Италии. Мы поехали к месту катастрофы на грузовиках по обсаженным тополями дорогам, окаймленным канавами, где водилось много мелких живых существ, которые, однако, плохо поддавались наблюдению из-за облаков пыли, поднимаемых грузовиками. Когда мы подъехали к тому месту, где прежде был завод, часть нашего отряда назначили охранять значительные запасы боевого снаряжения, которое почему-то не взорвалось; остальным было приказано тушить пожар, перекинувшийся на соседнее

поле, и после выполнения этой задачи нас послали разыскивать трупы близ территории завода и в окружающих полях. Мы разыскали и перенесли в импровизированную мертвецкую множество трупов, и я должен откровенно сознаться, что мы были потрясены, обнаружив, что эти мертвые — женщины, а не мужчины. В те времена женщины еще не стригли волос, как это делалось позднее в течение нескольких лет в Европе и Америке, и сильнее всего, — вероятно, потому, что это было самое непривычное, — нас смущали их длинные волосы, а в тех случаях, когда их не было, мы смущались еще больше. Я припоминаю, что после того, как мы добросовестно разыскали все целые трупы, мы стали собирать найденные части. Эти отдельные куски нам чаще всего приходилось вынимать из остатков колючей проволоки, которая плотным кольцом окружала территорию завода, что наглядно свидетельствовало об эффективности сильновзрывчатых веществ. Много таких кусков было найдено на значительном расстоянии от завода, в полях, куда их отнесло силой взрыва. Я помню, как, вернувшись в Милан, двое-трое из нас обсуждали это происшествие и единодушно высказали мнение, что благодаря необычному, почти неправдопо-

добному виду мертвых и отсутствию раненых катастрофа показалась нам менее ужасной, чем это могло бы быть. К тому же то обстоятельство, что мы приехали непосредственно после взрыва и, следовательно, переносить мертвых и перекладывать их было не так уж неприятно, отличало наше сегодняшнее занятие от работы на поле боя. Приятная прогулка по красивым, хотя и пыльным дорогам Ломбардии тоже в немалой степени вознаградила нас за неприятные обязанности, которые нам пришлось взять на себя, и по возвращении мы все говорили о том, как это хорошо, что начавшийся перед самым нашим приездом пожар удалось потушить так быстро, прежде чем огонь добрался до огромных, по-видимому, запасов невзорвавшегося снаряжения. Мы также все сошлись на том, что собирание отдельных кусков — занятие необычайное, и всего поразительнее то, что человеческое тело разрывается на части не по анатомическим линиям, а дробится на куски причудливой формы, похожие на осколки снарядов.

Старая леди. Это совсем не занятно.

— Тогда бросьте читать. Никто вас не заставляет. Но только не перебивайте.

Для большей точности своих наблюдений есте-

ствоиспытатель нередко избирает какой-нибудь определенный период, и я для начала ограничусь периодом, последовавшим за австрийским наступлением в Италии в июне тысяча девятьсот восемнадцатого года, потому что именно в то время наблюдалось наибольшее количество мертвых, и поскольку оставленные по необходимости позиции впоследствии были вновь атакованы и отбиты, то по окончании боя обстановка ничем не отличалась от первоначальной, если не считать наличия мертвых. Внешний вид мертвых, до их погребения, с каждым днем несколько меняется. Цвет кожи у мертвых кавказской расы превращается из белого в желтый, в желто-зеленый и черный. Если оставить их на продолжительный срок под солнцем, то мясо приобретает вид каменноугольной смолы, особенно в местах переломов и разрывов, и отчетливо обнаруживается присущая смоле радужность. Мертвые с каждым днем увеличиваются в объеме, так что иногда военная форма едва вмещает их, и кажется, что сукно вот-вот лопнет. Иногда отдельные члены принимают огромные размеры, а лица становятся тугими и круглыми, как воздушные шары. Более всего поражает, наряду с прогрессирующей точностью, количество бумаг,

разбросанных вокруг мертвых. Окончательное положение, которое мертвые принимают еще задолго до похорон, зависит от того, где находятся карманы данной военной формы. В австрийской армии брючные карманы расположены сзади, и, следовательно, все мертвые спустя короткое время оказываются лежащими ничком, с вывернутыми двумя задними карманами, а вокруг них по траве разбросаны бумаги, которые прежде находились в этих карманах. Жара, мухи, характерное положение тел и множество разбросанных по траве бумаг — вот приметы, которые остаются в памяти. Запах поля боя в жаркую погоду вспомнить нельзя. Можно знать, что был такой запах, но ничто никогда не напоминает о нем. Этим он отличается от запаха казармы, который иногда вновь ощущаешь в трамвае, и стоит поднять глаза, чтобы увидеть человека, напомнившего о нем. Но то ушло так же безвозвратно, как уходит влюбленность; помнишь все, что было, но нельзя вызвать самого ощущения.

Старая леди. Мне всегда нравится, когда вы пишете про любовь.

— Благодарю вас, сударыня.

Хотел бы я знать, что из увиденного в жаркий день на поле боя могло бы вернуть надежду

неустрашимому путешественнику Мунго Парку? В конце июня и в июле между колосьями пшеницы цвели маки, тутовые деревья были одеты густой листвой, и волны зноя поднимались от стволов винтовок, когда солнце било в них сквозь шатер листвы; земля по краям воронок, вырытых снарядами с горчичным газом, была ярко-желтая, и любой развалившийся дом живописней, чем дома, никогда не знавшие обстрела, но вряд ли путешественник стал бы вдыхать полной грудью воздух теплого летнего утра и предаваться тем же мыслям о созданных по образу и подобию Божию, каким предавался Мунго Парк.

Первое наблюдение, которое я сделал над мертвыми, состояло в том, что тяжело раненные умирали, как животные. Одни умирали быстро, от ничтожной царапины, от которой, казалось, не умер бы и кролик. Они умирали от ничтожных ран, как иногда умирают кролики от трех-четырех дробинок, едва задевших кожу. Другие умирали, как кошки; с проломленным черепом и пулей в мозгу, они лежали иногда по два дня, словно кошки, которые с простреленным мозгом залезают в ящик для угля и не умирают до тех пор, пока им не отрежут голову. Не знаю — может быть, они и после этого не умирают, говорят, у

кошки девять жизней, но большинство людей умирают, как животные, не как люди. Тогда я еще не видел так называемой естественной смерти и, считая, что в этом виновата война, верил, подобно неустрашимому путешественнику Мунго Парку, что есть еще что-то, это вечно отсутствующее еще что-то, а потом и я увидел естественную смерть.

Единственный случай естественной смерти, который мне пришлось видеть, кроме смерти от потери крови, что не так уж плохо, была смерть от испанки. От испанки умирают, задушенные слизью. А теперь я хотел бы видеть смерть кого-нибудь из называющих себя «гуманистами»[72], ведь такие неустрашимые путешественники, как Мунго Парк или я, еще существуют, и, может быть, им суждено дожить до физической смерти некоторых членов этой литературной секты и наблюдать их полный достоинства уход из жизни. Мои раздумья естествоиспытателя навели меня на мысль, что хотя благопристойность — прекрасная вещь, но дальнейшее существование

---

[72] Примечания: 72

Автор просит извинить его за упоминание этого ныне угасшего американского литературного движения. Ссылка на него, как всякая ссылка на модные течения, локализует рассказ во времени, но она сохранена автором как представляющая некоторый исторический интерес, и потому что, опустив ее, он нарушил бы ритм повествования.— *Автор.*

человеческого рода требует, чтобы не все были благопристойны, ибо положение, предписанное производителям потомства, неблагопристойно, в высшей степени неблагопристойно, и, быть может, так называемые гуманисты и являются результатом благопристойного сожительства. Но независимо от того, каково было их начало, я надеюсь увидеть конец некоторых из них и стараюсь предугадать, как черви приступят к этому консервированному бесплодию; творенья их — лишь тлен и прах, их страсть — вся в сносках, не в стихах.

Старая леди. Это очень милый стишок про страсть.

— Знаю. Я заимствовал его у Эндрю Марвелла. Этому я научился у Т. С. Элиота.

Старая леди. Элиоты старые друзья нашей семьи. Кажется, они торговали лесом.

— Мой дядя женат на дочери лесоторговца.

Старая леди. Как интересно.

— Возможно, что в главе о мертвых закономерно говорить об этих самозваных гуманистах, хотя ко времени выхода в свет данной книги это звание и может потерять всякий смысл, но это несправедливо по отношению к тем мертвым, которые не были смолоду живыми мертвецами,

не издавали журналов и в большинстве своем, без сомнения, никогда и не читали их, и которых мне довелось видеть в жаркий день с полпинтой копошащихся червей на том месте, где раньше был рот. Но не всегда на долю мертвых выпадала жаркая погода, чаще они лежали под дождем, и дождь обмывал их и размягчал землю, в которой их хоронили, и случалось, что дождь лил до тех пор, пока земля не превращалась в грязь, и вымывал их обратно, и их снова приходилось хоронить. Зимой, в горах, мы зарывали их в снег, а весной, когда снег таял, их хоронил кто-нибудь другой. В горах у мертвых были прекрасные кладбища — война в горах прекраснейшая из всех войн, и на одном таком кладбище, в селении Покол, был похоронен генерал, которому снайпер прострелил голову. Вот в чем ошибка тех авторов, которые пишут книги под названием «Генералы умирают в постели», потому что этот генерал умер в окопе, вырытом в снегу высоко в горах; голову его прикрывала альпийская шляпа с орлиным пером, на лбу виднелось отверстие, куда не вошел бы и мизинец, а на затылке зияла дыра, где поместился бы кулак — небольшой кулак, и если бы кому-нибудь вздумалось его туда засунуть, а подле него на снегу было много

крови. Он был отличный генерал, так же как и генерал фон Бер, который командовал Баварским альпийским корпусом в сражении при Капоретто и был убит итальянским арьергардом в штабной машине, когда въезжал в Удине во главе своих войск. И такие книги следовало бы называть «Генералы обычно умирают в постели», если стремиться хоть к приблизительной точности в этих вопросах.

Старая леди. Когда же начнется рассказ?

— Сейчас, сударыня, одну минуту. Вы скоро получите его.

Снег иногда падал и на мертвых, которые лежали около перевязочного пункта, расположенного в горах, на защищенном от снарядов склоне. Их вносили в мертвецкую, вырытую в склоне горы до того, как земля замерзла. В этом подземелье раненый, голова которого была разбита вдребезги, как разбивается цветочный горшок, — хотя черепки и сдерживались перепонками и искусно наложенной повязкой, успевшей пропитаться кровью и затвердеть, — лежал с застрявшим в мозгу стальным осколком день, ночь и еще день. Санитары просили врача спуститься вниз и взглянуть на раненого. Каждый раз, когда они входили в мертвецкую, они его видели, а если старались

не смотреть на него, то все равно слышали его дыхание. У врача от слезоточивого газа веки покраснели и опухли, он едва мог открыть глаза. Он дважды ходил смотреть на раненого; один раз — днем, другой — при свете карманного фонаря. Это тоже послужило бы хорошим сюжетом для Гойи, — я имею в виду медицинский осмотр при свете карманного фонаря. Когда врач во второй раз взглянул на раненого, он поверил санитарам, что раненый солдат еще жив.

— Что вы от меня хотите? — спросил врач.

Они ничего не хотели. Но немного погодя они пришли и попросили разрешения вынести его из мертвецкой и положить с тяжело раненными.

— Нет, нет и нет, — сказал врач. Он был очень занят. — А в чем дело? Боитесь вы его, что ли?

— Неприятно, что он дышит там, среди мертвых.

— А вы не слушайте. Если вы возьмете его оттуда, вам придется тут же нести его обратно.

— Это пустяки, господин капитан.

— Нет, — сказал врач. — Нет. Вы слышали, что я сказал?

— Почему вы не вспрыснете ему достаточную дозу морфия? — спросил артиллерийский офицер, который пришел на перевязку раненой руки.

— Вы думаете, мне морфий больше девать некуда? Прикажете оперировать без морфия? У вас есть револьвер, ступайте и пристрелите его сами.

— В него и так уже стреляли, — сказал офицер. — Вот если бы вас, врачей, подстрелить, вы бы иначе заговорили.

— Благодарю покорно, — сказал врач, размахивая щипцами. — Покорно вас благодарю. А глаза мои? — Он показал на них щипцами. — Как бы вам это понравилось?

— Слезоточивый газ. Мы считаем, что повезло, если всего только слезоточивый газ.

— Потому что вы уходите с передовой, — сказал врач. — Потому что вы сейчас же прибегаете сюда, как только нюхнете слезоточивого газа, чтобы вас эвакуировали в тыл. Вы глаза луком натираете.

— Вы не в своем уме. Я не слушаю ваших оскорблений. Вы просто сумасшедший.

Вошли санитары.

— Господин капитан, — сказал один из них.

— Вон отсюда! — крикнул врач.

Они вышли.

— Я пойду пристрелю беднягу, — сказал артиллерийский офицер. — Я человек гуманный. Я не

дам ему мучиться.

— Идите стреляйте, — сказал врач. — На свою ответственность. Я подам рапорт: раненый застрелен артиллерийским офицером на медицинском пункте первой линии. Стреляйте. Идите пристрелите его.

— Вы изверг.

— Мое дело заботиться о раненых, а не убивать их. Пусть этим занимаются господа артиллеристы.

— Почему же вы о нем не заботитесь?

— Я позаботился. Я сделал все, что мог.

— Почему вы не отправите его фуникулером в госпиталь?

— По какому праву вы задаете мне вопросы? Что вы, начальник мой, что ли? Кто заведует этим пунктом, вы или я? Будьте любезны ответить.

Артиллерийский офицер молчал. В перевязочной дожидались очереди одни рядовые, офицеров, кроме него, не было.

— Отвечайте, — сказал врач, беря иголку щипцами. — Я жду вашего ответа.

— Пошел к черту, — сказал артиллерийский офицер.

— Так, — сказал врач. — Так, так. Хорошо. Хорошо. Увидим.

Офицер встал и шагнул к врачу.

— Пошел к черту, — сказал он. — К черту мать твою, сестру твою…

Врач выплеснул ему в лицо полное блюдце йода, а офицер, зажмурясь, бросился на врача, ощупью вытаскивая револьвер.

Врач одним прыжком очутился позади офицера, подставил ему ногу и, когда тот упал, несколько раз пнул его носком и поднял револьвер руками в резиновых перчатках. Офицер сидел на полу, прижав к глазам здоровую руку.

— Я убью вас! — сказал он. — Я убью вас, как только смогу глаза открыть.

— Здесь я хозяин, — сказал врач. — Я вам все прощу, если вы поймете, что я здесь хозяин. А убить меня вы не можете, ваш револьвер у меня. Сержант! Позовите фельдшера!

— Фельдшер на остановке фуникулера, — сказал сержант.

— Промойте офицеру глаза спиртом с водой. Йод попал. Принесите таз, мне нужно руки вымыть. Я займусь им сейчас.

— Не смейте меня трогать.

— Держите его крепче. Он бредит.

Вошел один из санитаров.

— Господин капитан.

— Что вам нужно?

— Раненый в мертвецкой…

— Убирайтесь вон!

— … умер, господин капитан. Я подумал, что вы рады будете это слышать.

— Ну, вот видите, дорогой. Мы ссоримся из-за пустяков. Во время войны мы ссоримся из-за пустяков.

— Пошли к черту, — сказал артиллерийский офицер. Он все еще ничего не видел. — Вы мне выжгли глаза.

— Это пустяки, — сказал врач. — Сейчас пройдет. Пустяки, ссора из-за пустяков.

— Ой, ой, ой! — вдруг закричал офицер. — Вы выжгли мне глаза! Вы выжгли мне глаза!

— Держите его крепче, — сказал врач. — Ему очень больно. Держите его как можно крепче.

Старая леди. И это все? А разве не будет того, что мы в молодости называли заключением?

Автор. Ах, сударыня, уже много лет, как я отказался от заключений. А вам его действительно не хватает?

Старая леди. По правде говоря, сударь, мне больше нравится с заключением… И вы как будто сказали, что это будет вроде «Занесенных снегом» Джона Гринфила Уиттира?

— Сударыня, я опять ошибся. Мы метим высоко, но редко бьем по цели.

Старая леди. Знаете, при более близком знакомстве вы мне нравитесь все меньше и меньше.

— Сударыня, никогда не следует близко знакомиться с автором.

Я не знаю ни одного современного скульптора, за исключением Бранкузи, чьи работы хоть отчасти обнаруживали бы такое совершенство пластики, как новейшая техника боя быков. Но, подобно пению или танцам, это преходящее искусство, одно из тех искусств, которых Леонардо да Винчи советовал избегать, и когда исполнитель сошел со сцены, его искусство живет только в памяти очевидцев и умирает вместе с ними. Разглядывание фотографий, чтение описаний, слишком частые попытки припомнить виденное могут лишь убить память о нем. Будь искусство боя быков непреходящим, оно могло бы стать одним из высоких видов искусства, но это не так, и потому оно исчезает вместе с создавшим его, тогда как в других отраслях искусства о творчестве того или иного мастера даже и судить-то трудно, прежде чем его бренные останки не будут преданы земле. Предмет этого искусства — смерть, и смерть уничтожает его. Но, возразят

вам, оно не пропадает полностью, ибо во всяком искусстве все открытия, все закономерные новшества подхватываются и продолжаются кем-нибудь другим. Так что, собственно говоря, ничего не потеряно, кроме самого мастера. Да и сколь утешительна мысль, что даже если бы с кончиной художника исчезали и его полотна, то все открытия, скажем, Сезанна, не пропали бы, а нашли себе применение у его подражателей. Как бы не так!

Вообразите, что картины художника исчезают вместе с ним, а книги писателя автоматически уничтожаются после его смерти и впредь существуют только в памяти тех, кто их читал. Именно это происходит в бое быков. Мастерство, метод, усовершенствованная техника, открытия остаются; но тот, кто задумал все это и осуществил, кто был пробным камнем, первоисточником, исчезает, а потом — пока не явится другой столь же великий мастер — все достигнутое первым усилиями подражателей искажается, растягивается, укорачивается, тускнеет и теряет всякое сходство с оригиналом. Любое искусство создается только крупными мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для классификации бесталанных последо-

вателей. Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него, и с такой быстротой принимает нужное ему и отвергает ненужное, словно он родился во всеоружии знания, ибо трудно представить себе, чтобы человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенный смертный потратил бы целую жизнь; а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое. Но иногда проходит много времени, прежде чем опять явится великий художник, и те, кто знал старых мастеров, редко сразу признают нового. Они отстаивают старое, хотят, чтобы все было так, как хранит их память. Но другие, младшие современники, признают новых мастеров, наделенных даром молниеносного постижения, и в конце концов и приверженцы старины сдаются. Их нежелание сразу признать новое простительно, ибо, ожидая его, они видели так много лжемастеров, что стали придирчивы и перестали доверять собственным впечатлениям; надежной казалась только память. А память, как известно, всегда подводит.

А как же Старая леди? Нет ее. Мы в конце концов выбросили ее из книги. Поздновато, по-вашему?

Да, пожалуй, можно бы и раньше. А лошади? О лошадях нечего сказать, кроме того, что всегда говорят о них, рассуждая о бое быков. Может быть, достаточно о лошадях? Предостаточно, по-вашему? Всем нравится бой быков, но никто не любит смотреть на несчастных коняг. Может быть, поднять общий тон? Не поговорить ли нам о более высоких материях?

Мистер Олдос Хаксли так начал свой эссей, озаглавленный «Предумышленное низколобие»: «В книге (следует название книги автора этих строк) мистер Х. рискнул помянуть одного из старых мастеров. В единственной фразе, необычайно выразительной (здесь мистер Хаксли вставил несколько лестных слов), говорится о «горестных следах гвоздей» на теле Христа у Мантеньи; и тут же, скорей, скорей, испугавшись собственной дерзости (словно миссис Гаскэлл, если бы ей невзначай случилось помянуть ватерклозет), автор, краснея от стыда, возвращается к более низким предметам. Было время, в недалеком прошлом, когда тупые и необразованные люди пытались казаться умными и просвещенными. Ныне мы наблюдаем обратное явление: отнюдь не редкость натолкнуться на умного и просвещенного человека, который из кожи лезет вон,

лишь бы выставить себя тупицей и скрыть от всех полученное им образование…» — и так далее и так далее в том же духе, с присущей мистеру Хаксли высокой просвещенностью — очень высокой, нечего и говорить.

Ну, так как же? Очко в пользу мистера Хаксли, никаких сомнений. Что вы можете возразить на это? Разрешите мне ответить чистосердечно. Прочитав эти строки у мистера Хаксли, я достал экземпляр книги, на которую он ссылается, перелистал ее, но не нашел приведенных им слов. Может быть, они и есть, но у меня не хватило терпения разыскивать их, да и желания особенного я не испытывал, поскольку книга уже вышла и ничего нельзя было изменить. Такие места, как эта цитата, обычно стараешься вымарать еще в рукописи. Думается мне, тут вопрос более сложный, чем желание или нежелание козырять своей образованностью. Когда писатель пишет роман, он должен создавать живых людей, а не литературные персонажи. Персонаж — это карикатура. Если писателю удается заставить этих людей жить, может быть, в его книге и не будет значительных героев, но, возможно, его роман останется как целое, как нечто единое, как книга. Если людям, которых писатель создает,

свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун. Как бы удачен ни был оборот или метафора, писатель должен применять их только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу. Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали. Если автор романа вкладывает в уста своих искусственно вылепленных персонажей собственные умствования, — что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, — то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго. Хороший писатель должен по возможности знать все. Разумеется, так не бывает. Когда писатель очень

талантлив, кажется, что он наделен знанием от рождения. На самом деле этого нет: он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей затратой времени, чем другие люди, а кроме того — умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание. Есть вещи, которым нельзя выучиться быстро, и в таких случаях мы дорого платим за ученье, потому что время — единственное наше достояние. Это самые простые вещи, и на познание их уходит вся жизнь, а поэтому те крупицы нового, которые каждый человек добывает из жизни, драгоценны, и это единственное наследство, которое остается после него. Каждая правдиво написанная книга — это вклад в общий фонд знаний, предоставленный в распоряжение идущему на смену писателю, но и этот писатель, в свою очередь, должен внести определенную долю своего опыта, чтобы понять и освоить все то, что принадлежит ему по праву наследования, — и идти дальше. Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что

он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места. Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-навсего попугай. И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сыч.

…Мадрид, в сущности, странный город. Я уверен, что с первого раза он никому не может понравиться. В нем совсем нет того, чего привыкли ждать от Испании. Это вполне современный город, без всякой экзотики: ни национальных костюмов, ни кордовских шляп — разве что на голове какого-нибудь шарлатана, — ни кастаньет, ни отвратительных подделок вроде цыганских пещер в Гранаде. Во всем городе нет ни одного уголка с местным колоритом на потребу туристам. Но когда вы узнаете его поближе, вы почувствуете, что это самый испанский город в Испании, что жить в нем очень приятно, что мадридцы — чудесный народ, что там из месяца в месяц стоит отличная погода и что любой

другой крупный центр, столь характерный для провинции, в которой он расположен, представляет либо Андалусию, либо Каталонию, либо Страну Басков, либо Арагон, либо еще какую-нибудь область. Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании, ее квинтэссенцию. А квинтэссенция может храниться в самой обыкновенной бутылке, и не нужны ей никакие пестрые ярлыки, как Мадриду не нужны национальные костюмы; какое бы здание ни возвели мадридцы, — пусть даже оно напоминает Буэнос-Айрес, — достаточно увидеть его на фоне этого неповторимого неба, и вы уже знаете, что вы в Мадриде. Не будь там ничего, кроме музея Прадо, и то, — если средства позволяют вам провести месяц в одной из европейских столиц, — стоило бы каждую весну пожить месяц в Мадриде. Но когда к вашим услугам и Прадо, и сезон боя быков, когда меньше двух часов езды отделяют вас от Эскуриала на севере и от Толедо на юге, и прекрасные дороги ведут к Авиле и Сеговии, а оттуда рукой подать до Ла-Гранха, — тогда очень горько сознавать — безотносительно к вопросу о бессмертии, — что настанет конец и не придется больше видеть все это.

Музей Прадо в высшей степени характерен для

Мадрида. Снаружи он не более живописен, чем американский колледж. Полотна развешаны так бесхитростно, так удобно для обозрения, так хорошо на них падает свет, так мало сделано усилий — за исключением картины Веласкеса «Менины» — выставить напоказ и подать поэффектнее прославленные шедевры, что турист, перелистывающий красный или голубой каталог в поисках самых знаменитых полотен, невольно испытывает разочарование. В сухом горном воздухе чудесно сохранились краски, картины висят просто, без затей, их отлично можно рассмотреть, — уж нет ли тут обмана? Мне случалось видеть недоуменные взгляды туристов. Слишком свежи краски, слишком хорошо видны эти картины — не могут они быть творениями старых мастеров. Так бывает только в торговых помещениях, где картины современных художников выставлены на продажу и где стараются показать товар лицом. Что-то здесь неладно, думает турист. Какой-то подвох. То ли дело итальянские картинные галереи: там за свои деньги набегаешься, разыскивая нужное полотно, а если и найдешь его, то не разглядишь как следует. Тогда только он и восчувствует, что перед ним великое искусство. Он полагает, что великому искусству требуются пышные рамы

и либо красный бархат, либо плохое освещение для придания ему блеска. Такой турист похож на человека, который, зная о некоторых сторонах жизни только из порнографических книг, вдруг очутился бы перед обаятельной женщиной и увидел ее во всей наготе, без прикрас и ухищрений, молча ожидающей на самом неприхотливом ложе. Ему, вероятно, понадобилось бы руководство или, на худой конец, некоторые справки и указания. Может быть, это одна из причин, почему об Испании написано столько книг. На каждого любителя Испании приходится десяток людей, предпочитающих книги о ней. Франция, наоборот, — на нее больший спрос, чем на книги о Франции.

Самые толстые книги об Испании обычно пишут немцы, которые едут туда на длительное время, но никогда больше не возвращаются. Я склонен думать, что это неплохая система: если кому-нибудь непременно нужно писать об Испании, то пусть пишет как можно скорее, после первой же поездки, ибо дальнейшее знакомство со страной может только затемнить первое впечатление, и тогда уже нельзя будет делать выводы с такой легкостью…

Хотите поболтать? О чем? О живописи? О чем-

нибудь, что понравилось бы мистеру Хаксли? Или подняло бы значение книги? Пожалуйста, здесь конец главы, мы можем это сделать. Так вот: немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грэфе приехал в Испанию с целью посмотреть Гойю и Веласкеса, дабы они вдохновили его на годные для печати излияния восторга, но ему больше понравился Эль Греко, поэтому он написал книгу, в которой превозносил Греко и доказывал, какие плохие художники Гойя и Веласкес, причем судил о них по тому, как каждый из них написал распятие Иисуса Христа.

Трудно было придумать что-нибудь глупее этого, ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его. Судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит, или что любит, или ненавидит, а судить о Веласкесе, любившем пышность наряда и веривше в живопись ради живописи, по портрету полуголого человека, распятого на кресте, которым он ничуть не интересовался и который, — Веласкес не мог не чувствовать этого, — вполне удовлетворительно был изображен в той же позе другими художниками, — просто неумно.

Гойя походил на Стендаля: вид сутаны для этих

ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству. Распятие Гойи — грубо намалеванная лубочная олеография, которая с успехом могла бы служить объявлением о предстоящем распятии, — что-то вроде афиши о бое быков. «На мадридской Центральной Голгофе, в пять часов дня, с разрешения властей, состоится распятие шести отборных спасителей. Выступают лучшие, знаменитейшие, искуснейшие распинатели, каждый со своей куадрильей сколачивателей, пригвоздителей, крестоводрузителей, крестовкопателей» и так далее.

Греко любил писать картины на религиозные сюжеты, потому что он, несомненно, был религиозен и еще потому, что это давало ему возможность не ограничивать свое несравненное искусство точным воспроизведением черт лица тех аристократов, с которых он писал портреты, уходить от них в свой собственный мир и — вольно или невольно — наделять апостолов, святых, спасителей и мадонн чертами и формами двуполых существ, населявших его воображение.

Веласкес верил в костюмную живопись, в гончих, карликов и опять-таки в живопись. Гойя не признавал костюма, он верил в черные и серые тона, в пыль и свет, в нагорья, встающие из

равнин, в холмы вокруг Мадрида, в движение, в свою мужскую силу, в живопись, в гравюру и в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал, любил, ненавидел, обходил, желал, отвергал, принимал, проклинал и губил. Конечно, ни один художник не может все это написать, но он пытался.

Греко верил в город Толедо, в его местоположение и архитектуру, в некоторых его обитателей, в голубые, серые, зеленые и желтые тона, в красные тона, в Святого Духа, в причастие и всех святых, в живопись, в жизнь после смерти и в смерть после жизни и в сказку…

Если бы я написал настоящую книгу, в ней было бы все. Музей Прадо, похожий на американский колледж, с зеленой лужайкой, которую поливают по утрам под жарким солнцем мадридского лета; голые меловые холмы вокруг Карабанчеля, августовские дни, проведенные в поезде, когда на солнечной стороне опущены занавески и ветер колышет их; поднимающаяся над гумном мякина, которую ветром доносит до стенок вагона; запах пшеницы и сложенные из камня ветряные мельницы. В ней был бы Альсасуа, где кончается цветущий край, а по ту сторону обширной равни-

ны — Бургос, где мы ели сыр в номере гостиницы; и юнец, который вез с собой образцы вин в оплетенных флягах; он в первый раз ехал в Мадрид и от восторга откупоривал их одну за другой, и все перепились, включая двух гражданских гвардейцев, и я потерял билеты, и гвардейцы провели нас через контроль на перроне (они шли по бокам, как будто конвоируя арестантов — ведь билетов-то не было, — а потом, взяв под козырек, посадили нас в такси); и еще там было бы про Хадли с завернутым в носовой платок бычьим ухом — ухо стало очень твердое и сухое, и вся шерсть повылезла, а матадор, который отрезал его, теперь тоже лысый и зализывает длинные пряди волос на голой макушке, но тогда он был красивый. Правда, правда — очень красивый.

Нужно было бы показать, как меняется местность, когда в сумерках, миновав горы, поезд въезжает в Валенсию, а вы держите на коленях петуха, которого ваша соседка по вагону везет в подарок своей сестре; описать деревянное здание цирка в Альсирасе, где убитых лошадей выволакивают прямо в поле и приходится переступать через них; и шум на мадридских улицах после полуночи, и ярмарку, которая в июне открыта до утра, и возвращение пешком с боя в такси. Que

tal? Malo, hombre, malo[73], и, как всегда, подымает плечи; я ему — дон Роберто, он мне — дон Эрнесто, он так учтив, так любезен и такой хороший друг. И дом, в котором Рафаэль жил до того, как звание республиканца стало почетным, с чучелом бычьей головы — быка убил Гитанелло — на стене и большим кувшином для оливкового масла в углу, и всегда вас там ждали подарки и необыкновенно вкусный ужин.

Нужно было бы описать запах жженого пороха, и дымок, и вспышку, и треск ракеты, взорвавшейся над зеленой листвой деревьев, и вкус ледяного оршада, и чисто вымытые, залитые солнцем улицы, и дыни, и росинки, выступившие на кувшине с пивом; аистов на крышах Барко де Авила и аистов, кружащих в небе; красноватый песок арены; и танцы по ночам под волынки и барабаны, огоньки в зеленой листве и портрет Гарибальди в рамке из листьев. Будь это настоящая книга, в ней были бы незадачливые матадоры, плавающие в водах Мансанареса вдоль Пардской дороги вместе с дешевыми проститутками; по одежде протягивай ножки, говорил Луис; игра в мяч на берегу, где распутный маркиз вышел из машины

---

[73] Примечания: 73
Как дела? Плохо, друг, плохо*(исп.)*.

со своим другом боксером; и как мы возвращались домой пешком, в темноте, а по дороге мимо нас катили машины; сквозь листву светили электрические лампочки, роса прибивала пыль, и мы поеживались от ночной прохлады; и еще в ней было бы о сидре в Бомбилье, о дороге от Сантьяго де Кампостела до Понтеведра, где стеной стоят высокие сосны и по обочине растут кусты черники; и об Альгабено, самом бессовестном из всех тореро-очковтирателей; и о том, как Маэра поменялся одеждой с патером в гостинице Кинтаны, в тот единственный год, когда так много пили, но никто не безобразничал. Такой год был, верно вам говорю, — но это еще не настоящая книга…

И о том говорилось бы здесь, как мы в Аоиси завтракали, а потом плавали в реке Ирати, и вода была прозрачная и светлая, сначала теплая, а чем глубже, тем все холодней, еще холодней, а под конец ледяная, и о прибрежных деревьях, под которыми мы прятались от солнца, и о спелой пшенице, колыхаемой ветром, на другом берегу, по склону горы. В верхнем конце долины, где река берет начало между двумя скалами, стоит древний замок; и мы лежали голые в невысокой траве, сперва на солнце, а потом под деревьями. Вино в Аоисе было неважное, и мы привезли

свое, и ветчина тоже не годилась, и когда мы поехали туда в другой раз, мы захватили завтрак из гостиницы Кинтаны. Кинтана был страстный любитель боя быков и мой самый верный друг в Испании, а гостиница — превосходная и всегда переполнена.

И почему бы в книге об Испании не быть конюшне, вброд пересекающей другую реку, и о том, как тень листвы падает на лошадей, — или пехоты, шагающей по утрамбованной белой глине во дворе школы пулеметчиков; если смотреть на солдат издалека, стоя у окна своего номера, то они кажутся очень маленькими, а за ними видны горы. А бывает, проснешься воскресным утром, когда улицы пусты, и вдруг слышится далекая команда, а потом стрельба. Это не редкость, если живешь достаточно долго и кочуешь с места на место.

При хорошей памяти можно снова, сидя в машине, проехать лесом по берегу Ирати, где деревья как на картинке из книги сказок. Теперь их свели. Теперь вниз по реке сплавляют бревна, а рыбу выловили; в Галисии ее глушили и отравляли; результат один, так что в конечном счете здесь почти то же, что дома, кроме желтого дрока на горных лужайках и мелкого дождя.

Тучи набегают с моря из-за гор, но, когда дует южный ветер, Наварра вся золотится пшеницей, только она не растет на равнинах, а подымается и спускается по склонам, и прорезают ее дороги, окаймленные деревьями, и торчат колокольни деревушек, где пахнет овечьим пометом, а на площади привязаны лошади…

… В Мадриде хорошо пройтись пешком по городу, посидеть в кафе, где можно почерпнуть много полезных сведений о том, кто кому должен и кто кого и как надул, и почему он сказал ему, поцелуй меня в одно место, и у кого от кого дети, и кто женился на ком до всего, а кто после, и сколько на что нужно времени, и что говорит доктор. И как он радовался, что с доставкой быков вышла задержка, значит, их выгрузят только перед самым боем, и ноги у них, понятное дело, не успеют окрепнуть, и довольно будет помахать перед мордой мулетой, а потом раз — и готово, но пошел дождь, и бой отложили на целую неделю, и тут-то он и подхватил болезнь. И кто с кем когда и почему не стал драться, и что она… Да разве она?.. Ну, еще бы, дурень, неужели ты этого не знал? Да она поедает их живьем, одного за другим, что верно, то верно, — и еще много нужного и ценного вы узнаете в кафе. В кафе, где никто

никогда не ошибается; где все матадоры храбрые; где на столиках скопляются блюдца и число выпитых рюмок записывают карандашом на мраморной доске между тарелками со скорлупой креветок, и царит бодрое настроение, потому что в кафе победы достаются легко, и к восьми часам каждый чувствует себя героем, если только есть кому заплатить по счету.

Что еще должно быть в книге о стране, которую очень любишь? Рафаэль говорит, что теперь все не то, и в Памплону он больше не поедет. «Ла Либертад», по-моему, уже сильно смахивает на парижскую «Тан». Это уж не та газета, через которую вы могли обратиться к карманнику, выкравшему у вас бумажник, как в те времена, когда республиканцы еще не были в почете, и Памплона, конечно, изменилась, но все же меньше, чем нас изменили годы. Я убедился, что стоит выпить, — и все опять становится почти таким, каким было всегда. Я знаю, что сейчас много перемен, и меня это не огорчает. Ведь и я уже не тот. Мы все уйдем из этого мира прежде, чем он изменится слишком сильно, и, если не случится нового потопа, и после нас на севере все так же летом будет лить дождь, и соколы будут вить гнезда под куполом собора в Сантьяго

де Кампостела и в Ла-Гранха, где мы учились действовать плащом на длинных тенистых дорожках, посыпанных гравием, и не все ли равно, бьют там еще фонтаны или нет. Но мы уже больше не будем возвращаться из Толедо в темноте, глотая дорожную пыль и запивая ее фундадором, и не повторится та неделя в Мадриде и все, что произошло той июльской ночью. Мы видели, как это ушло, и еще многое уйдет на наших глазах. Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, — если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому. Нет. Это еще не настоящая книга, но кое-что нужно было сказать. Нужно было сказать о некоторых насущных и простых вещах.

Вино Вайоминга

Был жаркий полдень в Вайоминге; вдали виднелись горы и снег на вершинах, но они не отбрасывали тени, и в долине желтели пшеничные поля, на дороге стояла пыль от проезжающих машин, и все деревянные домики по окраине города пеклись на солнце. Я сидел за столиком на заднем крылечке у Фонтэнов, в тени высокого дерева, и мадам Фонтэн принесла из погреба холодного пива. Автомобиль, ехавший по шоссе, свернул на проселок и остановился перед домом. Двое мужчин вылезли из машины и прошли в калитку. Я спрятал бутылки под стол. Мадам Фонтэн встала.

— Где Сэм? — подойдя к затянутой сеткой двери, спросил один из мужчин.

— Его нет дома. Он на работе, в шахте.

— Пиво есть?

— Нет. Пива больше нет. Вот последняя бутылка. Все вышло.

— А он что пьет?

— Это последняя бутылка. Все вышло.

— Бросьте, дайте нам пива. Вы ж меня знаете.

— Пива больше нету. Последняя бутылка. Все

вышло.

— Поедем дальше, достанем где-нибудь и получше здешнего, — сказал другой, и они пошли к машине. Один из них пошатывался. Машина дернула, сделала крутой поворот, вынеслась на шоссе и скрылась из глаз.

— Поставьте пиво на стол, — сказала мадам Фонтэн. — Чего вы испугались? Зачем вы это? Нехорошо пить пиво, когда бутылка на полу.

— Я не знал, кто они такие, — сказал я.

— Пьяные, — сказала она. — В этом-то вся беда. Купят где-нибудь, а потом скажут, что здесь брали. Может быть, они правда не помнят. — Она говорила иногда по-французски, но чаще по-английски вперемежку с французскими словами.

— Где Фонтэн?

— Возится с вином. Mon Dieu, он обожает вино.

— Но вы любите пиво?

— Oui! Я люблю пиво, но Фонтэн обожает вино.

Мадам Фонтэн, уроженка города Ланса, была довольно полная старушка с приятным румяным лицом, вся седая, очень чистенькая и аккуратная; в доме ее тоже все блистало чистотой и опрятностью.

— Где вы обедали?

— В отеле.

— Кушайте у нас. Нехорошо manger[74] в отеле или ресторане. Кушайте здесь.

— Мне не хочется затруднять вас. И в отеле кормят неплохо.

— Я никогда не обедаю в отеле. Может быть, там и неплохо кормят. За всю свою жизнь я только один раз обедала в Америке в ресторане. И знаете, что мне подали? Сырую свинину!

— Да что вы?

— Правда, правда. Свинину, недожаренную! А мой сын женат на américaine и ест только консервы из бобов.

— А они давно женаты?

— Oh, mon Dieu, я даже не знаю. Его жена весит двести двадцать пять фунтов. Она не работает. Она не стряпает, она кормит его консервами из бобов.

— Что же она делает?

— Читает. Только и делает, что читает книги. Целый день валяется в постели и читает. И детей она больше иметь не может. Слишком толста. Для ребенка места нет.

— Что же это она?

— Целый день читает. Он хороший garçon. Мно-

---

[74] Примечания: 74
Кушать (*фр.*).

го работает. Раньше он был шахтером, теперь работает на ранчо. Он никогда не работал на ранчо, но хозяин сказал Фонтэну, что у него еще не было такого хорошего работника. А когда он приходит домой после работы, она его не кормит.

— Почему же он не разведется с ней?

— У него нет денег на развод. И он обожает ее.

— Она красивая?

— Ему кажется, что красивая. Когда он привел ее, я чуть не умерла от горя. Он такой хороший garçon и всегда так много работает, не шатается зря и такой смирный. И вдруг поехал на нефтеразработки и привез эту Indienne, а весила она уже тогда ровно сто восемьдесят пять фунтов.

— Она индианка?

— Ну да, mon Dieu. Она всегда, tout le temps, говорит: сукин сын, черт побери. И не работает.

— Где она сейчас?

— В театре.

— В театре?

— В кинотеатре. Только и делает, что читает да в кино ходит.

— У вас есть еще пиво?

— Mon Dieu, oui. Конечно, есть. Приходите вечером, пообедайте с нами.

— Хорошо. А что принести с собой?

— Ничего не надо. Ничего не приносите. Может быть, у Фонтэна вино уже будет готово.

Вечером я обедал у Фонтэнов. Мы ели в столовой, и стол был покрыт чистой скатертью. Мы пробовали молодое вино. Оно было очень легкое, светлое и приятное, и в нем еще чувствовался вкус винограда. За столом, кроме меня, сидели хозяин, хозяйка и их младший сын Андре.

— Что вы сегодня делали? — спросил Фонтэн, сухонький старичок, изможденный работой на рудниках, с обвислыми седыми усами и ясным взором; родом он был из Сантра, близ Сент-Этьена.

— Работал над книгой.

— И все сошлось по вашим книгам? — спросила мадам Фонтэн.

— Он говорит про книгу, которую сам пишет. Он писатель, — объяснил Фонтэн.

— Папа, можно мне в кино? — спросил Андре.

— Можно, — сказал Фонтэн.

Андре повернулся ко мне.

— Как вы думаете, сколько мне лет? Можно поверить, что четырнадцать? — Он был худ и мал ростом, но по лицу видно было, что ему уже шестнадцать.

— Да. Можно поверить, что четырнадцать.

— Когда я хожу в кино, я весь съеживаюсь, чтобы казаться поменьше. — Голос у него был очень звонкий, ломающийся. — Если я плачу двадцать пять центов, мне сдачи не дают, но если плачу только пятнадцать, меня тоже пускают.

— Тогда я дам тебе только пятнадцать центов, — сказал Фонтэн.

— Нет. Дай мне все двадцать пять. Я разменяю по дороге.

— Только возвращайся домой tout de suite[75] после кино, — сказала мадам Фонтэн.

— Хорошо, я сейчас же вернусь. — Андре вышел из комнаты. Вечер становился прохладным. Он оставил дверь открытой, и снаружи потянуло холодком.

— Mangez! — сказала мадам Фонтэн. — Вы совсем ничего не кушаете.

Я уже съел две порции курятины с жареным картофелем, три порции кукурузы, несколько огурцов и две порции салата.

— Может быть, он хочет кекса, — сказал Фонтэн.

— Надо было мне взять кекса для него, — сказала мадам Фонтэн. — Кушайте сыр. Это хороший,

---

[75] Примечания: 75
Сейчас же (*фр.*).

из сливок. Вы совсем ничего не кушаете. Надо было взять кексу. Américains всегда едят кекс.

— Но я наелся до отвала.

— Кушайте! Вы ничего не ели. Съешьте все. Мы никогда ничего не оставляем на завтра. Кушайте еще.

— Возьмите еще салату, — сказал Фонтэн.

— Я принесу еще пива, — сказала мадам Фонтэн. — Вы, наверно, проголодались за целый день на своей книжной фабрике.

— Она не понимает, что вы писатель, — сказал Фонтэн. Старик был деликатен в обращении, но хорошо помнил армейский жаргон и солдатские песенки, бывшие в ходу к концу девяностых годов, когда он отбывал воинскую повинность. — Он сам пишет книги, — объяснил он жене.

— Вы сами пишете книги? — спросила мадам Фонтэн.

— Случается.

— О! — воскликнула она. — О! Вы сами их пишете. О! Тогда вы, конечно, проголодались. Mangez! Я сейчас принесу de la bsêre.

Мы слышали, как она по лестнице спустилась в погреб. Фонтэн улыбнулся мне. Он очень снисходительно относился к людям, которые не обладали его опытом и знанием жизни.

Когда Андре вернулся из кино, мы втроем сидели на кухне и беседовали об охоте.

— В день труда мы все поехали к Чистому ручью, — сказала мадам Фонтэн. — Oh, mon Dieu, как жаль, что вас с нами не было. Мы все поехали на грузовике. Tout le monde est alle на грузовике. Это было в воскресенье. На грузовике Чарли.

— Мы ели, пили вино, пиво, а один француз, который тоже поехал с нами, привез абсенту, — сказал Фонтэн. — Француз из Калифорнии!

— Mon Dieu, как мы пели! Один фермер вышел посмотреть на нас, мы дали ему выпить, и он немного побыл с нами. А потом подошли Italiens, и они тоже хотели остаться. Мы спели смешную песенку про итальянцев, но они ничего не поняли. Они не понимали, что они нам мешают, а мы не стали с ними разговаривать, и они скоро ушли.

— А рыбы много наловили?

— Очень мало. Мы пошли удить рыбу, но ненадолго, а потом вернулись и опять принялись петь. Мы пели, понимаете, — сказал Фонтэн.

— А ночью, — сказала мадам Фонтэн, — все женщины спали в грузовике. Мужчины легли у костра. Среди ночи, слышу, подходит Фонтэн и хочет взять еще вина, а я говорю ему: mon Dieu,

Фонтэн, оставь что-нибудь на завтра. Завтра нечего будет пить, и все будут огорчены.

— Но мы все выпили, — сказал Фонтэн. — И на завтра ничего не осталось.

— Что же вы делали?

— Рыбу ловили. По-настоящему ловили.

— Верно. Отличной форели наловили. Mon Dieu, oui. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Крупные?

— Полфунта и одна унция. Порционные. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Вы любите Америку? — спросил меня Фонтэн.

— Видите ли, это моя родина. И я люблю ее, потому что это моя родина. Но едят в Америке неважно. Когда-то ели хорошо, а теперь нет.

— Oui, — сказала мадам Фонтэн. — Едят неважно. — Она покачала головой. — А потом здесь слишком много поляков. Когда я была маленькой, ma mere говорила мне: ты ешь, как les Polacks. Я не понимала, что это значит — Polacks. Тогда не понимала, а здесь, en Amérique, я поняла. Слишком много поляков. Et, mon Dieu, они грязные, les Polacks.

— В Америке прекрасная охота и рыбная ловля, — сказал я.

— Да. Это лучше всего. Охота и рыбная ловля, — сказал Фонтэн. — Какое у вас ружье?

— Духовое, двенадцатикалиберное.

— Это хорошо. — Фонтэн кивнул головой.

— Я тоже хочу на охоту, — сказал Андре звонким мальчишеским голосом.

— Тебе нельзя, — сказал Фонтэн. Он повернулся ко мне. — Они просто дикари, эти юнцы. Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один! — с азартом крикнул Андре. — Совсем один.

— Тебе нельзя на охоту, — сказала мадам Фонтэн. — Ты еще маленький.

— Я буду охотиться один! — еще пронзительнее крикнул Андре. — Я хочу стрелять мускусных крыс.

— Что это такое — мускусные крысы? — спросил я.

— Вы никогда не видели их? Наверно, видели. Их еще называют ондатрами.

Андре обеими руками сжимал двадцатидвухкалиберное ружье, которое он достал из шкафа.

— Они дикари, — сказал Фонтэн. — Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один, — упрямо повторил Андре. Он прицелился из ружья. — Я хочу стре-

лять мускусных крыс. Я знаю, где их много.

— Дай сюда ружье, — сказал Фонтэн. Он опять повторял, обращаясь ко мне: — Это дикари. Они готовы застрелить друг друга.

Андре крепко сжимал ружье.

— Я только целюсь. Что же тут такого? Я только целюсь.

— Он обожает охоту, — сказала мадам Фонтэн. — Но он еще маленький.

Андре спрятал двадцатидвухкалиберное ружье обратно в шкаф.

— Когда я вырасту, я буду стрелять зайцев и мускусных крыс, — сказал он. — Один раз я ходил с папой на охоту, и он только подстрелил зайца, а убил его я.

— Верно. — Фонтэн кивнул. — Он убил зайца.

— Но папа сначала подстрелил его, — сказал Андре. — А я хочу охотиться один и стрелять один. На будущий год мне уже можно будет. — Он уселся в угол и раскрыл книгу. Я заглянул в нее, когда мы после обеда перешли из столовой в кухню. Книга была библиотечная: «Фрэнк на борту канонерки».

— Он любит книжки, — сказала мадам Фонтэн. — Но это лучше, чем шататься по ночам с другими garçons и воровать.

— Книги — это хорошо, — сказал Фонтэн. — Monsieur сам пишет книги.

— Oui, c'est vrai. Конечно. Но слишком много книг — нехорошо, — сказала мадам Фонтэн. — En Amérique книги — это болезнь. Как и церкви. Здесь слишком много церквей. Во Франции только les catholiques et les protestants, и очень мало protestants. Но здесь много, много разных церквей. Когда я приехала сюда, я все говорила: oh, mon Dieu, на что столько церквей?

— Верно, — сказал Фонтэн, — слишком много церквей.

— Недавно, — сказала мадам Фонтэн, — к нам приехала одна девочка, француженка, со своей матерью, родственницей Фонтэна, и она говорит мне: «En Amérique не надо быть catholique. Нехорошо быть catholique. Américains не любят, когда кто-нибудь catholique. Это как сухой закон». А я говорю ей: «Кем же ты хочешь быть, а? Раз уж ты catholique, то лучше уж и оставаться catholique». А она говорит: «Нет, нехорошо быть catholique в Америке». А я думаю, что если кто catholique, то лучше уж оставаться catholique. Нехорошо менять свою веру.

— Вы ходите в церковь?

— Нет. В Америке я не хожу в церковь, толь-

ко иногда, очень редко. Но я все-таки остаюсь catholique. Нехорошо менять свою веру. Mon Dieu, non.

— Говорят, что Смит католик, — сказал Фонтэн.

— Так говорят, но кто его знает? — сказала мадам Фонтэн. — Вряд ли Смит catholique. В Америке очень мало catholiques.

— Мы католики, — сказал я.

— Oui, но вы живете во Франции, — сказала мадам Фонтэн. — Вряд ли Смит catholique. Он жил когда-нибудь во Франции?

— Поляки — католики, — сказал Фонтэн.

— C'est vrai, — сказала мадам Фонтэн. — Они идут в церковь, потом всю дорогу домой лезут друг на друга с ножами и весь воскресный день режут друг друга. Но они не настоящие catholiques. Они Polacks catholiques.

— Все католики одинаковые, — сказал Фонтэн. — Католики все похожи друг на друга.

— Я не верю, что Смит catholique, — сказала мадам Фонтэн. — Это ужасно смешно, если он catholique. Я не верю.

— Он правда католик, — сказал я.

— Смит — catholique, — задумчиво повторила мадам Фонтэн. — Никогда бы не поверила. Mon Dieu, il est catholique.

— Принеси еще пива, Мари, — сказал Фонтэн. — Monsieur хочет пить, и я тоже.

— Oui, сейчас, — отозвалась мадам Фонтэн из соседней комнаты. Она спустилась в погреб, и мы слышали, как скрипят ступени. Андре сидел в углу и читал. Фонтэн и я сидели за столом, и он налил пива из последней бутылки в наши стаканы, оставив немного на донышке.

— Хороша в Америке охота, — сказал Фонтэн. — Я очень люблю стрелять уток.

— Во Франции тоже отличная охота, — сказал я.

— Верно, — сказал Фонтэн. — У нас там много дичи.

Мадам Фонтэн вернулась из погреба с бутылками пива в руках.

— Il est catholique, — сказала она. — Mon Dieu, Смит est catholique.

— Вы думаете, он будет президентом? — спросил Фонтэн.

— Нет, — сказал я.

На другой день я поехал к Фонтэнам — сперва в тени городских домов, потом по пыльной дороге, свернул на проселок и остановил машину у калитки. День опять был жаркий. Мадам Фонтэн вышла на заднее крыльцо. Она была точно Ба-

бушка Мороз — чистенькая, румяная, вся седая и походка вперевалочку.

— Bonjour, — сказала она. — Mon Dieu, какая жара. — Она пошла в комнаты за пивом. Я сидел на крылечке и сквозь сетку на двери и листву высокого дерева смотрел на дрожащий от зноя воздух и на далекие горы. Горы были бурые, в глубоких бороздах, а над ними высились три пика и покрытый снегом ледник, белеющий сквозь деревья. Снег был очень белый, очень чистый и казался ненатуральным. Мадам Фонтэн вышла на крыльцо и поставила на стол бутылки.

— На что это вы смотрите?

— На снег.

— Красивый снег.

— Выпейте со мной стаканчик.

— Ну что ж. За красивый снег.

Она села на стул рядом со мной.

— Смит, — сказала она. — Как вы думаете, если он будет президентом, опять разрешат вино и пиво?

— Конечно, — сказал я. — Смит не подкачает.

— Мы уже заплатили семьсот пятьдесят пять долларов штрафу, когда арестовали Фонтэна. Два раза нас арестовывала наша полиция, а один раз федеральная. Все, что мы скопили, пока Фонтэн

работал в шахте, а я ходила по стиркам. Все отдали. А Фонтэна посадили в тюрьму. Он в жизни своей мухи не обидел.

— Он хороший человек, — сказал я. — Это просто позор.

— Мы ведь дорого не берем. Вино — доллар за литр. Пиво — десять центов бутылка. Мы никогда не продаем пиво, пока оно не готово. А многие продают пиво сразу, как только сварят, и тогда от него голова болит. Что мы делали плохого? А Фонтэна посадили в тюрьму, и нам пришлось отдать семьсот пятьдесят пять долларов.

— Возмутительно, — сказал я. — А где Фонтэн?

— С вином возится. Теперь ему надо смотреть за ним, чтобы не испортить, — улыбнулась она. Она уже забыла о штрафе. — Вы знаете, он обожает вино. Вчера вечером он принес немножко, вот то, что вы пили, и еще чуточку молодого. Совсем молодого. Оно еще не поспело, но он пробовал его, а сегодня утром подлил в кофе. Понимаете, в кофе! Он обожает вино. Он уж такой. Родина его такая. У нас, на севере, вина не пьют. Все пьют пиво. Мы жили рядом с большой пивоварней. Когда я была маленькая, я не любила запаха хмеля, я отворачивалась от тележек, на которых его привозили. И в полях, где он растет, не любила.

Mon Dieu, как я не любила запаха des houblons. Хозяин пивоварни сказал мне и моей сестре, чтобы мы пришли в пивоварню и выпили пива, и тогда мы полюбим запах хмеля. И верно. После этого мы его полюбили. Хозяин велел налить нам пива. Мы выпили и после этого полюбили запах хмеля. Но Фонтэн, он обожает вино. Один раз он убил зайца и попросил меня сделать к нему соус с вином, черный соус с вином, и поджаренными грибами, и луком, и всякой всячиной. Mon Dieu, я сделала такой соус, а он съел его весь и говорит: «Соус вкуснее зайца». На его родине так едят. Там много дичи и много вина. А я люблю картофель, колбасу и пиво. C'est bon, la biere. C'est tes bon для здоровья.

— Да. Пиво — это хорошо, — сказал я. — И вино неплохо.

— Вы как Фонтэн. Но здесь я видела такое, чего никогда в жизни не видала. И вы, наверно, не видели. Были у нас américains, и они подливали виски в пиво!

— Не может быть, — сказал я.

— Oui. Mon Dieu, c'est vrai[76]. И одну женщину вырвало прямо на стол!

---

[76] Примечания: 76
Да. О господи, это правда (*фр.*).

— Неужели?

— Правда, правда. Ее вырвало на стол. А потом на ее туфли. А потом они еще приезжали и сказали, что хотят в будущую субботу опять устроить вечеринку, а я сказала, нет, mon Dieu, non. Когда они приехали, я заперла дверь.

— Противно, когда так напиваются.

— Зимой, когда les garçons едут на танцы, они подъезжают в машинах, и дожидаются у калитки, и говорят Фонтэну: «Эй, Сэм, продай нам бутылку вина», — или они берут пиво и вытаскивают из кармана бутылку виски и подливают в пиво и пьют. Mon Dieu, в жизни моей не видела ничего подобного. Подливать виски в пиво! Уж этого я никак понять не могу.

— Они того и хотят, чтоб их тошнило, тогда они по крайней мере чувствуют, что пьяны.

— Как-то раз заходит un garçon, который часто к нам приезжает, и просит меня приготовить им ужин и несколько бутылок вина, и девушки тоже будут, а потом они поедут на танцы. Я сказала — хорошо. Приготовила я им ужин, и они приехали, все уже навеселе. А потом стали подливать виски в пиво. Mon Dieu, oui. Я говорю Фонтэну: их стошнит. Oui, говорит он. Потом девушек стошнило, а девушки были очень милые, славные такие.

Их рвало прямо на стол. Фонтэн хотел взять их под руку и показать им, где уборная, там удобнее, когда тошнит, но les garçons сказали — не надо, им и здесь хорошо, за столом.

Вернувшийся домой Фонтэн подошел к нам.

— Когда они опять приехали, я заперла дверь. Нет, говорю, и за полтораста долларов не пущу. Mon Dieu, non.

— По-французски есть слово для людей, которые так себя ведут, — сказал Фонтэн. Его разморило от жары, и он казался очень старым.

— Какое?

— Cochons, — сказал он очень деликатно и как бы стесняясь произнести такое крепкое словцо. — Они вели себя как свиньи. Это очень сильное выражение, — добавил он извиняющимся тоном. — Но… прямо на стол. — Он сокрушенно покачал головой.

— Свиньи, — сказал я. — Иначе не назовешь. Просто свиньи. Пакостники.

Грубые слова были неприятны Фонтэну. Он поспешил заговорить о другом.

— Бывает, что приезжают и очень славные люди, очень воспитанные, — сказал он. — Например, офицеры с форта. Очень милые, славные люди. Все, кто хоть раз побывал во Франции, приезжают

сюда выпить вина. Они любят вино.

— Был один офицер, — сказала мадам Фонтэн, — которого жена никуда не пускала. И вот он говорит ей, что устал и ложится в постель, а как только она уйдет в кино, он бежит прямо к нам, иногда в одной пижаме, только пальто накинет. Мари, ради бога, говорит, дайте пива. И сидит у нас в пижаме и пьет пиво, а потом возвращается в форт и опять ложится в постель, прежде чем жена придет из кино.

— Удивительный чудак, — сказал Фонтэн, — но очень славный.

— Mon Dieu, oui, очень славный, — повторила мадам Фонтэн. — Всегда уже в постели, когда жена приходит из кино.

— Я завтра уезжаю, — сказал я. — В индейскую резервацию. Мы хотим поспеть к открытию охоты на тетеревов.

— Да? Но вы еще вернетесь сюда? Вы приедете к нам?

— Непременно.

— К тому времени и вино поспеет, — сказал Фонтэн. — Разопьем вместе бутылочку.

— Три бутылочки, — сказала мадам Фонтэн.

— Приеду непременно.

— Так мы вас ждем, — сказал Фонтэн.

— Спокойной ночи, — сказал я.

Из резервации мы вернулись днем. Мы были на ногах с пяти часов утра. Накануне мы отлично поохотились, но в этот день за все утро не видели ни одного тетерева. Ехать в открытой машине было очень жарко, и мы остановились перекусить в тени, под большим деревом на обочине дороги. Солнце стояло высоко, и клочок тени под деревом был очень мал. Мы поели сэндвичей и сухого печенья, нам очень хотелось пить, и мы очень устали и были рады, когда наконец выехали на шоссе, ведущее в город. Мы заметили впереди колонию луговых собачек, остановили машину и стали стрелять по ним из пистолета. Двух собачек мы убили, но потом прекратили стрельбу, потому что те пули, которые не попадали в цель, отскакивали от камней и летели в поле, а за полем виднелись деревья на берегу ручья и жилой дом, и мы не хотели нарываться на неприятности из-за шальных пуль, летевших в сторону дома. Мы поехали дальше и наконец очутились на дороге, которая спускалась под гору к окраине города. Вдали, по ту сторону равнины, высились горы. В тот день они были голубые и снег на вершинах сверкал, точно стекло. Лето подходило к концу, но на вершинах гор еще не

было свежевыпавшего снега — только старый, подтаявший на солнце снег со льдом, и он ярко сверкал издалека.

Нам хотелось посидеть в тени и выпить чего-нибудь холодного. Мы обгорели на солнце, губы у нас потрескались от жары и солончаковой пыли. Мы свернули на проселок к Фонтэнам, остановили машину у калитки и вошли в дом. В столовой было прохладно. Мы застали мадам Фонтэн одну.

— Только две бутылки пива, — сказала она. — Все вышло. А новое еще не готово.

Я дал ей немного дичи.

— Вот это хорошо, — сказала она. — Они вкусные. C'est bon. Спасибо. — Она вышла, чтобы убрать тетеревов в прохладное место. Когда мы допили пиво, я встал.

— Нам пора, — сказал я.

— Вы ведь приедете вечером? Фонтэн приготовит вино.

— Мы заедем до отъезда.

— Разве вы уезжаете?

— Да. Мы едем завтра утром.

— Как жаль, что вы уезжаете. Так приходите вечером, Фонтэн приготовит вино. Мы устроим пир перед вашим отъездом.

— Мы заедем до отъезда.

Но в тот день пришлось отправлять телеграммы, проверить машину, — одну камеру пропороло камнем, и ее надо было залить, — и я пешком пошел в город и сделал все, что нужно было сделать до отъезда. К вечеру я так устал, что решил остаться дома. Нам не хотелось разговоров на чужом языке. Нам только хотелось пораньше лечь в постель.

Лежа в постели среди вещей, которые служили нам все лето и утром будут упакованы в чемоданы, чувствуя прохладный ветерок с гор, проникающий в открытые окна, я подумал, как нехорошо, что мы не поехали к Фонтэнам, — но тут же уснул. На другой день мы укладывались и заканчивали наше лето — на это ушло все утро. Мы позавтракали и в два часа были готовы к отъезду.

— Нужно заехать проститься к Фонтэнам, — сказал я.

— Да, нужно.

— Боюсь, они ждали нас вчера.

— Мы все-таки могли бы поехать.

— Жаль, что мы не поехали.

Мы простились с управляющим в конторе отеля, и с Ларри, и другими знакомыми в городе, а потом поехали к Фонтэнам. И хозяин и хозяйка

были дома. Они обрадовались нам. Фонтэн казался очень старым и утомленным.

— Мы ждали вас вчера вечером, — сказала мадам Фонтэн. — Фонтэн приготовил три бутылки вина. А когда вы не приехали, он все выпил.

— Мы на одну минутку, — сказал я. — Только заехали проститься. Нам очень хотелось приехать вчера вечером. Мы собирались приехать, но мы очень устали после охоты.

— Пойди принеси вина, — сказал Фонтэн.

— Нет вина. Ты все выпил.

Фонтэн был очень расстроен.

— Я достану, — сказал он. — Подождите две минуты. Я все выпил вчера. Мы его для вас приготовили.

— Я так и думала, что вы устали. Я говорила ему, mon Dieu, они не приедут, они слишком устали, — сказала мадам Фонтэн. — Пойди достань вина, Фонтэн.

— Я отвезу вас в машине, — сказал я.

— Хорошо, — сказал Фонтэн. — Так будет скорее.

Мы сели в машину и, проехав по шоссе с милю, свернули на проселок.

— Вам понравится это вино, — сказал Фонтэн. — Оно удалось мне. Выпьете его вечером за

ужином.

Мы остановились перед бревенчатым домом. Фонтэн постучал в дверь. Никто не откликнулся. Мы обошли кругом. Задняя дверь тоже была заперта. Возле двери валялись пустые жестянки. Мы заглянули в окно. Внутри никого не было. В кухне было грязно и не прибрано, но все окна и двери крепко заперты.

— Вот сукина дочь. Где это она шляется? — сказал Фонтэн. Он был в отчаянии. — Я знаю, где достать ключ, — сказал он. — Подождите меня здесь. — Он подошел к соседнему дому, постучал в дверь, поговорил с женщиной, которая вышла на порог, и наконец вернулся. В руках у него был ключ. Мы попытались открыть им входную дверь, потом заднюю, но ничего не выходило.

— Вот сукина дочь, — сказал Фонтэн, — шляется где-то.

В окно мне было видно, где хранилось вино. Подойдя вплотную к окну, я почувствовал запах, который стоял внутри дома. Запах был приторный и тошнотворный, как в индейской хижине. Вдруг Фонтэн схватил лежавшую на земле доску и начал рыть землю возле задней двери.

— Я попаду в дом, — сказал он. — Попаду, сукина дочь.

Во дворе соседнего дома какой-то мужчина возился с передним колесом старенького «Форда».

— Не делайте этого, — сказал я. — Вон тот человек увидит. Он смотрит сюда.

Фонтэн выпрямился.

— Попробуем еще раз открыть ключом, — сказал он.

Мы попробовали, но ничего не вышло. Ключ поворачивался на пол-оборота вправо и влево.

— Нам не попасть в дом, — сказал я. — Давайте вернемся.

— Я подкопаюсь под заднюю дверь, — предложил Фонтэн.

— Нет, нет, я не хочу, это опасно.

— Я подкопаюсь.

— Нет, — сказал я. — Он увидит. И у вас отберут вино.

Мы сели в машину и поехали обратно, к Фонтэнам, по дороге вернув ключ соседям. Фонтэн не говорил ни слова, только ругался вполголоса. Он был удручен и подавлен. Мы вошли в дом.

— Вот сукина дочь! — сказал он. — Мы не могли достать вино. Мое собственное вино, которое я сам приготовил.

Вся радость исчезла с лица мадам Фонтэн. Фонтэн уселся в угол и подпер голову руками.

— Нам пора ехать, — сказал я. — Вы не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье.

— Куда ушла эта сумасшедшая? — спросила мадам Фонтэн.

— Не знаю, — ответил Фонтэн. — Не знаю, куда она ушла. А вы так и уедете без вина.

— Это не важно, — сказал я.

— Так не годится, — сказала мадам Фонтэн. Она покачала головой.

— Нам пора ехать, — сказал я. — Прощайте, всего хорошего. Спасибо вам за все.

Фонтэн покачал головой. Он был безутешен. Мадам Фонтэн с грустью смотрела на него.

— Не расстраивайтесь из-за вина, — сказал я.

— Ему так хотелось угостить вас своим вином, — сказала мадам Фонтэн. — Вы приедете в будущем году?

— Нет. Может быть, через два года.

— Вот видишь! — сказал ей Фонтэн.

— Прощайте, — сказал я. — Не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье. — Фонтэн покачал головой. Он не улыбнулся. Он понимал, что все погибло.

— Вот сукина дочь, — пробормотал Фонтэн.

— Вчера вечером у него было три бутылки,

— сказала мадам Фонтэн, чтобы утешить его. Но он только покачал головой.

— Прощайте, — сказал он. У мадам Фонтэн были слезы на глазах.

— Прощайте, — сказала она. Ей очень жаль было Фонтэна.

— Прощайте, — сказали мы. Мы все были очень огорчены.

Они стояли в дверях, а мы сели в машину, и я завел мотор. Мы помахали им на прощание. Они грустно стояли рядом на крылечке. Фонтэн выглядел очень старым, а мадам Фонтэн — очень грустной. Она помахала нам, а Фонтэн ушел в комнаты. Мы свернули с шоссе.

— Они так огорчены. Старик совсем расстроился.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Да, надо было.

Мы пересекли город и выехали на бетонную дорогу: по обе стороны ее тянулось жнивье, справа высились горы. Почти как в Испании, но это был Вайоминг.

— Я желаю им всяческого счастья.

— Не будет им счастья, — сказал я, — и Смит президентом тоже не будет.

Бетонное шоссе кончилось. Дальше мы ехали

по щебню, потом равнина осталась позади, и между двумя отлогими холмами, у подножия горы, началась извилистая дорога вверх. Земля у подножия была красноватая, поросшая серыми кустами полыни, и, когда дорога пошла круче, вдали, за холмами и за равниной, показались высокие горы. Теперь они были дальше от нас и еще сильнее напоминали Испанию. Дорога, сделав петлю, поднялась еще выше, и мы увидели впереди купающихся в пыли куропаток. Когда мы приблизились, они вспорхнули, часто хлопая крыльями, потом плавно опустились и сели на один из холмов под нами.

— Какие они большие и красивые. Они больше европейских.

— В Америке хороша охота. La chasse, как говорит Фонтэн.

— А когда охота кончится?

— Их уже не будет в живых.

— Мальчик будет.

— Это еще неизвестно, — сказал я.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Ох, да, — сказал я. — Надо было поехать.

Игрок, монахиня и радио

Их привезли около полуночи, и потом всю ночь по коридору разносились крики русского.

— Куда он ранен? — спросил мистер Фрейзер у ночной медсестры.

— Кажется, в бедро.

— А что с другим?

— О, боюсь, что он умрет.

— Куда он ранен?

— Две пули в брюшной полости. Вытащили только одну.

Они — оба, русский и мексиканец, работали на уборке свеклы — сидели и пили кофе в ночном ресторане, когда кто-то вошел и стал стрелять в мексиканца. Русский залез под стол, и его ранило неточным выстрелом в мексиканца, когда тот уже лежал на полу с двумя пулями в брюшной полости. Так писала газета.

Мексиканец заявил полиции, что не имеет ни малейшего представления о том, кто стрелял в него. Он считает это случайностью.

— Случайность, что кто-то выпустил в тебя восемь пуль и дважды ранил, а?

— Si, señor[77], — ответил мексиканец, которого звали Каетано Руис.

— Случайность, что он вообще ранил меня, этот болван, — сказал он переводчику.

— Что он говорит? — спросил детектив-сержант, взглянув на переводчика, стоявшего по другую сторону кровати.

— Он говорит, что это случайность.

— Скажите ему, чтобы он говорил правду, потому что он умирает, — настаивал детектив.

— Na! — сказал Каетано. — Но скажите ему, что мне очень плохо и не хотелось бы так много говорить.

— Он говорит, что это правда, — ответил переводчик и доверительным тоном добавил, наклоняясь к детективу: — Он не знает, кто стрелял в него. Стреляли сзади.

— Да, — кивнул детектив. — Это я понимаю, но почему обе пули попали в живот?

— Может быть, он сочиняет? — спросил переводчик.

— Послушай, — детектив потряс пальцем у самого носа Каетано, заострившегося и воскового на мертвенном лице с живыми, как у ястреба,

---

[77] Примечания: 77
Да, сеньор*(исп.).*

глазами. — Мне наплевать, кто в тебя стрелял, но я должен расследовать дело. Ты не хочешь, чтобы тот, кто в тебя стрелял, понес наказание? — Он посмотрел на переводчика: — Скажите ему это.

— Он просит, чтобы вы сказали, кто стрелял в вас.

— Mandarlo al carajo![78] — ответил Каетано, которого одолевала усталость.

— Он говорит, что вовсе не видел его, — объяснил переводчик. — Я же вам ясно говорю, что стреляли сзади.

— Спросите его, кто стрелял в русского?

— Бедняга русский, — вздохнул Каетано. — Он лежал на полу, закрыв голову руками. Начал кричать, когда в него выстрелили, и с тех пор кричит не переставая. Бедняга русский!

— Он говорит, стрелял какой-то парень, которого он не знает. Может быть, тот самый, что стрелял и в него.

— Послушай! — рассердился детектив. — Здесь не Чикаго. Ты не бандит. Нечего разыгрывать кинодраму. Нужно сказать, кто в тебя стрелял. Каждый на твоем месте сказал бы, кто стрелял в него. Ничего тут особенного нет. Сейчас ты не ска-

---

[78] Примечания: 78
Да пошел ты!*(исп.)*

жешь, кто он, а потом он застрелит кого-нибудь еще? Женщину или ребенка? Нельзя оставить его безнаказанным. Переведите ему это, — попросил он мистера Фрейзера. — Я не доверяю этому чертову переводчику.

— Вы можете на меня положиться, — заверил его переводчик. Каетано посмотрел на мистера Фрейзера.

— Послушайте, amigo, — начал мистер Фрейзер, — полисмен говорит, что вы не в Чикаго, а в Хейли, штат Монтана. Вы не бандит, и это не кинодрама.

— Я верю ему, — смиренно ответил Каетано. — Ya lo creo[79].

— Здесь можно открыто и честно называть своего обидчика. Здесь так принято, говорит он. Он говорит, будет гораздо хуже, если человек, который ранил вас, потом застрелит женщину или ребенка.

— Я не женат, — сказал Каетано.

— Он говорит, какую-нибудь женщину, какого-нибудь ребенка.

— Этот человек точно не псих, — покачал головой Каетано.

---

[79] Примечания: 79
Еще как верю*(исп.).*

— Он говорит, что вы должны назвать его, — закончил мистер Фрейзер.

— Благодарю вас, — кивнул Каетано. — Вы из великих переводчиков. Я говорю по-английски, хотя и плохо. Но понимаю свободно. Где это вы сломали ногу?

— Упал с лошади.

— Вот не повезло-то, мне очень жаль вас. Сильно болит?

— Теперь уже нет. Сначала болело.

— Послушайте, amigo, — начал Каетано. — Я очень слаб. Извините меня. Кроме того, у меня сильные боли, достаточно сильные. Вполне возможно, что я умру. Пожалуйста, уведите отсюда этого полисмена, потому что я очень устал.

Он сделал движение, будто хотел перевернуться на бок, потом затих.

— Я передал ему в точности все, что вы сказали, и он просит передать вам, что, право же, он не знает, кто стрелял в него, и что он очень слаб, и просит вас допросить его после, — перевел мистер Фрейзер.

— А может быть, после он умрет.

— Вполне возможно.

— Вот потому-то я и хочу допросить его сейчас.

— Я вам говорю, кто-то стрелял сзади, — встрял

переводчик.

— А, да ну вас к черту! — воскликнул детектив-сержант и сунул записную книжку в карман.

* * *

Выйдя в коридор, сержант и переводчик остановились возле мистера Фрейзера, сидевшего в инвалидном кресле.

— Вы тоже, вероятно, думаете, что кто-то стрелял в него сзади?

— Да, — сказал Фрейзер. — Кто-то стрелял в него сзади. А почему вас это интересует?

— Не сердитесь, — сказал агент. — Хотел бы я говорить со спиками[80] на их языке.

— А что вам мешает его выучить?

— Не нужно сердиться. Я не получаю никакого удовольствия, задавая эти вопросы спику. Если бы я сам говорил по-испански — тогда другое дело.

— Вам нет нужды говорить по-испански, — сказал переводчик. — Вы можете на меня положиться.

— Господи! — вырвалось у детектива. — Ладно, пока! Я еще приду и увижусь с вами.

---

[80] Примечания: 80

Спик/spick — пренебрежительное прозвище латиноамериканцев.

— Пожалуйста. Я всегда здесь.

— Вы, как я понимаю, поправляетесь. Не повезло вам. Вот уж не повезло.

— Теперь-то лучше. Кость срастается.

— Да, но это надолго. Очень надолго.

— Не позволяйте никому стрелять вам в спину.

— Верно, — кивнул детектив. — Верно. Ну, я очень рад, что вы не сердитесь.

— До свиданья! — попрощался мистер Фрейзер.

* * *

Мистер Фрейзер долгое время не видел Каетано, но каждое утро сестра Сесилия приносила вести о нем.

Он совсем не жалуется, говорила она, а ему так плохо. У него перитонит, и все думают, что он не выживет. Бедняга Каетано, говорила она. У него такие красивые руки и такое тонкое лицо, и он никогда не жалуется. Запах сейчас действительно ужасный. Он показывает иногда себе на нос одним пальцем и улыбается, и качает головой, говорила она. Ему неприятен запах. Он смущается, говорила сестра Сесилия. О, он такой симпатичный больной! Он всегда улыбается. Он отказался исповедоваться святому отцу, но

обещал помолиться, и ни один мексиканец не пришел навестить его с тех пор, как его привезли. Русский выписывается в конце недели. Вот к русскому у меня никаких чувств нет, говорила сестра Сесилия. Бедняга, он тоже мучился. Пуля, она была грязная, и рана воспалилась, и он так кричал. И потом мне всегда больше нравятся плохиши. Этот Каетано — он плохиш. Он настоящий плохиш, плохиш до мозга костей, но он такой изнеженный, такой хрупкий и никогда ничего не делал руками. Я знаю, он не сборщик свеклы. Руки у него такие мягкие, и ни одной мозоли. Я знаю, что он из плохишей. Я сейчас встану на колени и помолюсь за него. Бедный Каетано, ему очень худо, а он даже не стонет. За что они стреляли в него? Бедный Каетано! Я сейчас встану на колени и помолюсь за него.

Она встала на колени и помолилась за него.

* * *

В этой больнице радио работало хорошо только с наступлением сумерек. Говорили, причина в том, что в земле слишком много руды или что это как-то связано с горами, но, так или иначе, оно работало совсем плохо, пока на улице не начинало темнеть. Зато всю ночь оно работало

прекрасно, и когда одна станция прекращала вещание, ты просто двигался западнее и ловил другую. Последняя вела трансляцию из Сиэтла, в штате Вашингтон, и благодаря разнице в часовых поясах, когда там заканчивали вещание в четыре утра, в больнице часы показывали уже пять, а в шесть начиналась утренняя музыкально-развлекательная передача из Миннеаполиса. Тоже благодаря разнице в часовых поясах, и мистер Фрейзер любил думать о музыкантах, приходящих утром в студию, и представлять себе, как они выходят из трамвая на рассвете, неся свои инструменты. Может быть, он ошибался, и они оставляли инструменты там, где играли, но он всегда представлял их себе с инструментами. Он никогда не бывал в Миннеаполисе и думал, что скорее всего никогда туда не попадет, но ясно видел, как выглядит этот город ранним утром.

Из окна больницы виднелись поле с торчащими из-под снега перекати-поле и голый глинистый холм. Как-то утром доктор хотел показать мистеру Фрейзеру двух фазанов, которые ходили по снегу, и когда он двигал кровать к окну, со спинки свалилась лампа для чтения и ударила мистера Фрейзера по голове. Сейчас это звучит совсем не смешно, но тогда это было очень смешно. Все

смотрели в окно, и доктор, прекрасный доктор, показывал на фазанов и подвигал кровать к окну, и потом, совсем как в фарсе[81], мистера Фрейзера стукнуло свинцовой подставкой лампы по макушке. Это шло вразрез с лечением, со всем тем, ради чего люди ложатся в больницу, и все нашли случившееся ужасно смешным, прям анекдотом о мистере Фрейзере и докторе. В больнице все много проще, даже анекдоты.

Из другого окна, если повернуть кровать, виднелись город с поднимающимся над ним дымом и горы Доусона, уже покрытые снегом и оттого похожие на настоящие горы. Только эти два вида и мог лицезреть мистер Фрейзер с тех пор, как стало очевидным, что сидеть в инвалидном кресле ему еще рано. Да и по правде сказать, лучше лежать в постели, если ты в больнице; эти два вида, если располагать временем любоваться ими из палаты с кондиционированным воздухом, намного лучше любого числа других видов, если видишь их наспех из жарких, пустых палат, ожидающих новых больных или только что освободившихся, куда тебя вкатывают в инвалидном кресле, чтобы выкатить через несколько минут.

---

[81] Примечания: 81
Комедия легкого содержания.

Когда долго лежишь в одной палате, вид, каков бы он ни был, приобретает особую ценность, и становится крайне важным, и не хочется его менять, не хочется даже смотреть на него под другим углом. То же самое и с радио: тебе нравятся определенные песни, и ты радуешься им, когда слышишь вновь, и отвергаешь новые. В ту зиму пальму первенства он отдал трем: «Спой что-нибудь простенькое», «Китаяночке» и «Маленьким небылицам»[82]. Никакие другие песни, по мнению мистера Фрейзера, не шли с этими тремя ни в какое сравнение. «Студентка Бетти» поначалу тоже ему приглянулась, но на ум мгновенно пришли другие строфы, пародирующие песню, до того непристойные, что он ни с кем не мог ими поделиться; так что в конце концов он перестал ее слушать и при первых тактах переключал радио на футбол.

Около девяти утра включали рентгеновский аппарат, и тогда радиоприемник, который к этому времени ловил только одну местную станцию,

---

[82] Примечания: 82

Песни «Спой что-нибудь простенькое/Sing Something Simple» и «Китаяночка/Singsong girl» оказались однодневками, правда, первая дала начало английской радиопрограмме, которая выходила в эфир в 1959–2001 гг., а «Маленькие небылицы/Little White Lies» многократно пели разные исполнители. По словам Пола Маккартни, была одной из любимых у него и Джона Леннона, когда они еще только начинали в Ливерпуле.

становился совершенно бесполезным. Многие жители Хейли, имевшие приемники, протестовали, утверждая, что больничный рентген мешает им по утрам слушать радио, но так ничего и не добились, хотя большинство считало, что больница могла бы пользоваться рентгеном в другие часы, когда люди не слушают радио.

* * *

В то утро сестра Сесилия вошла в палату, когда мистер Фрейзер собирался выключить радиоприемник.

— Как Каетано, сестра Сесилия? — спросил он.

— О, он очень плох.

— Без сознания?

— Нет, но боюсь, что умрет.

— А как вы?

— Я очень беспокоюсь за него, и знаете, никто не пришел навестить его. Он может умереть, как собака, а эти мексиканцы и глазом не моргнут. Действительно, ужасные люди!

— Хотите прийти и послушать репортаж с сегодняшней игры?

— О нет, — ответила она. — Для меня это очень волнительно. Я буду молиться в часовне.

— Я думаю, что слышно будет хорошо, — сказал

мистер Фрейзер. — Играют на побережье, и благодаря разнице во времени у нас наступит вечер, так что мы услышим в лучшем виде.

— О нет, я не смогу. Мировая серия[83] чуть не доконала меня. Когда «Атлеты»[84] выходили на прием подачи, я прямо-таки в полный голос читала молитвы: «О Боже, направляй их глаза и руки! О Боже, ну помоги ему попасть по мячу! О Боже, даруй им сильный удар!» А потом, когда они заполняли базы в третьей игре, вы помните, я уж совсем не выдержала. «Господи, пусть он пробьет за пределы поля! О Боже, пусть после его удара мяч улетит за забор». И вы знаете, когда пришел черед «Кардиналов»[85] отбивать подачу, все стало еще ужаснее. «О Боже, не дай им попасть! О Боже, пусть они не видят мяч! О Боже, ну пускай они промахнутся!» А сейчас все только

---

[83] Примечания: 83

Мировая серия — заключительная часть бейсбольного чемпионата США. Проводится с 1903 г.

[84] Примечания: 84

«Филадельфийские атлеты / Philadelphia Athletics» — профессиональная бейсбольная команда, чемпионы США 1929–1930 гг.

[85] Примечания: 85

«Сент-луисские кардиналы / St. Louis Cardinals» — профессиональная бейсбольная команда. В 1930 г. уступила в Мировой серии «Филадельфийским атлетам»

хуже. Это же «Нотр-Дам»[86]. Богоматерь! Нет, я пойду в часовню. За Богоматерь. Они играют за Богоматерь. Написали бы вы что-нибудь о Богоматери. Ведь вы можете. Вы и сами знаете, что можете, мистер Фрейзер.

— Я не знаю о ней ничего такого, что мог бы написать. Уже почти все написано, — ответил мистер Фрейзер. — Вам не понравится, как я пишу. Ей тоже не понравится.

— Вы когда-нибудь о ней напишете, — заверила его сестра. — Я знаю, что напишете. Вы должны написать о Богоматери.

— Лучше приходите и послушайте репортаж.

— Я не выдержу этого. Нет, я пойду в часовню и помолюсь.

В этот вечер не прошло и пяти минут с начала игры, как в палату вошла молоденькая медсестра-стажер.

— Сестра Сесилия просит узнать, как идет игра.

— Скажите ей, что у нас уже один тачдаун[87].

---

[86] Примечания: 86

«Нотр-Дам / Notre Dame» — Нотр-дамский университет занимает ведущие позиции в студенческом спорте.

[87] Примечания: 87

Тачдаун / touchdown (дословно: приземление) — один из способов набора очков в американском и канадском футболе.

Немного погодя стажер снова заглянула в палату.

— Скажите ей, что наши их выносят, — сообщил мистер Фрейзер.

Немного позже он нажал на кнопку звонка, вызывая медсестру, которая дежурила на этаже.

— Вас не затруднит спуститься в часовню или передать с кем-нибудь сестре Сесилии, что «Нотр-Дам» выигрывает четырнадцать — ноль к концу первой четверти[88] и все в порядке. Она может больше не молиться.

Через несколько минут вошла взволнованная сестра Сесилия. Очень взволнованная.

— Что значит четырнадцать — ноль? Я ничего не понимаю в футболе. Для бейсбола это было бы очень хорошо, но в футболе я ничего не смыслю. Может быть, это ничего не решает. Я сейчас же иду обратно в часовню и буду молиться до самого конца игры.

— Исход ясен, — успокоил ее мистер Фрейзер. — Мы уже победили. Я ручаюсь вам. Останьтесь и послушайте со мной.

— Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, — возразила она. — Я сейчас же иду обратно в часовню

---

[88] Примечания: 88

Футбольный матч состоит из четырех периодов (четвертей) по 15 минут чистого времени каждый.

молиться.

Всякий раз, когда «Нотр-Дам» набирал очки, мистер Фрейзер просил дежурную дать знать об этом сестре Сесилии, и наконец, когда уже давно стемнело, сообщил окончательный результат.

— Ну, и что сестра Сесилия?

— Сейчас они все в часовне, — ответила дежурная.

На следующее утро вошла сестра Сесилия. Очень довольная и веселая.

— Я знала, что они не смогут обыграть «Богоматерь»! — воскликнула она. — Не смогут. Каетано тоже лучше. Гораздо лучше. К нему сегодня придут. Он еще не сможет с ними повидаться, но они придут, и ему станет легче, если он будет знать, что он не забыт своими. Я пошла в полицейский участок к этому О'Брайену и сказала ему, что он должен прислать каких-нибудь мексиканцев навестить бедного Каетано. Он пришлет кого-нибудь сегодня днем. Тогда бедняге станет лучше. Никто не приходил навестить его, и это отвратительно.

В тот же день около пяти часов в палату вошли три мексиканца.

— Можно? — спросил самый высокий, с мясистыми губами и довольно-таки толстый.

— Почему нет, — ответил мистер Фрейзер. — Присаживайтесь, господа. Может, выпьем чего-нибудь?

— Большое спасибо, — поблагодарил здоровяк.

— Спасибо, — присоединился к нему самый смуглый и маленький.

— Нет, спасибо, — отказался третий, тощий. — Вино мне в голову ударяет. — Он постучал себя по голове.

Медсестра принесла стаканы.

— Подайте им, пожалуйста, бутылку, — попросил Фрейзер. — Это из Рэд-Лодж, — пояснил он.

— Из Рэд-Лодж — самое лучшее, — одобрил здоровяк. — Много лучше, чем из Биг-Тимбер.

— Это точно, — поддакнул самый маленький. — И стоит дороже.

— В Рэд-Лодж лучшие цены, — отметил здоровяк.

— Сколько ламп в приемнике? — спросил тот, который не пил.

— Семь.

— Как здорово! — воскликнул он. — И сколько он стоит?

— Не знаю, — ответил мистер Фрейзер. — Его взяли напрокат. Вы, господа, друзья Каетано?

— Нет, — здоровяк покачал головой. — Мы дру-

зья того, кто ранил его.

— Нас прислала сюда полиция, — добавил самый маленький.

— Мы с ним держим небольшой кабачок, — сообщил здоровяк. — Я и он. — Он мотнул головой в сторону того, который не пил. — У него тоже небольшой кабачок, — указал на маленького смуглого. — В полиции нам велели прийти, мы и пришли.

— Я очень рад, что вы пришли.

— Мы тоже.

— Хотите еще по стаканчику?

— Пожалуй, — согласился здоровяк.

— С вашего разрешения, — не отказался самый маленький.

— Мне не надо, — помахал рукой тощий. — Вино мне в голову ударяет.

— Вино замечательное, — улыбнулся самый маленький.

— Почему не попробовать? — спросил мистер Фрейзер тощего. — Ну, покружится голова, и всё.

— А потом болеть будет.

— Вы не могли бы прислать к Каетано его друзей? — спросил Фрейзер.

— У него нет друзей.

— У каждого человека есть друзья.

— У него нет.

— Чем он занимается?

— Он картежник.

— Хорошо играет?

— Более чем.

— У меня он выиграл сто восемьдесят долларов, — признался самый маленький. — Теперь во всем мире не сыскать ста восьмидесяти долларов.

— У меня он выиграл двести одиннадцать долларов, — поплакался тощий. — Вы только представьте себе такую сумму!

— Я никогда не играл с ним, — здоровяк пожал плечами.

— Он, должно быть, очень богат, — предположил мистер Фрейзер.

— Он беднее нас, — возразил маленький мексиканец. — У него только и есть, что рубашка на плечах.

— Да и та теперь ничего не стоит, — указал мистер Фрейзер. — Простреленa пулями.

— Это точно.

— Тот, что ранил его, тоже картежник?

— Нет, работал на уборке свеклы. Ему пришлось уехать из города.

— Только представьте себе, — вздохнул самый маленький. — Лучший гитарист во всем городе.

Самый лучший.

— Какая жалость!

— Так оно и есть, — кивнул здоровяк. — Как он играл на гитаре!

— И больше не осталось хороших гитаристов?

— Ни единого.

— Есть один, он на аккордеоне играет, ничего так, — вставил тощий.

— Да еще кое-кто играет на других инструментах, — добавил здоровяк. — Вы любите музыку?

— Еще как!

— А что, если мы придем как-нибудь вечером поиграть вам? Как вы думаете, сестра разрешит? Она, кажется, очень дружелюбная.

— Уверен, что разрешит, когда Каетано сможет слушать музыку.

— Она что, немного ку-ку? — спросил тощий.

— Кто?

— Эта сестра.

— Нет, — ответил мистер Фрейзер. — Она милая женщина, очень умная и сострадательная.

— Я не верю ни попам, ни монахам, ни монахиням, — покачал головой тощий.

— В детстве с ним случилось много чего плохого, — сообщил самый маленький.

— Я был служкой в церкви, — в голосе тощего

звучала гордость. — Теперь я ни во что не верю. И в церковь не хожу.

— Почему? В голову ударяет?

— Нет, — ответил тощий. — Это алкоголь в голову ударяет. Религия — опиум для бедняков.

— А я думал марихуана — опиум для бедняков, — признался Фрейзер.

— Вы когда-нибудь курили опиум? — спросил здоровяк.

— Нет.

— Я тоже, — сказал он. — Кажется, это отвратная штука. Начнешь — и уже не можешь бросить. Это порок.

— Как и религия, — вставил тощий.

— Он очень активно выступает против религии, — заметил маленький мексиканец.

— Необходимо занимать активную позицию по отношению к чему-то, — вежливо указал мистер Фрейзер.

— Я уважаю верующих, даже если они невежественны, — признал тощий.

— Это хорошо, — кивнул мистер Фрейзер.

— Что вам принести? — спросил мексиканец-здоровяк. — Вам что-нибудь нужно?

— Я бы с удовольствием купил пива, только хорошего пива.

— Мы принесем вам пиво.

— Еще по одной на посошок?

— Вино замечательное.

— Мы у вас все выпили.

— Я не могу его пить. У меня голова кружится. Потом начинается головная боль и тошнота.

— До свиданья, господа!

— До свиданья и спасибо!

Мексиканцы ушли, а мистер Фрейзер, поужинав, приник к радиоприемнику: звук убрал до минимума, чтобы чуть слышать. Станции сменяли друг друга в таком порядке: Денвер, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелес и Сиэтл. Сидя у радиоприемника, мистер Фрейзер не сумел составить никакого представления о Денвере. Он видел Денвер только по «Денвер Пост» и дополнял картину по «Роки-Маунтин-Ньюс». Никогда не мог почувствовать и Солт-Лейк-Сити, и Лос-Анджелес по передачам. О Солт-Лейк-Сити знал лишь, что там чисто, но скучно, а Лос-Анджелес ему не хотелось и видеть, потому что упоминавшееся количество танцевальных залов в тамошних больших отелях просто зашкаливало. Танцевальные залы он не жаловал. Но Сиэтл изучил очень хорошо, и его большие белые таксомоторы (каждая машина радиофицирована):

на одном из них он каждую ночь выезжал в придорожный ресторан на Канадской стороне и представлял себе, что за компания там собралась, по тем песням, которые они заказывали по телефону. В Сиэтле он проживал каждую ночь, начиная с двух часов, слушал, что заказывали разные люди, и этот город воспринимался им так же реально, как Миннеаполис, где музыканты утром покидали свои постели, чтобы совершить поездку в студию. Мистер Фрейзер очень полюбил Сиэтл в штате Вашингтон.

* * *

Мексиканцы пришли и принесли пиво, но, к сожалению, не из хороших. Мистер Фрейзер принял их, но ему не хотелось разговаривать, и когда они ушли, он знал, что больше они не придут. У него пошаливали нервы, и в таком состоянии ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы стали ни к черту, и хотя он радовался, что у них оказался такой большой запас прочности, ему не нравилось, что его вновь заставляют провести тот же эксперимент, поскольку результат он и так знал. Мистер Фрейзер через все это уже проходил. Единственное, что привносило новизну, так это радио. Он проводил с ним ночь

напролет, приглушив до минимума, и приучал себя слушать, ни о чем не думая.

* * *

В то утро сестра Сесилия вошла в палату около десяти часов и принесла почту. Очень красивая, и мистеру Фрейзеру нравилось смотреть на нее и слушать, как она говорит, но почта, пришедшая как бы из иного мира, стояла на первом месте. Однако на этот раз среди писем не оказалось ничего интересного.

— Вы гораздо лучше выглядите. — Она улыбнулась. — Вы скоро уедете от нас.

— Да, — кивнул мистер Фрейзер. — У вас сегодня такое счастливое лицо.

— Да, так оно и есть. Сегодня мне кажется, что я смогла бы стать святой.

От этих слов мистер Фрейзер на какие-то мгновения лишился дара речи.

— Да, — продолжала сестра Сесилия. — Это моя цель. Стать святой. С малых лет мечтала об этом. Еще девочкой думала, что стану святой, если откажусь от мира и уйду в монастырь. Этого я хотела и думала, что должна этого добиться. Я ждала, что стану святой. Я была совершенно уверена в этом. Как-то раз на одну минуту мне

показалось, что я уже святая. Я была такая счастливая, мне казалось, что это так просто и легко. Проснувшись утром, я нисколько не сомневалась, что я уже святая, а выяснилось, что нет. Я ею так и не стала. А очень хочется. Больше ничего не хочу. Да и не хотела никогда ничего другого. И сегодня утром у меня такое чувство, что я смогу быть святой. О, я надеюсь, что так оно и будет!

— Вы станете. Все добиваются, чего хотят. Мне об этом много твердили.

— Сейчас уверенности нет. Когда я была девочкой, мне казалось, что все так просто. Я знала, что стану святой. Только я верила, что на это уйдет время, когда поняла, что сразу не получается. А теперь это кажется почти невозможным.

— По-моему, у вас все шансы.

— Вы правда так думаете? Нет, я не хочу, чтобы меня подбадривали. Не надо меня просто так подбадривать. Я хочу быть святой. Я так хочу быть святой!

— Конечно, вы станете святой, — заверил ее мистер Фрейзер.

— Нет, вероятно, не стану. Но если бы только смогла стать, то была бы совершенно счастлива.

— Три против одного, что вы будете святой.

— Нет, не подбадривайте меня. О, если бы я

смогла стать святой! Если бы только я смогла!

— Как ваш друг Каетано?

— Он поправляется, но у него паралич. Одна из пуль задела нерв, проходящий через бедро, и нога парализована. Это заметили, только когда он достаточно поправился, чтобы ходить.

— Может быть, нерв еще восстановится?

— Я молюсь об этом, — ответила сестра Сесилия. — Вам бы повидаться с ним.

— Мне не хочется никого видеть.

— Знаете, вам понравится общение с ним. Его могут прикатить сюда.

— Ладно.

* * *

Его вкатили в инвалидном кресле, худого, с прозрачной кожей, с черными отросшими волосами; глаза у него смеялись; зубы — они показывались при улыбке — оставляли желать лучшего.

— Hola, amigo! Que tal?[89]

— Как видите, — ответил мистер Фрейзер. — А как вы?

— Жив. Паралич ноги.

— Тяжелое дело, — мистер Фрейзер вздохнул.

---

[89] Примечания: 89
Добрый день, друг! Как дела?*(исп.)*

— Но нерв может восстановиться и станет как новенький.

— Говорят — да.

— Что-нибудь болит?

— Теперь нет. Некоторое время я с ума сходил от боли в животе. Думал, что эта боль убьет меня.

Сестра Сесилия со счастливой улыбкой наблюдала за ними.

— Она говорит, что вы даже не охнули, — заметил мистер Фрейзер.

— Когда в палате столько народу? — В голосе мексиканца слышалось осуждение. — А как ваша боль? Сильно допекала?

— Порядочно. Но, конечно, меньше, чем вас. Когда медсестра уходит, я плачу час, два часа. Это успокаивает. С нервами у меня сейчас очень плохо.

— У вас радио. Если бы у меня была отдельная палата и радио, я бы плакал и кричал всю ночь напролет.

— Сомневаюсь.

— Hombre, да. Это очень полезно для здоровья. Но когда столько народу — нельзя.

— По крайней мере руки остались целы. Мне сказали, что вы работаете руками.

— И головой. — Он постучал себя по лбу. — Но

голова не так важна.

— Трое ваших земляков приходили сюда.

— Полиция прислала их повидаться со мной.

— Они принесли пиво.

— Вероятно, плохое.

— Именно так.

— Сегодня по распоряжению полиции они придут и сыграют мне серенаду. — Он засмеялся, потом похлопал себя по животу. — Я еще не могу смеяться. А музыканты они отвратительные.

— А кто стрелял в вас?

— Еще один дурак. Я выиграл у него в карты тридцать восемь долларов. Было за что убивать!

— Те трое сказали мне, что вы много выигрываете.

— И беднее любого нищего.

— Отчего?

— Я несчастный идеалист. Жертва иллюзий. — Он засмеялся, потом скривил рот в усмешке и вновь похлопал себя по животу. — Я профессиональный игрок, но люблю играть. Именно играть. Мелкая игра всегда нечестная. Для настоящей игры нужно, чтобы везло. Мне не везет.

— Никогда?

— Никогда. Мне никогда не везет. Вот этот баран, который стрелял в меня? Умеет он стрелять?

Нет. Первый раз промахнулся. Вторым выстрелом попал в беднягу русского. Кажется, мне повезло? Что же дальше? Он дважды попадает мне в живот. Ему везет. Мне не везет. Он не попал бы в лошадь, держа ее за стремя. Все дело в везении.

— Я думал, он попал в вас, потом в русского.

— Нет, сначала в русского, потом в меня. Газета ошиблась.

— Почему вы не стреляли в него?

— Я никогда не ношу оружия. При моей удачливости, если бы я носил оружие, меня вешали бы десять раз в год. Я — плохой игрок, ничего больше. — Он замолчал, потом продолжал: — Если я выигрываю, то сажусь играть по-крупному, а когда играю — проигрываю. Мне случалось выигрывать в кости три тысячи долларов и тут же просаживать шесть. При хороших костях. И не один раз.

— А почему вы не бросите?

— Если доживу, удача переменится. Мне не везет уже пятнадцать лет. Если мне когда-нибудь повезет, я разбогатею. — Он усмехнулся. — Я хорошо играю, я бы хотел разбогатеть.

— Вам во все игры не везет?

— Во все игры, и с женщинами. — Он снова улыбнулся, продемонстрировав плохие зубы.

— Правда?

— Правда.

— Что же делать?

— Продолжать понемногу и ждать, когда удача повернется лицом.

— А с женщинами?

— Ни одному игроку не везет с женщинами. Он сосредоточен на другом. Работает ночами. Когда же ему бывать с женщиной? Ни один мужчина, который работает ночью, не может удержать женщину, если она чего-нибудь стоит.

— Вы философ.

— Нет, hombre. Провинциальный игрок. Один городок, другой, третий, потом большой город, и все сначала.

— Потом — пуля в живот.

— Первый раз, — возразил он. — Такое со мной впервые.

— Я вас утомляю разговорами? — спросил мистер Фрейзер.

— Нет, — ответил Каетано. — Это я вас утомляю.

— А нога?

— Нога мне не особенно нужна. Что с ногой, что без ноги, мне все равно. Я могу переезжать и так.

— Желаю вам удачи, искренне, от всего сердца,

— улыбнулся ему мистер Фрейзер.

— Я тоже, — ответил он. — И чтоб боль прекратилась.

— Она пройдет, конечно. Уже проходит. Это совсем не важно.

— Чтобы поскорее прошла.

— И вам того же.

* * *

В тот вечер мексиканцы играли на аккордеоне и других инструментах в большой палате, весело и жизнерадостно: вдохи и выдохи аккордеона, и звон колокольчиков, и звуки трубы и барабана разносились по всему коридору. В палате помимо Каетано Руиса, провинциального игрока с парализованной ногой, лежал участник родео, которого в жаркий пыльный день сбросила лошадь на глазах у большой толпы зевак. Он получил перелом позвоночника, и после выписки из больницы ему предстояло учиться мастерить что-нибудь из кожи и плести стулья. Соседнюю кровать занимал плотник, свалившийся с лесов и сломавший обе ноги и оба запястья. Он упал, как кошка, не обладая кошачьей гибкостью. Ожидалось, что его вылечат, и он сможет работать снова, но на это требовалось много времени.

Компанию им составлял подросток с фермы, лет шестнадцати, который попал в больницу со сломанной ногой: кость неправильно срослась, и ее предстояло ломать снова. Через коридор до мистера Фрейзера доносились их смех и шутки по поводу игры мексиканцев, присланных полицией. Мексиканцы остались довольны приемом. Они вошли, очень возбужденные, к мистеру Фрейзеру и спросили, не хочет ли он, чтобы они сыграли ему что-нибудь. За вечер еще два раза приходили, чтобы сыграть, по собственной инициативе.

В последний раз, когда они играли, мистер Фрейзер лежал в своей палате с распахнутой дверью, прислушивался к громкой скверной музыке и не мог не думать. Когда они спросили, что ему сыграть, он попросил «Кукарачу», обладающую зловещей легкостью и живостью множества тех мелодий, под которые люди шли на смерть. Они играли громко и с чувством. Мелодия казалась мистеру Фрейзеру лучше других, но эффект оставался прежним.

Несмотря на всплеск эмоций, мистер Фрейзер продолжал думать. Обычно он этого избегал, старался думать, лишь когда писал, но сейчас он думал о тех, кто играл, и о том, что говорил тот,

маленький.

Религия — опиум для народа. Он верил в это — этот страдающий расстройством пищеварения кабатчик. Да, и музыка — опиум для народа. Тощий не подумал об этом. А теперь экономика — опиум для народа; так же как патриотизм — опиум для народа в Италии и Германии. И как насчет половых сношений? Это тоже опиум для народа? Для некоторых людей. Для некоторых из лучших людей. Но спиртное — высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио, еще один опиум для народа; самый дешевый; он сам им сейчас пользовался. Наряду с этим шла игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие еще один опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления. Чего все хотели, так это минимума государства, как можно меньше правления. Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена[90]. Мы верим в свободу, хотя для нее еще не подобрали нового имени. Но где настоящий? В чем настоящий, подлинный опиум для народа? Он знал это

[90] Примечания: 90

Макфэдден, Бернар / Macfadden, Bernarr (1868–1955) — известный пропагандист здорового образа жизни, с 1931 г. — издатель еженедельника «Либерти» (дословно: свобода).

очень хорошо. Эта мысль всего лишь завернула за уголок в ту ярко освещенную часть его разума, которая появлялась после двух или больше стаканчиков, пропущенных вечером. Он знал, что мысль эта там (конечно, на самом деле ее там не было). Что это такое? Он же знал очень хорошо. Что это такое? Ну конечно, хлеб — опиум для народа. Запомнит ли он это и будет ли в этом смысл при дневном свете? Хлеб — опиум для народа.

— Послушайте, — обратился мистер Фрейзер к медсестре, когда она вошла, — приведите сюда этого маленького худого мексиканца. Пожалуйста!

— Вам понравилось? — спросил мексиканец с порога.

— Очень.

— Это историческая мелодия, — сказал мексиканец. — Это мелодия истинной революции.

— Скажите, почему людей оперируют без наркотика? — спросил мистер Фрейзер.

— Не понимаю.

— Почему не всякий опиум хорош для народа? Что вы хотите сделать с народом?

— Его необходимо избавить от невежества.

— Не говорите глупостей. Образование — опиум для народа. Вы должны это знать. Вы сами

учились.

— Вы не верите в образование?

— Нет, — ответил мистер Фрейзер. — В знание — да.

— Я не понимаю вас.

— Я сам часто и с удовольствием не понимаю себя.

— Вы хотите еще раз послушать «Кукарачу»? — тревожно спросил мексиканец.

— Да, — сказал Фрейзер. — Сыграйте «Кукарачу» еще раз. Это лучше, чем радио.

«Революция, — решил мистер Фрейзер, — не опиум. Революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только тиранией. Опиум нужен до и после». До чего же хорошо ему думалось, даже чересчур хорошо.

Они скоро уже уйдут, думал он, и унесут с собой «Кукарачу». Тогда он включит радио, ведь радио можно приглушить так, чтобы его было еле-еле слышно.

Отцы и дети

Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно, был и уже закончился какой-то ремонт, поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной, мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неуплату взносов, — и дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах, — и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгар осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан,

город для ночевки намечен, и Ник смотрел, где на маисовом поле посеяна соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.

На охоте, когда собаки учуют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом, одни прямо вверх, другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными, — остается только обернуться и целиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему — всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко,

словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.

Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение, — и отец говорит ему:

— Подняли флаг. — Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем. — Видишь, — говорил отец, — вон там наша Дороти. Она подняла флаг, а сейчас идет к пристани.

Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани — только белый песок и изогнутую линию берега.

— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?

— Вижу.

Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.

— Я могу их сосчитать, — говорил отец.

Как и все люди, обладающие какой-либо неза-

урядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас, думая о перепелиной охоте, вспомнил отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.

Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все, что нужно, дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.

Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, нерадостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие были еще живы. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие поправки сомнительного художественного достоинства. Лицо сформировалось само собой

в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.

Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале она шла по хвойному лесу позади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Ручей переходили по бревну, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезать через изгородь, а дальше твердая, высохшая на солнце дорога вела по скошенному лугу с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к

лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.

Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали, огромные и желтые, там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойне-Сити нужна была только кора: зимой ее волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса, и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.

Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел

в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:

— Ты опять хочешь Труди?

— Труди, а ты хочешь?

— Ага.

— Идем туда.

— Нет, здесь.

— А как же Билли?..

— Ну так что ж. Билли мой брат.

После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала, — когда она зацокает, то распушит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одноствольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволом.

— Не шевелится, дрянь этакая, — сказал Билли.

— Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгнет. И ты опять стреляй, — сказала Труди. Для нее это была длинная речь.

— У меня только два патрона, — сказал Ник.

— Дрянь этакая, — сказал Билли.

Они сидели, прислонившись к дереву, и молча-

ли. Нику было легко и радостно.

— Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Дороти.

— Что-о?

— Он так сказал.

Труди кивнула.

— Он только того и ждет, — сказала она. Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.

— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Дороти, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди. — Вот так. Вот как я его убью.

— Тогда лучше ему не ходить, — сказала Труди.

— Пусть лучше глядит в оба, — сказал Билли.

— Он хвастает, — говорила Труди, — только ты его не убивай. А то попадешь в беду.

— Вот так и убью, — сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его размозжило выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу. — Я сниму с него скальп, — сказал он с торжеством.

— Нет, — сказала Труди, — это нехорошо.

— Сниму скальп и пошлю его матери.

— Его мать умерла, — сказала Труди. — Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.

— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.

Билли не на шутку встревожился.

— Пусть глядит в оба, — сказал он угрюмо.

— Собаки его в клочки разорвут, — сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:

— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!

— Что с тобой?

— Не убивай его!

— Я должен его убить.

— Он просто хвастун.

— Ладно, — сказал Ник. — Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.

— Вот и ладно, — сказала Труди. — Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.

— Пускай Билли уйдет.

Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.

— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.

— Черти, — сказал Билли. — Надоело мне это.

Мы зачем пришли? Охотиться или нет?

— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.

— Ладно. Уж я достану ту черную.

— Я тебя тогда позову, — сказал Ник. Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.

— Как по-твоему, будет у нас ребенок?

Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику.

Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.

— Не думаю, — сказал он.

— Будет, ей-богу, будет.

Они услышали, как выстрелил Билли.

— Интересно, убил или нет.

— Наплевать, не ходи, — сказала Труди. Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.

— Смотри! — сказал он. — Большая, больше кошки.

— Где ты ее убил?

— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.

— Пора домой, — сказал Ник.

— Нет еще, — сказала Труди.

— Мне нужно вернуться к ужину.

— Ну что ж. Ладно.

— Пойдешь на охоту завтра?
— Ладно.
— Белку можешь взять себе.
— Ладно.
— Выйдешь после ужина?
— Нет, не выйду.
— Тебе хорошо?
— Хорошо.
— Ну, вот и ладно.
— Поцелуй меня, — сказала Труди.

Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темнота надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток, или вспоминал о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспахан-

ном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах, и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.

В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец заставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, который читал на крыльце

газету, и думал: «Я могу выстрелить в него. Могу его убить». В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.

— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.

— Не знаю, право, как тебе рассказать.

Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия — а мальчик не спал. «Когда же он проснулся?» — подумал Ник.

— Мы по целым дням охотились на черных белок, — сказал он. — Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком-индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.

— Странные имена для индейцев.

— Да, пожалуй, — согласился Ник.

— Расскажи, какие они были.

— Они были оджибуэи, — сказал Ник. — Очень славные.

— А хорошо было с ними?

— Как тебе сказать… — ответил Ник Адамс.

Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, не кончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежевыделанной куньей шкурки. Никакие анекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изменить не могут. Не может изменить

и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Но важно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.

И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.

— Тебе они, может, и не понравились бы, — сказал Ник сыну, — впрочем, нет, они славные.

— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?

— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.

— А я буду жить с ними?

— Не знаю, — сказал Ник. — Зависит от тебя.

— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?

— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.

— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.

— Будет и двенадцать. Все в свое время.

— А какой был дедушка? Я его не помню, помню

только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?

— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.

— Он был лучше, чем ты?

— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.

— Ну уж, верно, не лучше тебя.

— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.

— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?

— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.

— Во Франции это было бы не важно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.

— Как-нибудь поедем.

— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Надо будет подумать.

— А можно всех нас похоронить в каком-ни-

будь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!

— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции, — сказал Ник.

— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.

— Неплохо придумано.

— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.

— Ты очень трезво рассуждаешь.

— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.

— Придется побывать, — сказал Ник. — Вижу, что придется.

Пятая колонна и первые сорок девять рассказов
(1938)

Рог быка

В Мадриде полно молодых людей, которых зовут Пако; это уменьшительное имя от Франсиско, и там даже бытует анекдот о некоем отце, приехавшем в Мадрид и разместившем объявление в «Эль Либераль», в колонке личных объявлений, гласившее: «Пако приходи в гостиницу Монтана во вторник в полдень я все простил папа», а на следующий день пришлось вызывать эскадрон Национальной гвардии, чтобы разогнать восемьсот молодых Пако, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил официантом в пансионе «Луарка», не было ни отца, который мог бы простить его, ни прегрешений, за которые отцу нужно было бы его прощать. У него были две сестры, служившие в «Луарке» горничными; эту работу они получили, потому что были родом из той же маленькой деревушки, что и их предшественница, которая своим трудолюбием и честностью снискала доброе имя своей деревне и ее уроженкам; и эти сестры оплатили ему билет на автобус до Мадрида и устроили его на работу в пансион младшим официантом. Деревня, откуда он приехал, находилась в том

районе Эстремадуры, где условия жизни были неправдоподобно примитивными, еды всегда недоставало, ни о каких удобствах никто понятия не имел, и мальчику, сколько он себя помнил, приходилось трудиться в поте лица.

Юноша был хорошо сложен, имел очень черные слегка вьющиеся волосы, хорошие зубы, кожу, которой завидовали даже сестры, и открытую искреннюю улыбку. Он был расторопным и хорошо выполнял свою работу, любил сестер, которых считал красивыми и умудренными опытом, любил Мадрид, который до сих пор казался ему каким-то неправдоподобным местом, любил свою работу, представлявшуюся ему романтически прекрасной благодаря яркому свету в зале, чистым скатертям, обязательному для официантов смокингу и изобилию еды на кухне.

В пансионе «Луарка» жили и столовались от восьми до двенадцати человек, но для Пако, младшего из трех официантов, обслуживавших столы, по-настоящему существовали только те, кто были связаны с боем быков.

Второразрядные матадоры жили в пансионе потому, что его местоположение на улице Сан-Херонимо было вполне достойным, а еда превосходной и дешевой, так же как и проживание.

Для матадора важно поддерживать видимость если не процветания, то по крайней мере респектабельности, поскольку декорум и внешнее достоинство ценятся в Испании превыше всего, даже выше храбрости, и матадоры жили в «Луарке», пока не кончались последние деньги. Никто не мог припомнить, чтобы матадор переселялся из «Луарки» в лучший или более дорогой отель, — второразрядные матадоры до высшего ранга не поднимались никогда, а вот падение происходило стремительно, поскольку жить там могли только те, кто хоть что-нибудь зарабатывал; гостю без просьбы с его стороны никогда не предъявляли счет, но лишь до тех пор, пока хозяйка заведения не убеждалась, что клиент безнадежен.

В тот момент в «Луарке» жили три действующих матадора, а также два очень хороших пикадора и один превосходный бандерильеро. «Луарка» была роскошью для пикадоров и бандерильеро, которые, оставив семьи в Севилье, приезжали в Мадрид на весенний сезон и нуждались во временном жилье; но им хорошо платили, и, нанимаясь на постоянную работу к матадору, заключившему много контрактов на весь предстоящий сезон, каждый из этой троицы

вспомогательных участников корриды, скорее всего, зарабатывал больше, чем любой из трех живших в «Луарке» матадоров. Один из этих матадоров был болен и всячески старался это скрывать; для второго короткий период известности, когда он подавал надежды и был замечен, миновал, а третий был трусом.

Этот трус когда-то, в начале своей многообещающей карьеры, до того как бык нанес ему рогом чудовищную и особую рану, в низ живота, был отчаянно храбрым и исключительно искусным, и с той поры, когда ему еще сопутствовал успех, в его манерах сохранились широта и размашистость. Он был чрезмерно общителен и постоянно смеялся по всякому поводу и без повода. В дни своей славы он очень любил устраивать розыгрыши, но теперь отказался от этой привычки. Она требует уверенности в себе, а ее он теперь не чувствовал. У этого матадора было умное, открытое лицо, и держал он себя с большим достоинством.

Матадор, который болел, тщательно заботился о том, чтобы никто этого не заметил, и съедал понемногу, но от каждого блюда, подававшегося к столу. У него была куча носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и в последнее время он потихоньку начал распродавать свои

костюмы для арены. Один он продал — задешево — накануне Рождества, другой — на первой неделе апреля. Это были очень дорогие костюмы, с которыми он чрезвычайно бережно обращался, теперь у него остался только один. До того как заболел, он подавал большие надежды, уже пользовался успехом и, хоть был неграмотен, хранил вырезки из газет, в которых писали, что во время своего мадридского дебюта он превзошел самого Бельмонте. Он всегда ел один, за отдельным маленьким столиком, и почти не поднимал головы.

Матадор, который когда-то произвел сенсацию, был смуглым коротышкой, но с большим чувством собственного достоинства. Он тоже ел один, за отдельным столиком, очень редко улыбался, а уж не смеялся вообще никогда. Он приехал из Вальядолида, жители которого славятся своей серьезностью, и матадором был весьма способным; но его стиль ведения боя устарел раньше, чем его достоинства — храбрость и спокойное, уверенное мастерство — успели завоевать ему любовь публики, так что теперь его имя на афишах никого на трибуны не привлекало. Поначалу его сенсационный успех объяснялся таким малым ростом, что он едва мог видеть поверх бычьего загривка,

но были и другие низкорослые матадоры, и ему так и не удалось заставить капризную публику полюбить именно его.

Из двух пикадоров один был тощим седовласым мужчиной с ястребиным лицом, хрупкого сложения, но руки и ноги имел железные, он всегда ходил в пастушьих башмаках, брюках навыпуск, каждый вечер напивался и на каждую женщину в пансионе смотрел с обожанием. Другой был рослым, со смуглым красивым лицом, черными, как у индейца, волосами и огромными ручищами. Оба были великолепными пикадорами, хотя про первого говорили, будто он растратил многие из своих достоинств из-за пьянства и разгульного образа жизни, а второго считали слишком упрямым и задиристым, из-за чего он не мог ужиться ни с одним матадором дольше одного сезона.

Бандерильеро был мужчиной средних лет, с проседью, по-кошачьи ловким, несмотря на возраст; сидя за столом, он производил впечатление умеренно процветающего делового человека. Для текущего сезона ноги у него были еще достаточно сильными, и можно было не сомневаться, что, даже когда их сила ослабнет, смекалка и опыт позволят ему еще долго обеспечивать себя постоянной работой. Разница будет состоять лишь

в том, что, утратив быстроту ног, он постоянно будет испытывать страх, в то время как теперь он чувствовал себя уверенно и спокойно что на арене, что за ее пределами.

В тот вечер все уже покинули столовую, кроме пикадора с ястребиным лицом, который слишком много пил, разъездного торговца с большим родимым пятном на лице, который продавал часы на ярмарках и фестивалях по всей Испании и тоже слишком много пил, и двух священников из Галисии, которые сидели за угловым столиком и пили если не слишком много, то вполне достаточно. В то время в «Луарке» вино включалось в стоимость проживания и питания, и официанты только что поставили по очередной бутылке вальдепеньяс на столы торговца, потом пикадора и, наконец, двух священников.

Все три официанта стояли в конце зала. Согласно правилам заведения, они обязаны были оставаться в зале, пока все гости, чьи столы они обслуживали, не уйдут, но в тот день официант, который отвечал за стол священников, спешил на собрание анархо-синдикалистов, и Пако согласился его подменить.

Наверху матадор, который был болен, один в своей комнате, лежал на кровати лицом вниз.

Матадор, чья слава миновала, сидел у себя, глядя в окно на улицу, он собирался отправиться в кафе. Матадор-трус, зазвав старшую сестру Пако к себе, пытался склонить ее к тому, от чего она со смехом отказывалась.

— Ну же, маленькая дикарка, — говорил он.

— Нет, — отвечала сестра. — С какой стати?

— В качестве любезности.

— Значит, поели, а теперь хотите меня на десерт?

— Только разок. Тебя от этого не убудет.

— Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, говорю вам.

— Это же такой пустяк.

— Говорю вам, оставьте меня в покое.

Внизу, в столовой, самый высокий официант, тот, который уже опаздывал на собрание, сказал:

— Вы только посмотрите, как упиваются эти черные свиньи.

— Зачем так выражаться? — сказал второй официант. — Они приличные гости. И пьют не так уж много.

— По мне так именно таких выражений они и заслуживают, — сказал высокий официант. — В Испании два проклятия — быки и священники.

— Но это же не касается каких-то отдельных

быков и каких-то отдельных священников.

— Да, — сказал высокий, — но побороть класс в целом можно, только борясь с каждым его представителем. Надо убивать всех быков и всех священников по отдельности. Всех. Чтобы и духу их не осталось.

— Прибереги эти речи для собрания, — сказал другой официант.

— Вы посмотрите на это варварство, только в Мадриде такое возможно, — сказал высокий. — Половина двенадцатого, а они продолжают пьянствовать.

— Они сели за стол только в десять, — сказал другой официант. — Ты же знаешь, сколько тут блюд подают. А вино это дешевое, и они за него заплатили. К тому же оно слабенькое.

— О какой солидарности трудящихся можно говорить с таким дураком, как ты? — сказал высокий официант.

— Слушай, — сказал второй официант, которому было лет пятьдесят, — я работал всю свою жизнь. И должен буду работать весь остаток жизни. И я не жалуюсь. Работать — это нормально, это жизнь.

— Да, но не иметь работы — это смерть.

— У меня всегда была работа, — сказал пожи-

лой официант. — Иди-ка ты на свое собрание. Незачем тебе здесь торчать.

— Ты хороший товарищ, — сказал высокий. — Но у тебя нет никакой идеологии.

— Mejor si me falta eso que el otro, — сказал пожилой (имея в виду, что лучше не иметь идеологии, чем работы). — Иди уже на свой mitin.

Пако молчал. Он пока ничего не смыслил в политике, но всегда приходил в волнение, когда слышал, как высокий официант рассуждал о необходимости убивать священников и национальных гвардейцев. Высокий официант был для него воплощением революции, а революция тоже олицетворяла романтику. Сам он хотел быть хорошим католиком, революционером и иметь надежную работу, как эта, но в то же время быть матадором.

— Иди на собрание, Игнасио, — сказал он. — Я обслужу твой стол.

— Мы вместе его обслужим, — сказал пожилой официант.

— Да тут и одному-то делать нечего, — сказал Пако. — Иди на собрание.

— Pues me voy[91], — сказал высокий. — Спа-

---

[91] Примечания: 91
Тогда я пошел (*исп.*)

сибо.

Между тем наверху сестра Пако ловко вывернулась из объятий матадора, как борец из сложного захвата, и сказала уже сердито:

— Все вы, горе-матадоры, придавленные страхом, — словно оголодавшие. Если вы такой лихой, показывали бы это на арене.

— Ты говоришь, как шлюха.

— Шлюха — тоже женщина, но я — не шлюха.

— Все равно станешь шлюхой.

— Только не с вашей помощью.

— Оставь меня в покое, — сказал матадор. Получивший отпор, отверженный, он почувствовал, как возвращается страх обнаружить свою трусость перед окружающими.

— Оставить вас? Да кому вы нужны? — сказала сестра Пако. — Вам что, постель стелить не надо? Мне за это деньги платят.

— Оставь меня в покое, — повторил матадор, и его широкое красивое лицо исказила гримаса — словно он был готов заплакать. — Шлюха. Грязная маленькая шлюха.

— Ах матадор, мой матадор, — сказала она, закрывая дверь.

Матадор сел на кровати. С его лица не сходила гримаса, которую на арене он превращал в за-

стывшую улыбку, пугавшую сидевших в первых рядах зрителей, которые понимали, что перед ними происходит.

— Еще и это, — повторял он вслух. — Еще и это. Еще и это.

Он помнил то время, когда был исключительно хорош, с тех пор прошло всего три года. Помнил тяжесть шитого золотом жакета на плечах в тот жаркий майский полдень, когда голос его еще звучал одинаково, что на арене, что в кафе, и как он нацелил острие клинка в пыльный загривок быка между лопатками, в верхнюю точку покрытой черной шерстью горы мышц, возвышавшейся между широко разведенными мощными, расщепленными на концах рогами, которые низко опустились, когда он подошел, чтобы нанести последний удар, как шпага легко, словно в кусок масла, вошла в него, и он толкал головку эфеса все дальше, выставив вперед левое плечо, перенеся тяжесть тела на левую ногу и накрест протянув левую руку, а потом вдруг нога его лишилась опоры. Теперь вся тяжесть тела приходилась на нижнюю часть живота, и когда бык поднял голову, ро́га не было видно, он весь вошел внутрь, и матадор дважды крутанулся на нем, прежде чем его сняли. Поэтому теперь, подходя

близко к быку, чтобы нанести последний удар, что случалось редко, он не мог смотреть на бычьи рога, и куда уж какой-то шлюхе понять, через что ему приходится пройти, прежде чем выйти на арену! А эти, которые смеются над ним, испытали ли они в жизни что-нибудь подобное? Все они шлюхи и знают, что с ними можно сделать.

Внизу, в столовой, пикадор сидел, наблюдая за священниками. Если бы в комнате были женщины, он бы пялился на них. Когда женщин не было, он с удовольствием глазел на какого-нибудь иностранца, un ingles, но сейчас, за отсутствием женщин и иностранцев, он с таким же удовольствием нагло разглядывал двух священников. Тем временем торговец с родимым пятном встал, сложил салфетку и вышел, оставив на столе больше чем половину последней заказанной им бутылки вина. Если бы его счет в «Луарке» был полностью оплачен, он бы выпил ее до конца.

Священники не смотрели на торговца. Один из них говорил:

— Вот уже десять дней как я здесь, днями напролет сижу в прихожей и ожидаю, когда он меня примет, а он не принимает.

— Что делать?

— Ничего. Что тут поделаешь? Против власти

не попрешь.

— Я проболтался здесь две недели — и ничего. Жду, а меня словно не замечают.

— Мы же из захолустья. Кончатся деньги — придется уезжать.

— В свое захолустье. Какое дело Мадриду до Галисии? Мы же бедная провинция.

— Вот тут и поймешь брата Басилио.

— А у меня все-таки нет веры в честность Басилио Альвареса.

— Мадрид многое заставляет понять. Мадрид гробит Испанию.

— Лучше бы уж приняли и просто отказали.

— Нет. Им надо тебя сломить и унизить ожиданием.

— Ну, это мы еще посмотрим. Я могу ждать не хуже других.

В этот момент пикадор встал, подошел к столу священников и остановился — седой, с ястребиным лицом, — глядя на них с улыбкой.

— Тореро, — сказал один священник другому.

— И притом отличный, — добавил пикадор и вышел из столовой — подтянутый, с узкой талией и кривыми ногами, в серой куртке, узких бриджах поверх пастушьих башмаков на высоких каблуках, которые цокали по полу, когда он

с важным видом шагал через зал твердой походкой, чему-то улыбаясь. Он жил в маленьком замкнутом профессиональном мирке личных достижений, пьяных ночных побед и дерзости. Заломив шляпу набекрень и закурив сигару в вестибюле, он отправился в кафе.

Священники поспешно вышли сразу же за пикадором, осознав, что они задержались в столовой дольше всех, и теперь в зале не осталось никого кроме Пако и пожилого официанта, которые убрали со столов и отнесли бутылки на кухню.

В кухне был только парень-судомой. Он был на три года старше Пако и отличался цинизмом и злобностью.

— На вот, это тебе, — сказал пожилой официант, наливая в стакан вальдепеньяс и протягивая ему.

— Это можно, — сказал парень и взял стакан.

— А ты, Пако? — спросил пожилой официант.

— Спасибо, — сказал Пако.

Все трое выпили.

— Ну, я пойду, — сказал пожилой официант.

— Спокойной ночи, — ответили ему молодые люди.

Он вышел, и они остались одни. Пако взял

салфетку одного из священников и, выпрямившись, твердо упершись пятками в пол, опустил салфетку вниз; ведя ею из стороны в сторону, поворачивая голову вслед за плавным широким движением рук, он выполнил веронику[92]. Потом повернулся, немного выставил вперед правую ногу, сделал второй пасс, немного продвинулся вперед, наступая на воображаемого быка, сделал третий пасс, медленно, плавно, точно выдерживая ритм движения, а затем, собрав салфетку, прижал ее к талии и, отведя бедро назад, увернулся от быка в изящной полуверонике.

Судомой, которого звали Энрике, наблюдал за ним насмешливо-критически.

— Ну, каков бык? — спросил он.

— Очень храбрый, — сказал Пако. — Вот гляди.

Стройный, прямой, как струна, он идеально — плавно, элегантно, изящно — выполнил еще четыре маневра.

— А что же бык? — спросил Энрике, стоя в фартуке у мойки, со стаканом в руке.

— Горючего у него еще полно, — сказал Пако.

— Глядеть на тебя тошно, — сказал Энрике.

— Почему?

---

[92] Примечания: 92
Первые маневры матадора на арене, отвлекающие выпады.

— Вот смотри.

Энрике снял фартук и, словно вызывая на бой воображаемого быка, скульптурно исполнил четыре вероники в стиле пасодобля, завершив свой «танец» реболерой[93], и отошел от быка, фартуком описав четкую дугу вокруг бычьего носа.

— Видел? — сказал он. — И при этом я мою посуду.

— Но почему?

— Страх, — сказал Энрике. — Miedo. Тот самый страх, который и ты испытал бы, окажись ты на арене перед быком.

— Нет, — сказал Пако. — Я бы не испугался.

— Leche[94]! — сказал Энрике. — Все боятся. Но тореро умеет контролировать свой страх, чтобы работать с быком. Я как-то поучаствовал в любительской корриде, но такого страху натерпелся, что не выдержал и убежал. Всем было очень смешно. И ты точно так же испугался бы. Если бы не страх, в Испании каждый чистильщик ботинок был бы тореро. А ты, деревенский парень, испугался бы еще больше, чем я.

— Нет, — сказал Пако.

---

[93] Примечания: 93
Приём, завершающий серию вероник, или отвлекающих выпадов.

[94] Примечания: 94
Испанское ругательство.

Слишком часто он проделывал все это в своем воображении. Слишком часто видел перед собой рога, слюнявую бычью морду, видел, как подергивается ухо, как опускается голова и бык бросается вперед, топочут копыта, и пышущая жаром туша проносится мимо вслед за взмахом плаща, и снова взмах — и бросок, и снова, и снова, и снова, до того момента, когда он закружит быка вокруг себя в своей знаменитой полуверонике и отойдет, покачивая бедрами, чтобы были видны волоски бычьей шерсти, застрявшие в золотом шитье куртки при близком соприкосновении, а бык застынет неподвижно, словно загипнотизированный, и публика будет рукоплескать. Нет, он бы не испугался. Другие — да. А он — нет. Он точно знал, что не испугался бы. И даже если бы когда-нибудь страх настиг его, он все равно сумел бы продолжить бой. Он был уверен в себе.

— Я бы не испугался, — сказал он.

— Leche! — повторил Энрике и добавил: — А хочешь попробовать?

— Как это?

— Вот смотри, — сказал Энрике. — Ты думаешь о быке, но не думаешь про рога. У быка такая сила, что его рог вспарывает плоть, как нож, втыкается, как штык, бьет насмерть, как дубина.

Гляди. — Он выдвинул ящик кухонного стола и достал два мясницких ножа. — Я привяжу их к ножкам стула и буду изображать быка, держа стул впереди головы. Ножи — это рога. Вот если при этом ты проделаешь те свои пассы, тогда это будет кое-что.

— Дай мне свой фартук, — сказал Пако. — И пойдем в столовую.

— Нет, — неожиданно беззлобно сказал Энрике. — Не надо, Пако.

— Нет надо, — сказал Пако. — Я не боюсь.

— Забоишься, когда увидишь, как на тебя надвигаются ножи.

— Посмотрим, — сказал Пако. — Давай фартук.

Пока Энрике крепко привязывал два увесистых, острых как бритва мясницких ножа к стулу грязными салфетками, приматывая их рукоятки к ножкам стула и завязывая прочные узлы, две горничные, сестры Пако, направлялись в кино смотреть Грету Гарбо в фильме «Анна Кристи». Один из священников, в нижнем белье, сидел и читал свой требник, другой, в ночной сорочке, молился, перебирая четки. Все тореро, кроме того, который был болен, уже, как обычно, развлекались в кафе «Форнос», где черноволосый пикадор-здоровяк играл в бильярд, а серьезный

матадор-коротышка сидел за тесным столом перед чашкой кофе с молоком вместе с пожилым бандерильеро и другими серьезными профессионалами.

Пьющий седоволосый пикадор сидел напротив него со стаканом бренди касалас, с удовольствием наблюдая за столиком, где матадор, утративший храбрость, сидел с другим матадором, сменившим шпагу на бандерильи, и двумя очень потасканными на вид проститутками.

Торговец, стоя на углу улицы, болтал с приятелями. Высокий официант ждал удобного момента, чтобы выступить на собрании анархо-синдикалистов. Пожилой официант сидел на террасе кафе «Альварес» с маленькой кружкой пива. Хозяйка «Луарки» уже спала, лежа на спине и зажав между ног подподушный валик; крупная, толстая, честная, опрятная, добродушно-веселая, очень набожная, она не переставала горевать по мужу, умершему двадцать лет тому назад, и ежедневно молилась за упокой его души. Матадор, который был болен, один в своей комнате, лежал на кровати ничком, прижимая ко рту носовой платок.

А в опустевшей столовой Энрике, последний раз проверив узлы на салфетках, которыми ножи

были привязаны к ножкам стула, поднимал стул над собой. Он выставил его ножками вперед, так что они торчали по обе стороны от его головы.

— Тяжелый, — сказал он. — Слушай, Пако, это очень опасно. Давай не будем. — Он даже вспотел.

Пако стоял к нему лицом, расправив фартук во всю ширину, держа его с двух сторон, большие пальцы кверху, указательные вниз, как бы стараясь привлечь внимание быка.

— Нападай, — сказал он. — Двигайся, как бык. Нападай столько раз, сколько захочешь.

— А как ты узнаешь, когда заканчивать отвлекающие взмахи? — спросил Энрике. — Давай сделаем три, а потом полуверонику.

— Хорошо, — сказал Пако. — Только кидайся прямо на меня. Э-гей, torito[95]! Иди сюда, бычок!

Низко опустив голову, Энрике бросился на него, и Пако, представив себе, что это настоящий рог, черный, гладкий, с белым кончиком, взмахнул фартуком прямо перед лезвием ножа, чуть не задевшим его живот, и когда Энрике, промчавшись мимо, развернулся чтобы броситься снова, это был не Энрике, а разгоряченная, с кровоточащей

---

[95] Примечания: 95
Бычок (исп.)

раной в боку туша быка, протопавшая мимо, затем быстро, по-кошачьи, развернувшаяся и снова ринувшаяся на него, когда он плавно взмахнул плащом. Бык снова шел на него, и, не сводя глаз со стремительно приближающегося острия, Пако выдвинул левую ногу вперед всего на каких-то два дюйма дальше, чем следовало, и на сей раз нож не миновал его, он вошел в него легко, словно в кожаный бурдюк с вином, и что-то обжигающе-горячее брызнуло из-под неожиданно образовавшегося внутри ощущения стальной твердости, и Энрике закричал:

— Ай-ай! Дай я вытащу! Дай вытащу!

А Пако, не выпуская из рук фартука, повалился вперед, на стул, и когда Энрике потянул стул на себя, нож повернулся внутри — внутри него, Пако.

Нож был вынут, и Пако сидел теперь на полу в растекающейся все шире теплой луже.

— Зажми салфеткой. Держи крепче! — сказал Энрике. — Крепче. Я побегу за врачом. Ты должен сдерживать кровотечение.

— Нужен резиновый жгут, — сказал Пако. Он видел, как такие жгуты используют на арене.

— Я шел прямо, — сквозь слезы сказал Энрике. — Я только хотел показать, как это опасно.

— Не волнуйся, — сказал Пако, его голос звучал словно издалека. — Но врача приведи.

На арене тебя кладут на носилки и бегом уносят в операционную. Если кровь из бедренной артерии выльется прежде, чем тебя туда донесут, — зовут священника.

— Позови одного из тех священников, — сказал Пако, крепко прижимая салфетку к низу живота. Он никак не мог поверить, что это случилось с ним.

Но Энрике уже бежал по улице Сан-Херонимо к круглосуточной станции «скорой помощи», и Пако остался один; сначала он сидел, потом согнулся, уронив голову, потом рухнул на пол и, пока все не закончилось, лежал и чувствовал, как жизнь уходит из него, словно грязная вода из ванны, если вытащить затычку. Ему было страшно, сознание мутилось, он попытался читать покаянную молитву, даже вспомнил начало, но прежде чем успел скороговоркой произнести: «Велика скорбь моя, Господи, что я прогневил тебя, который достоин всей любви моей, и я твердо…», он совсем ослабел, упал лицом на пол, и очень скоро все кончилось. Из перерезанной бедренной артерии кровь вытекает быстрее, чем можно себе представить.

Когда врач «скорой помощи» поднялся по лестнице в сопровождении полицейского, который держал за руку Энрике, сестры Пако еще сидели в кинотеатре на Гран-Виа, все больше разочаровываясь в фильме Гарбо, где звезда представала в жалком низком окружении, между тем как они привыкли видеть ее окруженной блеском роскоши. Публике фильм решительно не нравился, и она выражала свое недовольство свистом и топаньем. Все остальные постояльцы пансиона продолжали заниматься почти тем же, чем занимались в момент несчастья, если не считать двух священников, которые, завершив свои благочестивые молитвы, собирались отойти ко сну, и седоволосого пикадора, который переместился со своим стаканом за столик к двум потасканными проституткам. Чуть позже он вышел из кафе с одной из них. Это была та, которую угощал выпивкой матадор, утративший свой кураж.

Ни обо всем этом, ни о том, что эти люди будут делать на следующий день и в другие предстоящие дни, Пако не суждено было узнать. Он понятия не имел, как на самом деле они живут и как умирают. Он даже не сознавал того, что они вообще умирают. Сам он умер, как говорят испанцы, исполненный иллюзий. Его короткой

жизни не хватило на то, чтобы утратить хоть какие-то из них, и даже на то, чтобы закончить покаянную молитву. Он даже не успел разочароваться в фильме Гарбо, который разочаровывал весь Мадрид целую неделю.

Снега Килиманджаро

Килиманджаро – заснеженная гора высотой 19 710 футов, самая высокая в Африке. Масаи называют ее западную вершину Ngàje Naài, Дом бога. На ней лежит иссохший, замороженный труп леопарда. Никто не знает, что понадобилось леопарду на такой высоте.

— Самое удивительное, что это не больно, — сказал он. — Так и понимаешь, что все началось.

— Правда?

— Чистая правда. Но прости за вонь. Тебе, должно быть, противно.

— Не надо так говорить. Пожалуйста.

— Погляди на них, — сказал он. — Интересно, что их привлекает, вид или запах?

Он лежал на койке под сенью раскидистой мимозы и смотрел на раскаленную равнину, где непристойно расселись три крупные птицы. Еще десяток кружил в небесах, их тени стремительно скользили по земле.

— Они здесь с того дня, как сломался грузовик,

— продолжил он. — Но сегодня впервые опустились на землю. Поначалу я очень внимательно следил за их полетом, на случай, если захочу вставить их в рассказ. Теперь это кажется глупым.

— Прошу тебя, перестань, — сказала она.

— Я просто болтаю, — ответил он. — Мне так намного легче. Но не хочу тебе мешать.

— Ты прекрасно знаешь, что мне это не мешает, — возразила она. — Но я очень переживаю, что ничего не могу сделать. Думаю, нужно успокоиться и ждать, когда прилетит самолет.

— Или когда не прилетит.

— Пожалуйста, скажи, что мне делать. Ведь я могу сделать хоть что-то?

— Например, отрезать мне ногу — вдруг поможет, хотя я в этом сомневаюсь. Или пристрелить меня. Теперь ты меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять, верно?

— Пожалуйста, не говори так. Может, почитать тебе?

— Почитать что?

— Что угодно из того, что мы еще не читали.

— Я не смогу слушать, — ответил он. — Мне легче говорить. Мы спорим, и это помогает убить время.

— Я не спорю. Терпеть не могу спорить. Давай

не будем ругаться. Постараемся успокоиться. Может, сегодня приедет другой грузовик. Может, прилетит самолет.

— Я не хочу шевелиться, — сказал он. — Я шевелюсь, только чтобы ты не нервничала.

— Это трусость.

— Почему не позволить человеку умереть спокойно? Зачем обзывать меня?

— Ты не умрешь.

— Не говори ерунды. Я уже умираю. Спроси этих мерзавцев. — Он посмотрел на огромных грязных птиц, которые сидели, нахохлившись, втянув лысые головы в плечи. Четвертая приземлилась на равнину, пробежала несколько шагов и медленно проковыляла к остальным.

— Они есть возле любого лагеря. Обычно их не замечаешь. Ты не умрешь, если не сдашься.

— Где ты это вычитала? Не будь дурой.

— Подумай о ком-нибудь.

— Боже ты мой, — вздохнул он, — ведь это мое ремесло.

Он замолчал, глядя сквозь знойное марево на заросли кустарника. Несколько газелей Томсона казались крошечными светлыми пятнышками на желтом фоне. Вдалеке виднелось стадо зебр, белое на зеленом. Это был хороший лагерь под

раскидистыми деревьями у холма, с чистой водой, а поблизости — почти пересохший источник, куда по утрам прилетали рябки.

— Хочешь, я тебе почитаю? — спросила она. Она сидела на парусиновом стуле рядом с его койкой. — Поднимается ветер.

— Нет, спасибо.

— Может, приедет грузовик.

— Мне плевать на грузовик.

— А мне нет.

— Тебя волнует множество вещей, на которые мне плевать.

— Вовсе нет, Гарри.

— Как насчет выпивки?

— Тебе нельзя. У Блэка сказано избегать алкоголя. Тебе не следует пить.

— Моло! — крикнул он.

— Да, бвана.

— Принеси виски с содовой.

— Да, бвана.

— Тебе нельзя, — повторила она. — Вот что я имею в виду, когда говорю, что ты сдался. У Блэка сказано, что алкоголь вреден. Я знаю, что он вреден тебе.

— Нет, — возразил он. — Он мне полезен.

Значит, все закончилось, подумал он. Значит,

он не успеет исполнить, что хотел. Все закончилось перебранкой из-за алкоголя. Когда на правой ноге началась гангрена, он перестал испытывать боль, а вместе с болью ушел страх, и теперь он чувствовал только безмерную усталость и гнев, что все закончилось. Грядущее его не интересовало. Долгие годы он был одержим смертью, но сейчас она ничего для него не значила. Удивительно, с какой легкостью усталость справилась со смертью.

Теперь он никогда не напишет о том, о чем не хотел писать, пока не научится. С другой стороны, не будет и провала. Может, он все равно потерпел бы неудачу и потому тянул время. Какая разница.

— Лучше бы мы сюда не приезжали, — сказала она. Она смотрела на него, держа в руке стакан и кусая губу. — В Париже с тобой не случилось бы ничего подобного. Ты говорил, что любишь Париж. Мы могли бы остаться там или поехать в любое другое место. Я бы поехала куда угодно. Я говорила тебе, что поеду, куда ты пожелаешь. Если ты хотел поохотиться, мы могли бы отправиться в Венгрию и жить со всеми удобствами.

— Все твои проклятые деньги, — сказал он.

— Это несправедливо, — возразила она. — Они

такие же мои, как и твои. Я бросила все, я поехала с тобой, я исполняла все твои желания. Но лучше бы мы сюда не приезжали.

— Ты говорила, тебе здесь нравится.

— Нравилось, пока все было хорошо. Но теперь я ненавижу это место. Не понимаю, почему такое должно было случиться с твоей ногой. Что мы натворили, раз навлекли на себя это?

— Полагаю, лично я натворил следующее: сперва не смазал царапину йодом. А потом забыл о ней, потому что не привык болеть. Позже, когда рана воспалилась, я использовал слабенький растворчик карболки, поскольку другие антисептики закончились. В итоге мелкие кровеносные сосуды закупорились, и началась гангрена. — Он посмотрел на нее. — Я что-то упустил?

— Я имела в виду не это.

— А если бы мы наняли нормального механика вместо полоумного кикуйу, он бы проверил масло и не спалил бы подшипник в грузовике.

— Я имела в виду не это!

— Если бы ты осталась со своей компанией, со своей проклятой компанией из Олд-Уэстбери, Саратоги и Палм-Бич, а не повезла меня…

— Но я любила тебя. Это несправедливо. И по-прежнему тебя люблю. Я всегда буду тебя любить.

Разве ты меня не любишь?

— Нет, — сказал он. — Это вряд ли. И никогда не любил.

— Гарри, что ты говоришь? Ты сошел с ума.

— Нельзя сойти с того, чего нет.

— Не пей, — попросила она. — Пожалуйста, дорогой, не пей. Мы должны сделать все возможное.

— Делай, — сказал он. — А я устал.

Мысленно он был на железнодорожной станции в Карагаче, стоял с вещмешком, и прожектор Восточного экспресса рассекал темноту. Он покидал Фракию после отступления. Это было одно из воспоминаний, которые он отложил, вместе с тем утром, когда за завтраком выглянул в окно и увидел снег на горах Болгарии, и секретарша спросила Нансена, снег ли это, а старик посмотрел и сказал: нет, это не снег, для снега слишком рано. И секретарша повторила другим девушкам: нет, это не снег, — и все они сказали: нет, не снег, мы ошиблись. Но это был снег, и старик отправил их туда для обмена населения, и всю ту зиму они вязли в сугробах, пока не умерли.

Всю рождественскую неделю в Гауэртале тоже шел снег, в том году, когда они жили в доме дровосека с большой квадратной изразцовой печ-

кой, которая занимала полкомнаты, и спали на матрасах, набитых буковыми листьями. Пришел дезертир, он оставлял на снегу кровавые отпечатки. Он сказал, что полиция гонится за ним по пятам, и ему дали шерстяные носки и заговаривали жандармам зубы, пока следы не замело.

В Шрунце на Рождество снег так сверкал на солнце, что больно было смотреть из окна Weinstube[96]на расходившихся из церкви прихожан. Это здесь с тяжелыми лыжами на плечах они шагали по укатанной санями, желтой от мочи дороге вдоль реки и крутых холмов, поросших соснами, и устраивали большую гонку на леднике над Мадленерхаус. Снег был гладким, словно глазурь на торте, и легким, как пудра, и он помнил бесшумный стремительный полет, когда несешься вниз, будто птица.

Из-за бурана они на неделю застряли в Мадленерхаус, играли в карты в дыму при свете ламп, и чем больше проигрывал герр Лент, тем выше росли ставки. В конце концов он проиграл все. Все без остатка — деньги лыжной школы, и выручку за сезон, и собственные сбережения. Воспоминания были как живые: вот длинноносый герр Лент

---

[96] Примечания: 96
Винный погребок (*нем.*).

берет карты и ставит не глядя. Тогда они постоянно играли. Играли, если снега не было, играли, если снег засыпал все вокруг. Он столько времени провел за игрой.

Но не написал ни строчки об этом, или о том холодном, ясном рождественском дне, когда можно было видеть горы за равниной, над которой пролетел Баркер, чтобы пересечь линию фронта и разбомбить австрийских офицеров, сходивших с поезда, расстрелять их, растерянных и мечущихся. Он помнил, как позже Баркер явился в столовую и принялся рассказывать об этом. И какая воцарилась тишина, и в этой тишине кто-то сказал: «Чертов кровожадный ублюдок».

С такими же австрийцами он позже катался на лыжах. Нет, не с такими же. Ганс, с которым он катался весь тот год, служил в егерском полку, и когда они вместе охотились на зайцев в маленькой долине над лесопилкой, то обсуждали битву при Пасубио и атаку на Пертикару и Асалоне. Но он ни слова об этом не написал. Ни о Монте-Короне, ни о Сетте-Коммуни, ни об Арсьеро.

Сколько зим он провел в Форарльберге и Арльберге? Четыре. Он вспомнил человека, который продавал лису в Блуденце, куда они отправились,

чтобы купить подарки; вспомнил добрый кирш с привкусом вишневых косточек; вспомнил стремительный бег по присыпанному снежной пудрой насту, когда, горланя «Хей-хо, воскликнул Ролли», пролетаешь последний отрезок перед крутым обрывом, мчишься, никуда не сворачивая, в три прыжка преодолеваешь сад — и вот перед тобой канава и обледенелая дорога за гостиницей. Расстегиваешь крепления, скидываешь лыжи и ставишь к бревенчатой стене гостиницы, и свет льется из окна, за которым в дымном, пропитанном ароматами свежего вина тепле играет гармоника.

— Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на парусиновом стуле здесь, в Африке.

— В «Крийоне». Тебе это прекрасно известно.

— С чего мне это известно?

— Мы всегда там останавливаемся.

— Не всегда.

— Там или в «Павильон Анри Катр» в Сен-Жермене. Ты говорил, что любишь это место.

— Любовь — навозная куча, — сказал Гарри. — А я петух, что на ней кукарекает.

— Если ты умираешь, неужели обязательно заодно убивать все, что тебя окружает? Ты хочешь,

чтобы после тебя ничего не осталось? Хочешь пристрелить лошадь и жену, сжечь седло и доспехи?

— Да, — ответил он. — Твои проклятые деньги были моими доспехами. Доспехами и конем.

— Не надо.

— Ну хорошо. Не буду. Не хочу делать тебе больно.

— Поздно спохватился.

— Ладно, тогда продолжу делать тебе больно. Так веселее. Раз уж я больше не могу заняться тем единственным, чем мне действительно нравилось с тобой заниматься.

— Это неправда. Тебе многое нравилось, и я всегда выполняла твои желания.

— Господи ты боже, прекрати бахвалиться!

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай, — сказал он, — думаешь, мне весело? Я не знаю, почему так веду себя. Надо полагать, пытаюсь убить кого-то другого, чтобы самому остаться в живых. Когда мы начали разговор, все было нормально. Я не собирался этого делать, но теперь взбеленился и причиняю тебе боль. Милая, не обращай внимания на мои слова. Я правда люблю тебя. Ты знаешь, что я тебя люблю. Я никого так не любил, как тебя.

Он вошел в привычную роль, которой зарабатывал себе на жизнь.

— Ты такой милый.

— А ты сука, — ответил он. — Сучка-богачка. Это поэзия. Она переполняет меня до краев. Гниль и поэзия. Гнилая поэзия.

— Перестань. Гарри, зачем все портить?

— Не хочу, чтобы после меня что-то осталось, — сказал он. — Не люблю что-либо оставлять.

Пока он спал, наступил вечер. Солнце скрылось за холмом, тень укутала равнину, и мелкие животные питались рядом с лагерем; он смотрел, как они подергивают головами и помахивают хвостами, держась подальше от зарослей. Птицам надоело ждать на земле, и они грузно расселись на дереве. Их стало больше. Мальчик-слуга сидел у койки.

— Мемсахиб уйти стрелять, — сказал мальчик. — Бвана хотеть?

— Ничего.

Она отправилась на охоту и, зная, как он любит наблюдать за животными, ушла подальше, чтобы не потревожить небольшой кусочек равнины перед его глазами. Она всегда была внимательной. Ко всему, о чем знала, или читала, или слышала.

Не ее вина, что когда они встретились, с ним

уже было все кончено. Откуда женщине знать, что твои слова ничего не значат, что ты говоришь только по привычке, ради собственного спокойствия? Когда он перестал говорить женщинам то, что думает, ложь оказалась намного более успешной.

Дело было не столько в том, что он лгал, сколько в том, что правды не существовало. Он прожил жизнь, и она закончилась, а он все жил и жил, и люди теперь были другие, и денег больше, и он выбирал лучшие из прежних мест и посещал те, где еще не бывал.

Если не думать, все было чудесно. Крепкое нутро позволило ему сохранить себя, когда другие сломались, и он делал вид, что ему плевать на работу, которой он больше не может заниматься. В глубине души он говорил: я напишу об этих людях, этих богатеях; я не из их числа, я шпион в их государстве; я выберусь отсюда и напишу о них, и в кои-то веки это будут слова человека, который знает, о чем говорит. Однако он никогда этого не сделает, ведь каждый день, что он проводил, ничего не написав — проводил в комфорте, проводил человеком, которого презирал, — каждый такой день притуплял его талант и размягчал волю к работе, и в конце концов он

вообще перестал работать. Его новые знакомые казались намного приятней, когда он не работал. В Африке он провел лучшие дни своей жизни и теперь вернулся сюда, чтобы начать все заново. Это сафари нельзя было назвать комфортным. Никаких трудностей — но и роскоши никакой, и он думал, что сможет встряхнуться. Что сгонит жирок со своей души, подобно бойцу, который уходит в горы, чтобы тренировками выжечь лень из своих мускулов.

Ей эта идея понравилась. Она пришла от нее в восторг. Она приходила в восторг от всего волнительного, от любой перемены декораций, от новых людей и приятных вещей. И ему казалось, что воля к работе возвращается. Если это конец, нельзя вести себя как змея, которая кусает собственный хвост, потому что ей перебили позвоночник. Эта женщина не виновата. Если бы не она, нашлась бы другая. Раз он жил во лжи, придется попробовать в ней и умереть. За холмами раздался выстрел.

Она была метким стрелком, эта сучка-богачка, эта заботливая сиделка, убийца его таланта. Чушь. Он сам уничтожил свой талант. Нельзя винить эту женщину лишь потому, что она о нем заботилась. Он уничтожил свой талант тем, что

не использовал его, что предавал самого себя и свои принципы, уничтожил выпивкой, которая притупила восприятие, ленью, бездельем, снобизмом, гордостью и предубеждением, всеми правдами и неправдами. Что это? Каталог старых книг? И кстати, в чем заключался его талант? Да, талант у него был, но вместо того чтобы использовать его, он им спекулировал. Он никогда ничего не делал — он только мог бы сделать. И он выбрал иной способ зарабатывать на жизнь, не ручку и не карандаш. Как странно: когда он влюблялся в очередную женщину, у нее всегда оказывалось больше денег, чем у предыдущей. Но когда любовь проходила, когда он начинал лгать — как лгал сейчас этой женщине, у которой было больше всего денег, все деньги мира, у которой был муж и дети, которая заводила любовников и разочаровывалась в них и которая нежно любила его как писателя, как мужчину, как спутника и как трофей, — странно, что когда любовь проходила и он начинал лгать, женщина получала за свои деньги больше, чем когда он действительно любил ее.

Мы все занимаемся тем, для чего созданы, подумал он. Что бы ты ни делал, в этом твой талант. Он торговал жизненными силами, в том

или ином виде, а когда в сделку не вовлечены чувства, можно сторговаться на значительно лучших условиях. Он это узнал, но теперь никогда об этом не напишет. Не напишет, хотя стоило бы написать.

Он увидел ее, она шагала по равнине к лагерю. На ней были джодпуры, в руках она несла винтовку. Два мальчика тащили за ней газель Томсона. Он подумал, что она хорошо выглядит и у нее неплохое тело. У нее был талант к постельным играм; не красавица, но ему нравилось ее лицо; она глотала книги, любила ездить верхом и стрелять, определенно злоупотребляла алкоголем. Ее муж скончался, когда она была еще молода, и на время она посвятила себя двум почти взрослым детям, которые не нуждались в ней и стеснялись ее присутствия, посвятила себя лошадям, книгам и бутылкам. Ей нравилось читать перед ужином, и за чтением она пила виски с содовой. К ужину она уже бывала навеселе и после бутылки вина обычно продолжала пить, пока не принималась клевать носом.

Так было до любовников. Когда появились любовники, она стала пить меньше, потому что теперь ей не нужно было напиваться, чтобы уснуть. Но с любовниками она скучала. С мужем

ей никогда не приходилось скучать, а с этими мужчинами было очень скучно.

Потом один из ее детей разбился на самолете, и, немного оправившись, она бросила любовников. Алкоголь не помогал, требовался другой выход. Внезапно она начала испытывать ужас перед одиночеством. Но ей нужен был человек, которого она сможет уважать.

Все началось очень просто. Ей нравилось, как он пишет, и она завидовала его жизни. Она думала, что он занимается любимым делом. Шаги, которые она предприняла, чтобы заполучить его, и которые закончились тем, что она в него влюбилась, стали кирпичиками ее новой жизни. Со своей стороны, он вложил в дело останки жизни прежней.

Променял их на безопасность и комфорт, что толку это отрицать? На что еще? Он не знал. Она бы купила ему что угодно. Он это понимал. И она была замечательной женщиной. В постели он предпочел бы ее всем прочим, предпочел бы не задумываясь, ведь она была богаче, была очень милой и благодарной и никогда не устраивала сцен. А теперь построенная ею жизнь подходила к концу, потому что две недели назад он забыл про йод, когда поцарапал колючкой колено, пы-

таясь сфотографировать стадо водяных козлов, которые стояли, принюхиваясь, навострив уши, готовые сорваться с места при первом шорохе. Они скрылись, прежде чем он успел их снять.

А вот и она.

Он повернул к ней голову и сказал:

— Привет.

— Я подстрелила самца томми, — сообщила она. — Получится отличный бульон, и я велю сделать картофельное пюре с сухим молоком. Как ты себя чувствуешь?

— Намного лучше.

— Замечательно! Знаешь, я так и думала. Когда я уходила, ты спал.

— Я отлично выспался. Далеко забралась?

— Нет. Ходила за холм. Подстрелила томми с первого раза.

— Ты отлично стреляешь.

— Мне это нравится. Обожаю Африку. Честно. Если бы с тобой все было в порядке, это была бы лучшая поездка в моей жизни. Ты не представляешь, как здорово с тобой охотиться. Мне понравилась Африка.

— Мне тоже.

— Дорогой, я ужасно рада, что тебе лучше. Не могу видеть тебя в таком состоянии. Ты ведь

не будешь больше так со мной разговаривать? Обещай мне.

— Не буду, — сказал он. — Я не помню, что говорил.

— Вовсе ни к чему терзать меня. Я всего лишь немолодая женщина, которая любит тебя и хочет исполнять твои желания. Меня уже столько терзали. Ты ведь не станешь этого делать?

— Я бы с удовольствием потерзал тебя в постели, — ответил он.

— Это приятные терзания. Мы для них созданы. Самолет прилетит завтра.

— Откуда ты знаешь?

— Я в этом уверена. Он ведь должен прилететь. Мальчики собрали дрова и траву, чтобы развести костер. Сегодня я туда ходила. Там полно места, чтобы сесть, и мы приготовили костры с обеих сторон.

— Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

— У меня нет никаких сомнений. Давно пора. В городе твою ногу вылечат, и мы устроим отличное терзание. Без этих мерзких разговоров.

— Не пора ли выпить? Солнце садится.

— Думаешь, стоит?

— Лично я выпью.

— Тогда выпьем вместе. Моло,*letti dui* виски с содовой! — крикнула она.

— Лучше надень ботинки от москитов, — сказал он.

— Сначала вымоюсь…

Пока сгущались сумерки, они пили, а когда стало совсем темно и стрелять было уже нельзя, к холму по равнине пробежала гиена.

— Эта зараза каждую ночь здесь бегает, — сказал он. — Каждую ночь на протяжении двух недель.

— Это она шумит по ночам. Мне она не мешает. Но гиены — противные животные.

Он потягивал виски, не чувствуя боли — только неудобство оттого, что приходится лежать в одном положении, — глядел на мальчишек, которые разожгли костер, пустив тени плясать по палаткам, и ощущал, как вновь примиряется с этой приятной капитуляцией. Она*была* добра к нему. Днем он вел себя жестоко и несправедливо. Она была хорошей, нет, чудесной женщиной. И тут он понял, что умирает.

Его словно захлестнуло — не волной или ветром, а внезапной зловонной пустотой, по краю которой легко скользнула гиена.

— Что такое, Гарри? — спросила она.

— Ничего, — сказал он. — Лучше пересядь на другую сторону. Против ветра.

— Моло сменил повязку?

— Да. Теперь я использую борную кислоту.

— Как ты себя чувствуешь?

— Немного мутит.

— Пойду вымоюсь, — сказала она. — И сразу вернусь. Мы поедим, а потом занесем койку.

Хорошо, что мы перестали ссориться, подумал он. С этой женщиной он ссорился редко, хотя с другими возлюбленными ругался так часто, что в конце концов ссоры непременно уничтожали то общее, что у них было. Он любил слишком сильно, требовал слишком многого — и все разрушал.

Он вспомнил, как очутился один в Константинополе, после ссоры в Париже. Он ходил по шлюхам, но так и не смог убить свое одиночество, а лишь усугубил его, и тогда он написал ей, первой женщине, которая его оставила, чтобы рассказать о том, как не смог убить одиночество… Как однажды ему почудилось, будто он увидел ее перед «Режанс», и ему стало дурно, и как он преследовал на Бульваре каждую женщину, хоть немного походившую на нее, боясь осознать, что это не она, боясь утратить чувство, ко-

торое испытывал. Как все, с кем он спал, лишь усугубили его тоску по ней. Как ее поступки не имели ни малейшего значения, поскольку он знал, что никогда не исцелится от любви к ней. Он написал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил в Нью-Йорк, попросив ее ответить на адрес редакции в Париже. Это казалось ему безопасным. И той ночью его захлестнула такая тоска по ней, словно внутри у него царила абсолютная пустота. Он брел мимо «Максим», подцепил девушку, пригласил на ужин. После ужина отправился с ней на танцы, но она танцевала неважно, и он променял ее на знойную армянскую шлюшку, которая прижималась к нему горячим животом. Шлюшку он отбил у британского артиллериста. Артиллерист предложил ему выйти, и они подрались на мостовой в темноте. Он дважды врезал артиллеристу в челюсть, а когда тот остался стоять, понял, что влип. Артиллерист ударил его по корпусу, потом в глаз. Он снова замахнулся левой рукой, и артиллерист набросился на него, схватил за пальто и оторвал рукав, а он дважды стукнул артиллериста левой рукой за ухом, после чего добавил правой и оттолкнул противника. Тот ударился головой о мостовую, и они с девицей сбежали, заслышав

военный патруль. Они поймали такси и отправились по берегу Босфора в Риммили-Хисса, сделали круг и вернулись в прохладной ночи, потом легли в постель, и на ощупь она оказалась такой же перезрелой, как и на вид, но шелковистой, словно лепестки розы, приторно-сладкой, с гладким животом и большими грудями, и ей не требовалось подкладывать подушку под ягодицы. Он ушел, когда она еще спала, оплывшая даже в первых рассветных лучах, и вернулся в «Пера-пэлес» с подбитым глазом, неся лишившееся рукава пальто.

В ту же ночь он отбыл в Анатолию и помнил, как весь день ехал по полям, заросшим опиумным маком, и как странно себя чувствовал, и как все расстояния казались неправильными. В конце концов он добрался до места, и они пошли в атаку с только что прибывшими алжирскими офицерами; те напоминали стадо баранов, и артиллерия расстреляла своих, а британский наблюдатель рыдал как ребенок.

В тот день он впервые увидел мертвецов в белых балетных пачках и туфлях с вздернутыми мысками и помпонами. Турки валили валом, и он видел бегущих мужчин в пачках и офицеров, которые стреляли по ним и тоже бежали, и они с британским наблюдателем мчались, пока не

запылали легкие и во рту не появился привкус медяков, и тогда они остановились за камнями, а турки все продолжали наступать. Потом он видел то, о чем старался никогда не думать, а потом — еще более ужасные вещи. Вернувшись в Париж, он не мог говорить о них, не мог даже слышать. Он проходил мимо кафе, а там сидел американский поэт с глупым лицом-картошкой, перед ним высилась гора блюдец, и он обсуждал дадаизм с румыном, которого вроде бы звали Тристан Тцара, который всегда носил монокль и вечно страдал от головной боли; дома его ждала жена, которую он снова любил, закончились свары и безумие, он радовался возвращению, и редакция пересылала почту ему на квартиру. И однажды утром он увидел на подносе письмо, ответ на его послание, и, взглянув на почерк, похолодел и попытался спрятать конверт под другой корреспонденцией. Но жена спросила: «От кого оно, милый?» — и так пришел конец тому, что только начиналось.

Он помнил радость, которую испытывал с ними, и помнил ссоры. Они всегда выбирали для ссор лучшие места. И почему они вечно затевали перепалку, когда он чувствовал себя на вершине блаженства? Он никогда не писал об этом — по-

началу не хотел никому причинять боль, потом думал, что есть и другие темы. Но он считал, что рано или поздно обязательно об этом напишет. Он столько должен был написать. Он видел, как меняется мир, не только события — хотя и стал свидетелем многих и наблюдал за людьми, — но едва заметные перемены; он помнил, какими были люди в разное время. Он был там, видел все это и должен был об этом написать; но теперь не напишет.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она. Она уже помылась за палаткой.

— Нормально.

— Быть может, поешь?

За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и другого мальчишку с тарелками.

— Я хочу работать, — сказал он.

— Съешь немного бульона, он поддержит силы.

— Я умру сегодня, — ответил он. — Силы мне больше не понадобятся.

— Пожалуйста, Гарри, не драматизируй, — попросила она.

— Принюхайся. Гниль поднялась до середины бедра. К черту бульон. Моло, принеси виски с содовой.

— Пожалуйста, съешь бульон, — мягко попросила она.

— Ладно.

Бульон был слишком горячим. Он подождал, пока чашка остынет, а потом выпил его одним глотком, не поперхнувшись.

— Ты добрая женщина, — сказал он. — Не обращай на меня внимания.

Она смотрела на него, и ее лицо словно сошло со страниц «Спур» и «Таун-эн-кантри», разве что немного обрюзгшее от алкоголя, немного подурневшее от распущенности, но «Таун-эн-кантри» никогда не показывали эти упругие груди, и крепкие бедра, и щедрые на легкую ласку руки, и глядя на нее, на ее знакомую, добрую улыбку, он вновь почувствовал приближение смерти. На этот раз — будто дуновение ветерка, от которого мерцает свеча и разгорается пламя.

— Пусть принесут для меня сетку и повесят на дерево, а потом подбросят дров в костер. Сегодня я не собираюсь в палатку. Оно того не стоит. Ночь ясная, и дождя не будет.

Значит, вот так умирают, в неразборчивом шепоте. Больше никаких ссор. Это он обещает. Ему предстоит то, чего он никогда прежде не испытывал, и он не собирается испортить это

событие. Хотя кто знает. Он всегда все портит. Но, может, не в этот раз.

— Ты, случаем, не умеешь писать под диктовку? — спросил он.

— Я никогда этому не училась, — ответила она.

— Ничего страшного.

Конечно, у него не было времени, хотя, казалось, можно уместить все в один абзац, если правильно подобрать слова.

На холме над озером стоял беленный известкой бревенчатый дом. На столбике у двери висел колокольчик, чтобы созывать к столу. За домом тянулись поля, а за полями — лес. Аллея черных тополей спускалась от дома к пристани. Мыс тоже порос тополями. Дорога шла краем леса и уводила в холмы, и вдоль этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый дом сгорел, а вместе с ним все ружья, что висели на подставках с оленьими копытцами над камином. Приклады обуглились, и стволы и заполненные расплавленным свинцом магазины лежали на груде пепла, из которого приготовили щелок для огромных железных мыльных котлов. Дедушка не разрешал играть с этими ружьями. Они по-прежнему принадлежали ему, а новых он так и не купил. И больше не ходил на охоту. На прежнем месте

построили новый дом, из досок, и побелили его; с крыльца были видны тополя и озеро за ними, но ружей больше не было. Дула ружей, что висели на оленьих копытцах на стене бревенчатого дома, лежали на куче пепла, и никто к ним не прикасался.

После войны мы арендовали в Шварцвальде форелевый ручей. Добраться до него можно было двумя способами. Можно было спуститься из Триберга в долину, пройти по белой дороге в тени деревьев и свернуть на боковую дорожку, которая взбиралась на холмы, шла мимо множества небольших ферм с массивными шварцвальдскими домами и в конце концов пересекала ручей. Здесь мы рыбачили поначалу.

А можно было вскарабкаться по крутому склону на край леса и шагать по макушкам холмов, поросших соснами, пока не выйдешь на луг, за которым был мостик. Березы стояли по берегам ручья, узкого, прозрачного и стремительного, с заводями под корнями деревьев. У владельца гостиницы в Триберге сезон удался на славу. Нам здесь очень нравилось, и все мы были хорошими друзьями. На следующий год началась инфляция, заработанных денег не хватило, чтобы открыть отель, и хозяин повесился.

Все это можно продиктовать, но нельзя продиктовать площадь Контрэскарп, где цветочницы красили цветы, и краска стекала на мостовую к автобусной остановке, к старикам и старухам, вечно пьяным от вина и скверного бренди; нельзя продиктовать детей с сопливыми от холода носами; и запах немытых тел, нищеты и алкоголизма в «Кафэ дэ Амату»; и шлюх, живших над «Баль мюзет». Консьержку, принимавшую в своем чулане парижского жандарма, и его брошенный на стул шлем с плюмажем из конского волоса. Квартиросъемщицу напротив, чей муж был велогонщиком, и ее радость тем утром в кафе-молочной, когда она открыла «Эль ото» и увидела, что он занял третье место в Пари-тур, своей первой крупной гонке. Она покраснела, засмеялась, расплакалась и убежала наверх с желтой спортивной газетой в руке. Муж хозяйки «Баль мюзет» был таксистом, и когда ему, Гарри, потребовалось успеть на ранний самолет, муж разбудил его стуком в дверь, и они выпили на дорожку по стакану белого вина за оцинкованной барной стойкой. Тогда он знал соседей по кварталу, потому что все они были бедны.

Обитатели той площади делились на два типа: пьяницы и спортсмены. Пьяницы заливали

нищету алкоголем; спортсмены забывались тренировками. Эти потомки коммунаров прекрасно знали свой политический курс. Знали, кто стрелял в их отцов, родственников, братьев и друзей, когда версальские солдаты заняли город и казнили всех, у кого были руки в мозолях, кто носил шапку или чем-либо еще выдавал свою причастность к рабочему классу. И в этой нищете, в квартале напротив «Бушери-Шевалинь» и винного кооператива, он написал первые строки всех своих произведений. Ни один район Парижа он не любил так, как этот, с его раскидистыми деревьями, старыми белыми оштукатуренными домами, выкрашенными снизу в коричневый цвет, длинным зеленым автобусом на круглой площади, пурпурной цветочной краской на мостовой, улицей кардинала Лемуана, внезапно нырявшей к реке, и узким, тесным мирком улицы Муфтар с другой стороны. Улицей, которая поднималась к Пантеону, и улицей, по которой он катался на велосипеде, единственной заасфальтированной во всем квартале, гладко ложившейся под колеса, с долговязыми, узкими зданиями и дешевым высоким отелем, где умер Поль Верлен. В их квартире было всего две комнаты, и он снимал номер на верхнем этаже того отеля, за шестьдесят

франков в месяц, чтобы писать. Из этого номера были видны крыши, и колпаки на трубах, и все холмы Парижа.

Из квартиры была видна только берлога лесоруба и угольщика, который также продавал паршивое вино. Золоченая лошадиная голова перед «Бушери-Шевалинь», в витрине которого висели желто-красно-золотые туши, и выкрашенный зеленой краской кооператив, где они покупали вино, хорошее и дешевое. Все остальное — оштукатуренные стены и окна соседей. По ночам, когда кто-то лежал пьяным на улице, кряхтя и постанывая в типичном французском хмелю, которого, как утверждала пропаганда, не существует, соседи распахивали окна, и слышался шорох голосов.

«Где жандарм? Когда он не нужен, эта скотина тут как тут. Небось с очередной консьержкой. Позовите агента». И так до тех пор, пока из какого-нибудь окна не выплескивалось ведро воды, и стоны не умолкали. «Что это? Вода. Ах, как толково». И окна захлопывались. Мари, прислуге, не нравился восьмичасовой рабочий день. «Если муж работает до шести, по пути домой он успевает выпить совсем чуть-чуть и не просаживает все деньги, — говорила она. — Если же он работает

лишь до пяти, то напивается каждую ночь, и денег у него нет. В итоге от сокращения часов страдает жена рабочего человека».

— Не хочешь еще бульона? — спросила она.

— Спасибо, нет. Очень вкусный.

— Хотя бы чуть-чуть.

— Я бы предпочел виски с содовой.

— Тебе вредно.

— Да, вредно. Слова и музыка Коула Портера. Мне вредно, когда с ума ты сходишь тщетно.

— Ты ведь знаешь, что мне нравится, когда ты пьешь.

— Да, только мне это вредно.

Когда она уйдет, выпью сколько захочу, думает он. Нет, не сколько захочу, а сколько есть. Ох, до чего он устал. Смертельно устал. Нужно немного поспать. Он лежит не шевелясь, а смерти все нет. Должно быть, пошла в обход. Смерти разъезжают парами на велосипедах, и их колеса бесшумно скользят по мостовой.

Нет, он никогда не писал о Париже. О том Париже, который любил. А как насчет всего прочего, о чем он не писал?

Как насчет ранчо и серебристо-серых зарослей шалфея, стремительной прозрачной воды в оро-

сительных каналах и темно-зеленой люцерны? Тропа поднималась в холмы, и летом коровы были пугливыми, как олени. Рев, размеренный топот, стадо медленно движется в облаке пыли, когда сгоняешь его вниз осенью. А за горами — ясная острота пика в вечерних лучах, и яркий лунный свет ночью в долине. Он вспомнил, как спускался по лесу в кромешной темноте, держась за лошадиный хвост; вспомнил все истории, что хотел написать.

О полоумном мальчике на побегушках, которого оставили на ранчо и велели никому не давать сена, и старом мерзавце из Форкса, который избил парнишку, когда тот работал у него. Старый мерзавец пришел за кормом. Паренек отказал ему, и старикан пригрозил новыми побоями. Паренек взял с кухни ружье и пристрелил старика, когда тот попытался залезть в сарай. Вернувшись, хозяева обнаружили заледенелый, обглоданный собаками труп, который неделю провалялся в загоне. Останки завернули в попону и погрузили на сани, и вы вдвоем с мальчишкой на лыжах отправились в город за шестьдесят миль, чтобы сдать парня. Тот понятия не имел, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, что ты — его друг и он получит награду. Он помогал

тащить старика, чтобы все узнали, каким тот был поганцем, пытался украсть корм, который ему не принадлежал. Когда шериф защелкнул на парне наручники, дурачок не мог поверить своим глазам. А потом начал плакать. Эту историю он собирался написать. Он знал не меньше двадцати славных историй о тех краях, но не написал ни одной. Почему?

— Вот и объясни, почему, — сказал он.

— Почему что, дорогой?

— Ничего.

Заполучив его, она стала меньше пить. Но останься он в живых, никогда бы о ней не написал. Ни о ком из них. Богатые были скучны, они слишком много пили либо слишком увлекались нардами. Скучны и предсказуемы. Он вспомнил беднягу Джулиана с его романтическим благоговением перед богачами. Однажды Джулиан решил написать рассказ, который начинался словами: «Очень богатые люди отличаются от нас с тобой». И кто-то сказал ему: верно, у них больше денег. Но Джулиану это не показалось забавным. Он считал богачей особой пленительной расой, а потом понял, что заблуждался, и это, вместе со всем прочим, сломало его.

Он презирал тех, кто сломался. Ты не обязан

любить то, что понимаешь. Он думал, что способен вынести любое испытание, ведь ничто не может причинить вред, если тебе все равно.

Ну вот. Теперь ему безразлична смерть. Он всегда боялся боли. Он умел терпеть боль, как любой мужчина, если только она не выматывала, не длилась слишком долго, однако сейчас ему сначала было очень больно, а когда он уже думал, что вот-вот сломается, боль прекратилась.

Он вспомнил, как давным-давно в офицера-артиллериста Уильямсона попала ручная граната, которую бросил солдат из немецкого патруля, и той ночью Уильямсон ломился сквозь колючую проволоку и кричал, умоляя убить его. Он был толстым и очень смелым, хороший офицер, пусть и любитель играть на публику. Но той ночью он бился в проволоке, озаренный сигнальной ракетой, и его кишки вываливались наружу. Когда Уильямсона принесли в лагерь, он был еще жив, и пришлось резать кишки, чтобы высвободить его. Пристрели меня, Гарри. Христом богом прошу, пристрели. Однажды они поспорили о том, что Господь посылает лишь те испытания, которые ты можешь вынести, и кто-то выдвинул теорию, что в какой-то момент от боли просто отключаешься. Но он навсегда запомнил Уильямсона.

Уильямсон не отключался, пока он не отдал ему все запасы морфина, что приберегал для себя на черный день, и даже тогда лекарство подействовало не сразу.

Ему же, напротив, очень повезло, и если не станет хуже, тревожиться не о чем. Вот только он бы предпочел другую компанию.

Он немного поразмыслил о компании, которую бы предпочел.

Нет, подумал он, когда слишком тянешь и опаздываешь, нельзя надеяться, что люди тебя подождут. Никого из них уже нет. Вечеринка закончилась, и ты остался наедине с хозяйкой.

Умирать — такая же скука, как и все прочее, подумал он. И произнес вслух:

— Скука.

— Что, дорогой?

— Что угодно, если слишком долго этим заниматься.

Он посмотрел на нее в отсветах костра. Она откинулась на спинку стула, огонь озарял ее лицо, покрытое милыми морщинками, и он видел, что она засыпает. На границе света и тьмы тявкнула гиена.

— Я работал, — сказал он, — но утомился.

— Думаешь, тебе удастся поспать?

— Наверняка. Почему бы тебе не прилечь?

— Мне нравится сидеть здесь с тобой.

— Ты чувствуешь что-нибудь странное? — спросил он.

— Нет. Разве что немного хочется спать.

— А я чувствую.

Он только что почувствовал, как рядом снова прошла смерть.

— Знаешь, единственное, чего я не лишился, это любопытство, — сказал он.

— Ты ничего не лишился. Ты самый цельный человек из всех, кого я знаю.

— Боже, — вздохнул он, — как мало знают женщины. Что это? Твоя интуиция?

Смерть только что подкралась и положила голову в изножье койки; он ощущал ее дыхание.

— Не верь ерунде про череп и косу, — сказал он. — С тем же успехом это могут быть два жандарма на велосипеде или птица. А может, у нее морда как у гиены.

Смерть надвинулась на него, но теперь у нее не было формы. Она просто занимала пространство.

— Прогони ее.

Смерть не ушла, только придвинулась ближе.

— Ну и дыхание у тебя, — сказал он ей. — Зловонная сука.

Она продолжала придвигаться, и он больше не мог разговаривать с ней, а она поняла, что он не может говорить, и притиснулась еще ближе, и он попытался отогнать ее без слов, но она продолжала наступать, всем весом давя ему на грудь, расселась, не давая пошевелиться или сказать что-либо, и он услышал слова женщины:

— Бвана уснул. Поднимите койку, очень аккуратно, и занесите в палатку.

Он не мог попросить ее отогнать смерть, а та надавила сильнее, и теперь он не мог дышать. А потом, когда мальчишки подняли койку, все вдруг стало хорошо, и тяжесть исчезла с его груди.

Было утро, уже не раннее, и он услышал самолет. Крошечная точка сделала широкий круг в небе, мальчишки выбежали, разожгли костры с помощью керосина и навалили сверху травы. Два столба дыма вытянулись по обеим сторонам ровной площадки. Утренний ветерок относил дым к лагерю, а самолет сделал еще два круга, теперь низко, спланировал, выровнялся, ловко приземлился, и из него вылез старик Комптон в слаксах, твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

— Что стряслось, дружище? — спросил Комп-

тон.

— Поранил ногу, — ответил он. — Позавтракаешь с нами?

— Спасибо, я только выпью чаю. Сам видишь, я на «Мотыльке». Мемсахиб придется оставить. Места хватит лишь на одного. Грузовик уже едет.

Хелен отвела Комптона в сторонку и поговорила с ним. Комптон заметно повеселел.

— Сейчас тебя погрузим, — сказал он. — А потом я вернусь за мемсахиб. Боюсь, придется заправиться в Аруше. Лучше поторопимся.

— Как же чай?

— Вообще-то я его не люблю, сам знаешь.

Мальчики подняли койку, обогнули зеленые палатки, спустились по скале на равнину, миновали ярко пылавшие костры — трава прогорела, ветер раздувал пламя — и остановились у маленького самолета. Забраться внутрь оказалось нелегко, но в конце концов он улегся на кожаное сиденье, вытянув ногу вдоль сиденья Комптона. Комптон завел мотор и залез в кабину. Помахал Хелен и мальчикам, а когда лязг перешел в привычный, знакомый гул, покатил вперед, высматривая норы бородавочников, с ревом, подпрыгивая, проехал по полосе между кострами и на последнем прыжке поднялся в воздух. Он

увидел, как они стоят внизу и машут руками, увидел лагерь у холма, будто ставшего ниже, увидел расстилающуюся равнину с плоскими рощицами и зарослями кустарника, по которой звериные тропы тянулись к пересохшим источникам, увидел новый источник, о котором не подозревал. Стада зебр с маленькими округлыми спинами и антилоп гну, превратившихся в крупноголовые точки, мчались по равнине вытянутыми языками, словно взбираясь по склону; когда к ним приблизилась тень самолета, они рассыпались, совсем крошечные, и их движения утратили стремительность, а равнина раскинулась от горизонта до горизонта, желто-серая, и впереди была твидовая спина старика Компи и его коричневая фетровая шляпа. Потом они пролетели над первыми холмами, по которым карабкались гну, и вот уже внизу горы с их внезапными омутами зеленого леса и склонами, сплошь заросшими бамбуком, а потом вновь густой лес, пики и пропасти, и горы остались позади, и снова потянулись холмы, а за ними — долина, раскаленная, лилово-коричневая, самолет трясет на волнах жаркого воздуха, и Компи оборачивается, чтобы проверить, как он. А впереди вновь темнеют горы.

А потом, вместо того чтобы отправиться в Арушу, они свернули налево, очевидно, у них было достаточно топлива, и, посмотрев вниз, он увидел над землей розовое ячеистое облако, в воздухе словно мельтешили снежные хлопья, как налетевший из ниоткуда буран, и он понял, что с юга надвигается саранча. Потом самолет начал набирать высоту, кажется, они летели на восток, стемнело, и разразилась гроза, дождь хлестал так плотно, будто они попали в водопад, а потом они вырвались, и Компи повернулся, ухмыляясь, и ткнул пальцем, и впереди, насколько хватало глаз, от края до края, высокая, ослепительно-белая в лучах солнца, раскинулась квадратная вершина Килиманджаро. И тогда он понял, что направляется именно туда.

В это время гиена перестала хныкать в ночи и принялась издавать странные, почти человеческие, плачущие стоны. Женщина услышала и тревожно поежилась во сне. Ей снилось, что она дома на Лонг-Айленде и завтра дебют ее дочери. Почему-то там был ее отец, он вел себя очень грубо. Потом гиена вскрикнула так громко, что женщина проснулась, мгновение не могла понять, где находится, и очень испугалась. Затем взяла фонарик и посветила на другую койку

— ее занесли в палатку, когда Гарри уснул. Она видела его силуэт под противомоскитной сеткой, но почему-то его нога оказалась снаружи и свисала с койки. Повязки сползли, и женщина отвернулась.

— Моло, — позвала она. — Моло! Моло!

Потом сказала:

— Гарри, Гарри! — И громче: — Гарри! Пожалуйста, Гарри!

Он не отвечал, и она не слышала его дыхания.

Снаружи гиена вновь издала странный звук, который разбудил женщину. Но та слышала лишь, как стучит ее собственное сердце.

Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль, — ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, — сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего, — согласился Макомбер. — Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевших на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно, — ответил Уилсон. — Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участ-

вовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва, — сказал ему Роберт Уилсон, — да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов — плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер.

Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими

усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва, — сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен, — если не считать недостатком такой длинный костяк, — с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только

что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва, — сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день, — сказала она. — А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть, — сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо, — сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много, — сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого, — сказала она. — Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело, — попробовал пошутить Макомбер.

— Нет, — сказала Маргарет. — Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность, — сказал Уилсон. — А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы скажете?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим, — сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать, — сказала Маргарет.

— Не дури, Марго, — сказал ее муж.

— Как же не о чем, — сказал Уилсон. — Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось, — сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь, — сказал Уилсон. — Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет, — сказал Макомбер. — Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем, — сказал Уилсон. — Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую, — сказал Макомбер. — Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте, — сказал Уилсон. — Все это ерунда.

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Что вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно, — сказал Уилсон. — Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

— Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно, — сказал Макомбер.

— Не так уж странно, — сказал Уилсон. — А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал

такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал: — Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О черт, подумал он. В дипломаты я не гожусь.

— Да, всех нас бьют, — сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него. — Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Матаига-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев.

— Нет, — сказал Уилсон. — Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это фран-

цузы говорят — considération distingueé?..[97]В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, по-прежнему пью их виски», — и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите, — сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и складный подбородок. — Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

«Ну что тут поделаешь?» — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду, — сказал он. — Мне не хочется терять заработок. Здесь,

---

[97] Примечания: 97
Совершенное почтение?..*(фр.)*

в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц, — сказал Макомбер.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах, — сказал Макомбер. — Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хоть завтра, если хотите, — ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет, — сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше, — сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории, — сказала она, садясь к столу. — Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы всё убиваете, правда?

— Да, всё, — сказал Уилсон. — Всё, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов, — сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

— Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что, — сказала она. — Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление, — сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете, — сказал Уилсон.

— Ошибаетесь, — возразила она. — Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак, — сказал Уилсон. — Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось, — сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы, — сказала она. — Замечательно бы-

ло. А завтра… Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду, — сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо, — сказал Макомбер.

— Это такие большие звери вроде коров и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно, — сказал Уилсон.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову, — ответил ей Уилсон.

— Это утешительно.

— Нельзя ли без гадостей, Марго, — сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый, — сказала она, — раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером спрыснем льва шампанским, — сказал Уилсон. — Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев, — сказала Марго. — Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что

так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта — впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого, — вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил

его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел, — сказал Уилсон. — В них попасть не легко.

— Ну как, сто́ящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная, — ответил Уилсон. — Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом, — сказал Макомбер. — Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть

кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые

услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый, — сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы. — Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко, — сказал Роберт Уилсон. — Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку, — сказал Уилсон. — Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду, — сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете, — сказал Уилсон. — Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый

выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд:

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсаиб.

— С добрым утром, — сказала она. — Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете, — сказал Уилсон. — Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно, — сказала она. — Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово. — Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова. — Вот расшумелся, — сказал Уилсон. — Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего, — сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи. — Она пристально посмотрела на него. — Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал, — сказал он. — Ведь он не смолкал всю ночь.

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину, — жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и приехал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая, — сказал Фрэнсис Макомбер. — На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не боишься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно, — сказала она. — Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать и поедем.

— Куда в такую рань, — сказала она. — Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал — низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибри-

рующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь рядом, — сказала жена Макомбера.

— Черт, — сказал Макомбер, — просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем, — сказал он. — Ваш «спрингфилд» и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— Я готова, — сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить, — сказал Уилсон. — Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной.

Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель.

Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверок, вроде ящика на колесах, — и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить, — прошептал Уилсон. — Глядите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старыми деревьями. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он, — услышал он шепот Уилсона. — Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову.

Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из автомобиля не стреляют, — услышал он голос Уилсона у себя над ухом. — Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это», — и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинул-

ся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30—0,6, которая впилась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар, — пуля попала ему в нижние ребра и прошла навылет, — и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская

ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услышав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— Я попал в него, — сказал Макомбер. — Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь, — сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали. — Может, вы его и убили, — продолжал Уилсон. — Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а, — сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери, — весело сказал Уилсон. — Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

— Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а, — сказал Макомбер.

— Ну, пошли, — сказал Уилсон. — Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след.

— Побудь здесь, Марго, — сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему? — спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела, — сказал Уилсон. — Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли кор-

ни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями, — они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится, — сказал Уилсон. — Автомобиль сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загонщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно, — сказал он. — Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать, — он будет уходить от шума, — но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не поднимется. Непременно кого-нибудь искалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это их шаури. Они

ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти, — сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже, — сказал Уилсон бодро. — Но ничего не поделаешь. — Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить, — сказал он. — Для этого меня и нанимают. Поэтому я и сто́ю так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор бы занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел, — сказал Макомбер. — Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед, — сказал Уилсон. — Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете, — сказал Уилсон. — Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой шаури.

— Я пойду, — сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон. — Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо, — сказал Макомбер. Он сидел пот-

ный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер, — сказал он. — Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу.

Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли, — сказал он.

— Мне бы глотнуть воды, — сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на

ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером на изготовку подстерегал каждое движение в

траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер, — стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него, — понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону, — самый рост его казался немым укором, — и Уилсон посмотрел на него и сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет, — ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну, — сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон, — сказала она. — Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина

тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодо-

сти красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент-*приключения*придаст остроту их поэтичному, пережившему года *роману,*отправились на *сафари*в страну, бывшую *Черной Африкой*до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо,*на буйволов и на слона *Тембо,*в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер по крайней мере три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их

союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, что над ним стоит лев с окровавленной головой, — и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло, — сказала она. — Ты не спишь?

— Где ты была?

— Просто выходила подышать воздухом.

— Черта с два.

— А что я должна сказать, милый?

— Где ты была?

— Выходила подышать воздухом.

— Это что, новый термин? Шлюха.

— А ты — трус.

— Пусть, — сказал он. — Что ж из этого?

— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.

— Ты воображаешь, что я все стерплю.

— Я это знаю, дорогой.

— Так вот, не стерплю.

— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.

— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.

— Ну а теперь есть, — сказала она ласково.

— Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала.

— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?

— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?

— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.

— А я буду говорить.

— Ну, тогда прости, я буду спать. — И заснула.

Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.

— Как спали? — спросил Уилсон своим глухова-

тым голосом, набивая трубку.

— А вы?

— Отлично, — ответил белый охотник.

Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.

Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно, — сказал Уилсон и улыбнулся ей. — А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что, — ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере, — сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите, — ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний, — обращаясь к Макомберу, — и без глупостей, Фрэнсис, — сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов, — ответил Уилсон. — Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот

уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно, — сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

— Не имею права, — сказал Уилсон. — Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно, — сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно, — сказал Макомбер. — Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.

— Не больше, чем всем остальным.

— Возьмите себя в руки, голубчик, — сказал Уилсон очень спокойно. — Один из боев немного понимает по-английски.

— Ну и черт с ним.

Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена

остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.

— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу, — сказала Марго спокойно.

— Не бросишь.

— Попробуй — увидишь.

— Не бросишь ты меня.

— Да, — сказала она. — Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.

— Прилично? Это мне нравится. Прилично.

— Да. Прилично.

— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.

— Я долго старалась. Очень долго.

— Ненавижу эту краснорожую свинью, — сказал Макомбер. — От одного его вида тошно делается.

— А знаешь, он *очень* милый.

–*Замолчи!* –крикнул Макомбер.

В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.

— Едем охотиться? — спросил он.

— Да, — сказал Макомбер, вставая. — Да.

— Захватите свитер. Ехать будет холодно, —

сказал Уилсон.

— Я пойду возьму кожаную куртку, — сказала Марго.

— Она у боя, — сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.

С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?

Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян.

Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве и низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где

охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверное, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он

был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она немного разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие

муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца, — сказал Уилсон. — Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу

и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, а он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «ка-ра-уонг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего, — сказал Уилсон. — Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон про-

мазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!» — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули, хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово, — сказал Уилсон. — Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли? — спросил он.

— Только три, — сказал Уилсон. — Первого убили вы. Самого большого. Двух других я вам

помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине, — сказал Макомбер. — Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого, — сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях и, когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки.

— Смотрите, как бы не встал, — сказал Уилсон. И еще: — Отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно, — сказал Уилсон. — В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем, — сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.

— Ты был изумителен, милый, — сказала она Макомберу. — Ну и гонка!

— Очень трясло? — спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не ис-

пытывала такого страха.

— Давайте все выпьем, — сказал Макомбер.

— Обязательно, — сказал Уилсон. — Мемсаиб первая.

Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот — Уилсону.

— Это так волнует, — сказала она. — У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей, — сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято, — сказал Уилсон. — Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы *это* имели в виду.

— По-моему, — сказала Марго, — нечестно гнаться за этими толстыми беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свиде-

тельство. Ну и так далее, всякие неприятности, — сказал Уилсон, отпивая из фляжки. — Остался бы без работы.

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот, — сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день. — Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис, — сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О господи, нет, — сказал Макомбер.

— Вот он идет, — сказал Уилсон. — Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях; лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит? — спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу, — сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как, — сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом, — сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом, — сказал Уилсон. — Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо, — сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола, — сказал Уилсон. — Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы? — спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола, — сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова, — сказал Уилсон. — Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище, — сказала Марго. — Может быть, пойдем в тень?

— Конечно, — сказал Уилсон. — Смотрите, — сказал он Макомберу и протянул руку. — Видите вон те заросли?

— Да.

— Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдемте в тень, — сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох, — заметил Уилсон. — Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка! — сказал он. — Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно, — сказала она.

— Чем?

— Отвратительно, — сказала она горько. — Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь, — сказал Макомбер Уилсону. — Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени, — сказал Уилсон. — Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось, — сказал он. — Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохо-

тился на льва, — сказал Макомбер. — Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно, — сказал Уилсон. — В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую. «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год.

Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, — вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская.

Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверное, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидела накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат, — сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера. — Скорее принято

говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да, — сказал Уилсон. — И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор, — сказала Марго. — Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощения, — сказал Уилсон. — Я и правда наболтал лишнего. — Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, — презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе, — сказал он. — Действительно стал.

— Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было

хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет, — сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать, — сказал Уилсон. — У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из «спрингфилда», — сказал Уилсон. — Вы к нему привыкли. «Манлихер» оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу. — Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера. — Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в мор-

ду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони, — сказал Уилсон. — Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли, — сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили: — Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Маком-

бер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох, — сказал Уилсон. — Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед, — нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и

голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, — в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из «манлихера» калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать, — сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите сядьте в автомобиль, — сказал Уилсон. — Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место, — сказал Уилсон. И прибавил: — Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери, — автоматически отметил его мозг. — Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел, — сказал он совершенно безучастно. — А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте, — сказала она.

— Конечно, это несчастный случай, — сказал он. — Я-то знаю.

— Перестаньте, — сказала она.

— Не тревожьтесь, — сказал он. — Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень

пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте, — сказала она.

— Будет много возни, — сказал он. — Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду, — сказал он. — Я немножко рассердился. Совсем чуть-чуть. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте, — сказала она. — Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше, — сказал Уилсон. — Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.

Старик у моста

Старик в очках с железной оправой сидел у края дороги; его одежда была покрыта пылью. На реке был понтонный мост, и по нему переправлялись повозки, грузовики, мужчины, женщины и дети. Запряженные мулами повозки ползли с моста на крутой берег, солдаты подталкивали их, упираясь в спицы колес. Грузовики с грохотом взбирались наверх и исчезали, вырываясь из толчеи, крестьяне тащились, утопая в пыли по щиколотку. Но старик сидел неподвижно. Он слишком устал, чтобы идти дальше.

Я должен был перейти мост, обследовать предмостное укрепление на той стороне и выяснить, как далеко продвинулся неприятель. Я сделал это и вернулся через мост. Теперь повозок было меньше, пешеходов совсем мало, но старик все еще сидел там.

— Откуда вы идете? — спросил я его.

— Из Сан-Карлоса, — сказал он и улыбнулся.

Это был его родной город, ему было приятно говорить о нем, и он улыбнулся.

— Я смотрел за животными, — пояснил он.

— Вот как, — сказал я, не вполне понимая.

— Да, — сказал он, — я там оставался, потому что мне надо было смотреть за животными. Я ушел из Сан-Карлоса последним.

Он не был похож ни на пастуха, ни на свинопаса; я посмотрел на его черную, запыленную одежду, на серое, запыленное лицо и очки в железной оправе и спросил:

— За какими животными?

— Разными, — сказал он и покачал головой. — Пришлось их оставить.

Я смотрел на мост и на местность вокруг устья Эбро, напоминавшую мне Африку, и соображал, как скоро может показаться противник, и все время прислушивался, поджидая те первые звуки, которые возвещают о вечно таинственном явлении, именуемом соприкосновением фронтов, а старик все еще сидел там.

— За какими животными? — повторил я.

— Их всего трое, — объяснил он. — Две козы и кошка, да еще четыре пары голубей.

— И вам пришлось их оставить?

— Да. Начался обстрел. Капитан велел мне уходить, потому что начался обстрел.

— У вас нет семьи? — спросил я, глядя на противоположный конец моста, где одинокие повозки торопливо спускались по склону.

— Нет, — сказал он. — Только эти животные. Ну, кошка-то, конечно, не пропадет. Кошка может сама о себе позаботиться, а вот что станется с остальными — подумать страшно.

— Вы за кого? — спросил я.

— Ни за кого, — сказал он. — Мне семьдесят шесть лет. Я прошел уже двенадцать километров, а дальше идти сил нету.

— Здесь опасно, нельзя здесь оставаться, — сказал я. — Постарайтесь добраться до разветвления дороги на Тортосу, там проходят грузовики.

— Я посижу еще немного, — сказал он, — и потом пойду. Куда идут эти грузовики?

— В Барселону, — сказал я.

— Я там никого не знаю, — сказал он, — но я вам очень благодарен. Очень благодарен.

Он взглянул на меня устало и безучастно и потом сказал, чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своей тревогой:

— Кошка-то, я знаю, не пропадет. О ней нечего беспокоиться. А вот остальные. Как вы думаете, что с ними будет?

— Что ж, они, вероятно, тоже уцелеют.

— Вы думаете?

— А почему бы нет? — сказал я, всматриваясь в противоположный берег, где уже не видно было

повозок.

— А что они будут делать, если обстрел? Мне и то велели уходить, как начался обстрел.

— Вы оставили голубятню открытой? — спросил я.

— Да.

— Тогда они улетят.

— Да, правда, они улетят. А вот остальные. Нет, лучше не думать, — сказал он.

— Если вы уже отдохнули, уходите, — настаивал я. — Встаньте и попробуйте идти.

— Благодарю вас, — сказал он, поднялся на ноги, покачнулся и снова сел в пыль.

— Я смотрел за животными, — повторил он тупо, уже не обращаясь ко мне, — я только смотрел за животными.

Помочь ему было нечем. Был первый день Пасхи, и фашисты подступали к Эбро. День был серый, пасмурный, и низкая облачность не позволяла подняться их самолетам. Это, да еще то, что кошки сами могут о себе позаботиться, — вот все, в чем напоследок повезло старику.

Рассказы, ранее не издававшиеся на русском языке

Восторг погони

В тот год мы планировали охотиться на марлина у кубинских берегов в течение месяца. Начался месяц десятого апреля, а к десятому мая мы наловили двадцать пять марлинов, срок аренды яхты заканчивался. Оставалось купить подарки, чтобы привезти в Ки-Уэст, заправить «Аниту» еще раз дорогим кубинским топливом, пересечь пролив, уладить формальности и отправиться домой. Но большая рыба так и не пришла.

— Не хочешь еще месяцок поохотиться, кэп? — спросил мистер Джози. Он был хозяином «Аниты» и сдавал ее в аренду за десять долларов в день. Стандартная цена была тридцать пять. — Если захочешь остаться, я могу сре́зать цену до девяти.

— А где здесь взять девять долларов?

— Заплатишь, когда будут. А в «Стэндард ойл компани» у тебя открытый кредит, получим от них счет — расплатимся из арендных денег за прошлый месяц. Будет плохая погода — ты сможешь что-нибудь написать.

— Ладно, — сказал я, и мы прорыбачили еще месяц. К его концу на нашем счету было сорок

два марлина, но большая рыба так и не пришла. Вблизи Морро[98] проходило сильное глубинное течение, иногда оно несло акры приманки — летающие рыбы выпархивали прямо из-под носа яхты, и птицы трудились без устали. Но ни одного гигантского марлина мы не вытащили, хотя каждый день ловили или теряли по белому марлину, а в один из дней я поймал пять.

Нас хорошо знали по всему побережью, потому что мы разрубали на куски и раздавали всю свою рыбу, и когда мы проплывали мимо крепости Морро и поднимались по проливу к пирсам у площади Святого Франциска с поднятым «марлиновым флажком», к докам устремлялись толпы людей. В тот год у рыбаков в порту рыба стоила от восьми до двенадцати центов за фунт, а на рынке вдвое дороже. В день, когда мы вернулись с пятью флажками, полиции пришлось сдерживать толпу дубинками. Выглядело это скверно и безобразно. Но тот год на берегу вообще был скверным и безобразным.

— Эта гребаная полиция разгоняет наших постоянных клиентов и норовит забрать всю рыбу себе, — сказал мистер Джози. — А ну, пошел

---

[98] Примечания: 98

Эль-Морро — колониальная крепость, которая защищает вход в бухту Гаваны.

отсюда ко всем чертям! — рявкнул он на полицейского, тянувшего руку к десятифунтовому куску марлина. — Я твоей поганой рожи раньше здесь никогда не видел. Тебя как зовут?

Полицейский сообщил ему свое имя.

—

Эй, кэп, глянь-ка, есть он в нашем*compromiso*[99]?

— Не-а.

Compromiso— это была такая книга, в которую мы записывали людей, которым обещали рыбу.

— Ну, запиши его на следующую неделю, кэп, на маленький кусочек, — сказал мистер Джози. — А теперь, фараон, убирайся к чертям собачьим и лупи своей дубинкой кого-нибудь другого, а наших друзей не трожь. Навидался я вашего брата на своем веку. Вали отсюда. Забирай свою дубинку, свой пистолет и канай отсюда, если ты не из портовой полиции.

В конце концов вся рыба была разделана и распределена согласно записям в нашей*compromiso*, а книга заполнена обязательствами на следующую неделю.

— Иди-ка ты теперь в «Амбос мундос», кэп, умойся, прими душ, потом я тоже туда подгребу.

---

[99] Примечания: 99

Compromiso (*исп.*) — договоренность, соглашение. Зд.: подписка, список клиентов.

Можем сходить во «Флоридиту», обговорить наши дела. Этот фараон меня здорово достал.

— Можешь подняться ко мне и тоже принять душ.

— Нет. Я тут помоюсь, мне же сегодня не пришлось попотеть, как тебе.

Я сре́зал путь до отеля «Амбос мундос» по мощеной улице, которая вела к центру, справился у дежурного администратора насчет почты, потом поднялся в лифте на последний этаж. Мою угловую, выходившую на северо-восток комнату продувал пассат, и в ней было прохладно. Я посмотрел в окно на крыши старой части города и дальше — на бухту, в которую при полной иллюминации медленно входила «Орисаба». Я устал, наловив столько рыбы, и мне хотелось прилечь. Но я знал: лягу — могу заснуть, поэтому сидел на кровати и, глядя в окно, наблюдал, как охотятся летучие мыши, а потом наконец разделся, принял душ, переоделся в чистое и спустился в холл. Мистер Джози ждал у входа в гостиницу.

— Ты, наверное, устал, Эрнест, — сказал он.

— Нет, — солгал я.

— А я устал, только лишь глядя на то, как ты таскаешь рыбу, — сказал он. — Всего двух не хватило до нашего исторического рекорда: семь

и глаз восьмой.

Ни мистер Джози, ни я не любили вспоминать о глазе восьмой рыбы, но рекорд определяли всегда именно так.

Мы шли по узкому тротуару улицы Обиспо, мистер Джози разглядывал освещенные витрины всех магазинов. Он никогда ничего не покупал, пока не приходило время возвращаться домой. Но любил рассматривать все, что выставлялось на продажу. Миновав две последние лавки и лотерейную кассу, мы толкнули вращающуюся дверь старушки «Флоридиты».

— Тебе бы присесть, кэп, — сказал мистер Джози.

— Нет. Лучше я постою у барной стойки.

— Пива, — сказал мистер Джози. — Немецкого. А ты что будешь пить, кэп?

— Дайкири со льдом без сахара.

Константе смешал дайкири и налил мне, оставив в шейкере еще на две порции. Я ждал, когда мистер Джози перейдет к делу. Он перешел к нему, как только ему подали пиво.

— Карлос говорит, они появятся в следующем месяце, — сообщил он. Карлос успешно промышлял ловлей марлинов и был нашим кубинским компаньоном. — Он говорит, что никогда еще не

было такого течения, так что, когда они появятся, это будет нечто такое, чего мы никогда раньше не видели. Он говорит, что они точно должны прийти.

— Он и мне это говорил.

— Если решишь еще месяц порыбачить, кэп, я могу снизить цену до восьми долларов в день и еще готовить еду, чтобы не тратиться на сэндвичи. Будем заходить в бухточку, и я там буду стряпать. Мы же все время ловим этих волнистых пеламид. Они не хуже маленького тунца. Карлос говорит, что может по дешевке покупать нам что нужно на рынке, когда ездит за наживкой. А ужинать можно в ресторане «Жемчужина Сан-Франциско». Я очень хорошо там вчера поел за тридцать пять центов.

— А я вчера вечером вообще не ел и сэкономил деньги.

— Может, поэтому ты и подустал сегодня. Ты должен есть, кэп.

— Знаю. Но ты сам-то уверен, что хочешь еще месяц рыбачить?

— «Аните» все равно этот месяц простаивать. Почему бы нам не воспользоваться случаем, если идет большая рыба?

— Может, у тебя есть дела поважнее?

— Нет. А у тебя?

— Думаешь, рыба действительно придет?

— Карлос говорит — обязательно.

— А представь: мы подцепим такую рыбину и не сможем справиться с ней при тех снастях, которые у нас имеются.

— Должны справиться. Если хорошо есть, можно вываживать ее хоть до скончания века. А мы будем есть хорошо. Я тут еще кое о чем подумал.

— О чем?

— Если ты будешь ложиться пораньше и откажешься от развлечений, ты сможешь вставать на рассвете и писать, к восьми часам уже выполнишь дневную норму. А мы с Карлосом к тому времени все подготовим, тебе останется только взойти на борт.

— Ладно, — сказал я. — Никаких развлечений.

— Тебя именно развлечения выматывают, кэп. Но я не имею в виду — вообще никаких. По субботам вечером можно.

— Отлично, — сказал я. — Развлечения — только по субботам вечером. А что ты предлагаешь мне писать?

— Ну, это уж тебе решать, кэп. Я в это не вмешиваюсь. Что касается работы, у тебя всегда хорошо получалось.

— А о чем бы ты хотел прочесть?

— Почему бы тебе не написать хорошие рассказы о Европе или про Запад, или про то, как ты бродяжничал, или про войну, или еще что-нибудь в этом роде? Или напиши про то, что только мы с тобой знаем, про то, что повидала на своем веку «Анита». Туда и про развлечения можно вставить, чтобы всем интересно было.

— Я же отказываюсь от развлечений.

— Конечно, кэп. Но тебе есть что вспомнить. То, что ты будешь в завязке, тебе не помешает.

— Не помешает, — согласился я. — Большое спасибо, мистер Джози. Прямо завтра с утра и начну работать.

— А что нам требуется перед тем как начать новую жизнь, так это чтобы ты съел сегодня большой бифштекс с кровью, тогда завтра ты проснешься полным сил, с желанием работать и готовностью к рыбалке. Карлос говорит, что большая рыба может появиться со дня на день. Кэп, к этому моменту ты должен быть в наилучшей форме.

— Думаешь, еще один дайкири этому помешает?

— Черт возьми, конечно нет, кэп. В нем же ничего, кроме рома, капельки лаймового сока

и мараскино[100]. Разве это может навредить мужчине?

Как раз в этот момент в бар вошли две знакомые девушки. Они были очень миловидны и готовы к предстоявшему вечеру.

— Рыбаки, — сказала одна по-испански.

— Два крепких здоровых рыбака, прямо с моря, — добавила другая.

— Эн-эр, — напомнил мистер Джози.

— Никаких развлечений, — подтвердил я.

— У вас какие-то секреты? — спросила одна из девушек. Она была потрясающе хорошенькая, а то легкое несовершенство, которое придала чистой линии ее очаровательного носика правая рука одного из ее прежних приятелей, было совершенно незаметно, если смотреть на нее в профиль.

— У нас с кэпом деловой разговор, — ответил мистер Джози девушкам, и те отошли к дальнему концу стойки. — Видишь, как просто? — сказал мистер Джози. — Я возьму на себя всё общение, а тебе останется лишь вставать утром рано, писать и быть в форме для рыбалки. Для большой рыбы. Такой, чтоб не меньше тысячи фунтов.

---

[100] Примечания: 100
Мараскин — ликер на основе мараскиновой вишни.

— А почему бы нам не поменяться? — сказал я. — Я возьму на себя всё общение, а ты будешь вставать утром рано, писать и держать себя в форме для охоты на большую рыбу, такую, чтобы не меньше тысячи фунтов.

— Да я бы рад, кэп, — серьезно ответил мистер Джози. — Но из нас двоих писать умеешь только ты. А еще ты моложе меня и лучше подходишь для того, чтобы управляться с рыбой. Мое же дело — лодка с изношенным двигателем, но я постараюсь хорошо следить за ней.

— Понимаю, — сказал я. — Я тоже постараюсь хорошо писать.

— Я хочу продолжать тобой гордиться, — сказал мистер Джози. — И хочу, черт возьми, чтобы мы поймали самого большого марлина, какой когда-либо плавал в океане, взвесили бы его по совести, разрубили на куски и раздали своим знакомым беднякам; и ни куска ни одному проклятому фараону с дубинкой.

— Так мы и сделаем.

В этот момент одна из девиц помахала нам с дальнего конца стойки. Вечер был тихим, кроме нас в баре — никого.

— Эн-эр, — сказал мистер Джози.

— Эн-эр, — ритуально повторил я.

— Константе, — сказал мистер Джози, — Эрнесто нужен официант. Мы хотим заказать два больших бифштекса с кровью.

Константе улыбнулся и, подняв палец, подозвал официанта.

Когда мы, направляясь в обеденный зал, проходили мимо девушек, одна из них протянула руку, и я пожал ее, торжественно прошептав по-испански: «Никаких развлечений».

— Боже милостивый, — произнесла другая девушка. — Неужели и эти подались в политику? В такой-то год!

Обе впечатлились и были немного напуганы.

Утром, разбуженный первым забрезжившим над бухтой светом, я встал и начал писать рассказ в надежде, что мистеру Джози он понравится. В нем были и «Анита», и прибрежная часть города, и то, что с нами случилось и о чем знали только мы двое, я пытался вжиться в ощущение моря и всего того, что мы видели, слышали, обоняли и чувствовали каждый день. Я работал над рассказом каждое утро, а днем мы рыбачили, и улов был хорошим. Я очень старался и всю рыбу ловил стоя, а не сидя в кресле. И все же большая рыба не приходила.

Однажды мы все же увидели такую, тащив-

шую за собой промысловый рыбацкий ялик, который погрузился в воду по самый нос, а марлин несся, как быстроходный катер, фонтанами расплескивая воду в стороны каждый раз, когда выпрыгивал на поверхность. Тот марлин сорвался. В другой день, во время ливня, мы видели, как четверо мужчин пытались втащить в свою лодку широченного темно-фиолетового марлина. Он тянул на полсотни фунтов, и после я видел огромные куски этой рыбины на мраморных прилавках старого рынка.

А потом, одним солнечным днем, когда темный поток был особенно мощным и близким к поверхности, а вода в нем была такой прозрачной, что рыбные косяки в горловине бухты просматривались на глубину в десять морских саженей, мы наткнулись на нашу первую крупную рыбину прямо напротив крепости Морро. В те времена еще не существовало никаких выносных опор и держателей для удилища, я только что закинул в воду легкую снасть в надежде вытащить горбыля, когда появилась эта рыба. Она вспорола волну «копьем», похожим на переднюю часть биллиардного кия. За ним вынырнула гигантская голова, шириной с ялик. Потом рыбина стремительно проре́зала линию, параллельную

яхте, и катушка стала раскручиваться с бешеной скоростью, раскалившись так, что можно было обжечься. На ней было намотано четыреста ярдов плетеной лески в пятнадцать жил, и к тому времени, когда я добрался до носа «Аниты», половина ее уже ушла в воду.

Я добирался туда, держась за поручни, которые мы соорудили вдоль крыши рубки. И эту пробежку, и бросок через переднюю палубу до того места, где можно упереться ногами в форштевень, мы не раз репетировали, но никогда не делали этого с рыбой, несущейся мимо тебя, как скоростной экспресс мимо полустанка, на котором ты стоишь, с удилищем, которое брыкается и гнется у тебя в одной руке, и упираясь другой рукой и босыми ногами в палубу, чтобы рыба не утащила тебя за борт.

— Врубай мотор, Джози! — заорал я. — Пока она всю леску не раскрутила.

— Уже врубил, кэп. Во дает!

К тому времени я упирался одной ступней в нос лодки, а другой — в якорь по правому борту. Карлос держал меня, обхватив за талию, а впереди мчалась, время от времени выпрыгивая из воды, рыба. Когда она выпрыгивала, было видно, что она толстенная, как винная бочка.

Она серебрилась на ярком солнечном свете, а по бокам у нее тянулись косые широкие лиловые полосы. Рыба все прыгала, прыгала, прыгала и каждый раз, снова плюхаясь в воду, поднимала такой фонтан брызг, как будто лошадь сорвалась с обрыва в море. Катушка раскалилась так, что к ней нельзя было прикоснуться, а моток лески на ней становился все тоньше и тоньше, несмотря на то, что «Анита» гналась за рыбой на предельной скорости.

— Можешь выжать из нее еще немного? — крикнул я мистеру Джози.

— Ни капли, — ответил он. — Много еще лески осталось?

— Да почти ни черта́.

— Великан, — сказал Карлос. — Я такого здоровенного марлина никогда не видел. Хоть бы он остановился. Хоть бы ушел на глубину. Тогда бы мы проплыли над ним и смотали обратно леску.

Свой стремительный бросок, начавшийся у крепости Морро, рыба закончила только напротив отеля «Националь». Такое же расстояние проделали и мы. И только тут, когда у нас на катушке оставалось меньше двадцати ярдов лески, марлин завис, а мы подошли и встали над ним, не переставая сматывать леску. Впереди нас шло

судно компании «Грейс лайн», к нему из бухты направлялся черный лоцманский катер, и я боялся, что мы можем оказаться на траверзе судна, когда оно будет заходить в порт. Помнится, я наблюдал за ним, пока сматывал леску, а потом пробрался обратно на корму и увидел, как оно набирает скорость. Но оно прошло довольно далеко от нас, и лоцманский катер нам тоже не помешал.

Теперь я сидел в кресле, рыба то всплывала, то погружалась, и у нас на катушке была теперь треть лески. Чтобы охладить катушку, Карлос полил ее морской водой, а потом опрокинул ведро мне на голову и плечи.

— Ты как, кэп? — спросил мистер Джози.

— Нормально.

— Не поранился о форштевень?

— Нет.

— Ты когда-нибудь представлял себе, что существуют такие рыбы, как эта?

— Нет.

–*Grande. Grande*[101], — без конца повторял Карлос. Он дрожал, как охотничья собака в предвкушении добычи. — В жизни не встречал такой рыбины. Никогда. Никогда. Никогда.

---

[101] Примечания: 101
Grande (*исп.*) — большой, зд.: классный, матерый.

В следующие час двадцать минут мы марлина не видели. Течение было очень мощным, нас отнесло к Кохимару — миль за шесть от того места, где рыба первый раз ушла на глубину. Я устал, но ноги и руки оставались в хорошей форме, и я размеренно и осторожно, не дергая, без резких движений подтягивал леску. Теперь я мог его вести. Это было нелегко, но возможно, если держать леску натянутой до, но не сверх предела.

— Он скоро всплывет, — сказал Карлос. — Большие рыбины иногда так делают, и тогда, пока он не очухался, можно его подцепить багром.

— Почему ты думаешь, что он всплывет? — спросил я.

— Потому что он ошалел, — сказал Карлос. — Вы его ведете, и он не понимает, что происходит.

— И не надо позволить ему это понять, — сказал я.

— Даже выпотрошенный, он потянет больше чем на девятьсот фунтов, — сказал Карлос.

— Не отвлекай его, — сказал мистер Джози. — Не хочешь сменить тактику, кэп?

— Нет.

Когда мы увидели его в следующий раз, мы по-настоящему осознали, насколько он большой. Не скажу, чтобы это пугало. Но внушало

почтительный трепет. Марлин спокойно и почти неподвижно стоял под поверхностью воды, его огромные грудные плавники напоминали длинные фиолетовые лезвия косы. А потом он увидел лодку, и леска снова начала бешено разматываться, как будто нас взял на буксир гоночный автомобиль, а марлин прыжками помчался на северо-запад, высоко вздымая воду.

Мне снова пришлось перейти на нос, и мы гнались за ним, пока он опять не ушел на глубину. На сей раз он это сделал почти напротив Морро. Тогда я опять перебрался на корму.

— Попить хочешь, кэп? — спросил мистер Джози.

— Нет, — сказал я. — Пусть Карлос смажет катушку маслом, только аккуратно, не разбрызгивая, а потом пусть снова окатит меня морской водой.

— А я могу для тебя что-нибудь сделать, кэп?

— Разве что добыть пару новых рук и спину, — сказал я. — Этот сукин сын такой же бодрый, каким был в начале.

В следующий раз мы увидели его через полтора часа довольно далеко за Кохимаром; выпрыгнув из воды, он снова понесся вперед, мы опять погнались за ним, и мне опять пришлось перейти

на нос.

Когда появилась возможность вернуться на корму и присесть, мистер Джози спросил:

— Ну, как он, кэп?

— Он — как ни в чем не бывало. А вот удилище начинает терять упругость.

Удилище гнулось, как лук с натянутой до предела тетивой. Но теперь, когда я поднимал его, оно не распрямлялось, как положено.

— Ничего, топливо еще есть, — сказал мистер Джози. — Можешь вываживать рыбину сколько угодно. Облить тебя еще раз?

— Пока не надо, — сказал я. — Меня беспокоит удилище. От такой тяжести оно потеряло гибкость.

Час спустя рыбина стала размеренными широкими кругами медленно подниматься к поверхности.

— Он устал, — сказал Карлос. — Теперь с ним будет проще управляться. От долгого прыгания у него плавательный пузырь заполнился воздухом, он не сможет больше уходить на глубину.

— Удилищу конец, — сказал я. — Оно уже вообще не распрямляется.

Так оно и было. Кончик удилища теперь касался воды, и когда я поднимал его, чтобы подтянуть

рыбу или намотать леску на катушку, оно никак не реагировало. Теперь это было уже не удилище, а словно бы продолжение лески. Высоко поднимая его, еще можно было вытянуть леску на несколько дюймов и все.

Рыба медленно двигалась кругами; когда она плыла по дальней от нас дуге, леска разматывалась, когда по ближней, я сматывал ее обратно. Но с утратившим гибкость удилищем невозможно было прибрать добычу к рукам и вообще контролировать ее.

— Плохо дело, кэп, — сказал я мистеру Джози. Мы попеременно называли друг друга капитанами. — Если он теперь решит уйти на дно, чтобы помереть, мы никогда его не достанем.

— Карлос говорит, что он не уйдет больше на глубину. Говорит, он наглотался столько воздуху, пока прыгал, что не может глубоко погрузиться и там умереть. Он говорит, что большие рыбы всегда так ведут себя после того как напрыгаются. Я насчитал, кажется, тридцать шесть прыжков, а может, и больше.

Это была самая длинная речь, какую я когда-либо слышал от мистера Джози, она произвела на меня впечатление. И как раз в этот момент рыба начала погружаться — все ниже, ниже,

ниже. Я обеими руками ухватился за катушку и удерживал леску в состоянии, натянутом почти до предела, ощущая, как металлическая катушка медленно, рывками, но все равно проворачивается под моими пальцами.

— Сколько времени прошло? — спросил я мистера Джози.

— Ты возишься с ней уже три часа пятьдесят минут.

— Ты, кажется, утверждал, что она не пойдет на дно умирать, — заметил я Карлосу.

— Хемингуэй, ей придется всплыть. Я знаю, что она всплывет.

— Скажи это ей, — огрызнулся я.

— Карлос, дай ему воды, — распорядился мистер Джози. — Не разговаривай, кэп.

Ледяная вода принесла облегчение, я прыснул ею на запястья и велел Карлосу вылить остаток из стакана мне на затылок. Соленый пот разъедал ссадины на голых плечах, натертые ремнями, но на солнце было так жарко, что я не ощущал тепла выступившей крови. Июльское солнце стояло в зените.

— Смочи ему голову соленой водой, — сказал Карлосу мистер Джози. — Из губки выжми.

И тут марлин перестал разматывать леску. На

какое-то время он завис неподвижно — у меня было ощущение, будто я зацепился за бетонный пирс, — а потом начал медленно всплывать. Я стал подтягивать леску, проворачивая катушку запястьем, потому что удилище вообще перестало пружинить, повиснув, как ветка плакучей ивы.

Оказавшись на глубине всего одной морской сажени, так что мы могли видеть ее всю, похожую на длинное каноэ с бортами, раскрашенными фиолетовыми полосами, и двумя длинными разведенными веслами, рыба снова начала медленно кружить. Я тянул леску на себя изо всех сил, чтобы укоротить расстояние между нами, тянул до того предела, за которым леска грозила лопнуть, но тут не выдержало удилище. Не переломилось внезапно и резко, а просто перегнулось.

— Отрежь тридцать саженей лески от большой катушки, — сказал я Карлосу. — Я буду его водить кругами, подтягивая, а когда он подойдет близко, мы ослабим достаточный кусок моей лески, чтобы связать ее с твоей, толстой, и тогда я поменяю удилище.

С вышедшим из строя удилищем не могло быть и речи о том, чтобы выловить рекордно крупного,

да и вообще какого бы то ни было марлина. Но наш теперь был измотан, и на более прочной оснастке мы смогли бы его вытащить. Проблема состояла лишь в том, что большое удилище было слишком жестким для лески в пятнадцать жил. Но это была моя проблема, я и должен был ее решить.

Карлос отматывал белую тридцатишестижильную леску с большой катушки «Харди», замерял ее широко расставленными руками, продевал через кольца-держатели на большом удилище и сбрасывал на палубу. Я придерживал рыбину насколько мог при бесполезно согнутом удилище, пока Карлос не перерезал белую леску и не протянул всю ее через кольца.

— Так, кэп, — сказал я мистеру Джози, — теперь держи мою леску и, когда на следующем круге рыба подойдет ближе всего, вытяни из воды достаточный ее кусок, чтобы Карлос мог прочно связать его с новой леской. Только тяни плавно и аккуратно.

Рыба постепенно, по кругу, приближалась, мистер Джози выбирал леску из воды фут за футом и передавал ее Карлосу, наконец тот связал ее с толстой леской.

— Всё, связал, — объявил мистер Джози. У него

в руках еще оставался примерно ярд ненатянутой пятнадцатижильной зеленой лески, когда рыбина подошла на максимально близкое к лодке расстояние. Я разжал пальцы на маленьком удилище, положив его на пол, и взял большое, которое протянул мне Карлос.

— Режь, когда будешь готов, — сказал я Карлосу. А мистеру Джози: — Отпускай свою провисшую часть мягко и осторожно, кэп, а я буду тянуть легко-легко, пока не почувствую, что леска натянулась.

Я следил за зеленой леской и за рыбой, когда Карлос резанул. И тут я услышал такой вопль, какого в жизни не слышал от человека в здравом уме — словно все отчаяние мира сконцентрировалось в этом звуке, — и заметил, как зеленая леска медленно скользит между пальцами мистера Джози, а потом уходит в воду все глубже, глубже и наконец исчезает. Карлос отрéзал старую леску не с той стороны от завязанного им же узла. Рыба скрылась из виду.

— Кэп, — сказал мистер Джози. Вид у него был неважный. Он посмотрел на часы. — Четыре часа двадцать две минуты.

Я пошел проведать Карлоса. Его рвало в гальюне, я сказал ему, чтобы он не винил себя,

такое может случиться со всяким. Выражение его смуглого лица было каким-то безжизненным, и говорил он странным тихим голосом, так что я едва слышал его.

— Я рыбачу всю жизнь и никогда не видел такой рыбины. Что я наделал! Я разрушил и вашу жизнь, и свою.

— Черт побери, — сказал я ему, — кончай нести ерунду. Мы еще поймаем кучу рыб побольше этой.

Но не поймали.

Мы с мистером Джози уселись на корме, отпустив «Аниту» в свободный дрейф. Над заливом стоял чудесный день, дул легкий бриз, мы смотрели на ближний берег и возвышавшиеся вдали невысокие горы. Мистер Джози смазал мне меркурохромом плечи, руки в тех местах, где они были стерты удилищем, и ступни с содранной кожей. Потом сделал два виски с лимонным соком.

— Как Карлос? — спросил я.

— Совсем сник. Лежит там, внизу, скорчившись.

— Я сказал ему, чтобы он не винил себя.

— Конечно. Но он все равно винит.

— Ну и что ты теперь думаешь про охоту на крупную рыбу? — спросил я.

— Это единственное, чего мне хочется в жизни, — ответил мистер Джози.

— Как ты думаешь, кэп, я все делал правильно?

— Черт, конечно!

— Нет, ты мне правду скажи.

— Сегодня кончается срок аренды. Если хочешь, продолжим, я вообще не буду теперь денег брать.

— Нет.

— А я бы хотел. Помнишь, как он пер к «Националю»? Ничего подобного в жизни не видел.

— Я про него все помню.

— Хорошо тебе писалось, кэп? Не слишком трудно работать так рано по утрам?

— Я старался как мог.

— Вот давай и дальше так, и все будет хорошо.

— Завтра, наверное, не буду писать.

— Почему?

— Спина болит.

— Но голова же в порядке? Ты ведь не спиной пишешь.

— Ладони стерты.

— Черт, карандаш уж как-нибудь удержишь. Может, утром тебе самому захочется писать.

Как ни странно, мне действительно захотелось,

и я хорошо поработал, и в восемь часов мы вышли из бухты, и день снова был чудесным, с легким приятным ветерком, и течение проходило совсем близко к крепости Морро, как накануне. В тот день, выйдя на открытую воду, мы не стали забрасывать легкую снасть. Слишком часто мы так делали. Я без особого труда вытащил большую королевскую макрель, которая весила около четырех фунтов, на самую крупную снасть, какая у нас была: тяжелое удилище фирмы «Харди» с катушкой белой тридцатишестижильной лески. Карлос приделал обратно кусок лески в тридцать саженей, который отрéзал накануне, так что пятидюймовая катушка снова была полной. Единственная проблема заключалась в слишком жестком удилище. При охоте на крупную рыбу слишком жесткое удилище изматывает рыбака, а то, которое гнется должным образом, — рыбу.

Карлос подавал голос, только когда к нему обращались, и по-прежнему пребывал в подавленном настроении. Мне было не до переживаний, поскольку у меня все болело, а мистер Джози вообще не был склонен к грустным чувствам.

— Только и делает, что качает своей дурацкой головой все утро, — сказал он. — Так он ничего не поймает.

— А как ты себя чувствуешь, кэп? — спросил я.

— Я себя чувствую хорошо, — ответил мистер Джози. — Вчера вечером ходил в центр города, послушал женский оркестр на площади, выпил несколько бутылок пива, а потом зашел в «Доновaн». И вот там случился сущий ад.

— Какого рода?

— Нехорошего. Плохого. Я порадовался, что тебя там не было, кэп.

— Ну, расскажи, — попросил я, отводя удочку далеко в сторону и вверх, чтобы большая макрель скакала по краю нашей кильватерной струи. Карлос развернул «Аниту» так, чтобы она шла по кромке течения, мы проплывали мимо крепости Кабанья. Белый цилиндрик поплавка прыгал и метался в кильватерной струе, а мистер Джози, сидевший в кресле, опускал в воду насаженную на крючок наживку-макрель со своей стороны кормы.

— Там, в «Доновaне», оказался человек, утверждавший, будто он — капитан тайной полиции. Заявил, что ему понравилось мое лицо и он в качестве подарка мне готов убить любого. Я попытался его утихомирить. Но он все бубнил, что я ему нравлюсь и он хочет кого-нибудь убить, чтобы доказать это. Он был из особой полиции

Мачадо. Ну, той, что с дубинками.

— Знаю я их.

— Конечно, знаешь, кэп. И все же я рад, что тебя там не было.

— И что он сделал?

— Да он все хотел кого-нибудь убить, чтобы показать, как я ему нравлюсь, а я все твердил ему, что в этом нет необходимости, и уговаривал выпить и забыть об этом. Он немного затихал, а потом снова вспоминал, что хочет кого-нибудь убить.

— Славный парень, как я погляжу.

— Кэп, да он совсем чокнутый. Я пытался рассказывать ему о нашей рыбалке, чтобы отвлечь. А он говорит: «Насрать мне на вашу рыбу. Не было у вас никакой рыбы. Понял?» — «Ладно, — отвечаю, — на рыбу насрать. Давай на том и порешим и пойдем-ка оба по домам». — «Черта с два я пойду домой! — говорит. — Я собираюсь кого-нибудь убить для тебя, а на рыбу насрать. Никакой рыбы не было. Усёк?» Ну, тогда я пожелал ему спокойной ночи, кэп, и расплатился с Донованом, а этот полицейский смахнул мои деньги на пол и наступил на них. «Черта лысого ты пойдешь домой, — говорит. — Ты — мой друг и останешься здесь». Ну, я еще раз сказал ему

спокойной ночи, а Донована — прости, мол, но твои деньги на полу. Я не знал, что попытается сделать этот полицейский, да мне было и все равно. Я собирался уйти домой. Но как только я двинулся к выходу, этот гад выхватил пистолет и начал дубасить им несчастного беднягу Гальего, который просто пил свое пиво и за весь вечер ни разу рта не открыл. Никто полицейского не остановил. В том числе и я. Мне стыдно, кэп.

— Это ненадолго, — сказал я.

— Знаю. Это проходит. Но что неприятней всего, так это то, что этому полицейскому понравилось мое лицо. Черт возьми, это что же за рожу надо иметь, кэп, чтобы она понравилась такому подонку?

Мне тоже очень нравилось лицо мистера Джози. Оно нравилось мне, пожалуй, больше, чем чье бы то ни было из знакомых. Я не сразу оценил его, потому что оно не из тех лиц, которые легко и быстро завоевывают расположение. На нем лежала давнишняя печать моря, азартных карточных игр в доходных помещениях баров и весьма рискованных авантюр, задуманных и осуществленных с холодным и точным расчетом. Ни одна черта этого лица не была привлекательной, кроме глаз, которые были светлее и синее Сре-

диземного моря в самый ясный солнечный день. Глаза были удивительными, а лицо, конечно, отнюдь не красивым, к тому же сейчас оно еще и выглядело как ноздреватая выделанная кожа.

— Хорошее у тебя лицо, кэп, — сказал я. — А единственное, что можно сказать хорошего о том сукином сыне, так это то, что он смог это понять.

— Но пока эта история не уляжется, я в кабаки — ни ногой, — сказал мистер Джози. — Вот сидеть на площади и слушать женский оркестр и девушку, которая у них поет, было здорово и приятно. А как ты по правде себя чувствуешь, кэп?

— Довольно паршиво, — сказал я.

— Живот не болит? Я так волновался за тебя все то время, что ты стоял там, на носу.

— Нет, живот не болит, болит поясница, — сказал я.

— Руки-ноги — ерунда, ремни на кресле я уже перетянул, — сказал мистер Джози. — Теперь они не будут так сильно натирать. А работа у тебя действительно идет хорошо, кэп?

— Конечно, — ответил я. — В нее же когда втягиваешься, она становится привычкой, а от привычки черта с два избавишься.

— Привычка — это плохо, — сказал мистер Джози. — А привычка к работе погубила, может,

больше народу, чем любая другая. Но когда делаешь свою работу, тебе плевать на все остальное.

Я посмотрел на берег, мы проплывали мимо известкового завода, близко к пляжу, где вода была очень глубокой и Гольфстрим подходил почти к самой суше. Небольшой дымок вился над трубой печи для обжига извести, я видел пыль, клубившуюся из-под колес грузовика, проезжавшего по скалистой дороге. Стайка птиц расклевывала всплывшую приманку. А потом я услышал крик Карлоса:

— Марлин! Марлин!

Мы все увидели его одновременно. В воде он казался очень темным; его копье вынырнуло рядом с моей большой макрелью. Это было уродливое копье: круглое, толстое и короткое, а за ним под водой громоздилась сама рыба.

— Пусть заглотит! — заорал Карлос. — Она уже у него в пасти.

Мистер Джози быстро сматывал леску, вытаскивая свою наживку, а я наблюдал, ожидая, когда натянется моя леска, что будет означать: марлин действительно заглотил мою макрель.

Опубликовано в печатном издании в июне 2020

Три рассказа о Второй мировой войне
Комната окнами в сад

Все набились в одну комнату в «Ритце», и окна, выходившие в сад, были открыты. Я, сняв ботинки, лежал на одной из кроватей, опираясь спиной на четыре подушки, и читал, на другой были расстелены карты страны, через которую мы прошли. Эти карты больше не были нужны и использовались для того, чтобы застилать ту кровать, на которой мы разбирали, чистили и снова собирали оружие. Все усердно трудились, кроме меня, я отдыхал за чтением. Последний раз у меня выдалось время почитать за неделю до Мортена[102], а теперь, следующим утром, мы уже выдвигались на север.

Чарли Ритц[103] прислал мне книги и всем нам — шесть бутылок шампанского. Одну я оставил себе, остальные отдал ребятам. Они теперь при-

---

[102] Примечания: 102

Имеется в виду сражение за французский город Мортен в начале августа 1944 года.

[103] Примечания: 103

Чарлз Ритц (1891–1976) — сын известного швейцарского отельера Сезара Ритца, основателя сети отелей «Ритц», впоследствии президент гостиничной империи «Ритц», любитель и знаток рыбалки, друг Хемингуэя.

страстились к шампанскому и даже освоили привычку пить его из фужеров.

Мне нравилось смотреть на деревья в саду, освещенные солнцем, наблюдать за игрой света на стене министерства юстиции, на только что вычищенном и смазанном оружии, на тяжелых грибообразных головках «панцерфаустов»[104] и за тем, как свет преломляется в дорогих фужерах с желтым вином.

Чарли Ритц вошел своей легкой поступью заядлого, но честного заговорщика, и все обратили на него взгляды, радуясь его приходу.

— У тебя есть все, что тебе нужно, дорогой Папа?

— Все.

— А как эти штуки работают?

— Онэ, покажи патрону.

Онэ показал, и на миг мне представилось, что сейчас он запустит снаряд в министерство юстиции. Так делали все. Но не он.

— Хотите выстрелить, патрон?

— Боюсь, меня неверно поймут, — сказал Чарли.

— Если нам когда-нибудь еще доведется вое-

---

[104] Примечания: 104

Немецкий одноразовый гранатомет времен Второй мировой войны.

вать в этом городе, я запущу один такой в «Георга Пятого», — патриотично заметил Онэ.

— Да здравствует «Ритц», — подхватил Клод. — И *merde*[105] все остальные клоповники в этом городе.

— Патрон, после этой войны мы сможем обеспечить вам какую-никакую защиту.

— Это ты их этому учишь?

— Это часть нашей программы реабилитации, — сказал я. — Чарли, а где у Пруста была комната, обитая пробкой?

— В районе улицы Камбон.

— Жмот, — сказал Ред.

— Кто такой Марсель Пруст? — спросил Онэзим.

— Писатель, — ответил я. — Очень хороший.

— И чего ж тогда он поселился на улице Камбон?

— У него были странные вкусы, — объяснил Клод. — Его любовником был собственный шофер.

–Pas bon[106], — сказал Ред.

— А где жили Виктор Гюго и Дюма? — поин-

---

[105] Примечания: 105
Merde (*фр.*) — дерьмо; здесь восклицание: «К черту!»

[106] Примечания: 106
Pas bon (*фр.*) — нехорошо.

тересовался Онэзим. — Передайте мне вино, пожалуйста.

— Надо будет узнать номера их комнат, — сказал Чарли.

— Надеюсь, они не жили в районе улицы Камбон?

— Нет, черт возьми, — сказал Чарли.

Я читал и одновременно наблюдал и прислушивался. Персонажи в вычищенных американских мундирах, с проворными умелыми руками и лицами, которые старили лишь морщинки вокруг глаз, — а может, они еще и разгладятся, я надеялся, что разгладятся, разве что не у Клода, — пили с подчеркнутым уважением к ритцевскому хрусталю. Все смотрели, как поднимает бокал Чарли, и поднимали свои с такой же деликатностью. Чарли, смуглого чужака, они приняли и восхищались им за его смекалку, щедрость и за то, что он был*debrouillard*[107], между тем как Жан Габен, которого они увидели во плоти, их разочаровал: он оказался всего лишь актером. Все это и то, как свет, проникавший сквозь окна, преображал эти полюбившиеся мне лица, делало меня счастливым, как делает счастливым прекрасное вино,

---

[107] Примечания: 107

Debrouillard (*фр.*) — сметливый, находчивый, хитрый, пробивной.

независимо от этикетки.

Я читал*Les Fleurs du Mal*[108] в издании с предисловием Готье, которое прислал мне Чарли. После этого я собирался почитать одну из книг о ловле форели и хариуса на спиннинг, которые дал мне тоже он.

— Много сегодня было неприятностей? — спросил Чарли.

— Нет. Приходил очень важный субъект из F.T.P.F.[109], забрал всех, кого пожелал, а взамен предложил нам несколько детей.

— Они имеют право забирать любого, кого захотят?

— Любого, кто подчиняется партийной дисциплине. Это был очень амбициозный человек в очках с роговой оправой и в новеньком, вчера сшитом мундире. Без году неделя полковник. Один шеврон пришит наспех.

— Полковник — это низший ранг, — пояснил Онэ.

---

[108] Примечания: 108

Les Fleurs du Mal (*фр.*) — «Цветы зла», сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера.

[109] Примечания: 109

F.T.P.F. (Les Francs-Tireurs et Partisans français) — «Франтиёры и партизаны», крупнейшая военная организация Движения Сопротивления во Франции в 1941–1944 годах. Основана в 1941 г. по инициативе французской компартии и Национального фронта.

— Да, был тут сегодня такой полковник, — сказал Ред.

Клод стал пародировать состоявшийся разговор:

— «Бонжур, Роберт» — «Бонжур, Андрэ». Тут они с Папой обнимаются. Мы все тронуты до слез. Полковник осматривается вокруг, на нем шикарный мундир с подрубленными на машинке штанами, красивые ботинки и китель что надо. Замечает наше присутствие, но мы все — в форме мертвых американцев из расстрелянного грузовика. Он смотрит на нас с*méprise*[110]и спрашивает Папу: «Сколькими людьми вам доводилось командовать?» — «Четырьмя, шестью, восемью, двенадцатью. Максимум двумястами». — «*Moi, deux mille*[111]», –и глядит эдак в пространство, как бы представляя себе эту огромную людскую массу, а уголок рта и глаза у него подергивается.

«Полковник, — говорит ему Папа, — у вас никогда не было проблем со снабжением? Как вам удается прокормить столько бойцов иррегулярных войск?» Сами посчитайте, мсье Шарль. Вы ведь человек из гостиничного бизнеса. Ему надо

---

[110] Примечания: 110
Méprise (*фр.*) — презрение, отвращение.

[111] Примечания: 111
А у меня две тысячи (*фр.*).

кормить две тысячи ополченцев минимум один, а лучше два раза в день. «Никаких проблем, — отвечает, — мы же находимся среди патриотов». — «А все кругом патриоты?» — «Естественно». — «Тогда позвольте поздравить вас, полковник, — говорит Папа. — Для нас было бы честью, если бы вы и две тысячи ваших бравых бойцов были с нами, когда мы входили в эту деревушку и брали эту жалкую гостиничку». — «У меня важные дела. Прошу простить меня, Роберт».

Они снова обнимаются, и полковник отчаливает. На нас он даже не смотрит, потому что мы плохо воспитанные, недисциплинированные американцы, выполняющие работу, подобающую разве что механикам из гаража. Он, его прекрасные ботинки, великолепный китель и*galons*[112], длинные, как стремянка, выходят все вместе.

Но послушайте, мсье Шарль, вы — знаменитый отельер. Как он может накормить две тысячи ополченцев? В Нормандии, если вы дважды поели у кого-нибудь в доме, его хозяин перестает быть патриотом. Если вы берете у него курицу или несколько яиц, вы — вор. Сыр предназначается только для черного рынка. Единственное, что

[112] Примечания: 112
Galons (*фр.*) — нашивки, шевроны.

вам там дадут, это*Calva*[113] да прокисший сидр.

Знаете, как бывает с ополченцами? Вот вы прислали нам в полдень шесть бутылок прекрасного вина. Папа взял одну себе, и она еще наполовину полна, потому что он читает и не спеша потягивает из бутылки. От остального же вина уже ничего не осталось, а солнце еще высоко. Две тысячи ополченцев вмиг объели бы всю округу. И вы это хорошо знаете.

Я нажал кнопку звонка и, когда пришел официант, попросил его принести четыре бутылки «Перье-Жуэ брют» тридцать седьмого года.

— Это вино привозили из маленького уголка страны, с виноградников одного моего друга, — сказал Чарли. — Часть он раздавал друзьям, часть оставлял себе. Мы только что выпили остатки того, что он прислал мне в последний раз.

— Его виноградники к нему вернутся, — сказал Клод, поднимая бокал. — Они вернутся к нему на этой неделе.

Принесли новые бутылки, и Марсель, открыв дверь на стук, впустил двух официантов. Они поставили ведерки на пол и открыли первую

---

[113] Примечания: 113
Calva (*фр. сокр.*) — кальвадос, яблочный или грушевый бренди.

бутылку. Это были магнумы[114].

— Пить из магнумов вкуснее, — сказал Чарли. — Тем более что только магнумы и остались.

–Buvon une coupe ami,
buvon en deux
à la santé des amoureux
à la santé du Roi de France[115],

— пропел Онэ чистым тихим голосом, последний свет угасающего дня освещал его лицо. И мы все дружно подхватили:

Et merde! Merde! Merde!
Merde pour La Reine d'Angleterre,
Qui nous a declare la guerre[116].

Этой походной песне стукнула не одна сотня лет, но для нас она была лучшей, если не считать нашей «домашней» песни Dix bis Avenue des

---

[114] Примечания: 114

Магнум (*фр.* Magnum) — использующаяся во Франции разновидность бутылки для шампанского емкостью 1,5 литра.

[115] Примечания: 115

«Выпьем же, друг, чарку, выпьем другую за здоровье возлюбленных, за здоровье короля Франции». Французская военная песня наполеоновских времен.

[116] Примечания: 116

«И черт, черт, черт побери королеву Англии, объявившую нам войну». Припев той же песни, в котором «король» заменен на «королеву».

Gobelins[117].

Я был совершенно счастлив и, включив лампочку у кровати, прочел:

У бедных мертвецов, увы, свои печали,
—
И в дни, когда октябрь уныло шелестит
Опавшею листвой над мрамором их плит,
О, как завидуют они нам бесконечно,
Нам, дремлющим в тепле, в уютности беспечной,
В то время как они, под гнетом черных снов,
Без доброй болтовни в стенах сырых гробов,
Скелеты мерзлые, изрытые червями,
Лежат… И сыплются беззвучными клоками
На них снега зимы… И так года те-

[117] Примечания: 117
Улица Гоблинов, десять бис.

кут.[118]

Я хотел прочесть все стихотворение вслух, и чтобы Клод перевел его для Реда. Сам Бодлер перевел По на французский, но никому не удалось даже приблизительно так же хорошо перевести Бодлера на английский. Клод умел переводить красиво.

Потом я подумал, что нам и без того хорошо и что Клоду это будет в тягость, и что завязавшаяся*bonnes causeries*[119]нам нужнее.

Когда-нибудь я, может быть, сам попытаюсь перевести стихотворение Реду и, наверное, услышу от него: «Несчастные мертвецы, будь я проклят!»

За последние три месяца я получил четыре письма, последнее было вконец истрепанным, а Ред всегда отдавал читать свою корреспонденцию мне.

— У нас сегодня куча писем, Папа, — говорил он бывало. — Эта девчушка пишет каждый день. Точно как обещала. Что ты об этом думаешь?

— Ты не будешь их читать?

— Нет, можешь оставить их себе, если хочешь.

---

[118] Примечания: 118

Шарль Бодлер. «Служанка скромная с великою душою». Перевод*П. Якубовича*.

[119] Примечания: 119

Непринужденная беседа (в частности, на литературные темы).

Если там будет что-нибудь новенькое, скажешь.

Над камином в его ритцевском номере висела фотография девушки, с которой он познакомился вечером того дня, когда прибыл в город. Она была кем-то вроде исполнительницы восточных танцев, как сказал Ред, имела весьма впечатляющий торс и, по словам Реда, действительно полюбила его. Но он так и не смог вспомнить, где именно он с ней повстречался, и не смог ее найти, хотя Клод очень старательно искал ее для него. Это было где-то на большом холме, говорил Ред, но они ее так и не нашли.

— Наверное, такое часто бывает на войне, — сказал Ред.

Мы выступали следующим утром на рассвете и должны были догнать свою дивизию за Виллер-Котре́. Найти дивизию и военную полицию никогда не составляло труда. Как-то мы два дня воевали вместе. Был чудесный вечер, у меня глаза устали от света. Мне захотелось выйти, прогуляться по городу, запомнить некоторые места в сумерках, чтобы забрать с собой в воспоминаниях.

Я сел на кровати и надел ботинки.

— Доброй ночи, джентльмены, — сказал я. — Отправляемся на рассвете с Вандомской площади,

прямо от входа в отель.

— И это, черт подери, значит — именно на рассвете, — добавил Ред.

— В котором часу ты хочешь, чтобы мы погрузились и оседлали коней, Папа? — спросил Клод.

— В полшестого будет нормально.

— Я пришлю большие корзины для белья, чтобы упаковать ваше имущество, — сказал Чарли.

— Мы оставим их у портье.

Чарли спустился со мной в восхитительный, застеленный красным ковром вестибюль. Он был ласков, словно мы были потерявшимися детьми, которым не хватило здравого смысла родиться в Швейцарии и которые втянуты в такое грязное дело как война. Он понимал, почему в ней участвуют французы и Ред — тот служил в регулярной армии. Меня Чарли никогда не спрашивал, зачем это делаю я, так же, как не спросил бы, зачем я курю опиум, если бы я страдал этим пороком. И я не мог сказать ему, что делаю это для того, чтобы спасать жизни людей, которые не нанимались воевать. А дело было именно в этом и еще в том, что я узнал и полюбил пехотную дивизию и желал служить ей в любом полезном для нее качестве. А еще я любил Францию и Испанию почти так же, как свою собственную страну. Лю-

бил я и другие страны, но долг был уплачен, и я считал, что мы в расчете, не зная, что полного расчета не бывает. Имелись и те самые «веские моральные причины», и была еще одна, о которой нельзя было сказать, что она нам нравилась. Попрощавшись с Чарли, я вышел в летние сумерки Парижа. Три года я думал, что никогда больше не увижу этого города, и вот теперь мы покидали его по собственной воле. Может, это было глупо, может, это было непрактично, может, это было неправильно.

Но, направляясь к Тюильри, я знал, что это не было неправильно, и не было глупо, и что город никогда не будет прежним, если не покинуть его тогда, когда следует.

Индейская территория и белая бригада

Арденнский лес был — как индейская территория: пока колонна сплочена и двигается, она в безопасности. Но одиночные транспортные средства становились очень уязвимыми, поскольку вокруг шастало много немцев, лишившихся своих средств передвижения, и по ночам они нападали на отдельные машины. Мы таким образом почти каждую ночь теряли джипы и

сожалели, что этих немцев не убили или не взяли в плен раньше.

Я не считал, что моторизованной колонне, которой не хватает машин и у которой начинается топливный голод, нужны пленные. Но закон предписывал брать их, если они сдавались. Закону мы подчинялись, но выполнять его было трудно. Тот, кому грозит плен, должен соображать быстро.

Лес выглядел славно, но передвигаться по нему было трудно. Дороги зачастую представляли собой песчаные просеки, и было много зарослей папоротника и густого подлеска. Местность изобиловала холмами, обрывами и речками. Строевого леса было мало, и он был разбросан по изрезанной холмистой местности. Мы подстрелили несколько зайцев и самца косули из охотничьего ружья, какие возили в чехлах в каждой машине, и я промахнулся, выстрелив картечью по дикому кабану. Тот был слишком шустрым, слишком сильным и быстро соображал. Нам достался филей от коровы, убитой осколком снаряда неподалеку от Сент-Хуберта. Онэ нарéзал его полосками, чтобы сделать вяленую говядину, но погода была отвратительной, и пришлось его потушить.

Теперь, продвигаясь после дождя по песчаным дорогам, мы различали следы каждой машины, шедшей в голове колонны, а от пленных нам было известно, что у тех, кого мы преследовали, не осталось мин. Так что погоня была нетрудной. Они рубили деревья; срезая путь и используя пластиковую взрывчатку, валили их, чтобы создавать заторы на дорогах, изредка случались перестрелки с их арьергардами. У них еще были минометы, хотя оставалось очень мало боеприпасов, и самоходные орудия, которые они очень ценили, но без достаточного количества снарядов не могли использовать в полную силу. Они представляли собой лишь осколки армии, бегущей к Западному валу[120] или Ахену, и мы бы накрыли их разом, если бы могли двигаться достаточно быстро. По три полка объединялись в боевые группы, и каждая из них составляла колонну, пересекавшую Арденны с предельно возможной скоростью. Арденны, вопреки прежним военно-стратегическим представлениям, не являются непреодолимой преградой. Это четырехполосная трасса, если вы знаете, как ею пользоваться.

Для нашего иррегулярного войска ситуация

---

[120] Примечания: 120
Система укреплений вдоль западной границы фашистской Германии.

сильно изменилась из-за нехватки транспорта и в перспективе — топлива. Мы действовали в режиме строжайшей экономии и с са́мого Васиньи и дороги на Ле-Като в боях не участвовали. После того как мы потеряли Клода, у меня осталось только два француза, зато наша группа пополнилась двумя официальными корреспондентами. Один был чудесным человеком и отличным товарищем по имени Питер Лолесс, англичанин с лицом и манерой держаться, соответствующими его имени[121]. Второй был из Южной Америки, он работал в качестве военного эксперта в крупной южноамериканской газете.

Последний раз, когда я видел генерала, за три дня до того, он сказал мне:

— Эрни, я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, объяснил ему что к чему и проследил, чтобы его не убили. Там, откуда он явился, он важная персона. И пусть Бак тоже приглядит, чтобы его не убили. Кстати, как там Бак?

— Лучше не бывает, сэр.

— Вы с Баком… — сказал генерал. — Ты плохо влияешь на него, а он — на тебя.

— Да, сэр.

---

[121] Примечания: 121
Питер, Пётр в переводе с древнегреческого — «скала, камень».

— А теперь слушай. Тебя не должны убить. Это приказ.

— Да, сэр.

— Почему ты не можешь вести себя как все люди?

— Да сэр, генерал.

— Я иду с этим полком. — Он показал на карте. — А вот куда идешь ты. Другая боевая группа направляется вот сюда, слева от Бака.

— Кто выступает первым? Корреспонденты наверняка захотят быть именно там.

— Первым пойдет Бак, потому что перед ним путь свободен. А нам придется вступать в сражение — здесь и здесь.

— Если эта карта верна, то Баку первому предстоит нанести удар.

— Почему ты так решил?

— Исходя из карты фрицев и их ситуации. Если только у них не осталось сохранных частей, то я не думаю, что они станут оборонять Западный вал с этой стороны. Бак ударит по нему утром, после того как подойдем мы.

— У них есть очень хороший плацдарм для обороны на севере.

— А чем они собираются его защищать?

Мы с генералом были хорошими друзьями, и

по вечерам, а иногда даже по утрам он говорил мне, что я — генерал иррегулярных войск, а я напоминал ему, что такой зверь не значится в штатном расписании армии США. Дивизия сама себе хозяйка, пока ее не догонит корпус, а корпус не догонит армия. Тогда командование дивизией лишается своих иррегулярных генералов, и все лгут и дают ложные показания, и ты возвращаешься к тому, что только и может предоставить тебе твой гражданский статус.

Итак, тем утром я попрощался, мы вышли из фермерского дома и скучились в двух маленьких машинах. Я сделал пометки на прозрачном пластике, под которым была карта, чтобы запомнить, а потом стереть их, и передал планшет южноамериканцу, тот со знанием дела изучил их сквозь свои темные очки и передал планшет Питеру. Питер быстро взглянул на него и вернул мне, я стер пометки. Питеру нравилась здешняя местность. Стоял солнечный день, но по небу плыли рваные облака, дул сильный ветер, песок после ночного дождя был свежим и нетронутым. Мы старались двигаться обходными дорогами, чтобы не встречаться с колонной. Бак вел преследование очень быстро, приноравливаясь к пехоте. Он обгонял свое войско на том транспор-

те, которым располагал, а пешие солдаты ровно и быстро шли по дороге длинным американским шаркающим шагом, ссутулившись, читая на ходу карманные книжки и ожидая привала. Питер Лолесс сказал, что они маршируют, как, по его представлениям, должно быть, маршировала пешая кавалерия[122] Стоунволла Джексона. Они не выглядели ни несчастными, ни печальными, ни никчемными, как большая часть американских пехотинцев. Это было подразделение Джона Даути, он погиб через два дня, а его подразделение дважды понесло потери убитыми и ранеными — в Шнее-Эйфеле и в битве в Хюртгенском лесу.

— Они уже участвовали в боевых действиях? — спросил южноамериканец.

— Да, — сказал я, — с шестого июня.

— Какого года?

— Сорок четвертого. От них еще кое-что осталось.

— Почему они читают книги на ходу, пока тащатся?

— Они не тащатся, они маршируют, — сказал

---

[122] Примечания: 122

Термин «пешая кавалерия» — оксюморон, придуманный для описания быстрого пешего передвижения войск конфедератов под командованием генерала Томаса Джонатана «Стоунволла» Джексона во время Гражданской войны в США (1861–1865).

Питер Лолесс.

— Но почему им разрешают читать книги на марше?

— Чтобы отвлекать от всего этого.

— Но они же должны быть начеку, чтобы вовремя заметить врага. Эти книги — это учебники по военному делу?

— Нет, это обычные книги. Их выпускает армия. Это не комиксы. Комиксы — для тупиц.

Я обратился к знакомому сержанту из роты D:

— Что ты читаешь, Мак?

Он поднял свою книгу, чтобы я увидел обложку. Это был «Эроусмит»[123].

— Я уже читал ее. И теперь она меня не разочаровала.

— Это книга о враче, — объяснил я южноамериканскому эксперту.

— Так это медицинские войска? — сказал он, очень довольный.

— Это пехота, старпер, — сказал Питер Лолесс.

— Мне не нравится ваш тон, — сказал южноамериканец. — Что такое старпер?

— Это ты, — сказал я.

— И ваш тон мне не нравится.

---

[123] Примечания: 123
Роман американского писателя Синклера Льюиса.

— Можешь засунуть свое «не нравится»…

— Что такое «засунуть свое не нравится»?

— Вставить. Ввести в свой задний проход, в одно из семи отверстий человеческого тела.

— Я не понимаю этих гражданских терминов, — сказал мой подопечный.

Мы свернули на очередную боковую дорогу. Я хотел найти Бака, чтобы он посмотрел, какого персонажа нам навязали.

Это была неизвестная боковая дорога. Она отсутствовала на карте, ее явно проложили военные, но дорога была хорошей. Я все время сверялся по компасу, лобовое стекло было опущено, я, полустоя, высматривал следы машин и наблюдал, чтобы не наткнуться на мину, но следов колес не было и мин пока тоже — похоже, в отсутствие движения по этой дороге немцы не стали зря тратить мины, даже если они у них имелись. Это был первый погожий день за все время нашего пребывания в Арденнах и последний погожий день той осенью. Я вычислил, что, двигаясь по этой дороге, мы должны выйти на главное шоссе прямо перед Уффализом, о чем и сообщил Питеру и эксперту из добрососедской страны.

— Уффализ — ерунда, — сказал он. — Вы сказали

мне, что другие части будут брать Бастонь. Мне надо в Бастонь.

— Бастонь не на нашем пути, — сказал я. — По этой дороге вы сначала попадете в Германию.

— Слышите? — Ред, у которого слух был, как у оленя, остановил машину, и мы услышали слева и позади себя перестрелку.

— Мы же пропускаем сражение!

— Зато мы находимся впереди колонны, — сказал капитан Стиви, ехавший в другой машине, которая теперь поравнялась с нами. — Разве это не еще лучше?

— Но я хочу увидеть сражение.

— Не волнуйтесь, сеньор, — сказал капитан Стиви, исполненный потрепанной техасской любезности и неотразимого обаяния. — Вы еще увидите великие и ужасные события. Вы находитесь среди останков одного из величайших иррегулярных формирований со времен Пирамид.

— Останков?

— Их осталось двое, — Стиви указал на Онэ и Марселя. — Двое из двух тысяч.

— Вы потеряли тысячу девятьсот девяносто восемь человек?

Стиви кивнул и прикрыл глаза ладонью. Экс-

перт посмотрел на меня. У меня в глазах блестели слезы — прямо как у Джорджа Паттона[124], который был мастером вызывать их, Онэ и Марсель изобразили каменные лица.

— Какого рода были эти потери?

— Убитые, раненные, замученные.

— И распятые, — добавил Стиви.

— Повешенные, — сказал Ред. — Роты Эйбла и Чарли были повешены.

— Какое зверство, — сказал эксперт. — Мистер Лолесс, вы это видели?

— Мы весь день ехали сквозь смрад смерти, — сообщил ему Питер.

— Кто командовал этими храбрыми войсками?

— Генерал и я, — сказал Стиви. — Ведь так, генерал?

— Вы — генерал?

— Был, — ответил я. — В настоящее время никто из нас этого звания не носит.

— Но повешения… — не унимался эксперт.

— Это было за изнасилования, — сказал Ред.

— Так было нужно — в назидание, — пояснил

---

[124] Примечания: 124

Джордж Смит Паттон-младший (1885–1945) — генерал армии Соединенных Штатов, командовал, в частности, Третьей армией во время освобождения Бастони в ходе битвы за Арденны, прославился не только как успешный военачальник, но и как мастер мотивировать своих подчиненных вдохновенными речами.

Стиви.

— Есть фотографии?

— Тысячи, — сказал Стиви. — Но они пока засекречены.

— Не могли бы вы достать несколько штук для меня?

— Попытайтесь, капитан Стиви. Это одна из величайших военных историй. В палате общин рассматривали этот вопрос, — объяснил Питер. — Что-то насчет того, будто бедные парни обезумели от энергетических крекеров, входивших в «рацион К»[125].

— У человека, который обычно добавляет в них селитру, временно съехала крыша, и он вместо нее добавил тестостерон, — объяснил я.

— Как пишется «тестостерон» и что это такое? И что такое селитра?

Я продиктовал ему по буквам и дал определение.

— Перед тем как это случилось, я съел сто энергетических крекеров, и они никак на меня не подействовали, — сказал Ред.

---

[125] Примечания: 125

Ration K (*англ.*) — индивидуальный рацион питания (сухой паек) американской армии времен Второй мировой войны.

–*Encore un coup manqué*[126], — сказал Онэ.

— Ну, по коням, — сказал Ред. — Пора освободить то место, которое ты назвал. Перестрелка закончилась.

Мы вышли на основное шоссе немного в стороне и дальше от города; на повороте дороги, на возвышении, стояла очень красивая белая круглая придорожная гостиничка. Мы остановили машины в месте, которое выглядело безопасным.

— Лучше выйти из машин, перебежать на ту сторону насыпи и рассредоточиться, — сказал я.

— Ты пойдешь внутрь, Папа, или мне пойти? — спросил Стиви.

— Пусть Онэ и Марсель пойдут осмотрят дом. Мы их прикроем.

Онэ и Марсель, стоявшие позади, исчезли — просто испарились, как индейцы.

— Это опасно? — спросил эксперт.

— Спросите у Реда.

— Могло бы быть, если бы фрицы были сумасшедшими, — объяснил Ред. — Стали бы вы держать оборону в стеклянном доме, стоящем на возвышении и открытом на все четыре сторо-

---

[126] Примечания: 126
Еще один упущенный шанс (*фр.*).

ны, когда перед вами лесной массив, где можно выбрать позицию с отличной зоной обстрела? А к этому месту при желании можно незаметно подойти просто по противоположной стороне дороги.

— Отлично, — сказал Питер. — Отличнейшее объяснение.

— Вы когда-нибудь были солдатом? — спросил у эксперта Ред.

— Мое звание — капитан.

— Так вот, капитан… — Его прервал звук выстрела. — Наши, — пояснил он эксперту.

Выстрел был один. После него Марсель вышел из-за дома и жестом поманил нас.

— Один выстрел — точно труп. Два выстрела — вероятно. Три выстрела — дерьмо, — объяснил эксперту Ред. — Как думаешь, капитан Стиви, что это было?

— Свинья, одна, пыталась сбежать.

— А может, гусь, — сказал Ред. — Я видел гуся.

— Это мог быть коллаборационист, — объяснил я эксперту.

— Вы их убиваете без суда?

— Война есть война.

— Война — дело грязное, — поддержал Питер.

Мы подкатили ближе, поставили две свои

машины под прикрытием склона носом в ту сторону, откуда приехали, и поднялись по лестнице в придорожный дом. Онэ и Марсель, сидевшие за столом, на котором стояли бутылка бренди, шесть стаканов и четыре бутылки местной газированной воды, встали и галантно отдали честь. Эксперт ответил им тем же. Мы сели, они тоже.

— Кого вы подстрелили?

Онэ указал на соседний стол, где лежало оружие. Под столом покоился гусь. Его красные лапки были чистыми, лежал он на спине. Задувавший в открытые окна ветер шевелил пух на его груди.

— Фрицы ушли. Хозяин сказал, что виски нет. Может, и правда нет. Он сердится из-за гуся.

— Я велел ему пойти поискать коньяку. Он сказал, что это — единственная бутылка. У него физиономия пособника, — объяснил Марсель.

— Этот сукин сын пособничал в последний раз, — припечатал Ред.

— Посмотри, что он принес, — сказал я, когда вошел хозяин.

Должно быть, тот внимательно наблюдал за нами, потому что принес бутылку «Старого антиквара» и еще несколько бутылок минералки.

–*Le patron, mon general*[127], — представил его Онэ.

— О, генерал! Вы сильно опередили свои войска. Это в бельгийской традиции.*Vive L'Amerique*[128].

–*Vive La Belgique*[129].

Мы все обменялись рукопожатиями.

— Вы нас освободили.

— Не я. Мы все. Генерал Питер Лолесс — из вооруженных сил ее величества. Капитан Стивенсон — внук изобретателя парохода и прямой потомок изобретателя хлопкоочистительной машины. Капитан Симон Боливари Квесто — внук Освободителя[130]. А эти четверо — великие разведчики.

— Для меня — большая честь, джентльмены. Могу я предложить тост? Aux Alliées[131].

–*Vive La Belgique.*

---

[127] Примечания: 127
Хозяин, мой генерал (*фр.*).

[128] Примечания: 128
Да здравствует Америка (*фр.*).

[129] Примечания: 129
Да здравствует Бельгия (*фр.*).

[130] Примечания: 130
Исторически Освободителями называют в странах Латинской Америки руководителей национально-освободительных движений.

[131] Примечания: 131
За союзников (*фр.*).

–*Et mort aux vaches*[132], — добавил Марсель. Это было несколько неуместным, поскольку означало «смерть полицейским».

— Правда, есть небольшая неприятность — с гусем, — сказал хозяин.

Как раз в этот момент снизу, оттуда, где в складке между холмами, сбегающими к реке, лежал город, послышалось два тяжелых удара, а потом грохот.

— Фрицы только что взорвали мост, — объяснил эксперту Ред, глядя на часы, и принялся записывать что-то в блокнот, который носил в кармане и всегда извлекал оттуда вместе с расческой, топливными карточками и запасной парой перчаток.

— Грязные боши наконец ушли, — сказал хозяин. — Теперь можно говорить свободно.

— О гусе, — сказал я. — Включите его в счет по справедливой цене.

— Мы его откармливали к Рождеству.

— Представьте, что боши вернулись бы до Рождества. Они бы его съели.

— Эти трусы никогда не вернутся. Тут теперь — вы.

---

[132] Примечания: 132
И смерть фараонам (*фр.*).

— Включите гуся в счет.

— Никакого счета. Для меня честь обслужить вас. Гусь — дело особое.

— Ну, сделайте отдельный счет за гуся.

Теперь помещение стало заполняться патриотами с нарукавными повязками, некоторые были вооружены «стэнами»[133], некоторые — пистолетами. Разговор стал общим, мы вышли на крыльцо гостиницы, и я сказал Реду, чтобы он спустился вниз, сел в джип и наблюдал за ситуацией. Грохот от взрыва моста очень уж быстро привлек этих патриотов.

Командир подразделения, если это можно было так назвать, объяснял Питеру, что британцы сбрасывали много грузов на парашютах. Но, по его словам, патриотам не хватало чего-то более существенного, чтобы что-либо предпринять. Ведь сбрасывали лишь «стэны», винтовки, пистолеты и взрывчатку.

— Чтобы воевать на более-менее равных условиях, нам были нужны как минимум минометы, если не полевые орудия.

— И что же вы делали? — заинтересованно спросил Питер.

---

[133] Примечания: 133

Британский пистолет-пулемет системы Стэн, созданный в 1941 году.

— А что мы могли делать? Но мы все состояли в*Armée Blanche*[134]. — У всех на рукавах были повязки, подтверждавшие это. Их становилось слишком много, и я велел Марселю забрать бутылку «Старого антиквара» и отнести Реду, чтобы тот ее спрятал.

Усевшись под солнышком на крыльце, я очень медленно потягивал бренди с минеральной водой. А потом мы услышали, как это началось. Что-то происходило на длинном гребне лесистого холма, возвышавшегося над городом, справа от дороги. Начали легкие пулеметы, потом, один за другим, застрочили четыре автомата. Секунд двадцать казалось, что это будет распространяться. Но все оставалось как есть. Стрельба продолжалась, автоматчики, похоже, перемещались.

— Что это? — закричал кто-то.

— Это контратака.

Патриоты начали срывать нарукавные повязки и избавляться от оружия.

— Каждый за себя! — выкрикнул кто-то.

— Вы что, не хотите остаться и отразить контратаку? — спросил Питер.

---

[134] Примечания: 134

Очевидно, имеется в виду Белая бригада — группа бельгийского антинацистского Сопротивления во Второй мировой войне, основанная летом 1940 года.

— Идем, — сказал я. — В джипах полно гранат. Разве тебе не хочется разок повоевать?

–*Sauve qui peut*[135], — проговорил последний из убегавших.

— Папа, мы можем создать оборонительный фланг? — спросил Ред.

— Конечно, — сказал я. — Сделаем обход слева по берегу и обстреляем лес.

Но через десять минут никакой стрельбы уже не было. Не знаю, зачем фрицы это сделали. Скорее всего, их было не больше шести. Они, разумеется, отступили. Догадываюсь, что у них просто вызвал отвращение вид такого количества «белых» нарукавных повязок. Вероятно, они не были лишены чувства юмора. В придорожной гостинице даже оконные стекла не потрескались.

Мы вернулись на крыльцо, и хозяин вынес нам еще бутылку бренди и несколько — минеральной воды. Лицо у него было белым.

— Джентльмены, никакой платы за гуся, — сказал он. — Это была короткая ожесточенная схватка, не так ли?

— Двенадцать минут и четырнадцать секунд, — уточнил эксперт. — Я пытался разглядеть в

---

[135] Примечания: 135
Спасайся кто может (*фр.*).

бинокль, но ничего не увидел.

— Мы их смели, — сказал Ред. Он, Онэ и Марсель взмокли насквозь.

— Всех, до последнего, — подтвердил Онэ. — Виски действительно больше нет?

— Честное слово, ни бутылки. Зато, как я объяснил, и платы за гуся не надо.

В этот момент мы услышали, как стали молотить пятидесятки, и я понял, что Бак где-то на марше сре́зал дорогу и теперь находится впереди, за гребнем, окружающим город.

— Вы сейчас снова будете воевать, джентльмены? — спросил хозяин.

— Не сегодня, — сказал я.

— Думаю, по такой жаркой погоде вам лучше выпотрошить гуся.

— Сейчас отнесу его на кухню и выпотрошу, — сказал Ред. — Хорошо, Папа?

Было приятно посидеть на солнышке, перед тем как отправляться в город, когда Ред закончит с гусем.

Памятник

Тем вечером, после бескровного взятия Уффализа, я узнал, как пишет военный эксперт для

своих читателей — потомков Освободителей. Онэ и Марсель раздобыли «Шевроле» 1939 года в отменном состоянии, который, естественно, принадлежал коллаборационисту, проблема состояла лишь в том, чтобы доставить его в объединенный гараж, узнав сначала, где он находится, подкрасить и получить нужные номера. Парни пребывали в приподнятом настроении, и из-за жары Онэ обменял наши мясные запасы на всякую всячину, какую удалось получить, мы оставили себе только гуся, которого вывесили за окно моего номера — лучшей комнаты лучшего отеля.

Питер Лолесс решил ничего не писать об Уффализе, поскольку это означало бы, что капитану Стиви пришлось бы проделать обратный путь по индейской территории, чтобы найти дивизию и присоединиться к ней. Эксперт же продолжал работать, пока мы ужинали: по жареному яйцу на каждого, запеченная форель и молодой дикий кабан под разное не пойми какое вино.

Эксперт во время работы никогда не снимал каску, Марсель предположил, что он и греховодничает в каске.

Капитан Стиви сказал, что никто не может делать это в каске, потому что та может упасть

с головы и пришибить возлюбленную. Но Онэ возразил, что никто не может знать, в какой позиции Освободитель предпочитает и может заниматься сексом.

Капитан Стиви сказал:

— Папа, Освободитель меня нервирует, а я еще с Африки нервный, и его каска меня раздражает. Пожалуйста, пойди посмотри, что он там пишет. Скажи ему, что ты Главный полевой цензор.

Ну, я пошел к Освободителю, взял первые три страницы того, что он написал, и когда он посмотрел на меня сквозь свои темные очки, просто сказал: «Главный полевой цензор. Командир двадцать второго пехотного полка» и вернулся с этими страничками к столу, за которым мы все сидели, чтобы их прочесть.

Первая часть повествовала о том, как в его присутствии Великое Партизанское Соединение было разгромлено в сражении, не уступающем фермопильскому. Во второй части описывалась битва у придорожной гостиницы и полный разгром врага, до последнего человека. Третья часть была скопирована с книги Ф. О. Микше, известного чешского критика и теоретика мрачной и непредсказуемой военной науки. Освободитель каждый день отсылал в свою газету главу из

Микше, и неудивительно, что у себя на родине он считался национальным Клаузевицом, поскольку Микше представлял собой трудное чтение даже в своих редких ясных пассажах.

Капитан Стиви вернул странички Освободителю, после того как я на каждой написал: «Цензуру прошло. Главный полевой цензор, F.T.P.F.».

Мы ели, пили и наблюдали, как Освободитель переписывает Микше, на Питера Лолесса это произвело впечатление.

— Из него получился бы блестящий корреспондент для «Таймс», — сказал он.

— О чем он там пишет? — спросил Онэ. — Мы же ни с кем не дрались.

— Корреспондентам писать — все равно что женщине плакать, а ребенку пи́сать, — сказал Марсель. — Простите, мсье Питер.*Вы* в душе — не корреспондент.

— Да, — сказал Питер. — Я — спортивный журналист.

— Спортом мы сегодня уже позанимались.

— Кто бы спорил, — сказал Питер.

То был насыщенный день.

На верху крутого спуска к городу мы встретили двух мужчин в кепках и рабочей одежде. У этих мужчин были грубые руки, настолько же грубые,

насколько мягкими были руки у рассеявшейся Armée Blanche. Мужчины сообщили нам, что все немцы ушли.

Большие деревья были надсечены и повалены через шоссе, спускавшееся к городу, Стиви, Питер и я карабкались через стволы и продирались сквозь ветви с еще свежей листвой, зеленевшей на фоне черного асфальта. Мы выискивали провода и все такое прочее, но не нашли ничего, кроме недавно поваленных деревьев и тишины города.

Во время войны больше всего пугает тишина. Шумы предупреждают и обнаруживают местоположение игроков. Молчание в только что взятом городе — отнюдь не золото. Мы пробирались вниз по дороге через поваленные деревья методично и медленно, и мне подумалось: ни во время войны, ни в мирной жизни нет ничего печальней вида огромных старых деревьев, росших вдоль дороги и умышленно поваленных.

Выпутавшись из последних стволов и ветвей, мы увидели людей, идущих нам навстречу по дороге, и прелестный город внизу.

Первыми шли мужчины. Они выглядели очень официально. Момент был исторический, и они представляли собой делегацию. Оказалось: все они — работники лесного хозяйства и могут за

час расчистить дорогу. Двое мужчин, которых мы встретили раньше, рассказали, что они наблюдали за немцами, пока те надрубали деревья, прикрепляли взрывчатку и поджигали фитили, и видели, что мин те не закладывали.

— Но на случай, если все же где-то заложили, я оставлю вам этих двух своих людей, — сказал я.

— Да здесь же нет ничего, Папа, — сказал Онэ.

— Вы надолго тут не задержитесь. Как только дорогу расчистят, пусть машины двигаются в город.

— Какой отель у вас самый хороший? — спросил Стиви главу делегации. Все остальные уже отправились за инструментами и лошадьми. Глава назвал отель, но было видно, что он его не жалует.

— Встречаемся там, — сказал я Онэ.

Теперь к нам подошли женщины и девушки. Они нас не целовали, не было никакой истерии и ликования.

— Ну что, пошли пешком? — спросил Питер. — Ты знаешь, что это был первый бельгийский город, взятый немцами в войне 1914 года, и что первый бельгийский солдат был убит именно здесь? В городе есть памятник.

— Откуда ты все это разузнал, черт возьми?

— спросил Стиви.

— Из «Путеводителя по Арденнам», — сказал Питер. — Это мое чтение на ночь. Все что-то откуда-то узнаю#т.

Теперь вместе с нами шло много людей, и официальность исчезла. Какой-то добрый человек предложил нам выпить. У него даже было с собой три стакана, кроме собственного, так что на самом деле все было не совсем уж неформально.

— Спрячь свой пистолет в карман, — сказал Питеру Стиви. — Нельзя выпивать с человеком, держа в руке пистолет.

— Тогда у меня в штанах будет неподобающая выпуклость.

— Ну, положи его в карман Папе. У него везде неподобающие выпуклости.

— Я боец нерегулярных войск, — сказал Питер. Мы уже успели выпить со многими добрыми людьми, и у всех у них были для нас стаканы. — Мы с моим пистолетом напарники.

— А ты ставишь своего старого напарника на предохранитель, когда кладешь его в карман?

— Я боец нерегулярных войск, — повторил Питер. — А где мы потеряли Освободителя?

— Позади, в Андах, вместе с машинами.

— Он взойдет на эту кордильеру, — сказал Пи-

тер. — Помяни мое слово.

— Это спуск, — поправил его Стиви.

— Тогда он преодолеет его через ущелье, — постановил Питер.

— Я собираюсь найти Бака.

— Вероятно, он теперь уже в Германии.

Бака я нашел сидящим на каменной ограде и в глубокой задумчивости протирающим стекла очков. Он по-братски приветствовал меня:

— Доктор Хэмингштейн, сукин сын, где ты сачковал, пока я брал этот исторический город?

— Полковник, сэр… — начал я.

— Иди в задницу, Хэмингштейн. Что это за город?

Я объяснил, насчет дороги сказал, что ее уже расчищают и что люди здесь серьезные и деликатные. Подошла доверенная группа от основной делегации работников лесного хозяйства. У них было две лошади, волочившие очень длинное бревно от большой лесопилки, располагавшейся неподалеку впереди по дороге. Они попросили разрешения приступить к восстановлению моста.

— Спрашивайте у полковника, — сказал я.

— А вы, джентльмены, инженеры? — поинтересовался Бак.

— Ни у кого из нас нет инженерского звания, но все мы уже строили мосты.

— И как вы собираетесь строить этот? — спросил Бак.

В поле зрения появилась волокуша, груженная камнями, ее тащили еще две лошади. Поверх груды камней лежала бочка для горючего.

— Мы используем набитые камнями бочки для горючего в качестве опор, — сказал глава делегации. — Из городских гаражей сейчас привезут еще бочки.

Первое бревно уже дотащили до взорванного моста, и лошади отправились назад, к штабелю, сложенному возле лесопилки.

— Он никогда не выдержит СПО[136], — сказал Бак.

— Я сообщу им необходимую для СПО ширину с запасом в два фута.

Мы подошли к мосту, и я отметил, что работа идет удивительно бойко. Все, кто не был занят на расчистке дороги, трудились здесь, даже механики из гаража присоединились к работникам лесного хозяйства. Подошел капитан Стиви и сообщил, что члены Armée Blanche проводят в

---

[136] Примечания: 136
Самоходное противотанковое орудие.

городской ратуше митинг в честь освобождения и что, как только откроется дорога, Освободитель получит возможность обратиться к собранию на своем родном языке. Онэ уточнил место сбора и попросил разрешения поискать гаражного патриота для обслуживания наших автомобилей. Ни мин, ни западней на дороге не было. Питер болтался где-то в городе.

Мы с Баком вернулись к каменной ограде и уселись на нее, чтобы подумать и обменяться впечатлениями, патриотически настроенные девушки принесли нам свежеиспеченные булочки, маленькие пирожные, бутылки вина и стаканы.

— Хэмингштейн, — сказал Бак, — мы — исторические личности. Но в твоих инженеров я мало верю.

— Давай поверим в них, и, возможно, наша роль в истории возрастет еще больше.

— Но кто напишет эту историю?

— Никто. Или какое-нибудь ничтожество.

–*Ты* напишешь историю.

— Чепуха, полковник, сэр.

Теперь мимо нас проходили войска, и так как эти солдаты не были еще убиты или ранены, многие из них узнавали своего полковника в лицо. Но поскольку день выдался жарким, а они

при этом еще и маршировали, им было плевать на полковников. Бак это понимал. Они шли туда, куда он их посылал, и до этого пункта сам шел во главе. В том, что касалось Двадцать второго пехотного полка, чепухи было очень мало, и я всегда испытывал гордость и грусть, когда видел этих солдат. Бак знал, что́ им придется делать на следующий день, и через день, и мы оба испытывали гордость и грусть, и еще я чувствовал себя бесполезным. Итак, мы разговаривали.

Бак сказал:

— Хэмингштейн, ты знаешь, что я должен послать отряд в Германию, чтобы они принесли полную каску священной земли Фатерлянда? Эту каску со священной землей наш генерал должен будет доставить Верховному командующему в качестве доказательства того, что дивизия нашего генерала первой ступила на землю гуннов.

— Как ты собираешься их отправить? Пешком или верхом?

— Я их отправлю не дальше дивизии.

— Но они ведь должны доставить каску с землей в штаб Верховного[137] через месяц.

— А где находится командование, Хэмингш-

[137] Примечания: 137

SHAEF — штаб верховного командования союзных экспедиционных сил.

тейн, если это не является разглашением тайны?

— Думаю, тыловой эшелон — в Гранвиле или где-нибудь в тех краях, а передовой — в Версале.

— Трудновато, — сказал Бак, — но, скорее всего, они в конце концов доставят кучу таких касок со священной землей.

— Пусть насрут в них, — сказал я.

— Слишком просто, — сказал Бак. — К тому же, доктор Хэмингштейн, вдруг у них запор или они начитались вестернов.

Мы с Баком были тогда, может быть, самыми лучшими друзьями, какими могут быть двое мужчин, хотя позже мы стали еще более близкими друзьями, а в конце концов настолько близкими, что каждый без слов понимал, что творится в голове у другого. Но мы оба любили поговорить, и Бак каждую ночь писал жене, лелеял здоровые иллюзии на ее счет и получал от нее письма. Я не любил свою жену и никогда не писал ей, хотя иногда писал бывшей жене, которая была очень занята в морском ведомстве, а также занималась финансовыми авантюрами, поддержанием бывшей усадьбы и рискованными вылазками в одинокую землю Гоморры; она ненавидела меня — обоснованно — как дурака за то, что я женился, кем бы ни была моя новая жена. Я был полно-

стью согласен с ее суждениями, но на войне не имел времени на вражду и восхищался всеми, у кого были такие благородные жены, и искренне любил их, глядя, как они поедают присланную из дома коробку ореховой помадки. Моя тогдашняя религия запрещала есть ореховую помадку, или загадочную субстанцию, которую мы называли «бланманже из гороха». Но в те времена я обладал искренним добросердечием неверующего и желал добра всем, включая убитых нами фрицев. Если вы никогда никого не убивали, вам, наверное, трудно это понять. Но это форма религии.

— Полковник, сэр, считаешь, что надо присмотреть за тем, как продвигаются дела с нашим мостом?

— Нет. Ты хочешь, чтобы я размахивал руками и кричал «Быстрее! Быстрее!»?

— Может, они особо приняли бы это во внимание, услышав от самого́ «куриного полковника»[138].

— Быть полковником, командиром полка значит быть юродивым. Но юродивые — неплохая компания.

---

[138] Примечания: 138

Chicken colonel (*англ.*) — «куриный полковник»: на армейском сленге США означает «полный полковник» — по наличию серебряных орлов на погонах, именуемых в шутку цыплятами.

— Этот мост тебя удивит.

— Я ничему не удивляюсь. Только охреневаю.

— Трепач, — сказал я. — А что бы ты предпочел делать вместо того, чем мы занимаемся?

— Ничего. Думаешь, он выдержит СПО?

СПО означало самоходные бронированные артиллерийские орудия, которые называли «истребителями танков». Экипажи СПО не страдали клаустрофобией, которая иногда поражала танкистов, они были нашим наступательным оружием, и мы любили их, как кавалеристы любят своих коней, как пехота любит артиллерию, когда та оказывает ей реальную братскую поддержку. Они были нашими истинными добрыми братьями, какими, как предполагалось, должны были быть, но не были артиллерийские роты. Они не имели связи с нашими дальними родственниками — танкистами.

Я пошел к мосту — он рос гораздо быстрее, чем тот, что Цезарь построил во время Галльских войн в невероятно сжатые сроки; чтобы понять это, не было нужды ни в каких скрытых пересчетах.

— Ставлю четыре к одному, что он выдержит самоходки.

— Когда?

— Когда они сюда доберутся.

— Ну что ж, поверю на слово. Ты собираешься ночевать здесь?

— Мне нужно разжиться каким-нибудь транспортом, если получится.

— Твои воры уже этим занимаются?

— Все воры этим занимаются.

— Завтра повеселимся.

— Не понял.

— Я слышал, ты пасешь каких-то придурков?

— Один из них не придурок. Это великий человек. Кроме шуток. Как бы тебе понравилось, если бы тебя звали Питер Лолесс[139]?

— На такое имя я бы свое сменял. А кто твой придурок?

— Что-то вроде прыгающей ламы — покоритель чужих земель. Может, там, откуда он прибыл, он вовсе и не придурок.

— Ладно, до завтра.

— Генерал сказал, что ни ты, ни я, ни этот лама-горновосходитель не должны быть убиты.

— Очень заботливо с его стороны, — сказал Бак. — До завтра, Хэмингштейн. Дорогу найдешь?

— Постараюсь, полковник, сэр, — сказал я.

Я дошел с ним до быстро восстанавливавше-

---

[139] Примечания: 139

Lawless (*англ.*) — беззаконный, непокорный, вне закона.

гося моста.

— Несколько самоходок он, пожалуй, и выдержит, — признал Бак.

Волосы у него поседели, за два месяца он состарился на четыре года, а по-настоящему плохие времена еще и не начались. У него был странно-веселый взгляд усталого человека, который знает, что предстоит сражаться, и готовится к сражению. Такого взгляда не бывает ни у одного животного, кроме человека. Он и сам будет сражаться. Он не будет приказывать другим мужчинам сражаться, не сражаясь сам. Столько людей ненавидели его, а я его любил, и все самоходки переправились по мосту вместе с колонной, и мост все еще был в исправном состоянии, когда фрицы вернулись в декабре, по снегу.

Потом воздушные силы смели город, чтобы поддержать контратаку. Поэтому я больше никогда не возвращался в него, хотя Бак написал мне, что в нем поставлен памятник мосту или нам или чему-то еще — с соответствующей датой, запечатленной на нем. Я толком так и не понял. Питера Лолесса убили. Капитан Стиви работает в Техасе. Никто не знает, что случилось с Редом после сражения в Арденнах, Онэ и Марсель — в тюрьме, а единственный парень, который мог бы

поехать посмотреть на монумент и точно сказать, что на нем написано, работает в инвестиционной компании в Портленде, штат Орегон.

Благодарности

Патрику Хемингуэю я выражаю свою глубокую признательность за его руководство, содержательные дискуссии и обстоятельное предисловие, за ту большую работу, которую он проделал, несмотря на неумолимо ухудшавшееся состояние здоровья. Я благодарю Майкла Катакиса за его проницательность и поддержку. Искренняя благодарность Сьюзен Молдоу и моим редакторам из издательства «Саймон и Шустер»: Нэн Грэм, Дэниелу Леделу и Барбаре Гринберг, а равно их коллегам Джеффу Уилсону, Брайану Белфильо и Йессении Сантос. Особое спасибо Алану Прайсу, директору Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди; Джеймсу Роту, заместителю директора; Хилари Ковар Джастис, преподавателю-исследователю творчества Хемингуэя в Фонде Эрнеста Хемингуэя Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди, а также их коллегам Лорье Остин из Архива аудио-видеоматериалов и особенно Стейси Чандлер из Архива печатных материалов за их неизменный профессионализм и стойкую поддержку — без

них эта работа не смогла бы быть доведенной до конца. За разрешение опубликовать письма моего деда в Соединенных Штатах я благодарен Фонду Эрнеста Хемингуэя, а профессору Кирку Курнатту — за его любезное содействие. Я благодарю Робин Флеминг из Библиотеки Томаса Дж. Уотсона за помощь, которую она оказывала мне в пользовании межбиблиотечным абонементом во время исследовательской работы над этой книгой. Я бы также хотел поблагодарить персонально: Джозефа и Патришию Чапских, Анджелу Хемингуэй Чарлз, Джона Фулбрука, Кэрол Хемингуэй, Валери Хемингуэй, Джона-Майкла Мааса, Брюса Шварца, Сандру Спаниер, Уильяма Брааша Уотсона и мою дочь Анук Анжи Хемингуэй. Моя особая благодарность жене, Колетт С. Хемингуэй, которая помогала мне прочесть оригинальную рукопись и ряд рукописных пассажей для этой книги, а также отредактировала набросок моего предисловия. Помимо того, что выполняла эти профессиональные обязанности, Колетт была для меня неиссякаемым источником вдохновения и поддержки в этой важной работе.

Шон Хемингуэй